

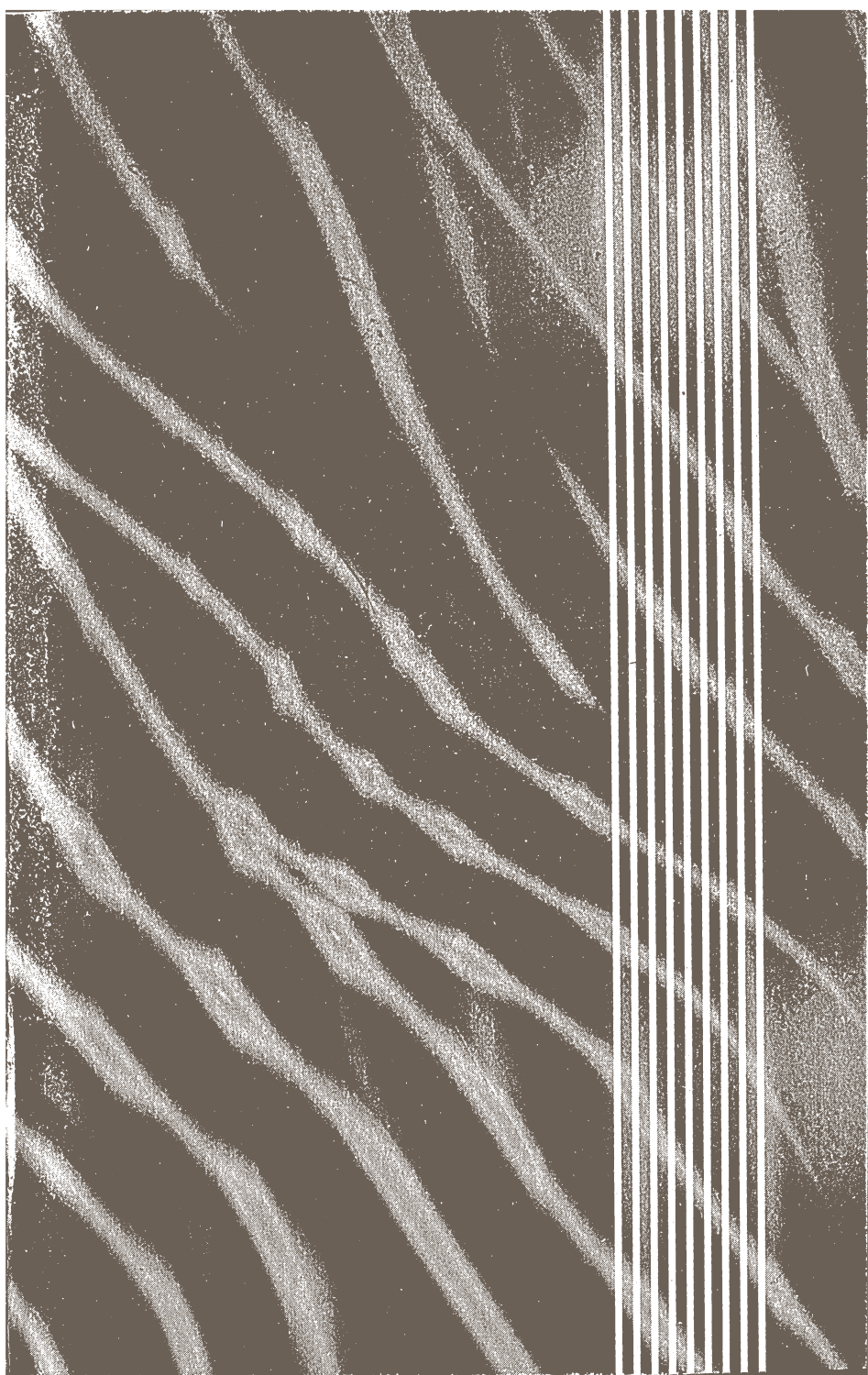
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Ф. НИЦШЕ



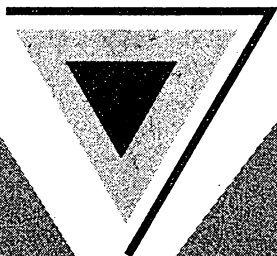
**НЕИЗВЕСТНЫЙ
И НЕОЖИДАННЫЙ**





Ф. НИЦШЕ

► **НЕИЗВЕСТНЫЙ
И НЕОЖИДАННЫЙ**



Симферополь
«Реноме»
1999

ББК 87.3

Н70



Издание подготовлено при участии
Издательского Дома «Квадрант»

Н70 Ницше неизвестный и неожиданный. — Симферополь: «Реноме», 1998. — 528 с. — (Интеллектуальная библиотека).

ISBN 966-7198-18-9

Книга избранных произведений великого немецкого философа, поэта, музыканта Фридриха Ницше продолжает серию «Интеллектуальная библиотека».

Оригинальный сборник трудов знакомит просвещенного читателя с основными мыслями, идеями, позицией автора в процессе хронологического развития его творчества.

Издание предназначено всем, кто интересуется сокровенными тайнами человеческого сознания, для кого философия действительно является любовью к мудрости.

Н70 Ніцше невідомий і несподіваний. — Сімферополь: «Реноме», 1998. — 528 с. — (Інтеллектуальна бібліотека).

ISBN 966-7198-18-9

Книга вибраних творів великого німецького філософа, поета, музиканта Фридриха Ніцше продовжує серію «Інтеллектуальна бібліотека».

Оригінальний збірник праць знайомить освіченого читача з основними думками, ідеями, позицією автора в процесі хронологічного розвитку його творчості.

Видання призначене всім, хто цікавиться заповітними таємницями людської свідомості, для кого філософія дійсно є любов'ю до мудрості.

ББК 87.3

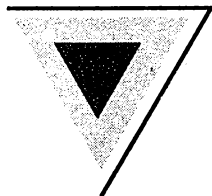
© Фирма «Реноме», 1998

© ИД «Квадрант», 1998

Оформление

ISBN 966-7198-18-9

ЧАСТЬ 1

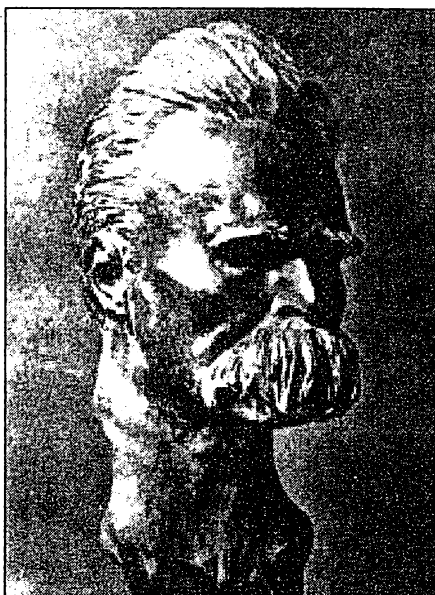


► ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ

* Печатается по изданию: **П. С. Таранов.**
«Анатомия мудрости»: 120 философов. —
Симферополь: Реноме, 1997.

НИЦШЕ

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ



Бюст Фридриха Ницше.
Скульптор Макс Клингер.

XIX век

Родился 15.10.1844 г.

Умер 25.08.1900 г.

Не презирать презренное в человеке, но вопрошать до самого дна: не остается ли нечто достойное презрения в высшем и лучшем, во всем, чем гордился до сих пор человек.

Ницше

Есть ли у кого желание сопутствовать мне на моем пути? Я не советую этого никому. — Но вы хотите этого? Так пойдете же!

Ницше

Учитесь хорошо читать меня.

Ницше

Пусть же немцы еще раз бессмертно ошибутся во мне и увековечат! Для этого как раз есть еще время! — Достигнуто ли это? — Восхитительно, господа германцы! Поздравляю вас...

Ницше

Моя исходная точка — прусский солдат.

Ницше

Если отказываются от войны, то, следовательно, отказываются от жизни в большом масштабе.

Ницше

ЖИЗНЬ

- Немецкий философ.
- Родился в местечке Рёккен в Тюрингии (Пруссия) в семье протестантского священника.
- Его предками в третьем поколении были польские дворяне (Ницке).
- С детских лет Ницше оведала атмосфера святости и праведности. Свои же гимназические товарищи сравнивали его с «двенадцатилетним Иисусом Христом в храме» и дали ему прозвище «маленький пастор». Ницше мог декламировать библейские речения и церковные песнопения с таким выражением, что это почти исторгало слезы у слушателей.
- Сохранился один наивный анекдот «героического характера» из эпохи его первых школьных лет. Нескольким ученикам показался неправдоподобным рассказ о Муции Сцеволе, и они отрицали возможность существования подобного факта: «Ни у одного человека не хватило бы мужества положить в огонь руку», — рассуждали молодые критики. Ницше, не устаивая их ответом, вынул из печи раскаленный уголь и положил его себе на ладонь. Знак от этого ожога остался у него на всю жизнь.
/Сцевола Гай Муций, римский герой, который, находясь в стане врага и желая показать презрение к боли и смерти, сам опустил правую руку в огонь./
- Учился в Шульпфорте, где также получил образование Клопшток, Фихте, Шлегель и др.
- Окончил университетский курс в Бонне и Лейпциге, по образованию **филолог**; среди всех студентов своего возраста был особенно замечен ранней и сильной природной одаренностью.
- В 22 года Ницше стал сотрудником «Центральной литературной газеты».
- В 25 лет получил профессию в Базельском университете.
- С 1869 по 1879 гг. жил в Базеле, здесь же подружился с Рихардом и Козимой Вагнерами.

/ **Ницше:**

«Несколько лет мы с Вагнерами делили между собой всё великое и малое; доверие не знало границ».

■ ■ Рихард Вагнер (1813—1863) — выдающийся немецкий мыслитель, драматург, композитор, дирижер, теоретик искусства; одержимый, беспокойный, необыкновенно работоспособный человек.

В своих взглядах Вагнер бескомпромиссен, безапелляционен, суров:

«Всё, что существует, должно погибнуть, это вечный закон природы, это — необходимая основа бытия. Революции лишь выполняют этот закон. Они вечно разрушают, но они и вечно создают новую жизнь. Старый порядок построен на грехе, и потому мир, в котором мы живём, должен быть потрясен до основания».

(Р. Вагнер. *Статья «Революция»*). /

Ницше потянулся к Вагнеру, почувствовав в последнем родственную душу, ищущую человеческие определяющие начала не в разуме, а в сфере рационального, инстинктивного. Ницше магнитят докультурные моменты и мифологические сюжеты и образы.

- Всю жизнь Ницше страдал сильными головными болями и приступами не вполне ясной болезни:

◆ Моей специальностью было: в течение двух-трех дней напролет с совершенной ясностью выносить нестерпимую боль *сгу, верт*, сопровождаемую рвотой со слезью.

- Ницше был близорук и по этой причине имел освобождение от военной службы. Но в 1867 г. прусская армия крайне нуждалась в людях, и потому его зачислили в один из артиллерийских полков, квартировавший в Наумбурге.

- Сильное воздействие на Ницше оказали книги Ф. М. Достоевского (это открытие состоялось в начале 1887 года).

◆ Достоевский... Никто кроме Стендаля так не восхищал и не удовлетворял меня.

- Ницше обладал злой наблюдательностью и умел создавать врезавшиеся в память сюжеты.

◆ Сен-Бёв увидел однажды первого Императора. Это случилось в Булони: Наполеон был занят тем, что справлял малую нужду.

Не в этой ли чуточку снижающей позе он привык с тех пор видеть и оценивать всех великих людей?

- Внутренний смысл общества открылся Ницше после ознакомления его с притчей Артура Шопенгауэра о дикобразах.

«Стадо дикобразов легло в один холодный зимний день тесною кучей, чтобы, согреваясь взаимной теплотою, не замерзнуть. Однако вскоре они почувствовали уколы от игл друг друга, что заставило их лечь подальше друг от друга. Затем, когда потребность согреться вновь заставила их придвинуться, они опять попали в прежнее неприятное положение, так что они метались из одной печальной крайности в другую, пока не легли на умеренном расстоянии друг от друга, при котором они с наибольшим удобством могли переносить холод. — Так потребность в обществе, проистекающая из пустоты и монотонности личной внутренней жизни, толкает людей друг к другу; но их многочисленные отталкивающие свойства и невыносимые недостатки заставляют их расходиться. Средняя мера расстояния, которую они наконец находят как единственно возможную для совместного пребывания, это — вежливость и воспитанность нравов. Тому, кто не соблюдает должной меры в сближении, в Англии говорят: *keep your distance!* Хотя при таких условиях потребность во взаимном теплом участии удовлетворяется лишь очень несовершенно, зато не чувствуются и уколы игл. — У кого же много собственной, внутренней теплоты, тот пусть лучше держится вдали от общества, чтобы не обременять ни себя, ни других».

/● Видимо, этой притче была уготована какая-то особая роль в формировании мироощущения Ницше. Ведь неспроста же им будет сказано, устами одного из главных своих литературных персонажей, такое **откровенное** признание: «Кто пишет кровью и притчами — тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть». ●/

- Ницше многому подзарядился от Шопенгауэра. Он умел и хотел черпать оптимизм пессимизма, чувствуя в Шопенгауэре и корни, и побеги своего «Я». Некоторые мысли автора «Мира как воли и представления» были Ницше по-особенному близки. Как вот эта из «Новых паралипомен»:

«Часто говорят о *республике ученых*, но не о *республике гениев*. В последней дело обстоит следующим образом: один великан кличет другого через пустое пространство веков; а мир карликов, проползающих под ними, не слышит ничего, кроме гула, и ничего не понимает, кроме того, что вообще что-то происходит. А с другой стороны, — этот мир карликов занимается, там внизу, непрерывными дурачествами и производит много шума, носится с тем, что намеренно обронили великаны, провозглашает героев, которые сами — карлики и т. п.; но всё это не мешает тем духовным великанам, и они продолжают свою высокую беседу духов».

- Осенью 1876 г. Ницше переезжает в Сорренто, прервав по состоянию здоровья университетские лекции и взяв годичный отпуск. В его душе происходит перелом. Он обновляется. Поколеблены — вдруг, в результате подспудного созревания — самые глубокие и самые важные пласты его мироопределения. Сегодня мы можем это всё представить себе и понять, так как Ницше оставил нам сам довольно много раскрывающий след.

♦ «То, что тогда у меня решилось, был не только разрыв с Вагнером — я понял-общее заблуждение своего инстинкта, отдельные промахи которого, называйся они Вагнером или базельской профессурой, были лишь знамением. *Нетерпение* к себе охватило меня; я понял, что настала пора сознать себя. Сразу сделалось мне ясно до ужаса, как много времени было потрачено — как бесполезно, как произвольно было для моей задачи всё мое существование филолога. Я стыдился этой *ложной* скромности... Десять лет за плечами, когда *питание* моего духа было совершенно приостановлено, когда я не научился ничему годному, когда я безумно многое забыл, корпя над хламом пыльной учености. Тщательно, с больными глазами пробираться среди античных стихотворцев — вот до чего я дошел! — С сожалением видел я себя вконец исхудавшим, вконец изголодавшимся: *реальностей* вовсе не было в моем знании, а «идеальности» ни черта не стоили! — Поистине, жгучая жажда охватила меня: с этих пор я действительно не занимался

ничем другим, кроме физиологии, медицины и естественных наук... “Человеческое, слишком человеческое”, этот памятник суровой самодисциплины, с помощью которой я внезапно положил конец всему привнесенному в меня “мошенничеству высшего порядка”, “идеализму”, “прекрасному чувству”, “Богу” и прочим женственностям, — было во всем существенном написано в Сорренто».

- В 1880 г. поле Ницшевого разума было пропахано плугом Дюрингового «Курса философии» (Евгений Дюринг. *Курс философии как строго научного мировоззрения и образа жизни*. Лейпциг, 1875). Сохранился экземпляр книги, испещренный многочисленными пометками Ницше. Одна мысль Дюринга, похоже, особенно для него примечательна: вселенная *может быть* представлена в каждое мгновение как комбинация элементарных частиц, и мировой процесс в таком случае есть некий калейдоскоп всех возможных подобных комбинаций. Но если допустить, что число комбинаций *конечно* и что, стало быть, оно неизбежно исчерпывается, тогда придется допустить и то, что с завершением последней комбинации вновь возвращается первая, придавая мировому процессу характер циклических повторений одного и того же.

Поскольку собственные мысли Ницше развивались в том же направлении, то в результате в один из августовских дней 1881 г. у него реализуется концепция «вечного возвращения». На этот счет есть даже конкретное автобиографическое примечание.

- ◆ Я шел в этот день вдоль озера Сильваплана через леса; у могучего, пирамидально нагроможденного блока камней, недалеко от Сурлея, я остановился. Там пришла мне эта мысль. ◆

Ницше придавал найденной точке зрения столь огромное значение, что считал ее центральной для всей своей философии. А идея вот в чем.

- ◆ *Величайшая тяжесть*. Что если бы днем или ночью подкрался к тебе в твое уединеннейшее одиночество некий демон и сказал бы тебе: «Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь ты прожить

еще раз и еще бесчисленное количество раз; и ничего в ней не будет нового, но каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох и всё несказанно малое и великое в твоей жизни должно будет наново вернуться к тебе, и всё в том же порядке и в той же последовательности, — также и этот паук и этот лунный свет между деревьями, также и это вот мгновение и я сам. Вечные песочные часы бытия переворачиваются всё снова и снова — и ты вместе с ними, песчинка из песка!» — Разве ты не бросился бы навзничь, скрежеща зубами и проклинающая говорящего так демона? Или тебе довелось однажды пережить чудовищное мгновение, когда ты ответил бы ему: «Ты — бог, и никогда не слышал я ничего более божественного!» Овладей тобою эта мысль, она бы преобразила тебя и, возможно, стерла бы в порошок; вопрос, сопровождающий всё и вся: «хочешь ли ты этого еще раз, и еще бесчисленное количество раз?» — величайшей тяжестью лег бы на твои поступки! Или насколько хорошо должен был бы ты относиться к самому себе и к жизни, чтобы не жаждать больше ничего, кроме этого последнего вечного удостоверения и скрепления печатью? ♦

♦ Все подвержено вечному возврату. Когда-нибудь мы снова встретимся при тех же обстоятельствах; я снова буду болен, а вы удивлены моими речами... Не все ли равно, что я умираю; ведь ничто не разлучает, не приближает, потому что каждый момент возвращается, каждая минута вечна. ♦

• Сочинения Фридриха Ницше:

«Рождение трагедии из духа музыки» (1872)

/В рукописи книга поначалу называлась «Греческая веселость»./;

«О пользе и вреде истории для жизни» (1874);

«Шопенгауэр как воспитатель» (1874);

«Рихард Вагнер в Байрейте» (1875 — 1876);

«Человеческое, слишком человеческое: Книга для свободных умов» (1876—1878).

/ ■■ «Возникновение этой книги, — вспоминал Ницше в «Ессе Ното», — относится к неделям первых байрейтских фестшпилей; глубокая отчужденность от всего, что меня там окружало, есть одно из условий ее возникновения... В Клингенбрунне, глубоко затерянном в лесах Богемии, носил я в себе, как болезнь, свою меланхолию и презрение к немцам и вписывал время от времени в свою записную книжку под общим названием «Сошник» тезисы, сплошные *жесткие* психологемы». Общественное мнение об этой книге было в диапазоне от «Державная книга, увеличившая независимость в мире» (Яков Буркхардт) до «Перед нами печальное свидетельство болезни. Все эти афоризмы просто ничтожны в интеллектуальном отношении и весьма прискорбны в отношении моральном» (Козима Вагнер).■■ /;

«*Утренняя заря*» (1881);

«*Так говорил Заратустра: Книга для всех и ни для кого*»* (1881 — 1885)

/ Ницшеанский Заратустра — пророк вечного возвращения, сверхчеловек, сокрушитель скрижалей всех существующих моральных ценностей — не имеет ничего общего с деятелем иранской религии (VII — VI века до н. э.), создавшим свое учение о вечной борьбе доброго и злого начал (Ахурамазда и Анхра-Майныю). /;

«*Весёлая наука*» (1882);

«*Злая мудрость: Афоризмы и изречения*» (1882—1885)

/ Варианты названия этой книги были такими:

«*Молчаливая речь*»;

«*В открытом море*»;

«*По ту сторону добра и зла*». /;

«*По ту сторону добра и зла*» (1886);

«*Генеалогия морали*» (1887);

«*Сумерки кумиров*» (1888);**

«*Ессе Ното*» (1888);

* Данное название дается также некоторыми источниками в другом переводе: «Книга для всех и для каждого». (Примеч. ред.)

** В некоторых переводах это название звучит еще и так: «Помрачение кумиров». (Примеч. ред.)

«Странник и его тень»;
«Несвоевременные размышления»;
«Антихристианин»;
«Воля к власти» (произведение издано в 1906 г. уже после смерти философа сестрой Ницше Элизабет Фёрстер-Ницше).

/Для самого Ницше такого сочинения, как «Воля к власти», никогда не существовало. В 1888 г. у него сложился план главной книги «Переоценка всех ценностей».

Ее состав предполагался таким:

Книга первая. Антихристианин: опыт критики христианства.

Книга вторая. Вольный дух: критика философии как нигилистического движения.

Книга третья. Имморалист: книга невежества самого фатального рода, повседневной морали.

Книга четвертая. Дионис: философия вечного возвращения. Из всего замысла успела появиться только книга «Антихристианин». /

- В начале 1889 г. у Ницше помутился разум, а через год с небольшим его не стало.
- Но категории, которые Ницше ввел в философию, живут и поныне:

«Воля к власти»;

«Переоценка всех ценностей»;

«Новая порода людей»;

«Белокурые бестии»;

«Сверхчеловек (der Übermensch)».

СУДЬБА

- ✓ В произведениях Ницше сильна эквилибристика мысли, ему нравятся эпатаж и хитроумные конструкции. Крученые ходы сознания, как у Ларошфуко («Кто полагает, что любит свою любовницу из любви к ней самой, тот глубоко заблуждается»), пленяют его, побуждают и самому «быть на уровне» и «не снижать планку».

◆ Не угодно ли — так вопрошал я себя с беспокойством — долгому предложению моей жизни быть прочитанным

в обратном порядке? В прямом порядке, без сомнения, читал я лишь «слова, лишенные смысла».

♦ «Ты страшен мне, ибо тебя берет смех там, где мы боимся за жизнь, — ты выглядишь, как некто, кто уверен в своей жизни». — «В своей жизни или в своей смерти», — сказал Заратустра.

♦ Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины.

✓ Ницше острее других чувствовал жизнь. Бытие в сообществе людей причиняло ему боль, страдания, невыносимость.

♦ Клопоча от гнева, мне приходилось любить там, где следовало бы презирать.

✓ ① Ницше вполне укладывается в схему «философа многих советов». Большая часть его текстов — сплошные рекомендации, поучения, наставления. Одноплановости и ровности в них нет, но вот постоянство нацеленности в некую, только ему видимую сущность, есть. ①

Индивидуальные манера и стиль Ницше сквозят в каждом наугад взятом примере.

♦ **Искусство извиняться.** Когда кто-то извиняется перед нами, он должен это делать весьма умело: иначе мы сами предстаем себе виновными и испытываем неприятное чувство.

♦ Берегись кошек: они никогда не отдадут, они даже не оплачивают — они лишь ощериваются и мурлычут при этом.

♦ Угрызения совести — такая же глупость, как попытка собаки разгрызть камень.

♦ Берегись предостерегать бесстрашного! Ради самого предостережения он ринется еще в каждую пропасть.

✓ ① Ницше — единственный из философов, который загадочен в своей ясности и не понятен до понятности. Он светел своей темнотой и непрерывно ранит в своей защищенности. ①

♦ Веселая наука

Книга? Нет: что толку в книгах!

В этих шлаках мертвых мигов!

Только прошлое их сводня:

Здесь же вечное Сегодня.

Книга? Нет: что толку в книгах!
В саркофагах мертвых мигов!
Это — воля, обещанье,
Это — всех мостов сжиганье,
Бриз внезапный, снятый якорь,
Шум колес, одна атака;
В белом дыме пушек грохот,
Чудища морского хохот!

(Пер. К. А. Свасьяна)

- ◆ Истина требует, подобно всем женщинам, чтобы ее любовник стал ради нее лгуном.
- ◆ В стадах нет ничего хорошего, даже когда они бегут вслед за тобою.
- ✓ Когда престарелого автора лучшей Истории новой философии Куно Фишера спрашивали, почему он не отводит в своих трудах места Фридриху Ницше, то знаменитый гейдельбергский профессор с презрением всегда отвечал: «Ницше — *просто* сумасшедший».
- ✓ ● Я бы определил бы Ницше как **философа трагического одиночества**, когда неприкаянная душа талантливого человека не вписывается ни в то время, в которое он живет, ни в то окружение, с которым он общается. Привычное к переламыванию и перемалыванию людей общество хотело так же поступить и с Фридрихом Ницше. Но этот особенно независимый и гордый дух не поддался. Сначала он скрежетал и сопротивлялся, а потом просто предпочел **свернуться в себя**, дождавшись лучших времен. Ницше сошел не с ума, а с дистанции, чтобы не толкаться с современниками, не суетиться ни в их будничных заморочках, ни в их упрощающей всё заданности. Случай с Ницше — это пример особого анабиоза, когда человек контролируемо затеял без сна «проснуться» среди нас, могущих уже его принять, понять и не противоречить. ●
- ✓ **Любимые афоризмы Фридриха Ницше:**
 - * «Презирайте свою презренность» (*Св. Бернард*)
 - * «Знайте, что нет ничего более обычного, чем сделать зло из удовольствия делать его» (*П. Мериме*)
 - * «Пусть свершится истина, хоть бы и погибла б жизнь» (*лат. поговорка*).

- * «Не надейтесь от осадка жизни получить то, что не могло дать первое страстное движение» (*Джон Драйден*).
- * «Владыка, чье прорицалище существует в Дельфах, не говорит и не скрывает, но означает» (*Гераклит*).
- * «Когда чернь принимается рассуждать, все потеряно» (*фр. поговорка*).
- * «Ничто из человеческих дел не заслуживает особых страданий» (*Платон*).
- * «Все мудрецы всех времен, улыбаясь и кивая, общим хором возглашают: безумно ждать исправления безумцев! Дети мудрости, считайте же глупцов именно глупцами, как и надлежит» (*И. В. Гете*).



Фридрих Ницше.
Фотография 1892 г.

- * «Во-первых, писать, во-вторых, философствовать» (*лат. поговорка*).
- * «Историк — это пророк, обращенный вспять» (*Ф. Шлегель*).
- * «Монархи причисляются к выскочкам» (*Шарль Талейран*).
- * «Каждому свое» (*лат. поговорка*).
- * «Жизнь — женщина» (*лат. поговорка*).

- * «Он умеет наслаждаться жизнью, как рассудительный ленивец, высиживающий свои удовольствия» (*Герцог Неверский*).
- * «Лучшее, что мы имеем от истории, — возбуждаемый ею энтузиазм» (*И. В. Гете*).
- * «Памятник вечнее меди» (*Гораций*).
- * «Нравственно хороший человек четырехуголен» (*Аристотель*).
- * «Государь — первый слуга и первое должностное лицо государства» (*Фридрих Великий*).
- * «Чтобы быть хорошим философом, нужно быть сухим, ясным, свободным от иллюзий. Банкир, которому повезло, отчасти обладает характером, приспособленным к тому, чтобы делать открытия в философии, т. е. видеть ясно то, что есть» (*Стендаль*).
- * «Я следую самому себе» (*исп. поговорка*).
- * «Г-жу Санд я нахожу гораздо более правдивой, чем Бальзака. У нее страсти обобщены... через триста лет читать будут г-жу Санд» (*Э. Ренан*).
- * «Недостойно великих сердец — обнаруживать испытываемое ими беспокойство» (*фр. поговорка*).
- * «Или дети, или книги» (*лат. поговорка*).
- * «Души крепнут, доблесть расцветает от раны» (*Марк Фурий Бибакул*).
- * «Верьте эксперту» (*лат. поговорка*).
- * «Мы а priori познаем в вещах лишь то, что вложено в них нами самими» (*И. Кант*).
- * «Разум и наука — продукты человечества; но желать их сделать непосредственным достоянием народа и получить их через народ — утопия» (*Э. Ренан*).
- * «Я всегда ненавистно» (*Б. Паскаль*).
- * «Ибо от избытка сердца говорят уста» (*Матф. 12, 34*).
- * «Мерзкое суеверие» (*Тацит*).
- * «Был я всегда терпелив ко многим вещам неприятным, Тяготы твердо сносил, верный завету богов. Только четыре предмета мне гаже змеи ядовитой: Дым табачный, клопы, запах чесночный и †».

(*И. В. Гете*)
- * «Хорошая женщина и плохая женщина требуют кнута» (*Сакетти*).
- * «Мы склонны к запретному» (*Овидий*).

- * «Различие порождает ненависть» (*фр. поговорка*).
- * «Я сам ближе всего к себе» (*Теренций*).
- * «Подчинись закону, который ты сам издал» (*лат. поговорка*).
- * «Чтобы поглупеть, начните верить» (*Б. Паскаль*).
- * «Большинство не довольствуется философией, большинству нужна святость» (*Э. Ренан*).
- * «Любовь — наиболее эгоистическое из всех чувств и, следовательно, наименее великодушное, когда оно ранено» (*фр. поговорка*).
- * «Гений — это невроз» (*Моро де Тур*).

УЧЕНИЕ

- ◆ Сообщу вам тайну: во-первых, вряд ли боги *философствуют*, а во-вторых, люди неохотно верят в богов.
- ◆ **Наследственный недостаток философов.** Философы все без исключения страдали до сих пор одинаковым недостатком: они мыслили неисторично, противоисторично. Они исходили из человека, которого являло им их время и окружение, охотнее всего их самих себя и даже только из себя; им казалось, что уже путем самоанализа они достигают цели — знания «человека». Их собственные оценочные чувства (или оценочные чувства их касты, расы, религии, здоровья) принимались ими за абсолютные мерки ценности; ничто не было им более чуждо и противно, чем бескорыстие собственно *научной* совести, которая наслаждается своей свободой в благожелательном презрении к личности, каждой личности, каждой личностной перспективе. Эти философы были прежде всего личностями; каждый из них даже ощущал про себя некое «Я есмь личность», словно бы некую *aeterna veritas* человека, «человека-в-себе». Из подобной неисторической оптики, развитой ими в отношении самих себя, проистекает величайшее множество их заблуждений — прежде всего основное заблуждение, сводящееся к тому, чтобы всюду искать «сущее», всюду предполагать сущее, всюду умалять значимость изменения, становления, противоречия. Даже под гнетом культуры, одержимой историзмом (каковой была немецкая культура на рубеже столетий), философам свойственно было выставлять себя по меньшей мере как *цель* всего становления, на которую с

самого начала ориентируется все-что-ни-есть: комедия, разыгранная в свое время Гегелем перед замершей от удивления Европой.

♦ **Оценка незаметных истин.** Признаком более сильного и гордого вкуса (как бы легко этот признак ни производил обратного впечатления) является способность оценивать маленькие, незаметные, осторожные, найденные посредством строгого метода истины выше, чем те широкие, парящие, обволакивающие обобщения, к которым тяготеет потребность религиозной и художественной эпохи. Люди, отстаившие по части интеллектуальной дисциплины или *вынужденные* в силу солидных оснований чураться ее (случай женщин), относятся к названным мелким достоверностям с какой-то усмешкой на устах. Художнику, например, *ничего не говорит* какое-либо физиологическое открытие; это даст ему основание думать о нем с пренебрежением. Такие отстающие, которые при случае разыгрывают из себя судей (наша эпоха явила по этой части три примера большого стиля: Виктор Гюго для Франции, Карлейль для Англии, Рихард Вагнер для Германии), говорят об этом с иронией.

♦ **О познании страдальца.** Состояние больных людей, которые долго и ужасно мучились своими страданиями и рассудок которых тем не менее остается незамутненным, представляет некоторый интерес для познания — не говоря уже ничего о тех интеллектуальных благодеяниях, которые приносят с собою каждое глубокое одиночество, каждая внезапная и дозволенная свобода от всякого рода обязанностей и привычек. Глубоко страдающий человек с ужасающим хладнокровием разглядывает вещи *из* своего состояния: перед взором его исчезают все те мелкие лживые фокусы, в которых по обыкновению плещутся вещи, когда на них смотрят глазами здорового человека; даже сам он предстает себе без пуха и цвета. Допустим, что прежде он жил какими-то опасными причудами; это высшее отрезвление болью служит средством — и, должно быть, единственным средством — вырвать его из них. (Возможно, что с этим столкнулся основатель христианства на кресте: ибо горчайшие из всех слов: «Боже мой, для чего Ты Меня оставил!», взятые во всей глубине, как и следует их брать, содержат

свидетельство общего разочарования и просветления относительно грезы своей жизни; в момент высочайшей муки он стал ясновидящим в отношении самого себя, подобно тому, как рассказывает это поэт о бедном умирающем Дон-Кихоте). Чудовищное напряжение интеллекта, сияющего тягаться с болью, приводит к тому, что всё, на что он теперь взирает, освещается новым светом, и несказанная привлекательность, которую вызывают к жизни всё новые освещения, бывает зачастую достаточно сильна, чтобы дать отпор всем приманкам самоубийства и явить последующую жизнь страдальца как нечто в высшей степени желанное. С презрением вспоминает он уютный, теплый мир, окутанный туманами, в котором бродит ничтоже сумняшеся здоровый человек; с презрением вспоминает он благороднейшие и любимейшие иллюзии, которыми он прежде водил себя самого за нос; ему доставляет какое-то наслаждение накликать себе это презрение как бы из самой преисподней и причинить таким образом душе горчайшее страдание: этим противовесом удерживает он физическую боль — он чувствует, что нынче ему необходим как раз этот противовес! В жутком ясновидении своего существа восклицает он самому себе: «Будь однажды собственным своим обвинителем и палачом, прими однажды страдания как предписанную тебе тобою же кару! Наслаждайся своим преимуществом судьбы; больше: наслаждайся своим соизволением, своим тираническим произволом! Будь выше своей жизни, как и своего страдания; смотри свысока на всё, что имеет основания, и на всё бездонное!». Наша гордость встает на дыбы, как никогда еще; на ее стороне против такого тирана, как боль, и против всех нашептываний боли, которыми эта последняя силится выудить из нас свидетельство, порочающее жизнь, несравненная привлекательность задачи — взять против тирана как раз *сторону* жизни. В этом состоянии злобно обороняешься от всякого пессимизма, дабы он не предстал *следствием* нашего состояния и не унизил нас, как побежденных. Равным образом никогда еще соблазн проявлять справедливость в суждениях не достигал такой силы, как нынче, ибо нынче в этом триумфе, празднуемом над нами самими и над раздражительнейшим из всех состояний, простительной выглядела бы любая

несправедливость суждения; но мы не хотим приносить извинений — как раз теперь хотим мы показать, что можем существовать «без вины». Мы охвачены форменной судорогой спеси. — И вот опускаются первые сумерки смягчения, выздоровления — почти тотчас же начинаем мы обороняться от засилья нашей спеси: мы именуем себя в ней глупыми и тщеславными — словно бы нам довелось пережить нечто, что было уникальным! Мы унижаем без малейшей благодарности всесильную гордость, с помощью которой нам только и удавалось сносить боль, и запальчиво требуем противоядия от гордости: нам хочется отчужденности и обезличенности, после того как боль слишком насильственным и продолжительным образом вколачивала нас в *личное*. «Долой, долой эту гордость! — восклицаем мы. Она была болезнью и к тому же судорогой!». Мы снова смотрим на людей и природу более требовательным взором: с щемящей душу улыбкой вспоминаем мы, что знаем теперь о них кое-что по-новому и иначе, чем прежде; что упала некая завеса, — но это так *улаживает* нас: снова видеть *приглушенные огоньки жизни* и выходить из ужасающей трезвой ясности, в которой мы, будучи страдальцами, видели и проникали взором вещи. Мы не гневемся, если снова начинают разыгрываться фокусы здоровья, — мы всматриваемся во всё, точно преображенные, кротко и всё еще устало. В этом состоянии нельзя без слез слушать музыку.

- ◆ Я не хочу *повторения* жизни. Как вынес я ее? Трудясь. Что дает мне выдержать ее вид? Взгляд на сверхчеловека, *утверждающего* жизнь. Я и сам пытался утверждать ее — ах!
- ◆ Мне боязно среди людей; меня мучила жажда среди людей, и ничто не утоляло меня. Тогда ушел я в одиночество и сотворил сверхчеловека. И, сотворив его, я разглядел ему великую завесу становления и дал полдню светиться вокруг него.
- ◆ Новая мысль восхищает меня, я все больше отучаюсь от ощущения, что она исходит от меня или от кого-то другого. Как глупо — быть здесь ревнивым! И все-таки какая ужасная история помрачения истинного у этой ревности!
- ◆ «*Не укради!*» — Но где прекращается собственность? Мысль, импульс, точка зрения, выражение образа, вид здания, че-

ловека — разве всё это не собственность? А мы непрерывно обкрадываем всё. Мы уворовываем в себя все вещи и все солнца — всё существующее, всё некогда случившееся *продолжаем* мы лелеять *для самих себя*. Мы не думаем при этом о других; каждый *отдельный* индивид заботится о том, что он может урвать для самого себя.

◆ Честность в отношении собственности вынуждает нас сказать, что и сами мы целиком наворованы и что ощущения наши слишком притуплены и грубы по этой части. Человеку свойственна ложная гордость в отношении материала и красок, но он может *написать новую картину*, к восторгу знатоков, — тем самым он *снова заглаживает свое посягание на имущество мира*. — Понимать наше существование так, что мы должны свершить для него нечто, — понимать его *не как вину*, а как аванс и задолженность! — Мы питаемся всем; справедливость требует, чтобы мы возвращали нечто на пропитание всем.

◆ *Чистое и чистая совесть*. Вы полагаете, всё чистое во все времена имело чистую совесть? — Наука — стало быть, непременно нечто очень чистое — вступила в мир без таковой и начисто лишенная всякого пафоса, скорее, украдкой, окольными путями, шествуя, точно некая преступница, с покрытой или принаряженной головой и всегда, по меньшей мере, с *настроением* контрабандистки. Чистой совести предшествует в качестве предварительной ступени — не противоположности — дурная совесть: ибо всё чистое было однажды новым, следовательно, необычным, противящимся нравам, *безнравственным* и подтачивало сердце счастливого открывателя, как червь.

◆ *Весь этот мир*, сотворенный нами, о, как мы его *любили*! Все чувства, испытываемые поэтами к их собственному творению, — ничто по сравнению с неисчислимыми излияниями счастья, которое охватывало людей в незапамятные времена, когда они *открывали* природу.

◆ *Человечность*. Мы не считаем животных моральными существами. Но думаете ли вы, что животные считают нас моральными существами? — Умей животное говорить, оно сказало бы: «Человечность — это предрассудок, которым, по крайней мере, не страдаем мы, животные».

◆ Поскольку нынче больше, чем когда-либо, значимы индивидуальные масштабы, то и *несправедливости* стало больше, чем когда-либо. Историческое чувство — моральное противодействие. Причинение зла суждениями нынче величайшее из существующих еще зверств. *Всеобщей* морали уже не существует; по меньшей мере, она становится всё слабее, как и вера в нее среди мыслителей.

Нет недостатка в людях, живущих *без* морали, так как они больше не нуждаются в ней (подобно тем, кто живет без врача, лекарств, мучительных процедур, так как они здоровы и обладают соответствующими привычками). Жить морально сознательно — предполагает сплошную ошибочность вкупе с ее гневом и последствиями, и это значит: мы не нашли еще условий нашего существования и всё еще ищем их. Для индивида, *поскольку он не принадлежит к категории мыслителей*, мораль представляет *ограниченный* интерес: покуда у него нехорошо, нестабильно на душе, он размышляет над причинами и ищет моральных причин, так как прочие ему, малообразованному, неизвестны. *Втиснуть* ошибки своего телосложения, своего характера в моральность, взвалить на себя *вину* за свою болезнь — это морально.

◆ Мораль есть занятие тех, кто *не в состоянии* отделаться от нее: оттого она принадлежит в их случае к «условиям существования». Условий существования нельзя опровергнуть: их можно только — *не иметь*.

◆ Как только мы намереваемся определить цель человека, мы оговариваем само понятие человека. Но существуют лишь индивиды; из известных *до сих пор* можно лишь таким путем извлечь понятие, что при этом отдирается *индивидуальное*, — стало быть, установить цель человека значило бы: задержать индивидов в их индивидуальном становлении и велеть им — стать *общими*. Не надлежало ли, напротив, каждому индивиду, благодаря своим индивидуальнейшим признакам, стать попыткой достижения *более высокого вида, чем человек*? Моей моралью было бы: всё больше лишать человека его общего характера и специализировать его, делать его на одну степень непонятнее для других (и тем самым делать его предметом переживаний, удивления, поучения для них).

♦ Поскольку еще *приходится* действовать, стало быть, поскольку еще *повелевается*, синтез (снятие морального человека) остается неосуществленным. *Не иначе могут порывы повелевающего разума проваться сквозь цель, как наслаждаясь собою в деяниях. Сама воля должна быть преодолена — чувство свободы творится уже не из противоположности принуждения! Становиться природой!*

♦ **Мирская справедливость.** Можно перевернуть мирскую справедливость вверх дном — с помощью учения о полной безответственности и безвинности каждого; и попытка в этом направлении была уже сделана как раз на почве противоположного учения о полной ответственности и виновности каждого. То был основатель христианства, кому хотелось упразднить мирскую справедливость и устранить из мира суд и кару. Ибо он понимал всякую вину как «грех», т. е. как преступление перед *Богом*, а не как преступление перед миром; с другой стороны, он считал каждого человека по последней мерке и почти во всяком отношении грешником. Но виновные не должны быть судьями себе подобных: так решила его справедливость. *Все* судьи, представляющие мирскую справедливость, были, таким образом, в его глазах столь же виновными, как и осужденные ими, а выражение невинности в их лицах казалось ему верхом ханжества и фарисейства. Кроме того, он смотрел на мотивы поступков, а не на следствия, и считал достаточно дальновидной одну-единственную оценку мотивов: самого себя (или, как он выражался: Бога).

♦ До сих пор существовали прославатели человека и очернители его, те и другие, однако, с моральной точки зрения. *Ларошфуко* и христиане находили человека *безобразным*: но это есть моральное суждение, а другого попросту не *знали*. Мы причисляем его к природе, которая ни зла, ни добра, и находим его не всегда безобразным там, где к нему чувствовали отвращение те моралисты, и не всегда прекрасным там, где они его прославляли. Что есть здесь прекрасное и безобразное? Нечто усложненно-целесообразное, что сбивает с пути и обводит вокруг пальца наш рассудок, при всем том какое-то фокусничество; дальше — способность выражения и сила самого выражения. Большая кривая его

планов и идеалов. Его история. Его манера опьянять себя. Это животное — сущая учеба без конца. В природе нет грязного пятна, лишь мы наложили его на нее. Слишком поверхностно трактовали мы эту «грязь». Нужны глаза нидерландцев, чтобы и здесь открыть красоту.

◆ **Стремление отличиться.** Стремление отличиться всегда нацелено на ближнего и ищет узнать, каково у него в душе, — но сочувствие и осведомленность, необходимые для удовлетворения этого влечения, крайне далеки от того, чтобы быть безобидными, сострадательными или благосклонными. Мы хотим, напротив, ощутить или догадаться, как именно ближний *сносит* нас во внешнем или внутреннем плане: каким образом он теряет власть над собою и поддается впечатлению, которое производит на него наша рука или просто наш взгляд; и даже в том случае, когда стремящийся отличиться производит и хотел произвести радостное, окрыляющее или просветляющее впечатление, он все-таки наслаждается этим успехом не в той мере, в какой он порадовал, окрылил, развеселил ближнего, а в какой он *запечатлел* себя в чужой душе, изменил ее формы и возобладал ею по собственному усмотрению. Стремление отличиться есть стремление возобладать ближним, все равно — косвенным путем и только в чувствах или даже в грезах. Существует целая градация этого тайно взыскиваемого возобладания, и ее полный перечень почти совпал бы с историей культуры, от первых карикатурных еще ростков варварства до гримасы переутонченности и болезненной идеальности. Стремление отличиться причиняет *ближнему* — чтобы огласить лишь некоторые ступени этой затяжной лестницы — муки, потом удары, потом ужас, потом полное страха удивление, потом изумление, потом зависть, потом восторг, потом окрыленность, потом радость, потом веселость, потом смех, потом высмеяние, потом издевка, потом надругательство, потом удары без разбора, потом истязание: здесь, на самом конце лестницы, стоит *аскет* и мученик; он испытывает высочайшее наслаждение от того, что сам несет как следствие своего влечения отличиться то именно, что его отражение, *варвар*, причиняет другому на начальных ступенях лестницы, желая отличиться от него и перед ним. Триумф аскета над самим собою, его обращенный при этом

вовнутрь взор, который видит человека расщепленным на страдальца и соглядатая и впредь всматривается только во внешний мир, словно для того, чтобы собирать в нем хвост для собственного костра, эта последняя трагедия стремления отличиться с одним лишь действующим лицом, обугливающимся в самом себе, — вот достойный финал, загаданный самим началом: оба раза неизречимое счастье при *виде пыток*! В самом деле, должно быть, нигде на земле не было большего счастья, помысленного как полнокровное чувство власти, чем в душах суеверных аскетов. Брамины выражают это в истории короля Вишвамитры, который тысячами *тщаниями в покаянии* выработал такую силу, что вознамерился воздвигнуть новое *небо*. Мне сдается, что во всем этом роде внутренних переживаний мы представляем собою нынче грубых новичков и бредущих на ощупь отгадчиков загадок: четырьмя тысячелетиями раньше были лучше осведомлены об этих нечестивых утонченностях самонаслаждения. Должно быть, и сотворение мира представлялось какому-то индийскому мечтателю некой аскетической процедурой, осуществленной Богом над самим собой! Должно быть, и сам Бог хотел загнать себя в приведенную в движение природу как в некий аппарат для пыток, дабы вдвойне ощутить при этом свое блаженство и свою власть! И если допустить, что это был как раз Бог любви: какое наслаждение для такого Бога — сотворить *страждущих* людей, истинно по-божески и по-сверхчеловечески претерпевать неумную муку при виде их и тиранизировать таким образом самого себя! И допустив даже, что это был не только Бог любви, но и Бог святости и безгреховности: какие подозрения о горячечных бредах божественного аскета должны шевелиться в душе, если он сотворяет грехи и грешников и вечное осуждение и уготавливает под небом своим и престолом чудовищное место вечной юдоли и вечных стенаний! — Нельзя вполне исключить того, что и души Павла, Данте, Кальвина и им подобных проникли однажды в жуткие тайны подобного сладострастия власти; и можно при виде этих душ задаться вопросом: да, действительно ли круг в стремлении отличиться в конце концов замыкается на аскете? Нельзя ли было бы еще раз пробежать этот круг с самого начала с твердым

настроением аскета и в то же время сострадающего Бога? И так, причинять другим боль, чтобы тем самым причинять боль себе, чтобы через это снова торжествовать над собой и своим состраданием и блаженствовать от предельной власти! — Прошу прощения за несдержанность в осмыслении всего, что могло оказаться возможным в душевной несдержанности властолюбивой прихоти на земле!

◆ **Мораль добровольного страдания.** Какое наслаждение оказывается в период войны наиболее сильным у людей, принадлежащих к тем маленьким, постоянно подвергающимся опасности общинам, где царит строжайшая нравственность? Стало быть, у сильных, мстительных, враждебных, коварных, подозрительных, готовых к самому страшному и очерстевших в лишениях и нравственности душ? Наслаждение *жестокостью*: и это столь же верно, сколь верно и то, что в этих состояниях к добродетели такой души причисляется также изобретательность и ненасытимость по части жестокости. Община услаждается содеянными жестокостями и стряхивает с себя на время угрюмость постоянного страха и осторожности. Жестокость принадлежит к древнейшему праздничному настроению человечества. Следовательно, и *богов* воображают себе услаждающимися и празднично настроенными там, где их потчуют зрелищем жестокости, — таким образом вкрадывается в мир представление о том, что *добровольное страдание*, свободно поволенная мука есть нечто вполне осмысленное и значимое. Постепенно обычай формирует в общине практику, сообразную этому представлению; отныне всякий избыток хорошего самочувствия возбуждает подозрение, а все тяжело болезненные состояния — уверенность; говорят себе: боги, должно быть, взирают на нас немилостиво из-за счастья и милостиво из-за нашего страдания — отнюдь не сострадательно! Ибо страдание считается чем-то презренным и недостойным сильной, внушающей страх души, — но они взирают на нас милостиво, поскольку развлекаются тем самым и «делаются беспечными»: ибо жестокий наслаждается сильнейшим зудом чувства власти. Так, в понятие «самого нравственного человека» общины входит добродетель частого страдания, лишения, сурового образа жизни, жестокого самоистязания — повторим это снова и снова — *не* как средство

дисциплины, самообладания, взыскания индивидуального счастья, а как добродетель, которая создает общине хорошую репутацию у злых богов и точно фимиам некоей непрерывной примирительной жертвы воскуривается им на алтаре. Все духовные водители народов, которые были в состоянии оживить нечто в косном, ужасном омуте их нравов, нуждались, кроме безумия, в добровольной муке, дабы обрести веру, — чаще всего и прежде всего, как правило, веру в самих себя! Чем больше ступал их дух по новым стезям и, стало быть, мучился угрызениями совести и страхами, чем жесточе бешенствовали они против собственной плоти, собственных прихотей и собственного здоровья, — как бы предлагая божеству, озлобленному, должно быть, из-за запущенных и подавленных обычаев и новых целей, некий суррогат удовольствия. И не вздумайте слишком быстро поверить в то, что нынче мы полностью избавились от подобной логики чувства! Пусть наиболее героические души посовещаются с собою по этому поводу! Каждый крохотный шаг на ниве свободного мышления, лично выпестованной жизни с давних пор завоевывался духовными и телесными муками: не только продвижение вперед, нет! прежде всего сама поступь, движение, изменение нуждались в неисчислимых мучениках — в долгой веренице нащупывающих пути и основополагающих тысячелетий, о которых, разумеется, и не думают, разлагольствуя, как водится, о «мировой истории», этом смехотворном маленьком отрезке человеческого существования; но даже и в этой так называемой мировой истории, которая, в сущности, есть шум вокруг последних новостей, не существует более значительной темы, чем древнейшая трагедия мучеников, *тишавшихся сдвинуть с места болото*. Ничто не куплено более дорогой ценой, чем та малость человеческого разума и чувства свободы, которая нынче составляет нашу гордость. Но именно эта гордость и лишает нас почти возможности сопереживать чудовищный временной отрезок «нравственности нравов», которая предлежит мировой истории как *действительная и решающая основная история, сформировавшая характер человечества*: когда действительными были — страдание как добродетель, жестокость как добродетель, при творство как добродетель, месть как добродетель, отрицание

разума как добродетель, напротив, хорошее самочувствие как опасность, любознательность как опасность, радость как опасность, сострадание как опасность, жалость со стороны как оскорбление, труд как оскорбление, безумие как дар Божий, изменение как нечто безнравственное и чреватое погибелью! — Вы думаете, все это изменилось и человечество должно было сменить свой характер? О, вы, знатоки человеков, узнайте-ка получше самих себя!

◆ **Идея Фауста.** Маленькая белошвейка поддается соблазну и делается несчастной; злодей — великий ученый, имеющий за плечами все четыре факультета. Может ли, однако, здесь обойтись без нечистого? Нет, конечно, нет! Без подмоги всамделишного черта великому ученому не удалось бы сие осуществить. — Неужели этому и в самом деле суждено было стать величайшей немецкой «трагической мыслью», как принято говорить среди немцев? — Для Гете, однако, названная мысль была еще и слишком страшна; его кроткое сердце не могло не поместить маленькую белошвейку, «добрую душу, лишь однажды забывшуюся», после ее насильственной смерти в окружении святых; и даже великого ученого путем злой шутки, сыгранной с чертом в решающий момент, доставил он в нужное время на небо, его, «доброе малое» с «темным порывом», — там, на небеси, любящие наново обретают друг друга. — Гете сказал однажды, что для подлинно трагического природа была еще слишком примирительной.

◆ **Намек моралистам.** Наши музыканты сделали великое открытие: в их искусстве возможно и *безобразие, вызывающее интерес*! Так, точно опьяненные, бросаются они в этот разверзшийся океан безобразного, и никогда еще делать музыку не было столь легким занятием. Лишь теперь приобрели общий темный фон, на котором и крохотная полоска света прекрасной музыки получает блеск золота и изумруда; лишь теперь осмеливаются разъярять и возмущать слушателя, держать его в постоянном напряжении, *чтобы* после, погружая его на мгновение в покой, даровать ему чувство блаженства, — от чего выигрывает только его оценка музыки. Открыли контраст: только теперь возможны — и общедоступны — сильнейшие эффекты: никто не спрашивает

нынче о хорошей музыке. Но вам впору поторопиться! Каждому искусству, которому удалось это открытие, отведен лишь короткий срок. — О, если бы у наших мыслителей были уши, чтобы вслушаться в души наших музыкантов с помощью их музыки! Сколь долго приходится ждать, пока снова обнаружится повод поймать с поличным искренних людей на месте преступления и в полном неведении относительно содеянного! Ибо нашим музыкантам недостает и малейшего чутья относительно того, что они перелагают в музыку свою собственную историю, историю обезображивания души. Нёкогда хороший музыкант едва ли не ради своего искусства должен был стать хорошим человеком. — А нынче!

◆ *Понятие нравственности нравов.* Сравнительно с образом жизни, свойственным человечеству на протяжении тысячелетий, мы, нынешние люди, живем в весьма безнравственное время: сила нравов удивительно ослабла, а чувство нравственности настолько истончилось и возвысилось, что в равной мере может быть названо чем-то улетающим. Оттого нам, запоздалым потомкам, все труднее вникать в происхождение морали; наше понимание, буде мы вопреки всему обретаем его, прилипает к языку и не хочет оторваться от него: настолько грубо оно звучит! Или — настолько оно кажется клеветническим наветом на нравственность! Так, к примеру, обстоит с *основным тезисом*: нравственность есть не что иное (стало быть, *не больше!*), как послушание перед нравами, какого бы рода они ни были; нравы же суть *обычный* способ действия и оценки. В вещах, где не повелевает традиция, нет никакой нравственности, и чем менее обусловлена жизнь традицией, тем больше суживается круг нравственности. Свободный человек безнравствен, поскольку он *хочет* во всем зависеть от самого себя, а не от какой-либо традиции: во всех первоначальных состояниях человечества «злое» совпадает с «индивидуальным», «свободным», «произвольным», «необычным», «непредусмотренным», «не поддающимся исчислению». Масштаб таких состояний всегда оставался в силе: если поступок совершался *не* потому, что так велела традиция, но из других мотивов (скажем, в личных корыстных

целях), и даже из мотивов, которые в свое время сами положили начало традиции, то он назывался безнравственным и выглядел таковым даже для совершившего его, ибо в основе его лежало отнюдь не послушание перед традицией. Что такое традиция? Высший авторитет, которому повинуются не оттого, что он велит нам *полезное*, а оттого, что он вообще *велит*. — Чем же отличается это чувство, испытываемое перед традицией, от чувства страха вообще? Страх, наличествующий здесь, есть страх перед высшим интеллектом, который здесь повелевает, — перед непонятной, неопределенной силой, перед чем-то большим, чем просто личное, — таков момент *суеверия* в этом страхе. — Поначалу всё воспитание и попечение о здоровье, брак, врачевание, полеводство, война, речь и молчание, общение принадлежали совокупно с богами к области нравственного: последняя требовала, чтобы соблюдали предписания, *не думая о себе* как об индивидах. Итак, поначалу всё было нравами, и тот, кто хотел возвыситься над ними, должен был стать законодателем и врачевателем, некоего рода полубогом: это значит, он должен был *делать нравы* — страшное, опасное для жизни занятие! — Кто же оказывается наиболее нравственным? *Во-первых*, тот, кто чаще всего исполняет закон, — стало быть, подобно браминам, всегда и везде, ежемгновенно блюдет сознание закона, постоянно изобретая ситуации, где можно было бы исполнять его. *Во-вторых*, тот, кто исполняет его и в труднейших случаях. Наиболее нравственным оказывается тот, кто приносит больше всего *жертв* нравам: какие же жертвы суть величайшие? Сообразно ответу на этот вопрос возникают многие и различные морали; но важнейшим различием остается всё же то, которое отделяет моральность *чаще всего* исполняемую от моральности *труднее всего* исполняемой. Не будем обманываться на счет той морали, которая считает признаком нравственности труднейшее исполнение нравов! Самопреодоление стимулируется *не* сулимыми им индивиду полезными последствиями, но чтобы, вопреки всякой индивидуальной прихоти и выгоде, вызвать к жизни господствующий нрав, традицию: отдельная особь должна жертвовать собою — этого требует нравственность нравов! — Напротив, моралисты, которые, идя путем *Сократа*, рекомендуют

индивиду мораль самообладания и воздержания, как его доподлиннейшую выгоду, как интимнейший ключ к личному счастью, *составляют сами исключение* — и если нам это предстоит иначе, то оттого, что мы воспитаны в атмосфере их затяжного воздействия: все они идут новым путем, сопровождаемые чрезвычайным неодобрением со стороны всех приверженцев нравственности нравов, — они отторгаются от общины, как безнравственные люди, и оказываются в глубочайшем смысле злыми. Таким предстал добродетельному римлянину старого закала каждый *христианин*, который «паки и паки пекся о своем *собственном* блаженстве», — именно злым. — Всюду, где существует община и, следовательно, некая нравственность нравов, царит также мысль, что кара за оскорбление нравов падает прежде всего на общину: та сверхъестественная кара, обнаружение и предел которой столь трудно поддаются пониманию и выводятся с таким суеверным страхом. Община может побуждать отдельного человека, чтобы он исправил ущерб, причиненный его поступком кому-либо или самой общине, она может также отомстить отдельному человеку за то, что из-за него, как бы вследствие его поступка, над общиной сгустились тучи божественной ярости, — но при всем том она воспринимает вину отдельного лица прежде всего как *свою* вину и несет за нее наказание, как *свое* наказание: «нравы стали мягче, раз возможны такие поступки» — так сетует в душе своей каждый. Всякое индивидуальное деяние, всякий индивидуальный образ мыслей вызывает трепет; не поддается никакому исчислению, что именно должны были выстрадать через это на протяжении всей истории более редкие, более изысканные, более самобытные умы, воспринимавшиеся всегда как злые и опасные и даже *сами воспринимавшие себя таковыми*. Под господством нравственности нравов оригинальность любого рода стяжала себе нечистую совесть; оттого и поныне небо, простирающееся над лучшими из людей, более мрачно, чем ему следовало быть.

♦ **Любовь.** Тончайшая уловка, которою христианство превосходит прочие религии, заключается в одном слове: оно говорит о *любви*. Так стало оно *лирической* религией (тогда как в обоих своих других творениях семитизм одарил мир

героически-эпическими религиями). В слове «любовь» заключено нечто столь многозначное, возбуждающее, напоминающее, обнадеживающее, что даже самый отставший в развитии интеллект и ледяное сердце ощущает еще нечто от сверкания этого слова. Умнейшая женщина и пошлейший мужчина думают при этом о сравнительно бескорыстнейших мгновениях их совместной жизни, даже если Эрос в их случае и не взлетел особенно высоко; и те бесчисленные люди, которые *недосчитываются* любви — от родителей, детей или возлюбленных, — в особенности же люди, обладающие сублимированной половой чувствительностью, нашли в христианстве свою находку.

◆ **Зло.** Исследуйте жизнь лучших и плодотворнейших людей и народов и спросите себя, может ли дерево, которому суждено гордо прорасти ввысь, избежать дурной погоды и бурь, и не принадлежат ли неблагоприятное стечение обстоятельств и сопротивление извне, всякого рода ненависть, ревность, своекорыстие, недоверие, суровость, алчность и насилие к *благоприятствующим* обстоятельствам, без которых едва ли возможен большой рост даже в добродетели? Яд, от которого гибнет слабая натура, есть для сильного усиление — и он даже не называет его ядом.

◆ Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и всё время кричал: «Я ишу Бога! Я ишу Бога!» — поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не верил в Бога, вокруг него раздался хохот. Он что, пропал? — сказал один. Он заблудился, как ребенок, — сказал другой. Или спрятался? Боится ли он нас? Пустился ли он в плавание? Эмигрировал? — так кричали и смеялись они вперемешку. Тогда безумец вбежал в толпу и пронзил их своим взглядом. «Где Бог? — воскликнул он. — Я хочу сказать вам это! *Мы его убили* — вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бес-

конечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли всё сильнее и больше ночь? Не приходится ли средь бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим еще шума могильщиков, погребаящих Бога? Разве не доносится до нас запах божественного тления? — и Боги истлевают! Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами — кто смое с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве величие этого дела не слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его? Никогда не было совершено дела более великого, и кто родится после нас, будет, благодаря этому деянию, принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история!» — Здесь замолчал безумный человек и снова стал глядеть на своих слушателей; молчали и они, удивленно глядя на него. Наконец, он бросил свой фонарь на землю, так что тот разбился вдребезги и погас. «Я пришел слишком рано, — сказал он тогда, — мой час еще не пробил. Это чудовищное событие еще в пути и идет к нам — весть о нем не дошла еще до человеческих ушей. Молнии и грому нужно время, свету звезд нужно время, деяниям нужно время, после того как они уже совершены, чтобы их увидели и услышали. Это деяние пока еще дальше от вас, чем самые отдаленные светила, — *и все-таки вы совершили его!*» — Рассказывают еще, что в тот же день безумный человек ходил по различным церквам и пел в них свой *Requiem aeternam deo*. Его выгоняли и призывали к ответу, а он ладил всё одно и то же: «Чем же еще являются эти церкви, если не могилами и надгробиями Бога?».

- ◆ Человечество *не* развивается в направлении лучшего, высшего, более сильного — в том смысле, как думают сегодня. «Прогресс» — это просто современная, то есть ложная, идея. Европейец наших дней по своей ценности несравненно ниже европейца Ренессанса; поступательное развитие отнюдь *не* влечет за собой непременно возрастания, возвышения, умножения сил.

В ином отношении отдельные удачные феномены беспрестанно появляются — в разных частях света и на почве самых различных культур; в них действительно воплощен *высший тип* человека — своего рода сверхчеловек в пропорции к человечеству в целом. Такие счастливые случаи были возможны и, вероятно, будут возможны всегда. Даже целые поколения, племена, народы могут быть при известных обстоятельствах таким *точным попаданием*.

◆ Что хорошо? — Всё, от чего возрастает в человеке чувство силы, воля к власти, могущество.

Что дурно? — Всё, что идет от слабости.

Что счастье? — Чувство *возрастающей* силы, власти, чувство, что преодолено новое препятствие.

Не удовлетворяться, нет, — больше силы, больше власти! *Не* мир — война; *не* добродетель, а доблесть (добродетель в стиле Ренессанса, *virtù*, — без примеси моралины).

Пусть гибнут слабые и уродливые — первая заповедь *нашего* человеколюбия. Надо еще помогать им гибнуть.

Что вреднее любого порока? — Сострадать слабым и калекам — христианство...

◆ Я восхищаюсь храбростью и мудростью Сократа во всем, что он делал, говорил — и не говорил. Этот насмешливый и влюбленный афинский урод и крысолов, заставлявший трепетать и заливаться слезами заносчивых юношей, был не только мудрейшим болтуном из когда-либо живших: он был столь же велик в молчании. Я хотел бы, чтобы он и в последнее мгновение жизни был молчаливым, — возможно, он принадлежал бы тогда к еще более высокому порядку умов. Было ли то смертью или ядом, благочестием или злобой — что-то такое развязало ему в это мгновение язык, и он сказал: «О, Критон, я должен Асклепию петуха». Это смешное и страшное «последнее слово» значит для имеющего уши: «О, Критон, *жизнь — это болезнь!*». Возможно ли! Такой человек, как он, проживший неким солдатом весело и на глазах у всех, — был пессимист! Он только сделал жизни хорошую мину и всю жизнь скрывал свое последнее суждение, свое сокровеннейшее чувство! Сократ, Сократ *страдал от жизни!* И он отомстил еще ей за это — тем таинственным, ужасным, благочестивым и кощунственным словом!

Должен ли был Сократ мстить за себя? Недоставало ли его быющей через край добродетели какого-то грана великодушия? — Ах, друзья! Мы должны превзойти и греков!

- ◆ Я учу, что есть высший и низший типы человека и что одиночка при определенных обстоятельствах может оправдать существование целых тысячелетий.
- ◆ Необходимо уничтожить мораль, чтобы освободить жизнь.
- ◆ Мы должны скрепя сердце выставить жестокозвучающую истину, что **рабство принадлежит к сущности культуры**.
- ◆ *Упадок, разрушение, вырождение* сами по себе не предсудительны, они являются необходимыми следствиями жизни, роста жизни. Явление декаданса так же неизбежно, как любой подъем и продвижение жизни: мы не имеем возможности устранить его. Но разум *хочет добиться такого права*. Позор всем созидателям социалистических систем, считающим возможными такие условия, общественные комбинации, при которых не разрастались бы злые страсти, болезни, преступления, не росла бы *нужда*... Но это означает осуждение жизни.
- ◆ Несправедливость могущественных, которая больше всего возмущает в истории, совсем не так велика, как кажется. Уже унаследованное чувство, что он есть высшее существо с более высокими притязаниями, делает его довольно холодным и оставляет его совесть спокойной; ведь даже все мы не ощущаем никакой несправедливости, когда, например, убиваем комара без всяких угрызений совести. Отдельный человек устраняется в этом случае, как неприятное насекомое; он стоит слишком низко, чтобы иметь право возбуждать тяжелые ощущения у властителя мира.
- ◆ Дело познания растет, высится, штурмует небеса, несет с собой сумерки богам,—что делать?!..
- ◆ В нашей позиции относительно философии новым является то, что мы не обладаем истиной.
- ◆ Следует сомневаться похлеще, чем Декарт.
- ◆ Это почти комично, когда наши философы требуют от философии начать с критики *способности познания*... Познавательный аппарат, желающий познать самого себя!!

Следовало бы преодолеть абсурдность этой задачи! (Желудок, поедающий самого себя!)

♦ Всякая истина крива, само время есть круг.

МЫСЛИ

□ **Возраст сомнения.** Между 26-м и 30-м годом даровитые люди переживают настоящий период сомнения; это пора первой зрелости, с сильным остатком кислоты. Человек, на основании того, что он чувствует в себе, требует от людей, которые еще ничего не видят или мало видят в нем, чести и покорности, и так как последние вначале заставляют себя ждать, то он мстит тем взором, тем жестом сомнения, тем тоном голоса, которые тонкое ухо и зрение опознают во всех произведениях этого возраста, будь то стихи, философия или картины и музыка. Более пожилые и опытные люди улыбаются здесь и с умилением думают об этой прекрасной поре жизни, когда человек зол на судьбу за то, что он *есть* столь многое и *кажется* столь малым.

● Любого мыслителя характеризует величина увиденной им загадочности мира, в котором он бытует, живет, действует. В данном случае количественная сторона, кажется, более чем достаточна...

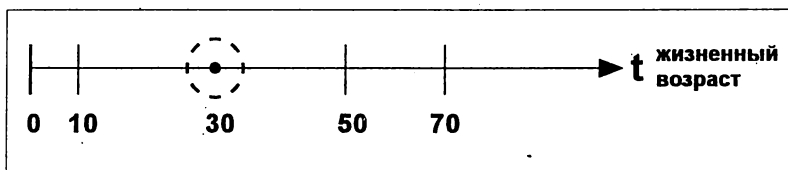
Затрагиваемый Ницше момент действительно имеет место. К тому же, дело, которого он касается, весьма и весьма серьезно. Я полагаю, что явление, которое здесь подвергается рассмотрению, можно безошибочно называть **«проблемой околотридцатилетнего возраста»**.

Речь идет о том, что в возрасте 30 лет (± 3 года) с натурами неординарными, одаренными, подлинно творческими происходит — с прямо-таки «железным» постоянством и обязательностью! — нечто странное:

- ⊠ наблюдается тяга к уединению и одиночеству;
- ⊠ люди впадают в апатию и депрессию;
- ⊠ задаются вопросами о смысле жизни;
- ⊠ испытывают острое разочарование в предыдущей жизни;
- ⊠ все их суждения наполняются скепсисом и негативностью;

- ⊠ возникает устойчивое ощущение полной никчемности;
- ⊠ резко падает самооценка;
- ⊠ проявляется зависимость от внешнего мнения;
- ⊠ появляется неодолимая потребность в критике существующего строя;
- ⊠ нарастает желание расстаться с жизнью;
- ⊠ «личностное» начало неконтролируемо берет верх над началом «человеческим».

Графически проблема «околотридцатилетнего возраста» представлена на рисунке, а вот чтобы почувствовать и испытать все аспекты и нюансы этого синдрома, на мой взгляд, лучше всего и достаточно прочитать «Исповедь» Л. Н. Толстого.



Видимо, следует констатировать, что, кроме болезней тела, есть еще и болезни духа. Они не заразны, но крайне специфичны и необыкновенно тяжелы в последствиях. Так называемая проблема «лишних людей» в русской литературе XIX века и «обломовщина» как социально-коррозийное явление — всё это симптомы «околотридцатилетнего возраста».

Что же до выхода из кризиса при попадании в эту «возрастную» болезнь, то рекомендация здесь проста: достаточно знать о нем (кризисе) и спокойно переждать.

Кстати, небезынтересное о Заратустре.

◆ Когда Заратустре исполнилось 30 лет, покинул он свою родину и озеро Урми и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством. ◆ ○

- *Обманчивое, но всё же устойчивое.* Подобно тому, как, переходя через пропасть или глубокую реку по доске, мы нуждаемся в перилах не для того, чтобы опереться на них — ибо они тотчас рухнули бы вместе с нами, — а для того, чтобы

обнадежить зрение, — так и, будучи юношей, нуждаешься в таких людях, которые бессознательно оказывают нам услугу этих перил. Правда, они не помогли бы нам, если бы мы захотели действительно опереться на них в минуту большой опасности, но они дают успокоительное сознание близкой защиты (например, отцы, учителя, друзья, каковыми они все по обыкновению и являются).

- Всеми готовому, совершенному поклоняются, всё становящееся недооценивается.
- *Убытки в славе.* Какое преимущество: мочь говорить с людьми в качестве незнакомца! «Половину нашей добродетели» отнимают у нас боги, лишая нас incognito и делая нас прославленными.
- *Презиравшим «стадное человечество».* Кто рассматривает людей как стадо и убегает от них со всей доступной ему быстротой, того они наверняка настигнут и забодают.
- *Очевидность.* Скверно! Скверно! Что требует самых основательных, самых упорных доказательств, так это очевидность. Ибо слишком многим недостает глаз, чтобы видеть ее. Но это так докучно!
- Легко думать но трудно быть.
- Мир — это сон и дым перед глазами того, кто от века не знает покоя.
- Что вы сострадательны, это я допускаю: жить без сострадания — значит быть больным душой и телом. Но нужно обладать большим умом, чтобы *посметь* быть сострадательным! Ибо ваше сострадание вредно для вас.
- Начинаешь с того, что отучиваешься любить других, и кончаешь тем, что не находишь больше в себе ничего достойного любви.
- Справедливость часто служит ширмой для слабости, справедливые, но слабые люди подчас из тщеславия прибегают к симуляции и ведут себя подчеркнуто несправедливо и черство, чтобы оставить за собой впечатление силы.
- Чуждость многих людей обусловлена тем, что они всегда мыслят о своем существовании в головах других, что значит: они принимают всерьез свои действия, а не то, что

действует, — самих себя. Наши действия, однако, зависят от того, на что должно быть оказано действие, и, следовательно, не подлежат нашей власти. Отсюда такое количество беспокойства и досады.

- Никто не волен становиться христианином, никого нельзя «обратить» в христианство — сначала надо сделаться достаточно больным для этого... В глубине христианства живет злоба больных людей, инстинкт, направленный *против* здоровых, *против здоровья*. Всё хорошо уродившееся, гордое, озорное и прекрасное вызывает у него боль в ушах и резь в глазах.

Напомню слова апостола Павла, которым цены нет: «...бог избрал *немудрое* мира... и *немощное* мира избрал бог... и не *знатное* мира и *уничтоженное*...».

- Я всегда писал свои книги всем телом и жизнью: мне неизвестно, что такое чисто духовные проблемы.
- *Из военной школы жизни*. Что не убивает меня, то делает меня сильнее.
- В Германии сильно жалуются на мои «эксцентричности». Но так как никто не знает в точности, где мой центр, то очень трудно разобраться в том, где и когда мне случается быть эксцентричным.
- Я хожу среди людей, как среди обломков будущего: того будущего, что вижу я.
- С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже простираются корни его в землю, в мрак, в глубину, — ко злу.
- Почему ты такой твёрдый? — сказал однажды уголь алмазу. — Разве мы не близкие родственники?
Почему вы такие мягкие? О, братья мои, так спрашиваю я вас: разве вы — не братья мне?
- Случай — это самая древняя аристократия мира, ее возвратил я всем вещам, я освободил их от подчинения цели.
- Самые тихие слова суть именно те, которые приносят бурю. Мысли, приходящие как голубь, управляют миром.
- Познающий не любит погружаться в воды истины не тогда, когда она грязна, но когда она мелкая.

- ❑ Лучше ничего не знать, чем знать многое наполовину! Лучше быть безумцем на свой собственный страх, чем мудрым на основании чужих мнений!
- ❑ Ах, так много есть великих мыслей, действие которых не более значительно, чем действие мехов: они делают надутым и еще более пустым.
- ❑ Что необычайно в жизни мыслителя, так это то, что две противоположные склонности заставляют его следовать, одновременно, по двум разным направлениям и держать под своим ярмом: с одной стороны, он хочет знать, и, расставаясь неустанно с твердой землей, носящей в себе жизнь человеческую, пускается в неизведанные области, с другой стороны, он хочет жить, не хочет устать и ищет себе постоянной точки.
- ❑ Индусские законодатели положили в основание порядка жизни своего народа мифологию. Священники, объяснявшие ее, вовсе не были глупы. Напротив, они были очень мудры. Они потому и измыслили эти законы, что сами не верили ни в одно из своих сотворений. Законы Ману — это ловкая и красивая ложь, но эта ложь необходима. Если природа представляет из себя хаос, насмешку над всякой мыслью и порядком, то любой, кто желает восстановить в ней какой-либо порядок, должен уйти от нее и создать новый мир, полный иллюзий.
- ❑ Иногда для того, чтобы стать бессмертным, надо заплатить ценою целой жизни.
- ❑ Не высота: склон есть нечто ужасное!
- ❑ Две вещи влекут мужчину — опасности и игра. Так почему же он хочет еще и женщину! Потому, что она для него *опасная игра*.
- ❑ Одна, очень хрупкого здоровья, англичанка, которую Ницше часто навещал и развлекал, сказала ему однажды:
— Я знаю, m-r Ницше, что вы *пишете*, я хотела бы прочесть ваши книги.
Он знал, что она горячо верующая католичка.
— Нет, — отвечал он ей, — я не хочу, чтобы вы читали мои книги. Если бы в то, что я там пишу, надо было верить, то такое бедное, страдающее существо, как вы, не имело бы права на жизнь.

Другая знакомая дама тоже при случае сказала ему: — Я знаю, м-г Ницше, почему вы нам не даете ваших книг. В одной из них вы написали: «Если ты идешь к женщине, то не забудь взять с собой кнут».

— Дорогая моя, дорогой мой друг, — отвечал Ницше упавшим голосом, взяв в свои руки руки той, которая ему это говорила, — вы заблуждаетесь, меня совсем не так надо понимать.

- Сущность вещей не заключается в слепом *желании жить*; жить — это значит распространяться, расти и побеждать; правильное будет сказать, что сущность вещей — это есть слепое желание власти, и все явления, совершающиеся в человеческой душе, должны быть истолкованы, как проявления этого желания.
- Мы должны произвести опыты с истиной. А если истина должна уничтожить человечество, ну, что же, пускай! Я вложил в вашу руку молот, он должен опуститься на головы людей. Бейте!
- Совершенно необходимо, чтобы я был непризнан, и даже больше того, я должен идти навстречу клевете и презрению. Мои «ближние» — первые против меня. Я понял это, и я великолепно почувствовал, что я, наконец, нашел *свой путь*. Когда мне приходит в голову мысль: «я не могу выносить больше моего одиночества», то меня охватывает чувство непобедимого *унижения перед самим собою* — и я возмущаюсь против того, что есть во мне самого высшего...
- Увы! Я знал многих благородных людей, которые потеряли свою самую высокую надежду и с тех пор стали клеветать на нее. Моею любовью и моею надеждой я заклинаю каждого: не уничтожайте того героя, который живет в вашей душе! Верьте в святость вашей высокой надежды!
- Я говорил и говорю вместе с Шиллером: «Имей смелость мечтать и лгать».
- Нравственности предшествует принуждение, позднее она становится обычаем, еще позднее — свободным повиновением, и, наконец, почти инстинктом.
- В мире и без того недостаточно любви и благодати, чтобы их еще можно было расточать воображаемым существам.

- ❑ Человек забывает свою вину, когда исповедался в ней другому, но этот последний обыкновенно не забывает ее.
- ❑ Кто унижает самого себя, тот хочет возвыситься.
- ❑ Хороший брак покоится на таланте к дружбе.
- ❑ Совершенная женщина есть более высокий тип человека, чем совершенный мужчина, но и нечто гораздо более редкое.
- ❑ Существует право, по которому мы можем отнять у человека жизнь, но нет права, по которому мы могли бы отнять у него смерть.
- ❑ Тщеславному человеку важно не мнение других, а его собственное мнение об их мнении.
- ❑ Благородство состоит из добродушия и избытка доверия.
- ❑ Сострадание сильнее страдания.
- ❑ Тонкой душе тягостно сознавать, что кто-либо ей обязан благодарностью; грубой душе — сознавать себя обязанной кому-либо.
- ❑ Убеждения суть более опасные враги истины, чем ложь.
- ❑ Кто хочет давать хороший пример, тот должен примешивать к своей добродетели частицу глупости; тогда ему подражают и вместе с тем возвышаются над образцом — что люди так любят.
- ❑ Изворотливые люди, как правило, суть обыкновенные и несложные люди.
- ❑ Очень умным людям начинают не доверять, если видят их смущение.
- ❑ Кому не приходилось хотя бы однажды жертвовать самим собою за свою добрую репутацию?
- ❑ Наедине с собою мы представляем себе всех простодушнее себя: таким образом мы даем себе отдых от наших ближних.
- ❑ Ты хочешь расположить его к себе? Так делай вид, что теряешься перед ним.
- ❑ Если нам приходится переучиваться по отношению к какому-нибудь человеку, то мы сурово вымещаем на нем то неудобство, которое он нам этим причинил.
- ❑ Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться,

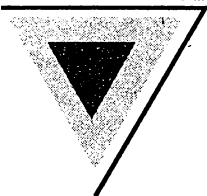
чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.

- Иметь талант недостаточно: нужно также иметь на это позволение, — не так ли, друзья мои?
- Много говорить о себе — может также служить средством для того, чтобы скрывать себя.
- Мы охлаждаем к тому, что познали, как только делимся этим с другими.
- Бывает заносчивость доброты, имеющая вид злобы.
- Восстание есть доблесть раба.
- Червяк, на которого наступили, начинает извиваться. Это благоразумно. Он уменьшает этим вероятность, что на него наступят снова. На языке морали: *смирение*.
- Даже когда народ пятится, он гонится за идеалом — и верит всегда в некое «вперед».
- Только человек сопротивляется направлению гравитации: ему постоянно хочется падать — *вверх*.
- Кто хочет стать водителем людей, должен в течение доброго промежутка времени слыть среди них опаснейшим врагом.
- Когда морализируют добрые, они вызывают отвращение; когда морализируют злые, они вызывают страх.
- Признаем же следующую истину, как бы жестоко она ни звучала в наших ушах: рабство необходимо для развития культуры; это — истина, не оставляющая никакого сомнения в абсолютной ценности бытия. И если можно сказать, что Греция пала от того, что носила в себе рабство, то гораздо справедливее будет другое мнение: мы погибаем потому, что у нас нет рабов.
- Какую роль играет государство? Это — сталь, скрепляющая общество. Вне государства, при естественных условиях, — *bellum omnium contra omnes* («война всех против всех»), общество ограничилось бы семьей и не могло бы широко пустить свои корни.
- Для того чтобы дух спекуляции не поглотил самого государства, есть только одно средство — война и опять война. В

момент всеобщего возбуждения войною человеческий ум ясно понимает, что государство создано не для того, чтобы оберегать эгоистичных людей от демона войны, а совсем наоборот: любовь к родине и преданность королю помогают войне вызывать в людях нравственный подъем, служащий знаменем гораздо более высокой судьбы.

- Когда государство не может достичь своей высшей цели, то оно растет безмерно. Мировая римская империя не представляет, в сравнении с Афинами, ничего возвышенного. Сила, которая должна принадлежать исключительно цветам, принадлежит теперь неимоверно вырастающим стеблям и листьям.
- Каждый серьезный труд оказывает на нас моральное воздействие. Усилие, делаемое нами для того, чтобы сосредоточить свое внимание на заданной теме, можно сравнить с камнем, брошенным в нашу внутреннюю жизнь: первый круг не велик по объему, число последующих кругов увеличивается, и сами они расширяются.
- Страдания есть самый скорый способ для постижения истины.
- Три вещи в мире способны успокоить меня, но это редкие утешения: мой Шопенгауэр, Шуман и одинокие прогулки.
- Чего мы ищем? Покоя, счастья? Нет, только одну истину, как бы ужасна и отвратительна она ни была.
- Когда-нибудь все будет иметь свой конец — далекий день, которого я уже не увижу,— тогда откроют мои книги и у меня будут читатели. Я должен писать для них, для них я должен закончить мои основные идеи. Сейчас я не могу бороться — у меня нет даже противника.

ЧАСТЬ 2



▶ НИЦШЕАНСКАЯ МОЗАИКА



ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА

КНИГА ДЛЯ ВСЕХ И НИ ДЛЯ КОГО

Предисловие Заратустры

I

Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, он покинул свою родину и свое родное озеро и пошел в горы. Здесь он наслаждался своим духом и своим одиночеством, и это не утомляло его в продолжение десяти лет. Но, наконец, переменилось его сердце, и в одно утро он встал вместе с восходом солнца, стал напротив последнего и обратился к нему с такую речью:

«Великое светило! Что было бы с твоим счастьем, если бы у тебя не было тех, кому ты светишь!

В течение десяти лет восходило ты над моей пещерой: тебе надоел бы твой свет и этот путь без меня, моего орла и моей змеи.

Но мы ожидали тебя каждое утро, отбирали у тебя твой излишек и благословляли тебя за это.

Смотри! Я пресыщен своею мудростью, как пчела, которая собрала чересчур много меда; мне нужно, чтобы ко мне протягивались руки.

Мне хотелось бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрецы из числа людей снова не возрадовались бы своей глупости, а бедные — своему богатству.

Для этого я должен спуститься вниз, как делаешь ты вечером, уходя за море и неся свет в другой мир, о, преизобильное светило!

Я должен, подобно тебе, закатиться (*untergehen*), как говорят люди, к которым я хочу сойти.

Благослови же меня, спокойное око, могущее без зависти взирать на величайшее счастье.

Благослови чашу, готовую переполниться, чтобы золотом изливалась из нее вода и повсюду разносила сияние твоего блаженства.

Смотри! Чаша эта готова опять опустеть, а Заратустра снова стать человеком».

Так начался закат Заратустры.

II

Заратустра одиноко сошел с гор, и никто не встретился ему. Но когда он углубился в лес, перед ним внезапно предстал старец, покинувший свою священную хижину, чтобы поискать в лесу кореньев. И с такой речью обратился старец к Заратустре:

— Мне не чужд этот путник; много лет тому назад он проходил здесь. Его звали Заратустра; но он изменился.

Тогда ты нес на гору свой прах; ужели теперь ты не сешь в долину свой огонь? Разве ты не боишься кары, какую наказываются за поджоги?

Да, я узнаю Заратустру. Чисто его око, и на лице его не таится никакого отвращения. Не потому ли идет он, словно танцовщик?

Заратустра изменился, Заратустра стал ребенком, Заратустра будит ото сна; чего ищешь теперь от спящих?

В одиночестве ты жил, словно в море; и море носило тебя. Увы, тебе хочется на сушу? Увы, ты опять сам хочешь носить свое тело?

Заратустра отвечал:

— Я люблю людей.

— Да разве не оттого, — сказал святой, — я уединился в лес и пустыню? Не потому ли, что я чересчур любил людей? Теперь я люблю божество: людей я не люблю. Человек, по-моему, вещь слишком несовершенная. Любовь к человеку лишила бы меня жизни.

Заратустра отвечал:

— Что я говорил о любви! Я несу людям дар!

— Ничего не давай им, — сказал святой. — Лучше возьми у них что-нибудь и неси вместе с ними — для них это будет всего лучше: если только это приятно и тебе! А если тебе хочется дать им не больше милостыни, заставь их к тому же вымаливать ее!

— Нет, — отвечал Заратустра, — я не даю милостыни. Для этого я недостаточно беден.

Святой рассмеялся над Заратустрой и так сказал:

— Так старайся, чтобы они приняли твои сокровища! Они недоверчивы к пустынным и не верят, что мы приходим дарить. Наши шаги раздаются по улицам слишком одинокими для них. И если ночью, в своих постелях, они услышат задолго до восхода солнца, что идет человек, они спрашивают самих себя: куда лезет вор? Не ходи же к людям и останься в лесу! Возвратись лучше опять к зверям! Почему ты не хочешь быть таким же, каков я — медведем среди медведей, птицей среди птиц?

— А что делает святой в лесу? — спросил Заратустра.

Святой отвечал:

— Я сочиняю песни и пою их, а когда я слагаю песни, я смеюсь, плачу и бормочу про себя, — так восхваляю я Бога. Пением, плачем, смехом и бормотанием прославляю я Бога, — моего Бога. Однако что ты несешь нам в дар?

Услышав эти слова, Заратустра поклонился святому и сказал:

— Что я мог бы дать вам? Позволь мне скорей уйти отсюда, чтобы я чего-нибудь не взял у вас!

И так они расстались друг с другом, старец и Заратустра, смеясь так, как смеются два мальчика.

Но когда Заратустра остался один, он с такими словами обратился к своему сердцу: «Возможно ли! Этот святой старец в своем лесу еще ничего не слышал о том, что боги умерли!»

III

Когда Заратустра прибыл в ближайший город, лежавший возле леса, он нашел там множество народа, столпившегося на рынке: народу было обещано, что он увидит канатного плясуна. И заговорил Заратустра так к народу:

Я учу вас познавать сверхчеловека. Человек есть нечто, что должно быть побеждено. Что вы сделали для того, чтобы победить его?

До сих пор все существа создавали нечто, что превосходило их; а вы хотите быть отливом этой великой волны и — скорее снова возвратиться к зверям, чем победить человека?

Что такое обезьяна для человека? Посмешище или мучительный позор! И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором.

Вы прошли путь от червя до человека, и еще многое в вас — червь. Некогда вы были обезьянами, и теперь еще человек скорее обезьяна, чем любая из обезьян.

Но кто мудрее всех вас, тот тоже лишь гермафродит, нечто среднее между растением и призраком. Но разве я призываю вас сделаться призраками или растениями!

Смотрите, я учу вас познавать сверхчеловека!

Сверхчеловек есть разум земли. Да скажет ваша воля: пусть сверхчеловек будет разумом земли!

Но вы, мои братья, все еще говорите мне: что говорит ваше тело о вашей душе? Разве ваша душа не есть — нищета и грязь, и жалкое удовольствие!

Действительно, человек — это грязный поток! Нужно быть морем, чтобы возможно было принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым!

Смотрите, я учу вас познавать сверхчеловека: он есть это море, в нем может погибнуть ваша великая грязь.

Что есть самое высокое, что вы можете пережить? Это — часть великого презрения. Час, когда ваше счастье превращается для вас в омерзение, так же, как и ваш разум, и ваша добродетель.

Час, когда вы скажете: «Что — в моем счастье! Нищета и грязь, и жалкое удовольствие. Но мое счастье должно бы оправдать самое существование свое!»

Час, когда вы скажете: «Что — в моем разуме! Стремится ли он к знанию, как лев к своей пище! Он есть нищета и грязь, и жалкое удовольствие!»

Час, когда вы скажете: «Что — в моей добродетели! Она еще не делала меня неистовым. Как я устал от своего добра и от своего зла! Все есть нищета и грязь, и жалкое удовольствие!»

Час, когда вы скажете: «Что — в моей справедливости! Я не вижу, чтобы я был пламенем и углем. Но праведный — есть пламя и уголь!»

Час, когда вы скажете: «Что — в моем сострадании! Не есть ли сострадание — крест, к которому пригвозждается тот, кто любит людей? Но мое сострадание — не распятие».

Говорили ли вы уже так? Взывали ли вы уже так? Ах, если бы услышать вас, когда вы взывали так!

Не грех ваш, — ваше довольство взывает к небу, сама ваша скудость в вашем грехе взывает к небу.

Где, однако, та молния, которая лизнет вас своим языком? Где то безумие, которое нужно было бы привить вам?

Смотрите, учу вас познавать сверхчеловека: он есть эта молния, он — это безумие!»

Пока Заратустра говорил так, кто-то из народа воскликнул:

— Нам достаточно уже говорили о канатном плясуне; пусть нам покажут его!

И весь народ засмеялся над Заратустрой. А канатный плясун, думавший, что слова эти относятся к нему, приступил к своей работе.

IV

Но Заратустра смотрел на народ и удивлялся. Потом он так заговорил:

«Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком — канат над бездною.

Опасно шествие на ту сторону, опасна дорога, опасен взор, брошенный назад, опасны колебание и остановка.

В человеке великое то, что он — мост, а не цель; что можно любить в человеке, так это то, что он есть переход и падение.

Я люблю тех, кто не знает, как надо жить, они — погибающие, потому что переходят на ту сторону.

Я люблю великих презирающих, потому что они великие почитатели и представляют из себя стрелы влечения на противоположный берег.

Я люблю тех, которые не ищут за звездами причины, чтобы погибнуть и стать жертвою; но которые отдают себя в жертву земле, чтобы земля когда-нибудь сделалась землею сверхчеловека.

Я люблю того, кто живет, чтобы познать, и кто хочет познать для того, чтобы в будущем жил сверхчеловек. И так хочет он своего падения.

Я люблю того, кто работает и убеждается, что он строит жилище сверхчеловеку, и приготавливает для него землю, животных и растений: и так хочет он своего падения.

Я люблю того, кто любит свою добродетель: ибо добродетель есть стремление к падению и стрела душевной тоски.

Я люблю того, кто ни капли духа не оставляет при себе, но стремится быть всецело духом своей добродетели: так, как дух, переходит он через мост.

Я люблю того, кто из своей добродетели делает свои склонности и свою судьбу: так, ради своей добродетели, он хочет жить еще и не жить более.

Я люблю того, кто не стремится обладать многими добродетелями. Одна добродетель есть более добродетель, чем две, потому что она скорее тот узел, к которому мы прицепляемся судьба.

Я люблю того, чья душа растрачивается, кто не желает благодарности и не оказывает ее; потому что он всегда дарит и не желает остерегаться.

Я люблю того, кто стыдится, когда игральная кость выпадает на его счастье, и кто спрашивает при этом: «Уж не шулер ли я?» — потому что он стремится к гибели.

Я люблю того, кто впереди своих дел выбрасывает золотые слова и всегда делает гораздо больше того, чем обещает: ибо он стремится к своему падению.

Я люблю того, кто оправдывает грядущее поколение и минувшее избавляет: потому что он стремится к гибели при современном.

Я люблю того, чья душа глубока, будучи даже ранена, и кто может погибнуть при малейшем испытании: так охотно идет он через мост.

Я люблю того, чья душа переполнена, так что он забывает самого себя, и все содержится в нем: это все будет его гибелью.

Я люблю того, кто свободен духом и свободен сердцем: ибо его голова есть лишь внутренность его сердца, но сердце влечет его к гибели.

Я люблю всех тех, кто походит на тяжелые капли, падающие по одиночке из темных туч, повиснувших над людьми: они возвещают, что приближается молния — и, как пророки, гибнут.

Смотрите, я — предвестник молнии и тяжелая капля из тучи: но эта молния называется сверхчеловек».

V

Сказав эти слова, Заратустра снова посмотрел на народ и замолк. «Они стоят, — обратился он к своему сердцу, — они смеются; они не понимают меня, я — говорю не для этих ушей.

Нужно ли сначала разорвать им уши, чтобы они научились слушать глазами? Нужно ли греметь, подобно литаврам и проповедникам покаяния? Или они верят лишь заикам?

У них есть нечто, чем они гордятся. Как, однако, они называют то, что делает их гордыми? Они зовут это образованием, оно отличает их от пастухов.

Поэтому они неохотно слушают о себе слово «презрение». В таком случае я обращусь к их гордости.

Я буду говорить им о презреннейшем: это — последний человек».

И так заговорил Заратустра к народу:

«Настанет время, когда человек достигнет своей цели. Настанет время, когда посадит росток своей высочайшей надежды.

Почва его для этого еще достаточно обильна. Но почва эта будет когда-нибудь тоща и бедна, и никакое высокое дерево не в состоянии будет вырасти на ней.

Увы! Приближается время, когда человек не пустит стрелы своих стремлений выше человека и тетива его лука перестанет содрогаться!

Говорю вам: нужно еще иметь в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Говорю вам: в вас еще есть хаос!

Увы! Наступает время, когда человек не станет уже рождать ни одной звезды. Увы! Наступает время презренного человека, который не может больше презирать себя.

Смотрите! Я показываю вам последнего человека.

«Что такое любовь? Что такое творчество? Что такое тоска? Что такое звезда?» — так спрашивает последний человек и моргает.

Земля стала маленькой, и по ней скачет последний человек, который все делает малым. Род его неистребим, как род земляной блохи; последний человек живет дольше всех.

«Мы нашли счастье», — говорят последние люди и моргают.

Они покинули страны, где было холодно жить: ибо им нужна теплота. Они любят соседа и трутся около него, ибо нуждаются в тепле.

Быть больным и недоверчивым считается у них грехом: ходят осмотрительно. Дурак тот, кто еще спотыкается на камни или на людей!

Иногда нужно немного яду; он вызывает приятные сны. И, в конце концов, много яду, для приятной смерти.

Еще они работают, потому что работа — забава. Но заботятся о том, чтобы эта забава их не утомляла.

Нет больше бедных и богатых: и то и другое слишком затруднительно. Кто еще хочет управлять? Кто еще повинуется? И то и другое слишком затруднительно.

Ни одного пастыря, одно только стадо! Каждый стремится к равенству, все равны: кто чувствует не так, тот добровольно идет в сумасшедший дом.

«Прежде весь мир был безумным», — говорят лучшие и моргают.

Умны и знают то, что произошло: поэтому без конца

смеются. Еще происходят ссоры, но скоро наступает примирение — иначе это вредно желудку.

У них есть маленькая забава для дня и маленькая забава для ночи: но они чтят здоровье.

«Мы нашли счастье», — говорят последние люди и моргают».

Здесь кончилась первая речь Заратустры, которую называют также предисловием: ибо на этом месте он был прерван криком и восторгом толпы.

— Дай нам этого последнего человека, о, Заратустра! — так восклицали они. — Преврати нас в этих последних людей! Мы оставляем тебе сверхчеловека!

И весь народ радовался, прищелкивая языком.

Но Заратустра сделался печальным и обратился к своему сердцу.

«Они не понимают меня: я говорю не для этих ушей.

Должно быть, я слишком долго жил в горах, слишком внимательно прислушивался к ручьям и деревьям: я говорю им, словно пастухам.

Душа моя непреклонна и ясна, как горы по утрам. А они думают, что я холоден и насмехаюсь ужасными шутками.

Вот они смотрят на меня и смеются: и пока они смеются, они еще ненавидят меня. В их смехе — лед!»

VI

Но тут произошло нечто, что заставило онеметь все уста и оцепенеть все взоры. Именно тем временем канатный плясун принялся за свое дело. Он вышел из маленькой двери и пошел по проволоке, которая была натянута между двумя башнями, та, что висела над рынком и народом. Когда он был уже на половине своего пути, опять отворилась маленькая дверь, и его пестрый товарищ, в виде паяца, выскочил оттуда и быстрыми шагами пошел по направлению к первому. «Вперед, хромоно-

гий! — раздался его ужасающий голос. — Вперед, ленивое животное, контрабандист, размалеванная рожа! Как бы я не пощекотал тебя своею пяткой! Чего тебе нужно здесь, между двумя башнями? В башню тебе дорога, следовало бы запереть тебя в тюрьму, ты лучшему, чем сам, загораживаешь путь!» — И с каждым словом он подходил к нему все ближе и ближе; и когда он был уже всего на один шаг сзади первого, то случилось самое ужасное, что заставило онеметь все уста и оцепенеть все взоры: он гикнул, подобно дьяволу, и перепрыгнул через того, кто загораживал ему дорогу. Но этот, увидев, что его соперник побеждает, потерял голову и проволоку; он отбросил прочь свой шест и быстрее последнего полетел вниз, подобно вихрю из рук и ног. Рынок и народ уподобились морю, над которым проносится буря: все бежали, толкая друг друга, по большей части туда, где должно было упасть тело.

Но Заратустра продолжал стоять, и как раз тело упало возле него, исковерканное и разбитое, но еще не мертвое. Через минуту к разбитому вернулось сознание, и он увидел Заратустру, опустившегося на колени возле него.

— Что ты тут делаешь? — сказал он наконец. — Я давно знал, что черт подставит мне ногу. Теперь он тащит меня в ад: ты хочешь помешать ему?

— Уверяю честью, друг, — отвечал Заратустра, — нет ничего такого, о чем ты говоришь. Нет никакого черта и никакого ада. Твоя душа умрет еще скорее, чем твое тело: не бойся теперь ничего!

Человек посмотрел недоверчиво.

— Если ты говоришь истину, — сказал он затем, — то я ничего не теряю, теряя жизнь. Значит, я не больше, чем животное, которое ударами и голодом заставляют плясать.

— Нет же, — говорил Заратустра, — ты сделал из опасности свое призвание; в этом нет ничего, за что бы тебя презирать. Теперь ради своего призвания ты гибнешь: за это я хочу похоронить тебя собственными руками.

Когда Заратустра сказал это, умирающий не отвечал больше; но он пошевелил рукою, как будто ища руки Заратустры, чтобы поблагодарить его.

VII

Между тем настал вечер, и рынок исчез во мраке; тогда разошелся и народ, ибо даже любопытные и испугавшиеся устали. Но Заратустра сидел на земле подле мертвеца и погрузился в думы: он забыл о времени. Наконец наступила ночь, и холодный ветер дул на одинокого. Тогда Заратустра поднялся и с такими словами обратился к своему сердцу:

«Право, прекрасный улов рыбы совершил сегодня Заратустра! Он не поймал ни одного человека, но зато поймал мертвое тело.

Страшно человеческое бытие и все еще без смысла: паяц может сделаться его роком.

Я хочу показать людям смысл их бытия: смысл есть сверхчеловек, молния из темной тучи — человек.

Но я еще далек от них, и моя мысль не говорит их мыслями. Я для людей — середина, между дураком и мертвецом.

Темна ночь, темны пути Заратустры. Пойдем, холодный, неподвижный спутник! Я отнесу тебя туда, где похороню своими руками».

VIII

Сказав это в сердце своем, Заратустра взвалил труп себе на плечи и отправился в путь. Не прошел он еще и ста шагов, как к нему подкрался какой-то человек и зашептал ему на ухо, и — посмотрите! — тот, кто говорил, был паяц из башни.

«Уходи из этого города, Заратустра, — говорил он, — здесь слишком многие ненавидят тебя. Тебя ненавидят добрые и праведные, и они называют тебя своим

врагом и презиравшим их; тебя ненавидят правоверные; они называют тебя опасностью толпы. Твое счастье, что над тобой смеялись: по правде сказать, ты говорил, словно паяц. Твое счастье, что ты присоединился к дохлой собаке; когда ты унился так, что на сегодня ты сам себя спас. Но уходи вон из этого города, — или завтра я перепрыгну через тебя, живой через мертвого».

И сказав это, человек исчез, а Заратустра пошел дальше по мрачным улицам.

У ворот города он встретил могильщиков; они осветили его лицо своими факелами, узнали Заратустру и глумились над ним: «Заратустра уносит дохлую собаку; браво! Заратустра сделался могильщиком! Ибо наши руки слишком чисты для этой падали. Неужели Заратустра хочет стащить у черта его долю? Быть по сему! Доброго аппетита! Только черт поискуснее вор, чем Заратустра! — он украдет их обоих; он сожрет их обоих!» Они пересмеивались друг с другом и переговаривались.

Заратустра ни слова не сказал на это и пошел своей дорогой. Проходя в течение двух часов по лесам и болотам, он часто слышал голодный вой волков и сам почувствовал голод. Он остановился около уединенного дома, в котором виднелся свет.

— Голод нападает на меня, — сказал Заратустра, — как разбойник. В лесах и болотах нападает на меня, и в глубокую ночь. Удивительно прихотлив мой голод. Часто он подступает ко мне после еды, а сегодня его не было целый день; где же он был?

Тут Заратустра постучался в дверь дома. Скоро вышел старик; он нес свет и сказал:

— Кто идет ко мне и к моему беспокойному сну?

— Живой и мертвый, — сказал Заратустра. — Дайте мне поесть и попить. Я забыл об этом дне. Тот, кто кормит голодного, тот насыщает свою собственную душу: так говорит мудрость.

Старик ушел; но сейчас же вернулся назад и предложил Заратустре хлеба и вина.

— Скверная местность для голодающего, — сказал он, — поэтому я и живу здесь. Зверь и человек идут ко мне, отшельнику. Но дай также есть и пить твоему спутнику; он устал больше, чем ты.

Заратустра отвечал:

— Мой спутник умер, мне трудно уговорить его есть.

— Мне нет до этого дела, — ворчливо сказал старец, — кто стучится в мой дом, тот должен принимать то, что я ему предлагаю. Кушайте и будьте здоровы!

После этого Заратустра шел еще два часа и доверился дороге и свету звезд, ибо он привык ходить по ночам и любил смотреть прямо в лицо всему спящему. Но когда засерело утро, Заратустра очутился в глухом лесу, и перед ним не было больше дороги. Тогда он положил мертвеца в дупло дерева — ему хотелось уберечь его от волков, — а сам улегся внизу на земле, на мху. И он тотчас же уснул, уставший плотью, но бодрый духом.

IX

Долго спал Заратустра, и не только утренняя заря, но и само утро коснулось лица его. Но, наконец, разомкнулись его очи; удивленно взирал Заратустра на лес и на тишину, удивленно заглянул он в самого себя. Затем он быстро поднялся, как моряк, который вдруг увидел землю, и возликовал: он узрел новую истину. И он обратился к своему сердцу с такой речью:

«Свет снизошел на меня: мне нужны последователи, живые спутники, не мертвые, которых я ношу с собою, куда мне хочется.

Я нуждаюсь в живых спутниках, которые следовали бы за мною, потому что они сами хотят следовать, — и туда, куда я хочу.

Свет снизошел на меня: пусть Заратустра обращается

не к народу, а к спутникам! Да, не станет Заратустра пастухом и собакой стада!

Переманить многих из стада — вот для чего я пришел. Народ и стадо должны негодовать на меня: разбойником хочет назвать Заратустру пастух.

Пастухи, говорю я; но они сами называют себя добрыми и праведными. Пастухи, говорю я; но они сами называют себя правоверными.

Смотри на добрых и праведных! Кого они ненавидят больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей, разрушителя, преступника: — но он-то и есть тот, кто созидает.

Смотри на верующих всех вероисповеданий! Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей, разрушителя и преступника — но он-то и есть тот, кто созидает.

Созидающий ищет последователей, а не мертвецов, а также не стада и не верующих. Созидающий ищет сотрудников, созидających, которые записывают новые ценности на новых скрижалях.

Созидающий ищет последователей и таких, кто собирал бы жатву вместе с ним: у него все уже созрело для жатвы, но у него не хватает сотен серпов: он выдерживает колосья и гневается.

Созидающий ищет последователей и таких, кто бы умел точить свои серпы. Их будут называть разрушителями и презирающими добро и зло; но они суть тех, кто собирает жатву и празднует.

Заратустра ищет, кто созидал бы вместе с ним. Заратустра ищет тех, кто бы вместе с ним собирал жатву и праздновал: что создавать ему со стадами, с пастухами, с мертвецами?

И ты, мой первый последователь, прощай! Я хорошо похоронил тебя в твоём дупле, хорошо спрятал тебя от волков?

Но я покидаю тебя: время прошло. Между двумя зарями мне явилась новая истина.

Я не должен быть ни пастухом, ни могильщиком. Даже говорить я больше не хочу с народом; в последний раз обратился я с речью к мертвому.

Я хочу присоединиться к тем, кто созидает, пожинает и празднует; я хочу показать им радугу и все лестницы сверхчеловека.

Отшельникам буду петь я свою песню и тем, кто живет вдвоем; кто обладает ушами для неслыханного, тому хочу я отяготить сердце своим счастьем.

Я стремлюсь к своей цели и иду своим путем; я перепрыгну через нерешительных и нерадивых. Пусть мой путь будет их гибелью!»

Х

Так говорил Заратустра в сердце своем, когда солнце показывало полдень; тут он вопросительно посмотрел в вышину, потому что услышал над собою резкий крик птицы. Смотрите! Орел делал в воздухе широкие круги, а на нем висела змея, не в качестве добычи, а в качестве подруги: она кольцом обвернулась вокруг его шеи.

«Это мои звери!» — сказал Заратустра и сердечно обрадовался.

Самое гордое животное и самое умное животное под солнцем; они отправились на разведку.

Им хотелось узнать, жив ли еще Заратустра. Поистине, жив ли он еще?

«Я чувствовал себя в большой опасности среди людей, чем среди зверей; опасной дорогой идет Заратустра. Пусть ведут меня мои звери!»

Сказав это, Заратустра подумал о словах святого в лесу, вздохнул и так заговорил в сердце своем:

«Мне бы хотелось быть умнее! Мне бы хотелось быть мудрым в самом основании, подобно моей змее!

Но я прошу невозможного: я прошу мою гордость идти всегда вместе с моей мудростью!

И если когда-либо моя мудрость покинет меня, — ах, она так любит улетать! — то хотелось бы, чтобы моя глупость улетела вместе с моей гордостью!»

Так начался закат Заратустры.

Речи Заратустры

О трех превращениях

«Говорю вам о трех превращениях духа: как дух становится верблюдом, верблюд львом и лев, наконец, ребенком.

Много трудного предстоит духу сильному, выносливому духу, которому присуще благословение: силы его стремятся к самому трудному и тяжкому.

Что тяжело? — спрашивает выносливый дух, преклоняет колени, подобно верблюду, и хочет быть хорошо нагруженным.

Что есть самое тяжелое, герои? — спрашивает выносливый дух, — я возьму это на себя и возрадуюсь своей силе.

Не унизиться ли, чтобы уколоть свое высокомерие? Заставить светиться свое неразумие, чтобы посмеяться над своей мудростью?

Или вот что: отрешиться от своего дела, когда оно празднует победу? Взобраться на высокую гору, чтобы искушать искушителя?

Или вот что: быть больным и отсылать утешителей и заключить дружбу с глухими, которые никогда не услышат, чего ты хочешь?

Или вот что: опуститься в грязную воду, если это вода истины, и не отталкивать от себя холодных лягушек и горячих жаб?

Или вот что: любить тех, которые нас презирают, и протягивать руку призраку, если он заставляет нас бояться?

Все это самое трудное выносливый дух берет на себя: подобно верблюду, который, тяжело нагруженный, спешит в пустыню, спешит и он в свою пустыню.

Но в самой уединенной пустыне происходит второе превращение; здесь дух становится львом, старается добыть себе свободу и быть господином в собственной пустыне.

Своего последнего господина ищет он себе здесь: он хочет сделаться враждебным и к нему, и к своему последнему божеству; из-за победы хочет бороться он с великим драконом.

Кто же этот великий дракон, которого дух не желает называть более господином и божеством? «Ты должен» — называется великий дракон. Но дух льва говорит: «Я хочу».

Чешуйчатый зверь «ты должен» лежит у него на дороге, сверкая, как золото, и на каждой чешуе золотом блестит «ты должен!».

Тысячелетние ценности блестят на этих чешуях, и так говорит самый могущественный из всех драконов: «Вся ценность вещей блестит на мне».

Всякая ценность уже создана, и всякая созданная ценность — это я. Поистине не должно больше существовать никакого «я хочу». Так говорит дракон.

Братья мои, к чему нужен лев в духе? Чего недостает в рабочем животном, которое так нетребовательно и почтительно?

Создавать новые ценности — этого не может еще и лев; но создавать свободу для нового создания — это во власти льва.

Создать себе свободу, а также священное НЕТ перед обязанностью — это, братья мои, под силу льву.

Завоевать себе право на новые ценности — это самый ужасный труд для выносливого и почитительного духа. Поистине, это представляется для него разбоем и делом хищного зверя.

Как своя святая святых, любил он когда-то «ты должен»; теперь он должен находить заблуждение и произвол также в святая святых, чтобы похитить себе свободу из своей любви: для этого похищения нужен лев.

Но скажите, братья мои, на что еще способен ребенок, на что был бы способен даже лев? Для чего хищный лев должен сделаться еще ребенком?

Дитя есть невинность и забвение, новое начало, игра, само по себе катящееся колесо, первое движение, святое «да».

Да, для игры создания, братья мои, требуется святое утверждение: дух хочет теперь своей воли, свой мир завоевывает себе потерявший его.

Говорю вам о трех превращениях духа: как дух становится верблюдом, верблюд львом и, наконец, лев ребенком».

Так говорил Заратустра. Тогда пребывал он в городе, который назывался «Пестрая Корова».

О кафедрах добродетели

Заратустре хвалили одного мудреца, который умел прекрасно говорить о сие и добродетели; за это его очень уважали и награждали, и все юноши сидели перед его кафедрой. К нему подошел Заратустра и вместе со всеми юношами сел перед его кафедрой.

И мудрец говорил так:

«Честь и уважение сну! Это — первое! Сторонитесь ото всех, кто дурно спит и бодрствует ночью!

Вору стыдно перед сном: во время ночи он крадет всегда тихонько. Но бесстыден ночной сторож, бесстыдно носит он рог свой.

Не ничтожно искусство — спать: необходимо уже ради этого бодрствовать весь день.

Десять раз в продолжение дня должен ты побороть себя; это производит хорошую усталость и есть мак для души.

Десять раз в день должен ты примириться с самим собой; ибо преодоление есть горечь, а непримиренный плохо спит.

Десять истин должен ты искать в течение дня; иначе тебе придется искать истину еще и ночью, и душа твоя останется голодной.

Десять раз должен ты смеяться днем и быть веселым; иначе разбудит тебя ночью желудок, этот отец несчастья.

Мало кто знает это; но нужно обладать всеми добродетелями, чтобы хорошо спать. Неужели я лжесвидетельствовал? Неужели я прелюбодействовал?

Неужели я пожелал рабыни ближнего своего? Все это плохо согласовалось бы с хорошим сном.

И даже если обладаешь всеми добродетелями, нужно уметь еще одно: вовремя послать спать самих добродетелей.

Пусть не ссорятся друг с другом добронравные жены! И из-за тебя, о несчастный!

Мир с Богом и с соседом: этого хочет хороший сон. Мир также с соседским чертом! Иначе он обойдет тебя ночью.

Почет начальству и послушание, даже и несправедному начальству! Того хочет хороший сон. Что мне делать, если власти охотно ходят на кривых ногах?

Тот, по-моему, должен называться лучшим пастухом, кто ведет своих овец на тучные луга; то же и с хорошим сном.

Я не желаю ни многих почестей, ни больших сокровищ: это производит воспаление селезенки. Но плохо спится без доброго имени и без маленького сокровища.

Маленькое общество для меня приятнее, чем злое; однако и оно должно идти и приходить вовремя. Этого требует хороший сон.

Мне очень по душе еще нищие духом: они ускоряют сон. Блаженны они, в особенности если им всегда отдадут справедливость.

Так протекает день у добродетельного. Наступает ночь, и я тщательно остерегаюсь призывать сон! Не хочет быть призываемым сон, который есть господин добродетелей.

Я только размышляю о том, что я сделал и думал в течение дня. Пережевывая, спрашиваю я себя, терпеливо, подобно корове: каковы были, однако, твои десять побед?

И каковы десять примирений, и десять истин, и десять случаев смеха, благодаря которым сердце мое радовалось?

Так обсуждая и взвешивая сорок мыслей, погружаюсь я сразу в сон, незванный, который есть господин добродетелей.

Сон опускается на мои глаза: они тяжелеют. Сон касается моих уст: они остаются открытыми.

Поистине, тихой поступью приближается он ко мне, милейший из воров, и похищает у меня мои мысли: тогда стою я глупым, как эта кафедра.

Но недолго стою я так: потом я уже лежу».

Когда Заратустра слушал, как говорит мудрец, посмеялся он в сердце своем; ибо при этом свет снизошел на него. И так заговорил он в сердце своем:

«Дураком кажется мне этот мудрец со своими сорока мыслями; но я думаю, что сам-то он отлично по опыту знает, что такое сон.

Счастлив уже тот, кто живет поблизости этого мудреца: такой сон заразителен, он действует даже сквозь толстую стену.

Сам волшебник живет в его кафедре. И не даром сидели юноши перед проповедником-добродетелем.

Мудрость его гласит: бодрствовать для того, чтобы хорошо спать. Поистине, если бы жизнь не имела никакого смысла и мне предстояло бы выбрать глупость, то эта мудрость явилась бы для меня больше всего достойной выбора.

Теперь я ясно понимаю, чего искали некогда, прежде всего, если принимались искать учителя добродетели. Искали для себя хорошего сна и добродетели, веющей маком!

Для всех этих прославленных, сидящих на кафедрах мудрецов мудрость была сном без сновидений: они не постигли лучшего смысла жизни.

Еще и по сегодня существуют некоторые, похожие на этих проповедников, добродетели, но не всегда столь же честные; но их время прошло. И недолго простоят они еще: вот они лежат уже.

Блаженны эти сонливые: ибо скоро должны они заснуть».

Так говорил Заратустра.

О мечтающих о другом мире

Однажды Заратустра бросил свой духовный взор по ту сторону человека, подобно всем мечтающим о другом мире. Делом страдающего и измученного божества казался ему мир.

«Тогда мир показался мне сном и поэзией божества; разноцветным дымом пред очами недовольного божества.

Добро и зло, радость и страдание, я и ты — разноцветным дымом мнились мне перед творческими очагами. Отвратить взоры от себя хотел творец — и создал мир.

Радостное упоение для страдальца — отвернуться от своего страдания и забыться. Радостным упоением и самозабвением чудился мне когда-то мир.

Этот мир, вечно несовершенный, образ вечного противоречия и несовершенный образ — радостное упоение своего несовершенного творца — вот каким чудился мне когда-то мир.

Так направил я однажды свои мысли по ту сторону человека, подобно всем мыслящим о другом мире. В действительности ли по ту сторону человека?

Ах, братья, это божество, созданное мною, было делом человека и безумия, подобно всем богам!

Он был человеком и лишь бедной частицей человека и «Я»: из собственного пепла и пламени явился мне этот призрак, и воистину не явился он мне из иного мира!

Что случилось, братья мои? Я победил себя, страждущего, я снес свой собственный пепел на гору, более яркое пламя нашел я для себя. И посмотри! призрак отступил от меня!

Для меня было бы теперь страданием и мучением для выздоравливающего верить в подобные призраки; теперь это было бы для меня страданием и унижением. С такой речью обратился бы я к мечтающим о другом мире.

Поистине, трудно доказать всякое бытие и трудно заставить его говорить. Скажите мне, братья, разве не доказано лучше всего самое чудесное из всех вещей?

Да, это «Я»; и противоречие и сумятица этого «Я» всего искреннее говорят о его бытии, это творческое, хотящее, оценивающее «Я», которое есть мера и оценка вещей.

И это то вернейшее событие, это «Я» — говорит о теле, хочет этого тела, даже тогда, когда оно пускается в поэзию и мечтает, машет разбитыми крыльями.

Все правдивее учит говорить это «Я»; и чем больше учит оно, тем больше оно находит слов и чести для тела и земли.

Мое «Я» научило меня новой гордости, которой я учу людей: не зарывать более голову в песок небесных дел,

а носить ее свободно, как принадлежащую земле и создающую смысл земли!

Новой воле учу я людей: желать той дороги, по которой человек идет слепо, называет ее хорошей и не сходит больше с нее в сторону, подобно больным и умирающим.

Больные и умирающие презирали тело и землю, — они хотели избежать своей нищеты, а звезды были от них слишком далеки. И вот вздыхали они: «О, если бы существовали небесные пути, по которым можно было бы пробраться к другому бытию и счастью!» — и они изобрели сами себе свои таинственные пути!

Они считали себя избавленными от тела и земли, неблагодарные. Кому же обязаны они судорогой и наслаждением своего избавления? Своему телу и этой земле.

Нежен Заратустра с больными. Поистине, он не гневается на их способы утешения и неблагодарности. Да будь они выздоравливающими и побеждающими и да создадут себе совершеннейшее тело!

Не сердится также Заратустра и на выздоравливающего, если тот нежно взирает на свое заблуждение и в полночь пробирается к могиле своего божества: но болезнью и больным телом остаются все-таки для меня его слезы.

По-моему, братья мои, слушайте лучше голоса выздоровевшего тела: это — более честный и чистый голос.

Правдивее и чище говорит здоровое тело, совершеннее и правдивее; а оно говорит о смысле земли».

Так говорит Заратустра.

О презирающих тело

«К презирающим тело хочу я сказать мое слово. Не переучиваться и не переучивать должны они, но проститься со своим собственным телом — и сделаться таким образом немыми.

«Я тело и душа», — так говорит ребенок.
Почему же нельзя говорить так, как дети?

Но пробудившийся, знающий говорит: «Я — исключительно тело, и ничто больше; а душа есть лишнее слово для обозначения чего-то в теле».

Тело есть великий разум, множество с одним чувством, война и мир, стадо и пастырь.

Орудием твоего тела является также твой маленький разум, брат мой, то, что ты называешь «духом», маленький инструмент и игрушка твоего великого разума.

«Я», — говоришь ты и гордишься этим словом. Не более велико — во что ты не хочешь верить — твое тело и его великий разум: они не говорят «Я», но делают «Я».

Что воспринимает чувство, что познает дух — то не имеет в себе своего конца. Но чувство и дух желали бы убедить тебя, что они суть конец всех вещей: так тщеславны они.

Чувство и дух суть инструмент и игрушка: за ними лежит еще «Само». Это «Само» также ищет глазами чувств и прислушивается ушами духа.

Все прислушивается «Само» и ищет: оно сравнивает, покоряет, завоевывает, разрушает. Оно господствует и является господином над «Я»!!!

За твоими мыслями и чувствами, брат мой, стоит могущественный повелитель, неизвестный мудрец, который называется «Само». Он живет в твоем теле, оно — твое тело.

Больше разума в твоем теле, чем в твоей высшей мудрости. И кто знает, для чего твое тело нуждается именно в твоей высшей мудрости?

Твое «Само» смеется над твоим «Я» и над его гордыми скачками. «Что тебе эти скачки и полеты мысли? — говорит оно себе. — Окольный путь к моей цели. Я являюсь помочами для «Я» и внушителем его понятий».

«Сам» говорит к «Я»: «Чувствуй здесь боль!» И вот «Я» страдает и думает о том, как бы не страдать больше — и именно для этого должно оно думать.

«Сам» говорит к «Я»: «Чувствуй теперь радость!» И вот «Я» веселится и думает о том, как бы чаще веселиться — и для этого именно должно оно думать.

Презиращим тело хочу я сказать слово. Что они презирают, то приносит им уважение. Что создало уважение и презрение, и ценность, и волю?

Создающее «Само» создало себе уважение и презрение, оно создало себе радость и горе. Создающее тело создало себе дух как руку своей воли.

Еще в своей глупости и презрении, вы, презирующие тело, служите своему «Само». Говорю вам: ваше «Само» стремится умереть и отвертывается от жизни. Оно не может сделать больше того, к чему оно больше всего стремится — творит вне самого себя. Этого оно хочет больше всего, в этом вся его страсть.

Но теперь это случилось для него слишком поздно: — так хочет погибнуть ваше «Само», о, презирующие тело!

Погибнуть хочет ваше «Само», и потому стали вы презирующими тело! Ибо вы больше уже не в силах творить вне самих себя.

И поэтому гневаетесь вы теперь на жизнь и землю. Бессознательная зависть проглядывает в косом взгляде вашего презрения.

Я не иду вашей дорогой, презирующие тело! Вы не служите для меня мостом к сверхчеловеку».

Так говорил Заратустра.

О радостях и страстях

«Брат мой, если ты обладаешь какой-либо добродетелью и это твоя добродетель, то ты обладаешь ею не с кем-либо сообща.

Конечно, ты желаешь называть ее по имени и ласкать; ты хочешь пощипывать ее за ушко и забавляться ею.

Смотри! Теперь ты обладаешь ее именем нераздельно с народом, и сам со своею добродетелью стал народом и стадом!

Ты лучше сделал бы, если бы сказал: «Невыразимо и безымянно то, что составляет страдание и сладость моей души и что также есть голод моей внутренности».

Пусть будет твоя добродетель слишком высока для того, чтобы доверить ее имени: если тебе нужно говорить о ней, то не стыдись говорить о ней шепотом.

Говори и шепчи: «Это мое добро, его я люблю, таким оно вполне нравится мне, таким только хочу я безраздельно владеть им.

Не желаю я его в виде божественного закона, не желаю я его в виде человеческого постановления и необходимости: да не будет оно моим путеводителем в наземные сферы и в рай.

Это земная добродетель, которую я люблю: мало благоразумия в ней и меньше всего всеобщего разума.

Но эта птица свила у меня гнездо: поэтому я люблю и прижимаю ее к сердцу — теперь она сидит у меня на золотых яйцах».

Так должен ты шептать и хвалить свою добродетель. Когда-то ты обладал страстями и называл их дурными; но теперь ты обладаешь еще только своими добродетелями: они выросли из твоих страстей.

Высшую цель свою ты предоставил своим страстям; и вот сделались они твоими добродетелями и радостями.

И хотя бы ты был из рода вспыльчивых или из сластолюбцев, или из изуверов, или из мстительных.

В конце концов твои страсти сделались бы добродетелями, а твои демоны — ангелами.

Некогда в погребке твоём были дикие псы; но в конце концов они превратились в птиц и прелестных певуний.

Из ядов своих варил ты свой бальзам; свою корову скорби доил ты, — теперь ты пьешь сладкое молоко ее вымени.

И ничто злое впредь не вырастет из тебя, разве только зло, которое произрастет из борьбы твоих добродетелей.

Брат мой, если ты обладаешь счастьем, то ты владеешь одной добродетелью, не больше; так ты легче перейдешь через мост.

Очень хорошо обладать многими добродетелями, но это — тяжелый жребий; и иной ушел в пустыню и умертвил себя, потому что утомился быть полем сражения и побоищем добродетелей.

Брат мой, зло ли, война и побоище? Но это зло необходимо, необходима зависть, недоверие и клевета между твоими добродетелями.

Смотри, как каждая из твоих добродетелей жаждет высшего: она хочет, чтобы весь твой дух был ее герольдом, она желает всей твоей силы в гневе, ненависти и любви.

Ревнива каждая добродетель по отношению к другой, и ужасная вещь — ревность! Даже добродетели могут погибнуть из-за ревности.

Кого окружает пламя ревности, тот в конце концов, подобно скорпиону, обращает против себя свое отравленное жало.

Ах, брат мой, неужели ты никогда еще не видел, как добродетель сама на себя клеветает и сама себя убивает?

Человек есть нечто, что должно быть побеждено; поэтому ты должен любить свои добродетели, — ибо из-за них ты погибнешь.

Так говорил Заратустра.

О бледном преступнике

«Вы не хотите убивать, вы, судьи и жертвоприносители, прежде чем животное не преклонится? Смотрите, бедный преступник склонился: из очей его говорит великое презрение: «Мое «Я» есть нечто, что должно быть побеждено; мое «Я» является для меня великим презрением человека», — так говорят эти очи.

То, что он сам себя осудил, было его высшим моментом; не допускайте возвысившегося снова пасть!

Нет никакого избавления для того, кто страдает сам от себя, — пусть наступит для него быстрая смерть!

Судьи, ваше убийство должно быть состраданием, а не местью. И, убивая, смотрите, чтобы вы сами-то оправдывали жизнь!

Не достаточно для вас примириться с тем, кого вы убиваете. Ваша печаль пусть будет любовью к сверхчеловеку: так оправдаете вы продолжение вашей жизни.

«Враг», должны вы говорить, но не «злодей»; «больной», должны вы говорить, но не «плут»; «глупец», должны вы говорить, но не «грешник».

А ты, судья, проливающий кровь, если бы ты захотел громко сказать все то, что ты уже мыслишь, то каждый закричал бы: «Прочь с этой скверной и с этим ядовитым червем!»

Но одно — мысль, другое — дело, третье — образ дела. Колесо причины не катится между ними.

Образ сделал этого бледного человека бледным. Он соответствовал своему делу, когда его совершал; но он не вынес образа этого дела, когда оно было совершено.

Все еще смотрел он на себя, как на исполнителя дела. Безумием зову я это: исключение превратилось у него в правило.

Черт очаровывает курицу; удар, который он совершил, очаровал его бедный разум — это я называю безумием после дела.

Слушайте, судьи! Существует его другое безумие: безумие перед делом. Ах, вы недостаточно глубоко заглядываете в эту душу!

Так говорит судья проливающий кровь: «Для чего же убил этот преступник? Он хотел ограбить». Но говорю вам, душа его хотела крови, не грабежа: он жаждал блаженства ножа.

Но его бедный разум не постиг этого безумия и увлек его. «Что такое кровь! — говорил разум. — По меньшей мере, не хочешь ли ты совершить при этом грабежа? Отомстить?»

И он внимательно прислушивался к своему бедному разуму; свинцом легла на него речь разума, — и он ограбил, когда убил. Он не хотел стыдиться своего безумия.

И теперь опять лежит на нем свинец его вины, и опять его разум так неповоротлив, так расслаблен, так тяжел.

Если бы он только мог тряхнуть головой, то скатилось бы бремя его; но кто встряхнет эту голову!

Что такое этот человек? Куча болезней, которые через дух вырываются в мир: они хотят сделать его своей добычей.

Что такое этот человек? Клубок диких змей, которые редко находят покой друг с другом — и вот уходят они прочь друг от друга и ищут добычи в мире.

Посмотрите на это бедное тело! То, что оно выстрадало и чего добивалось, то выяснила себе эта бедная душа, — она объяснила это как убийственную радость и жажду счастья ножа.

Кто теперь становится больным, на того нападает зло, которое теперь считается злом: оно хочет причинить боль тем самым, что ему самому причиняет боль. Но существовали другие времена, другое зло и добро.

Когда-то сомнение и стремление к своему «Само» считалось злом. Тогда больной становился еретиком и колдуном; в качестве еретика и колдуна страдал он и хотел заставить страдать других.

Но это не для ваших ушей: это вредит нашим добрым, говорите вы мне. Но что мне до ваших добрых!

Многое в ваших добрых внушает мне отвращение, и по правде сказать, не их зло. Хотел бы я, чтобы они впади в безумие, благодаря которому погибли бы, подобно этому бледному преступнику!

Истинно, я желал бы, чтобы их безумие называлось истиной, или верностью, или справедливостью; но у них есть своя добродетель, для того чтобы долго жить среди жалкого благосостояния.

Я — перила у потока; держитесь за меня, кто может за меня держаться! Но я не костыль ваш».

Так говорил Заратустра.

О чтении и письме

«Из всего написанного я люблю только то, что кто-либо написал своею собственной кровью. Пиши кровью: и ты постигнешь, что кровь есть дух.

Нелегко понимать чужую кровь: я ненавижу читающих от безделья.

Кто знает читателя, тот ничего больше не делает для читателя...

Что каждый имеет право учиться читать, — это портит на долгое время не только письмо, но также и мышление.

Когда-то дух был божеством, затем стал человеком, а теперь сделался даже чернью.

Кто пишет кровью и притчами, тот не хочет, чтобы его читали, а хочет, чтобы его выучивали наизусть.

В горах ближайший путь — это от вершины к вершине; но при этом ты должен обладать длинными ногами. Притчи должны быть вершиной, и те, кому они говорят, должны быть большими и великорослыми.

Воздух разреженный и чистый, опасность близкая и дух, полный радостной злобы: это хорошо подходит друг к другу.

Я хочу, чтобы вокруг меня были горные духи, потому что я мужественен. Храбрость, разгоняющая духов, создает себе самой горных духов, — храбрость хочет смеяться.

Я не чувствую себя вместе с вами; эта туча, которую я вижу под собою, эта чернота и тяжесть, над которыми я смеюсь, — именно это ваша грозовая туча.

Вы глядите наверх, когда вы жаждете возвыситься. А я смотрю вниз, потому что я возвышен.

Кто из вас может одновременно смеяться и быть возвышенным?

Кто взбирается на высочайшие горы, тот смеется над всякой трагедией и над всякой печалью.

Мужественными, беззаботными, насмешливыми, способными к насилию — таковыми хочет нас мудрость; она — женщина и всегда любит лишь воина.

Вы говорите мне: «Тяжело нести жизнь». Но к чему проявлялась бы ваша гордость утром, а покорность вечером?

Жизнь тяжело переносить; но не нежничайте же так! Все вместе мы являемся красивыми подъяремными ослицами и ослицами.

Что общего есть у нас с бутоном розы, который дрожит, так как на его теле лежит капля росы?

Правда: мы любим жизнь не потому, что мы привыкли к жизни, а потому, что привыкли к любви.

Всегда есть немного безумия в любви. Но также всегда есть немного разума в безумии.

И даже мне, любящему жизнь, кажется, что бабочки и мыльные пузыри, и все, что в этом роде существует среди людей, больше всего знают о счастье.

Смотреть, как порхают эти легкие, неразумные, нежные, подвижные маленькие души — вот что вызывает у Заратустры слезы и песни.

Я бы поверил только в такое божество, которое умело бы танцевать.

И когда я увидел своего демона, — я нашел его серьезным, солидным, глубоким и торжественным; это был дух тяжести, — благодаря ему падает все.

Я научился ходить; с тех пор я позволяю себе бегать. Я научился летать; с тех пор я не желаю, чтобы меня сперва толкнули, чтобы мне сдвинуться с места.

Теперь я легок, теперь я летаю, теперь я вижу себя под собою, теперь божество танцует во мне».

• Так говорил Заратустра.

О дереве на горе

Глаза Заратустры видели, что один юноша сторонится его. И когда он, однажды вечером, шел одиноко через горы, окружавшие город, который назывался «Пестрая Корова», то на пути он нашел этого юношу, когда тот сидел, прислонившись к дереву; и усталым взором смотрел на долину. Заратустра дотронулся до дерева, у которого сидел юноша, и так заговорил:

— Если бы я захотел раскачать это дерево своими руками, то я был бы не в состоянии сделать этого. Но ветер, которого мы не видим — ветер терзает и нагибает его, куда хочет. Всего хуже пригибают и терзают нас невидимые руки.

Тут поднялся пораженный юноша и сказал:

— Я слышу Заратустру и только что думал о нем.

Заратустра сказал:

— Почему же ты испугался? С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится оно в вышину и к свету, тем сильнее его корни стремятся углубиться в землю, вниз, в темноту, глубину — во зло.

— Да, во зло! — воскликнул юноша. — Как мог ты открыть мою душу?

Заратустра засмеялся и сказал:

— Многие души никогда не будут открыты, разве только сперва изобретут их.

— Да, во зло! — еще раз воскликнул юноша. — Ты сказал истину, Заратустра. Я уже больше самому себе не доверяю с той поры, как начал стремиться в высоту, и никто не доверяет мне — как же это случилось?

Я слишком быстро меняюсь: мое «сегодня» противоречит моему «вчера». Я часто перескакиваю через ступеньки, когда всхожу наверх — этого не прощает мне ни одна ступень.

Если я наверху, то я всегда чувствую себя одиноким. Никто не говорит со мной. Мороз одиночества заставляет меня дрожать. Чего же нужно мне в вышине?

Мое презрение и моя тоска возрастают вместе; чем выше я поднимаюсь, тем больше я презираю того, кто всходит наверх. Чего же ему нужно, однако, на высоте?

Как стыжусь я своего восхождения и своего спотыкания! Как глумлюсь я над своим усиленным пыхтеньем! Как ненавижу я летающего! Как утомлен я на высоте!

Тут юноша умолк. А Заратустра поглядел на дерево, возле которого они стояли, и заговорил:

— Это дерево стоит уединенно здесь, в горах: оно выросло высоко над человеком и зверем. И если бы ему захотелось говорить, то никто бы не понял его: так высоко выросло оно. Теперь ждет оно, ждет чего же? Оно обитает слишком близко от местопребывания облаков; вероятно, оно ждет первой молнии?

Когда Заратустра сказал это, юноша вскричал, сильно волнуясь:

— Да, Заратустра, ты говоришь истину. Я стремился к своей гибели, когда захотел на высоту, а ты — та молния, которую я ждал. Посмотри, что такое еще я представляю из себя с тех пор, как ты появился перед нами? Зависть к тебе уничтожила меня!

Так проговорил юноша и горько заплакал. Но Заратустра обнял его и увел вместе с собою.

И когда они прошли вместе некоторое расстояние, Заратустра начал говорить:

«Сердце мое разрывается. Лучше твоих слов говорит мне твой взор об опасностях.

Ты еще не свободен, ты еще ищешь свободы. Твои поиски заставляли тебя томиться от бессонницы и бодрствовать.

Ты стремишься в свободную вышину, звезд жаждет твоя душа. Но также и твои дурные наклонности жаждут свободы.

Твои дикие собаки хотят на свободу; они лают от удовольствия в своей конуре, когда дух твой старается отпереть все темницы.

Для меня — ты еще пленник, который помышляет о свободе; ах, мудрой становится душа у подобных заключенных, но в то же время лукавой и дурной.

Очиститься должен также освобожденный духом. В нем много еще осталось от темницы и гнили; чистыми должны сделаться его взоры.

Да, я знаю твою опасность. Но заклинаю тебя своей любовью и надеждой: не отбрасывай от себя своей любви и надежды.

Ты чувствуешь себя благородным, и также благородным считают еще тебя и другие, кто не расположен к тебе и кто устремляет на тебя злые взоры. Знай, что благородный всем стоит поперек дороги.

Также и для добрых благородный стоит поперек дороги; и даже когда они называют его добрым, то с помощью этого они хотят устранить его.

Благородный хочет создать нечто новое и новую добродетель. Добрый хочет старого, хочет, чтобы старое осталось.

Но для благородного не в том опасность, что он делается добрым, а в том, что делается язвительным насмешником и разрушителем.

Ах, я знал благородных, которые потеряли свою высокую надежду. А теперь они оклеветали все возвышенные надежды.

С тех пор они нагло жили краткими удовольствиями, и едва лишь на один день хватало у них какой-либо цели.

«Дух — это сладострастие», — так говорили они. И вот разбились крылья их духа; с тех пор он пресмыкается и покрывает грязью все, что съедает он.

Когда-то думали они сделаться героями; теперь же они — сластолюбцы. Скорбь и боязнь — вот герой для них.

Но заклинаю тебя своею любовью и надеждой: не уничтожай героя в своей душе! Свято храни свою высокую надежду».

Так говорил Заратустра.

О проповедниках смерти

«Существуют проповедники смерти: и земля полна такими, которым должно проповедовать отрешение от жизни.

Переполнена земля лишними людьми, жизнь испорчена благодаря многим лишним людям. О, если бы можно было «вечной жизнью» выманить их из этой жизни!

«Желтыми» называют проповедников смерти, или «черными». Но мне хочется обрисовать их еще в других красках.

Это — ужасные, носящие в себе хищного зверя и не имеющие другого выбора, как наслаждение и самотерзание. Даже их удовольствия суть самотерзания.

Они еще даже не сделались людьми, эти ужасные; пусть же проповедуют они удаление из жизни и сами уходят.

Это — страдающие чахоткой души; едва родились они, как уже начинают умирать и жаждут учения, утомления и отречения.

Они охотно соглашаются быть мертвыми, и мы должны бы одобрить их желание! Остережемся будить этих мертвых и повредить живые гробы!

Попадается им навстречу больной, или старик, или труп, и они сейчас же говорят: «Жизнь опровергнута!»

Но опровергнуты только они и их око, видящее лишь одну сторону в существовании.

Охваченные глубоким унынием и алчные лишь до маленьких случайностей, которые приносят смерть: так ожидают они и стискивают зубы.

Или: они хватают сласти и при этом смеются над своим ребячеством; они висят на своей соломинке жизни и смеются над тем, что висят они еще на соломинке.

Их мудрость гласит: «Глупец тот, кто остается жить, но мы настолько глупы! И именно это — и есть самое глупейшее в жизни!»

«Жизнь есть лишь страдание» — так говорят другие, и не лгут: постарайтесь же, чтобы вас больше не было! Постарайтесь же, чтобы прекратилась жизнь, которая есть лишь одно страдание!

Так пусть учение вашей добродетели гласит: «Ты должен убить сам себя! Ты должен себя сам выкрасть!»

«Сладострастие есть грех, — так говорят некоторые, которые проповедуют смерть, — дайте нам идти стороной и не рождать детей!»

«Рождать трудно, — говорят другие, — к чему еще рождать? Рождают одних несчастных!» Они тоже проповедники смерти.

«Сострадание необходимо, — так говорят третьи. — Возьмите, что у меня есть! Возьмите то, что я есть! Тем меньше свяжет меня жизнь!»

Если бы они были совсем сострадательными, то они отбили бы охоту к жизни у своих ближних! Быть злыми — вот что было бы их настоящей добродетелью.

Но им хочется отделаться от жизни: что им до того, что других они еще крепче связывают своими цепями и дарами!

И даже вы, для которых жизнь есть суровая работа и беспокойство: не утомлены ли вы жизнью? Разве вы не совсем созрели для проповеди смерти?

Все вы, которым так мила суровая работа и все быстрое, новое, чуждое, — все вы плохо переносите самих себя; ваше прилежание есть порыв и стремление забыться.

Если бы вы больше верили в жизнь, то вы меньше отдавали бы себя в распоряжение мгновению. Но в вас нет достаточного содержания для того, чтоб ждать — и даже для лени!

Повсюду раздается голос тех, кто проповедует смерть! А земля переполнена такими, для кого смерть должна быть проповедуема.

Или вечная жизнь: мне это все равно, — лишь бы только они скорее исчезли».

Так говорил Заратустра.

О войне и воинах

«Мы не желаем, чтобы нас щадили наши лучшие враги и даже те, которых мы любим до глубины души. Так дайте же мне сказать вам правду!

Собратья мои по войне! Я глубоко люблю вас! Я и сейчас и был такой же, как и вы. И я также ваш лучший враг. Так дайте же мне сказать вам правду!

Я знаю ненависть и зависть вашего сердца. Вы не достаточно велики, чтобы не знать ненависти и зависти. Так будьте же достаточно велики, чтобы не стыдиться самих себя.

И если вы не можете быть подвижниками познания, то будьте, по крайней мере, воинами его. Они суть спутники и предвестники такого подвижничества.

Я вижу много солдат; мне бы хотелось видеть множество воинов! Однообразием называется то, что они носят; не хотелось бы, чтобы было однообразием и то, что они прикрывают этим!

Вы должны быть таковыми, чье око постоянно ищет врага — вашего врага! А у некоторых из вас существует ненависть по первому взгляду.

Вы должны искать своего врага, свою войну должны вы вести и за свои мысли! И если ваша мысль покоряется, то искренность ваша должна и поэтому еще праздновать победу!

Вы должны любить мир как средство к новой войне. И краткий мир больше, чем долговременный.

Призываю вас не к труду, а к борьбе. Советую вам не мир, а победу. Ваш труд пусть будет борьбой, ваш мир — победой! •

Можно молчать и сидеть тихо, когда обладаешь луком и стрелами; иначе будешь болтать и ссориться. Ваш мир пусть будет победой!

Вы говорите, что благое дело освящает даже войну? Я говорю вам: благая война освящает всякое дело.

Война и мужество сделали больше великого, чем любовь к ближнему. Не ваше сострадание, а ваша храбрость спасала до сих пор несчастных.

«Что хорошо?» — спрашиваете вы. Быть храбрым — хорошо. Предоставьте маленьким девочкам говорить: «Быть добрым, — вот что мило и в то же время трогательно».

Вас называют бессердечными; но ваше сердце неподдельно, и я люблю стыдливость вашей сердечности. Вы стыдитесь своего прилива, а другие стыдятся своего отлива.

Вы дурны? Ну, что же, братья мои! Так накиньте на себя возвышенное, мантию для дурного.

И если душа ваша становится великой, то она делается заносчивой и в вашей возвышенности есть злоба. Я знаю вас.

В злобе встречается гордый со слабым. Но они неверно понимают друг друга. Я знаю вас.

Вы должны иметь только таких врагов, которых ненавидите, а не таких, которых презираете. Вы должны гордиться своим врагом: тогда успехи вашего врага будут и вашими успехами.

Бунт — это знатность рабов. Вашим отличием пусть будет повиновение. Даже ваше приказание пусть будет послушанием.

Для хорошего воина «ты должен» звучит гораздо приятнее, нежели «я хочу». И все, что для вас мило, пусть будет вам, прежде всего, приказано.

Ваша любовь к жизни пусть будет любовью к вашей высочайшей надежде; а ваша высочайшая надежда пусть будет высочайшей мыслью жизни!

Но ваша высочайшая мысль должна вам быть приказана мною, и она гласит: человек есть нечто, что должно быть побеждено.

Итак, живите своей жизнью повиновения и войны! Что нам в долгой жизни? Какой воин хочет, чтоб его щадили!

Я не щажу вас, я глубоко люблю вас, братья мои по войне!»

Так говорил Заратустра.

О новом идоле

«Где-то существуют народы и стада, только не у нас, братья мои; там существуют государства.

Государство? Что это такое? Теперь преклоните ухо ко мне, ибо теперь я скажу вам слово мое о смерти народов.

Созидающими были те, кто создал народы и предписал им веру и любовь; так служили они жизни!

Вот я даю вам знамение: каждый народ говорит своим языком о добре и зле; этого языка сосед не понимает. Народ нашел себе свой язык во нравах и правах.

Является смешение языков, когда дело касается добра и зла. Вот знамение! Поистине, стремление к смерти означает это знамение! Поистине, это на руку проповедникам смерти.

Слишком много рождается!

Посмотрите, как государство тянет к себе многое множество! Как оно их поглощает, жует и пережевывает!

На земле нет ничего более великого, чем «Я»; «Я» — указательный палец божества, — так говорит государство. И не одни глухие и близорукие преклоняются.

Ах, даже в вас, в ваших великих душах распространяет оно свои мрачные слова! Ах, оно отгадывает богатые сердца, которые охотно расточаются.

Да, даже вас угадывает оно, вас, победителей старых богов! Вы утомились в борьбе, и теперь ваша усталость служит еще новому идолу.

Героями и честными людьми хотел бы окружить себя этот новый кумир! Охотно наслаждается оно при солнечном сиянии совести, это холодное чудовище!

Оно хочет дать вам все, если вы ему поклонитесь, ему — этому новому кумиру; таким образом он покупает себе блеск вашей добродетели и взгляд ваших гордых глаз.

Он хочет приманить вами это многое множество! Да, был изобретен адский фокус: конь смерти, звенящий упряжью божественных почестей.

Да, была изобретена смерть за многих, которая сама себя величает жизнью: поистине, хорошая услуга всем проповедникам смерти!

Посмотрите же на этих лишних людей! Они крадут изобретения изобретателей и сокровища мудрецов; воровство свое они называют образованием — и все становится у них болезнью и бедствием.

Посмотрите же на этих лишних! Они всегда больны, они изрыгают свою желчь и называют это газетой. Они пожирают друг друга и не могут переварить.

Посмотрите же на этих лишних! Они приобретают богатства и делаются благодаря этому беднее. Они хотят власти и, прежде всего, хотят обладать рычагом власти, деньгами, — эти несостоятельные.

Посмотрите, как лезут эти юркие обезьяны! Они перелезают друг через друга и сбрасывают таким образом друг друга в тину и грязь.

Все они стремятся к высшей власти: это их безумие, — как будто счастье в высшей власти! Так часто грязь восседает на них, и так же часто они опираются на грязь.

Все они — безумные, лазающие обезьяны и горячечные. Все они вместе скверно пахнут, эти служители кумиров.

Братья мои, неужели вы хотите задохнуться в чадугах и желаний? Лучше разбейте окна и прыгайте вон!

Уходите же с пути дурного запаха! Уходите от идолопоклонства лишних людей!

Уходите же с пути дурного запаха! Уходите от чада этих человеческих жертв!

Для великих душ земля свободна еще и по сию пору. Пустынны еще многие места для уединяющихся и живущих вдвоем; вокруг них носится аромат тихого моря.

Свободна еще для великих душ свободная жизнь. По истине, кто обладает малым, тем менее обладает им самим; хвала легкой бедности!

Там, где оканчивается государство, там начинается человек, который является не лишним; там начинается песнь необходимого, единственная и незаменимая мелодия.

Там, где оканчивается государство, — там смотрите же, братья мои! Разве вы не видите радугу и мосты, ведущие к сверхчеловеку?»

Так говорил Заратустра.

О рыночных мухах

«Беги, мой друг, в свое уединение! Я вижу, что ты ошеломлен шумом великих людей и исколот жалами мелких.

Лес и скалы вместе с тобою умеют молчать с достоинством. Будь опять подобен развесистому дереву, которое ты любишь: тихо, и прислушиваясь, нависло оно над морем.

Где кончается одиночество, там начинается рынок; а где начинается рынок, там начинается также шум великих актеров и жужжание ядовитых мух.

В мире лучшие вещи еще ничего не стоят, раз нет того, кто их впервые представил; этих представителей народ называет великими людьми.

Мало понимает народ великое, то есть творческое. Но он имеет понятие о всех созидателях и актерах великих дел.

— Мир вертится около изобретателей новых ценностей: — невидимо вертится он. Около же актеров кружатся народ и слава; в этом заключается «мировое движение».

Актер обладает духом, но ничтожной совестью духа. Он всегда верит в то, во что он заставляет верить всего больше — верить в самого себя!

Завтра у него новая вера, а послезавтра еще более новая. Подобно народу, он обладает быстрым мышлением и переменчивым настроением духа.

Опрокинуть — называется у него: доказать. Сбить с толку — называется у него: убедить. А кровь является для него лучшим доказательством.

Истину, которая воспринимается лишь тонким ухом, он величает ложью и пустяками. Поистине, он верит лишь в божества, которые производят великий шум в мире!

Рынок полон шумливыми паяцами — и народ похвывается своими великими людьми! Они для народа — господа на час.

Но час теснит их: тогда они притесняют тебя. Они от тебя требуют: да или нет. Увы, ты стремишься поместить свой стул между *за* и *против*?

Ради этих безусловных и притесняющих будь неревнив, о, любитель истины! Никогда еще истина не прилеплялась к руке *безусловного*.

Уйди в безопасное место от этих внезапно появляющихся: лишь на рынке нападают с вопросом *да* или *нет*.

Медленно существование всех глубоких родников: долго должны они ждать, пока узнают, *что* таится в их глубине.

В сторону от рынка и славы удаляется все великое: в стороне от рынка и славы жили испокон века изобретатели новых ценностей.

Беги, мой друг, в свое уединение: я вижу, тебя ужалили ядовитые мухи. Беги туда, где суровый, свежий воздух!

Беги в свое уединение! Ты жил слишком близко с маленьким и несчастным! Беги от их невидимой мести! Против тебя они суть не что иное, как месть!

Не подымай больше руки против них! Они бесчисленны, и не твоя задача служить метелкой для мух.

Бесчисленны эти маленькие и несчастные; и не для одного гордого здания дождевые капли и плевелы послужили причиной к гибели.

Ты — не камень, но ты стал уже вогнутым от множества капель. Разобьешься и потрескаешься ты от множества капель.

Я вижу тебя усталым благодаря ядовитым мухам; я вижу тебя до крови исцарапанным в ста местах; и гордость твоя не хочет даже возмущаться.

Крови хотят они от тебя при всей невинности, крови жаждут их бескровные души — и потому они жалят при всей невинности.

Но ты глубокий, и страдаешь слишком глубоко даже от маленьких ран; и прежде чем ты успевал вылечиться, такой же ядовитый червяк уже полз по твоей руке.

Ты слишком горд для того, чтобы убивать этих лакомок. Но берегись, как бы не стало твоею судьбою переносить их ядовитую несправедливость!

Они жужжат вокруг тебя также со своей хвалой: назойливость — вот их хвала. Они хотят близости твоей кожи и твоей крови.

Они льстят тебе, как божеству или демону; они пишат перед тобою, как пред божеством или демоном. Что же? Лстецы и визгуны они, и больше ничего!

Часто также выдают они себя перед тобою за любезных. Но это было всегда благоразумием трусливых. Да, трусливые благоразумны!

Они много думают своей узкой душой о тебе. Ты всегда кажешься им сомнительным! Все, о чем много думают, становится сомнительным.

Они карают тебя за все твои добродетели. В глубине они прощают тебе лишь... твои ошибки.

Потому что ты кроток и справедлив, ты говоришь: «Невинны они в своем маленьком существовании». Но их узкая душа думает: «Виновно всякое великое существование».

Даже если ты кроток с ними, то они чувствуют себя еще так, как будто ты презираешь их; и они возвращают тебе твое благодеяние со скрытым злом.

Твоя безмолвная гордость всегда противоречит их вкусу; они ликут, если ты бываешь достаточно скромн, чтобы оказаться тщеславным.

То, что мы узнаем в каком-либо человеке, то мы также и воспламеняем в нем. Итак, берегись малых!

Перед тобою они чувствуют себя малыми, и их приниженность тлеет и раскаляется в невидимую месть против тебя.

Разве ты не замечал, как часто они умолкали, когда ты подходил к ним, и какая сила покидала их, как дым покидает потухающий огонь?

Да, мой друг, нечистой совестью являешься ты для своих ближних, ибо они недостойны тебя. Так ненавидят они тебя, и охотно насосались бы твоей крови.

Твои ближние будут всегда ядовитыми мухами; то, что велико в тебе, — именно то должно делать их более ядовитыми и более похожими на мух.

Беги, мой друг, в свое уединение, туда, где свежий, здоровый воздух! Не твоя задача быть метелкой для мух».

Так говорил Заратустра.

О целомудрии

«Я люблю лес. В городах плохо жить: там слишком много страстных.

Не лучше ли очутиться в руках убийцы, чем в мечтах страстной женщины?

И посмотрите на этих мужчин: глаза их говорят, что они не знают ничего лучшего на земле, как лежать около женщины.

На дне их душ — грязь; и горе, если грязь их обладает еще и духом.

Пусть бы вы были, по крайней мере, совершенными зверями! Но зверю свойственна невинность.

Разве я призываю вас умерщвлять ваши чувства? Я призываю вас к невинности чувств.

- Разве я призываю вас к целомудрию? У некоторых целомудрие — добродетель, но у многих — почти порок.

Они-то воздерживаются, но пес чувственности проглядывает во всем, что они делают.

До вершины их добродетели и до самой глубины холодного духа следует за ним это животное и его вражда.

И как искусно умеет пес чувственности вымаливать немножко духа, когда ему отказывают в куске мяса!

Вы любите трагедии и все, что раздирает сердце? Но я не доверяю вашему псу.

У вас слишком жестокие глаза, и вы жадно глядите на страдающих. Не перерядилось ли только ваше сладострастие и назвалось состраданием?

Вот также притчу даю вам: немало тех, которые стремились изгнать своего дьявола, — и сами при этом перешли в свиней.

Кому тяжело переносить целомудрие, тому надо отсоветовать это: чтобы не сделалось оно дорогой в ад, т. е. к грязи и страсти души.

Разве я говорю о грязных вещах? По-моему, это — не самое скверное.

Не тогда, когда истина загрязнена, но когда она мелка, тогда познающий неохотно вступает в ее воду.

Поистине, существуют целомудренные в самом основании: они более кротки сердцем, они смеются лучше и щедрее, чем вы.

Они смеются также над целомудрием и спрашивают: «Что такое целомудрие?»

Не есть ли целомудрие — глупость? Но эта глупость пришла к нам, а не мы к ней.

Мы предложили этому гостю пристанище и сердце; теперь он живет у нас, — пусть остается, сколько хочет!»

Так говорил Заратустра.

О друге

«Всегда один — слишком много для меня», — так думает отшельник. «Всегда один и один — со временем составляет два!»

Я и меня постоянно слишком усердствуют в разговоре: как вынести это, если бы не существовало друга?

Всегда для отшельника друг бывает третьим; третий — это пробка, которая препятствует тому, чтобы разговор двоих не канул в бездонную глубь.

Ах, существует слишком много глубин для всех отшельников! Поэтому-то так тоскуют они о друге и о его высоте.

Наша вера в других выдает, во что мы охотно хотели бы веровать в нас самих. Наша тоска о друге является нашим предателем.

Часто хотят лишь посредством любви перескочить через зависть. Часто нападают и создают себе врага, чтобы скрыть то, что и на тебя могут напасть.

«Будь, по крайней мере, моим врагом!» — так говорит истинное благоговение, которое не решается просить дружбы.

Если хочешь иметь друга, то должно стремиться даже сражаться ради него; а чтобы вести войну, для этого нужно *мочь* быть врагом.

В друге своем должно чтить еще врага. Разве ты можешь подойти вплотную к своему другу, не перейдя к нему?

В своем друге должно иметь своего лучшего врага. Ты должен быть к нему ближе всего сердцем, когда ты противодействуешь ему.

Ты не хочешь пред своим другом носить никакого платья? Честью для твоего друга должно быть то, что ты отдаешься ему таковым, каков ты есть! Но он поэтому отправляет тебя к черту.

Кто не делает из себя никакой тайны, тот возмущает; так много вы имеете оснований страшиться наготы! Да, если бы вы были богами, тогда вы должны были бы стыдиться одежды своей.

Ты не можешь нарядиться для своего друга достаточно красиво; ибо ты должен быть для него стрелой и стремлением к сверхчеловеку.

Видел ли ты своего друга спящим, чтобы знать, как он выглядит? Что такое, впрочем, лицо твоего друга? Оно есть твое собственное лицо, отраженное на плохом и несовершенном зеркале.

Видел ли ты уже своего друга спящим? Не ужаснулся ли ты, что друг твой так выглядит? О, мой друг, человек есть *нечто*, что должно быть побеждено!

Друг должен быть мастером в угадывании и молчании: не все должен ты желать видеть. Твой сон должен выдать тебе то, что друг твой делает во время бодрствования.

Пусть будет твое сострадание угадыванием, чтобы ты знал наперед, хочет ли твой друг сострадания. Может быть, он любит в тебе нетронутые очи и взгляд вечности.

Пусть сострадание к другу сокроется под твердой корой; ради него должен ты выкусить у себя зуб. Тогда оно будет обладать своей тонкостью и сладостью.

Составляешь ли ты для своего друга воздух и уединение, хлеб и лекарство? Иной не может освободиться от своих собственных цепей, и, однако, является освободителем для своего друга.

Не раб ли ты? Тогда ты не можешь быть другом. Не тиран ли ты? Тогда ты не можешь иметь друзей.

Слишком долго в женщине были скрыты раб и тиран. Поэтому-то женщина еще неспособна к дружбе; она знает лишь любовь.

В любви женщины проглядывает несправедливость и слепота ко всему, что она не любит. И даже в сознательной любви женщины все еще остается неожиданность, и молния, и ночь рядом со светом.

Женщина еще неспособна к дружбе: женщины все еще суть кошки и птицы. Или, в лучшем случае, коровы.

Женщина еще неспособна к дружбе. — Но скажите мне, мужчины, кто же из вас способен к дружбе?

О, сколько у вас нищеты, мужчины, и скупости души! Сколько вы даете другу, — столько я отдам своему врагу, и не обеднею от этого.

Существует товарищество; пусть бы существовала дружба!»

Так говорил Заратустра.

О тысяче и одной цели

«Много стран видел Заратустра и много народов; так открыл он добро и зло многих народов. Не нашел Заратустра на земле более могущественной силы, как добро и зло.

Никакой народ не мог бы жить, который сперва не ценил бы; если же он хочет сохраниться, то не должен ценить так, как ценит сосед.

Многое, что по мнению одного народа хорошо, у другого называется насмешкой и позором: так нашел я. Многое нашел я, что здесь называют дурным, а там наряжают в пурпур.

Никогда не понимал один сосед другого: постоянно душа его изумлялась заблуждению и злобе соседа.

Скрижаль добра висит над каждым народом. Смотри, это скрижаль его побед; смотри, это голос его стремления к власти.

Похвально то, что стоит ему труда; что неизбежно и тяжело, то зовет он добром; и что освобождает из вы-

сочайшей нужды, редчайшее, тяжелейшее — то зовет он священным.

Все, способствующее тому, что он господствует и побеждает, и блещет на устрашение и зависть своему соседу: все то означает для него высоту, начало, меру и смысл всех вещей.

Поистине, брат мой, если ты сначала узнал нужду, страну, небо и соседа какого-либо народа, то ты отлично угадаешь закон его преодолений и то, почему он восходит по этой лестнице к своей надежде.

«Всегда должен ты быть первым и выдаваться перед другими; никого не должна любить твоя ревнивая душа, разве только друга», — изречение это заставляло дрожать душу грека; при этом он шел своей тропинкой величия.

«Говорить истину и хорошо владеть луком и стрелю» — казалось в одно и то же время и мило и тяжело тому народу, от которого идет мое имя — имя, которое мне в одно и то же время и мило и тяжело.

«Почитать отца и мать и до конца души быть у них в повиновении» — этим преодолением скрижалей повесил над собой другой народ и сделался благодаря этому могущественным и вечным.

«Соблюдать верность и ради верности полагать честь и кровь даже на дурные дела» — поучаясь так, побеждал себя другой народ, и так, побеждая себя, становился он беременным и тяжелым от великих надежд.

Поистине, люди дали себе все свое доброе и злое. Поистине, они не взяли этого, они не нашли этого, не упало это к ним, как голос с неба.

Ценности сперва положил человек в вещи, чтобы сохранить тебя, — он создал сначала смысл вещам, человеческий смысл! Поэтому называется он *человек*, т. е. оценивающий.

Оценивать — значит создавать; слушайте, создающие!

Оценка сама по себе есть драгоценность и сокровище среди всех оцененных вещей.

Только благодаря оценке существует ценность, а без оценки — зерно существования было бы пусто. Слушайте это, созидающие!

Обмен ценностей — это обмен созидающих: всегда уничтожает тот, кто должен быть созидателем.

Созидателями прежде были народы, а позднее отдельные лица; поистине, самая отдельная личность есть еще юнейшее создание.

Народы когда-то вешали над собою скрижаль добра. Любовь, которая хочет повелевать, и любовь, которая хочет повиноваться, совместно создали для себя такие скрижали.

Воля стада старше происхождением, чем воля «Я»: и пока добрая совесть называется стадом, только дурная совесть говорит «Я».

Поистине, лукавое «Я», лишенное любви, стремящееся к своей выгоде, в выгоде многих: это — не начало стада, а его падение.

Постоянно были любящими и созидателями те, кто создал добро и зло. Огонь любви и гнева горит на именах всех добродетелей.

Много стран видел Заратустра и много народов: ни одной более могущественной силы не нашел Заратустра на земле, как дела любящих: *доброе* и *злое* — их имя.

Поистине, чудовищем является власть этой похвалы и порицания. Скажите, кто принуждает меня к этому, братья? Скажите, кто набросит кандалы на тысячу голов этого зверя!

Тысяча целей существовала до сих пор, ибо существовала тысяча народов. Недостает только оков для тысячи голов, недостает единой цели. Человечество не имеет еще никакой цели.

Но скажите же мне, однако, братья мои: если человечеству еще недостает цели, то также недостает ли и его самого?»

Так говорил Заратустра.

О любви к ближнему

«Вы теснитесь около ближних, и у вас есть для них красивые слова. Но говорю вам: ваша любовь к ближнему есть ваша дурная любовь к самим себе.

Вы спасаетесь у ближних от самих себя, и вам хотелось бы из этого сделать себе добродетель, но я вижу насквозь ваше «бескорыстие».

Ты — старше, чем я; ты — священно, но не таково — я: потому человек теснится к ближнему.

Разве я призываю вас к любви к ближнему? Скорее я посоветую вам бегство от ближних и любовь к дальним.

Выше, чем любовь к ближним, стоит любовь к дальним и любовь к грядущим; еще выше, чем любовь к людям, кажется мне любовь к вещам и призракам.

Этот призрак, который скользит пред тобою, брат мой, красивее, чем ты; почему не отдашь ты ему свое мясо и свои кости? Но ты боишься и бежишь к своему ближнему.

Вы не уживаетесь сами с собою и недостаточно любите себя; теперь вам хочется обольстить ближнего любовью и позолотить себя его заблуждением.

Мне бы хотелось, чтобы вы не вытерпели всякого рода ближних и их соседей; тогда вы должны бы были создать из самих себя своего друга и его изливающееся сердце.

Вы приглашаете свидетеля, когда намереваетесь говорить о себе хорошее; и если вы соблазнили его думать о вас хорошо, то вы и сами думаете о себе хорошо.

Не только тот лжет, кто говорит противно своему знанию, но, действительно, и тот, кто говорит вопреки своему незнанию. И так-то говорите вы о себе при сношениях с людьми и обманываете соседа вместе с собою.

Так говорит дурак: «Сношение с людьми губит характер, особенно если никакого характера нет».

Один идет к ближним, потому что он ищет себя, а другой, потому что он хотел бы потерять себя. Ваша дурная любовь к самим себе создает для вас из уединения — тюрьму.

Дальние сути те, которые оплачивают вашу любовь к ближнему; и если вы уже соединились впятером, то всегда должен умереть шестой.

Я не люблю также ваших праздников: здесь я нашел слишком много актеров, а часто и зрители гримасничали, подобно актерам.

Не о ближнем я учу вас, а о друге. Друг пусть будет для вас праздником земли и предчувствием сверхчеловека.

Я учу вас о друге и об его переполненном сердце. Но надо научиться быть губкою, если хочешь быть любимым переполненными сердцами.

Я учу вас о друге, в котором стоит готовый мир как чаша добра, о созидающем друге, который всегда может раздарить готовый мир.

И как мир развернулся им, так же он и свернулся снова в кольца, подобно существованию добра, благодаря злу, подобно происхождению целей, из случая.

Будущее и отдаленнейшее пусть будет причиной твоего сегодня; в своем друге ты должен любить сверхчеловека как свою причину.

Братья мои, я не призываю вас к любви к ближнему: я призываю вас к любви к дальнему».

Так говорил Заратустра.

О пути созидającego

«Не собрался ли ты, брат мой, отправиться в уединение? Не хочешь ли ты искать пути к самому себе? Помеди еще немного и выслушай меня.

«Кто ищет, тот легко теряет самого себя. Всякая уединенность есть вина», — так говорит стадо. А ты долго принадлежал к стаду.

И в тебе еще будет звучать голос стада. И если ты скажешь: «У меня с вами уже не одна совесть», — то это будет плачь и страдание.

Гляди, это страдание породила еще единая совесть, и последний отблеск этой совести еще горит на твоей скорби.

Но ты хочешь идти путем своей скорби, который есть путь к самому себе? Так покажи мне свое право и свою силу для этого!

Разве ты — новая сила и новое право? Первоначальное движение? Само по себе катящееся колесо? Можешь ли ты заставить звезды вращаться вокруг тебя?

Ах, так много жаждущих высоты! Сколько потуг честолюбия! Покажи мне, что ты не из числа жаждущих и честолюбцев!

Ах, как много есть великих мыслей, которые не лучше кузнечных мехов: они раздуваются и производят пустоту.

Ты называешь себя свободным? Мне хочется слышать мысль, которая господствует в тебе, а не то, что ты избегнул ярма.

Из числа ли ты тех, которые смеют бежать от ярма? Если много таких, которые, сбрасывая с себя подвластность, сбросили свою последнюю цену.

Свободен от чего? Какое дело до этого Заратустре! Но твое око ясно должно поведать мне: свободен для чего?

Можешь ли ты сам себе дать свое добро и зло и повесить над собой свою волю как закон? Можешь ли ты быть судьей самого себя и мстителем своего закона?

Страшно находиться в одиночестве с судьей и мстителем собственного закона. Так выбрасывается звезда в пустое пространство и в ледяное дыхание одиночества.

Сегодня еще ты страдаешь от многих, ты единый: сегодня еще всецело обладаешь своим мужеством и своими надеждами.

Но придет время, когда одиночество утомит тебя, когда сломится твоя гордость и надежды твои разрушатся. Придет время, когда ты закричишь: «Я — одинок!»

Придет время, когда ты не будешь больше видеть своего высокого, а твое низкое будет слишком близко к тебе; само твое возвышенное будет пугать тебя, как привидение. Придет время, когда ты закричишь: «Все ложно!»

Есть чувства, которые грозят убить одинокого: когда им это не удастся, тогда они сами должны умереть! Но способен ли ты быть убийцей?

Знаком ли ты уже, брат мой, со словом «презрение»? или с муками твоей справедливости, т. е. быть справедливым к тем, кто тебя презирает?

Ты заставляешь многих переучиваться ради тебя, — это они ставят тебе в большую вину. Ты был недалеко от них и прошел мимо. Этого они никогда не простят тебе.

Ты стал выше их, но чем выше ты поднимаешься, тем меньшим ты являешься в глазах зависти. Больше же всего ненавидят парящего.

«Каким образом вы хотели быть ко мне справедливыми! — должен говорить ты. — Вашу несправедливость я избираю как предназначенный мне удел».

Несправедливостью и грязью забрасывают они одинокого: но, брат мой, если ты хочешь быть звездой, ты все-таки должен светить им!

Остерегайся добрых и справедливых! Они охотно распинают тех, кто изобретает себе свою собственную добродетель, — они ненавидят одинокого.

Остерегайся и святой простоты! В ее глазах все то греховно, что непросто; она охотно играет и огнем костров.

Остерегайся также припадков своей любви! Одинокый слишком скоро протягивает руку тому, кто с ним встречается.

Иным людям ты не должен подавать руку, а только лапу; и я хочу, чтобы твоя лапа была снабжена когтями.

Но злейший враг, с которым ты можешь встретиться, будешь все-таки ты сам; ты подстерегаешь сам себя в пещерах и лесах.

Одинокый, идешь ты по пути к самому себе! И путь этот ведет мимо тебя самого и твоих семи бесов.

Для самого себя ты станешь еретиком, ведьмой, прорицателем, глупцом, скептиком, нечестивцем и злодеем.

Ты должен был бы хотеть сжечь себя в своем собственном пламени: как можешь ты обновиться, не сделавшись сперва пеплом?

Одинокый, ты идешь путем созидающего: божество хочешь ты создать себе из своих семи бесов!

Одинокый, ты идешь путем любящего: ты любишь самого себя и потому презираешь себя, как могут презирать одни любящие.

Созидать хочет любящий, потому что он презирает! Что понимает в любви тот, кто не должен был презирать именно то, что он любил!

Отправляйся со своей любовью и созиданием в свое одиночество, брат мой; и только позднее поплетется за тобой, прихрамывая, справедливость.

Отправляйся с моими слезами в свое одиночество, брат мой. Я люблю того, кто хочет созидать вне себя и таким образом погибнет».

Так говорил Заратустра.

О старых и молодых женщинах

«Что ты так робко крадешься в сумерках, Заратустра? И что ты так бережно прячешь под своим плащом?

Не сокровище ли тебе подарили? Или это твой новорожденный ребенок? Или ты теперь сам ходишь воровскими путями, ты, друг злых?»

«Воистину, брат мой! — сказал Заратустра, — мне подарили сокровище: я несу маленькую истину.

Но она беспокойна, как юное дитя; и когда я не зажимаю ей рта, она страшно кричит.

Когда я сегодня один шел своей дорогой, в тот час, когда солнце садится, со мной повстречалась старая женщина и так говорила моей душе:

«Многое говорил Заратустра и нам, женщинам, но никогда не говорил он с нами о женщине».

И я возразил ей: «О женщине следует говорить только с мужчинами».

«Говори и со мною о женщине, — сказала она, — я достаточно стара, чтобы тотчас все позабыть».

И я снизошел к просьбе старухи и сказал ей так:

«Все в женщине — загадка, и все в ней имеет решение: оно называется беременностью.

Мужчина для женщины есть средство; целью всегда бывает дитя. Но что такое женщина для мужчины?

Настоящий мужчина хочет двух вещей: опасности и игры. Поэтому ему хочется женщины, как самой опасной игрушки.

Мужчина должен воспитываться для войны, а женщина для отдохновения воина; все остальное есть глупость.

Слишком сладкие плоды не нравятся воинам. Потому ему нравится женщина: горечь есть и в самой сладкой женщине.

Женщина понимает детей лучше мужчины, но мужчины ребячливее женщины.

В настоящем мужчине таится ребенок: он хочет поиграть. Вперед, женщины, найдите же дитя в мужчине!

Пусть женщина будет игрушкой чистой и изящной, подобно драгоценному камню, сияющей добродетелями мира еще не существующего.

Пусть в вашей любви сияет луч звезды! Вашей надеждой пусть будет: «О, если б мне родить сверхчеловека!»

В вашей любви пусть заключается храбрость! Своей любовью должны вы нападать на того, кто вам внушает страх.

В вашей любви пусть будет ваша честь! Иначе женщина мало смыслит о чести. Свою честь полагайте в том, чтобы любить всегда больше, чем вы любимы, и никогда не быть вторыми.

Пусть мужчина боится женщины, когда она любит: тогда она принесет всякую жертву, а все остальное не имеет для нее значения.

Пусть мужчина боится женщины, когда она ненавидит: потому что в глубине души мужчина только зол, женщина же — скверна.

Кого женщина ненавидит всего больше? — Так сказано железо магниту: «Я ненавижу тебя всего больше потому, что ты притягиваешь, но недостаточно силен, чтобы притянуть к себе».

Счастье мужчины называется: *я хочу*. Счастье женщины: *он хочет*.

«Вот мир только что стал совершенным!» — так думает каждая женщина, повинующаяся от полноты любви.

Слушаться должна женщина и найти глубину для своей поверхности. Душа женщины есть поверхность, подвижная, бурливая пленка на мелкой воде.

Душа мужчины глубока, ее поток шумит в подземных пещерах; женщина догадывается о его силе, но не постигает ее».

Тогда старуха отвечала мне: «Много любезного сказал Заратустра, особенно для тех, кто достаточно молод для этого.

Странно, Заратустра мало знает женщин, и все-таки он прав относительно их! Не оттого ли это, что у женщины нет ничего невозможного.

А теперь, в благодарность, прими маленькую истину! Я достаточно стара для нее!

Закутай ее и зажми ей рот, иначе она будет кричать слишком громко, эта маленькая истина».

«Дай мне, женщина, твою маленькую истину!» — сказал я. И вот что сказала старуха:

«Ты идешь к женщинам? Не забудь взять с собою плеть!»

Так говорил Заратустра.

Об укусе ехидны

Однажды, в жаркое время, Заратустра уснул под смоковницей, прикрыв свое лицо руками. Подползла ехидна и укусила его в шею, так что Заратустра вскрикнул от боли. Отняв руку от лица, он посмотрел на змею: тут она узнала глаза Заратустры, неловко повернулась и хотела бежать. «Погоди, — сказал Заратустра, — ты еще не приняла моей благодарности! Ты разбудила меня кстати, мой путь еще долг». «Твой путь короток, — проговорила змея печально, — мой яд смертелен». Заратустра улыбнулся. «Когда же дракон умирал от змеиного яда! — сказал он. — Но возьми обратно свой яд! Ты недостаточно богата, чтобы дарить его мне». Тогда ехидна снова кинулась к нему на шею и начала лизать его рану.

Когда Заратустра однажды рассказал об этом своим ученикам, они спросили: «О, Заратустра, каково нравоучение твоего рассказа?» Заратустра отвечал им на это:

«Добрые и праведные называют меня губителем нравственности: мой рассказ безнравственен».

Если у вас есть враг, не платите ему добром за зло, потому что это пристыдит его. Но докажите, что он сделал вам добро.

Лучше еще сердитесь, но не стыдите! Когда вас проклинаят, я не хочу, чтоб вы благословляли. Лучше слегка проклинать вместе с ними.

Если вам окажут большую несправедливость, сделайте поскорее пять маленьких! Страшно смотреть на того, кого одного давит несправедливость.

Знали ли вы уже это? Разделенная на части несправедливость есть половина справедливости. Взять на себя несправедливость должен тот, кто может снести ее!

Небольшая месть человечнее отсутствия всякой мести. И если наказание не есть также право и честь для преступившего, то я не хочу ваших наказаний.

Лучше не считать себя неправым, чем правым, особенно если ты прав. Только для этого нужно быть достаточно богатым.

Я не хочу вашей холодной справедливости; и из очей ваших судей на меня всегда смотрит палач и его холодное железо.

Скажите мне, где находится справедливость, которая есть любовь с видящим оком?

Изобретите же любовь, которая снесет не только всякое наказание, но и всякую вину!

Изобретите же справедливость, которая оправдает всякого, за исключением судящего!

Хотите слышать еще и это? Кто в глубине души хочет быть справедливым, в том и ложь явится человеколюбием.

Но как могу я быть справедливым из глубины души! Как могу я воздать всякому свое! С меня довольно и того: я всякому отдам мое.

Наконец, братья мои, остерегайтесь быть несправедливыми к отшельникам! Как мог бы отшельник забыть! Как мог бы оказать возмездие!

Отшельник то же, что глубокий колодец. Легко бросить в него камень; если он опустится на дно, скажите, кто захочет его снова достать?

Остерегайтесь оскорблять отшельника! Но если вы это сделали, то уж и убейте его!»

Так говорил Заратустра.

О ребенке и браке

«У меня есть вопрос к тебе одному, брат мой: подобно лоту опускаю я его в твою душу, потому что знаю ее глубину.

Ты молод и желаешь себе ребенка и брака. Но я спрашиваю тебя: такой ли ты человек, который смеет желать ребенка?

Победоносец ли ты, одолевающий самого себя, владитель ли чувств, господин ли своих добродетелей? Вот что я спрашиваю у тебя.

Или в твоем желании говорит животное и нужда? Или одиночество? Или недовольство самим собою?

Я хочу, чтобы твоя победа и твоя свобода желали ребенка. Ты должен создавать живые памятники своей победе и своему освобождению.

Ты должен созидать вне себя. Но прежде ты должен быть сам построен прямоугольно душой и телом.

Ты должен не только расплостаться, но и подниматься выше! Пусть в этом поможет тебе сад брака!

Ты должен создать высшее тело, первоначальное движение, колесо, катящееся само собою, — ты должен создать созидającego.

Брак — так я называю стремление двоих создать то, что есть нечто большее, чем создавшие его. Браком называю я благоговение друг перед другом, как перед хотящими одного стремления.

Вот каковы должны быть смысл и истина твоего брака.

Да, я желал бы, чтобы земля сотряслась от судорог, когда брачуются святой с гусыней.

Тот, как герой, вышел за истиной и добыл себе маленькую, прикрашенную ложь. Он называет это своим браком.

Тот был необщителен и крайне разборчив. Но вдруг он раз и навсегда испортил свое общество; он это называет браком.

Другой искал служанку с добродетелями ангела. Но вдруг он сделался служанкой женщины, и теперь ему еще нужно бы превратиться благодаря этому в ангела.

Всех покупателей я нашел заботливыми, и у всех у них хитрые глаза. Но и хитрейший из них покупает себе жену в мешке.

Масса кратковременных дурачеств — вот что называется у вас любовью. А ваш брак, как продолжительное безумие, полагает конец многим кратковременным дурачествам.

Ваша любовь к женщине и любовь женщины к мужчине: ах, если б она была сочувствием к страждущему и тайному божеству. Но большею частью два животных угадывают друг друга.

Но и лучшая ваша любовь есть лишь искаженное подобие и болезненный пыл. Она является факелом, долженствующим светить вам к высшим путям.

Со временем вы должны любить превыше себя. Научитесь сперва так любить! Поэтому вы должны были испить горькую чашу своей любви.

Горечь находится в чаше и в лучшей любви; таким образом она заставляет стремиться к сверхчеловеку, таким образом он возбуждает жажду в тебе, созидающем!

Жажда в созидающем, стрела и стремление к сверхчеловеку; говори, брат мой, таково ли твое стремление к браку?

Священны для меня такая воля и такой брак».

Так говорил Заратустра.

О свободной смерти

«Многие умирают слишком поздно, а иные слишком рано. Еще странно звучит правило Уми вовремя!»

Уми вовремя — так учит Заратустра. Разумеется, кто никогда не жил вовремя, как же тому умереть вовремя? Пусть бы он лучше никогда не родился! — вот мой совет лишним.

Но и излишние еще важничают своею смертью, и самый пустой орех требует, чтобы его разгрызли.

Смерть все считают важной: но смерть еще не празднество. Люди еще не научились освящать свои прекраснейшие празднества.

Я указываю вам на совершающуюся смерть, которая будет для живущих и жалом и обетованием.

Своей смертью умирает совершающий, победоносный, окруженный надеющимися и дающими обет.

Следовало бы научиться умирать таким образом; не должно бы быть торжества там, где такой умирающий не освящал бы обетов живущих.

Умереть таким образом есть наилучшее; а второе — умереть в борьбе и израсходовать великую душу.

Но как борющемуся, так и победителю одинаково ненавистна ваша смерть, скалящая зубы, подкрадывающаяся, как вор, — и все-таки входящая господином.

Я хвалю вам свою смерть, свободную смерть, которая приходит ко мне, потому что я ее хочу.

А когда я захочу? — У кого есть цель и наследник, тот хочет смерти вовремя для цели и наследника. Из благоговения к цели и наследнику он перестанет увешивать поблеклыми венками святилище жизни.

Воистину, я не желаю походить на вырабатывающих проволоку: они тянут свою нитку в длину, а сами при этом все пятятся назад.

Иной становится слишком стар и для своей истины, и для победы; беззубый рот не имеет уже права на всякую истину.

И каждый, желающий славы, должен заблаговременно распротиться с почестью и упражняться в трудном искусстве: вовремя уйти.

Вкушающих тебя останови в то время, когда ты кажешься всего вкуснее; это известно тем, которые желают быть долго любимы.

Есть, конечно, и кислые яблоки, участь коих — ждать последнего осеннего дня; и они одновременно делаются спелыми, желтыми и морщинистыми.

У одних сперва стареет сердце, у других ум. Иные бывают стариками в юности, но поздняя юность надолго сохраняет молодость.

У иного жизнь неудачна: ядовитый червь грызет его сердце. Так пусть он следит за тем, чтобы тем удачнее была его смерть.

Иной никогда не делается сладким, он загнивает еще летом. Одна трусость удерживает его на сучке.

Слишком многие живут и слишком долго висят на своих сучьях. Пусть бы пришла буря и стряхнула с дерева все это гнилое и проточенное червями!

Пусть бы пришли проповедники скорой смерти! То были бы настоящие бури, сотрясающие дерево жизни!

Но я слышу только проповедующих медленную смерть и терпение ко всему «земному».

Ах, вы проповедуете терпение к земному? Это земное слишком терпеливо с вами, поносителями!

Юноша любит незрело и, также незрело, ненавидит он человека и землю. Несвободны и тяжелы еще его нрав и духовные крылья..

Но в зрелом муже больше детского, чем в юноше, и меньше уныния; он лучше знает толк в смерти и жизни.

Свободен к смерти и свободен в смерти святой отрицатель, когда уже не время говорить *да*; следовательно, он знает толк в смерти и жизни.

Пусть ваша смерть не будет клеветой на человека и землю, друзья мои; вот чего я прошу у меда вашей души.

В вашей смерти должны еще пылать ваш дух и ваша добродетель, подобно вечерней заре вокруг земли; иначе, — смерть вам не удалась.

Так я хочу умереть сам, чтоб вы, друзья, ради меня больше любили землю; я хочу снова обратиться в землю, чтобы найти покой в той, которая меня родила.

Поистине, Заратустра имел цель, он прошел свой путь; теперь вы, друзья, будьте наследниками моей цели, вам оставляю я золотой путь.

Всего лучше для меня, друзья мои, видеть, что вы следуете этому золотому пути! Поэтому я еще немного помедлю на земле: простите мне это!»

Так говорил Заратустра.

О дарящей добродетели

1

Когда Заратустра простился с городом, к которому лежало его сердце и имя которого было «Пестрая Корова»,

за ним последовали многие, называвшие себя его учениками, и провожали его. Так дошли они до перекрестка: тогда Заратустра сказал им, что теперь он хочет идти один; ибо он любил ходить в одиночестве. На прощание ученики подали ему посох, на золотой ручке которого змея обвилась вокруг солнца. Заратустра обрадовался посоху и оперся на него; потом он так заговорил к ученикам своим:

«Скажите мне: каким образом золото достигло высшей ценности? Тем, что оно необыкновенно и бесполезно, и блестяще, и кротко в блеске; оно всегда дарит себя.

Только как подобие высшей добродетели достигло золото своей высшей ценности. Подобно золоту светится взор дарящего. Блеск золота заключает мир между луной и солнцем.

Необычайна и бесполезна высшая добродетель; блестящ и кроток ее блеск; дарящая добродетель есть высшая добродетель.

Поистине, я узнаю вас, ученики мои: вы, подобно мне, стремитесь к дарящей добродетели. Что есть в вас общего с кошками и волками?

Это ваша жажда — самим стать жертвами и дарами, и потому вы жаждете скопить все богатства в вашей душе.

Ненасытно стремление вашей души к сокровищам и драгоценностям, потому что ваша добродетель ненасытна в хотении раздаривать.

Вы насильно влечете все вещи к себе и в себя, чтобы они из вашего источника текли обратно, как дары вашей любви.

Поистине, такая дарящая любовь должна стать грабителем всяких драгоценностей; но я называю такое своекорыстие святым.

Существует другой эгоизм, слишком бедный, голодающий, вечно хотящий украсть, эгоизм больного, больной эгоизм.

Воровским оком глядит он на все блестящее; алчностью голода измеряет он того, у кого много еды; и постоянно бродит он вокруг стола дарящих.

Из такой алчности говорит болезнь и невидимое вырождение; о хвором теле говорит воровская алчность такого эгоизма.

Скажите мне, братья: что признаем мы дурным и наихудшим? Не вырождение ли? — А мы всегда предполагаем вырождение там, где нет дарящей души.

Вверх идет наш путь, от рода к сверхроду. Но ужасом является для нас чувство, которое говорит: «Все для меня».

Вверх летит наше чувство: таким образом, оно есть подобие нашего тела, подобие возвышения. Такие подобия возвышений суть имена добродетелей.

Таким образом, нарождающееся и борющееся тело проходит через историю. А дух — что он для него? Герольд его борьбы и его победы, его сотоварищ и отголосок.

Символы суть все имена доброго и злого: они не говорят, они только кивают. Глупец тот, кто хочет узнать от них что-либо!

Блюдайте, братья мои, за каждым часом, когда ваш дух хочет говорить притчами: в этом источник вашей добродетели.

Тогда ваше тело возвысилось и восстало; своим восторгом оно восторгает и дух так, что он становится и создателем, и ценителем, и любящим, и благодетелем всего.

Если сердце ваше бьется широко и полно, подобно потоку, который служит и благом, и опасностью для береговых жителей, в этом источник вашей добродетели.

Когда вы превыше похвалы и порицания, и ваша воля хочет повелевать всем, как воля любящего, в этом источник вашей добродетели.

Если вы пренебрегаете приятным и мягкой постелью и можете достаточно далеко отодвинуться от изнеженных, в этом источник вашей добродетели.

Если вы из тех, которые хотят одной воли, и этот поворот всякой нужды называется у вас необходимостью, в этом источник вашей добродетели.

Поистине, это есть новое добро и зло! Поистине, это новое глубокое журчание и голос нового родника.

Она сила, эта новая добродетель; она есть преобладающая мысль, а вокруг нее — мудрая душа: золотое солнце и вокруг него змея познания».

II

Заратустра умолк на некоторое время и с любовью взглянул на учеников своих. Затем он продолжал, и голос его изменился.

«Братья мои, с силой вашей добродетели оставайтесь верны земле! Вот о чем прошу и умоляю я вас.

Не позволяйте ей упорхнуть от земного и биться крыльями о вечные стены! Ах, всегда было так много улетевшей добродетели!

Подобно мне, ведите улетевшую добродетель обратно к земле — да, обратно к телу и жизни, чтобы она дала земле ее смысл, человеческий смысл!

Сотни раз улетали и заблуждались до сих пор дух и добродетель. Ах, в нашем теле и теперь еще живет этот обман и заблуждение, и сделался в нем плотью и волей.

Сотни раз до сего времени дух и добродетель делали опыты и заблуждались. Да, человек был опытом. Ах, много невежества и заблуждений сделались в нас плотью.

В нас прорывается не только разум тысячелетий, но и их безумие. Опасно быть наследником.

Мы еще продолжаем, шаг за шагом, бороться с гигантом — случаем, и над всем человечеством до сих пор еще властвует безумие — бессмыслие.

Ваш дух и ваша добродетель, пусть служат смыслу земли, братья мои; и ценность всех вещей пусть будет вновь установлена вами! Поэтому вы должны быть борющимися! Поэтому вы должны быть созидателями!

Тело очищается знанием; производя опыты со знанием, оно возвышается; для познающего всякое побуждение освещается; у возвысившегося душа делается радостной.

Врач, исцели самого себя; тогда ты помо-
жешь еще и своему больному. Для него луч-
шей помощью будет, когда он глазами уви-
дит того, кто исцелил самого себя.

Существуют тысячи тропинок, по которым еще никогда не ходили, тысячи здоровий и скрытых островков жизни. Все еще не исчерпаны и не открыты человек и человеческая земля.

Бодрствуйте и прислушивайтесь, одинокие! От будущего несутся веяния с помощью тайных взмахов крыльев; и тонкого слуха достигает добрая весть.

Вы, одинокие настоящего, вы, удаляющиеся, некогда должны образовать народ; из вас, избравших самих себя, должен произойти избранный народ, — а из него сверхчеловек.

Поистине, местом выздоровления должна еще стать мать-земля! Уже носится вокруг нее новый аромат, запах, приносящий исцеление — и новую надежду!»

III

Произнеся эти слова, Заратустра умолк так, как умолкает еще не сказавший последнего слова; долго и сомнительно качал он посохом в своей руке. Наконец он заговорил так, — и голос его снова изменился:

«Я иду теперь один, ученики мои! И вы уходите, и притом одни! Я так хочу.

Поистине, советую вам: уходите от меня и защищайтесь против Заратустры! И еще того лучше: стыдитесь его! Может быть, он вас обманул.

Человек познания должен не только любить своих врагов, но быть в состоянии ненавидеть и своих друзей.

Плохо воздаешь учителю, если всегда остаешься только учеником. Почему не хотите вы вырвать лавров из моего венка?

Вы меня почитаете; а что, если однажды ваше почитание рухнет! Остерегайтесь, как бы вас не убила статуя!

Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что такое Заратустра? Вы, верующие в меня: но что важного во всех верующих?

Вы еще не искали друг друга, когда нашли меня. Так делают все верующие; потому так незначительно всякое верование.

Теперь я вам приказываю потерять меня и обрести себя, и только когда вы все от меня отречетесь, я вернусь к вам.

Поистине, другими глазами, братья мои, буду я тогда искать своих утерянных; иною любовью буду я тогда любить вас.

И еще раз вы должны будете стать моими друзьями и детьми единой надежды; тогда я приду к вам в третий раз, чтобы праздновать с вами великий полдень.

Великий полдень, это когда человек стоит на половине своего пути между животным и сверхчеловеком и празднует свой путь к западу, как высшую свою надежду, потому что это путь к новому утру.

Тогда заходящий будет благословлять самого себя за то, что он есть преходящий; и солнце его познания будет стоять на полдне.

“Исчезли все боги; теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек”. — Такова должна быть наша последняя воля в великий полдень!»

Так говорил Заратустра.



Фридрих Ницше.
Фотография 1861 г.



ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА

Предисловие

Если мы предположим, что истина есть женщина, то разве мы не имеем основания подозревать, что все философы, поскольку они были догматиками, плохо знали женщин и что ужасающая серьезность, неловкая навязчивость, с которой они до сих пор приступали к истине, были неумелыми и неподобающими средствами к тому, чтобы расположить к себе женщину? И она действительно не поддалась соблазну — и вот всякого рода догматика стоит теперь огорченная и обескураженная. *Если* она только вообще еще стоит! Есть насмешники, которые утверждают, что она упала, что вся догматика лежит во прахе, более того, что вся догматика находится при последнем издыхании. Строго говоря, мы имеем полное основание надеяться, что все догматическое умствование в философии, какой бы торжественный и авторитетный вид оно не принимало, было лишь все-таки детской игрой и азбукой мышления, и весьма близко, может быть, то время, когда люди снова поймут, *чего*, собственно говоря, достаточно было когда-то для того, чтобы положить фундамент тем возвышенным и абсолютным философским сооружениям, которые до сих пор возводили догматики — какого-нибудь народного поверья из неза-

памятных времен (как, например, суеверие души, суеверие субъективного «Я», которое и до сих пор еще не перестало бесчинствовать), может быть, игры слов, грамматической ошибки или смелого обобщения очень узких, очень личных, слишком человеческих фактов. Будем надеяться, что философия догматиков была лишь обещанием за тысячелетия, каковым еще в более раннюю эпоху была астрология, на служение которой положено было, может быть, более труда, денег, остроумия, терпения, нежели для какой бы то ни было действительной науки до сих пор. «Ей и ее сверхъестественным» претензиям в Азии и Египте мы обязаны грандиозным стилем архитектуры. По-видимому, для того, чтобы великое могло со своими вечными требованиями запечатлеться в сердце человечества, оно не должно прежде пройти по земле в форме отвратительных и страшных чудовищ: одним из таких чудовищ была догматическая философия, как, например, учение Веданты в Азии и платонизм в Европе. Но не будем неблагодарны к ней, хотя мы и должны сознаться, что самое худшее, положительное и опасное из всех бывших до сих пор заблуждений было заблуждение догматика, а именно, выдуманное Платоном учение о чистом духе и добре в самом себе. Теперь, когда это заблуждение побеждено и Европа может вздохнуть свободно от этого кошмара и, по крайней мере, пользоваться здоровым сном, мы, *задача которых заключается в бдении*, наследники всей той силы, которую развила борьба против этого заблуждения. Правда, это значило перевернуть истину вниз головой и отречься от *перспективности*, от основного условия всей жизни и говорить о душе и добре так же, как Платон. Мы, подобно врачу, можем спросить: «Откуда взялась такая болезнь у Платона, этого прекраснейшего представителя древности? неужели его испортил злой Сократ? не был ли Сократ действительно совратителем юношей и не заслужил ли он цикуты?» Но борьба против Платона или, чтобы выразиться понятнее и

«популярнее», борьба против христианско-церковного ига тысячелетий, так как христианство есть только платонизм «для народа» — произвела удивительное напряжение ума, какого еще не было на земле; с таким туго натянутым луком можно метить в самые отдаленные цели. Правда, что европеец считает это напряжение временным злом и уже два раза в широких размерах старался ослабить тетиву, один раз с помощью иезуитизма, другой раз посредством демократического просвещения. В последнем смысле с помощью свободы печати и чтения газет, пожалуй, действительно достигли бы того, что дух не чувствовал бы сам себя бедствием! (Немцы выдумали порох — с чем их и поздравляю! но они расквитались за это изобретением печати). Мы же, не принадлежа ни к иезуитам, ни к демократам, мы, *добрые европейцы* и свободные, *очень* свободные умы — мы всё еще чувствуем и всё бедствие духа, и всё напряжение лука! а может быть, и стрелу, задачу, кто знает? цель...

Сильс-Мария, Верхний Энгадин

Июнь 1885

ГЛАВА I

О предрассудках философов

1. Стремление к истине, которое побудит нас еще ко многим отважным поступкам, та знаменитая достоверность, о которой философы до сих пор говорили с таким благоговением — каких вопросов не задавало нам оно? Какие удивительные, мучительные, сомнительные вопросы! Это уже старая история, а между тем, кажется, будто она только что началась. Удивительно ли, что мы наконец теряем доверие, теряем терпение и с досадой отворачиваемся, что мы, в свою очередь, у этого сфинкса учимся задавать вопросы? *Кто* же здесь, собственно, задаёт нам вопросы? *Что* такое в нас самих стремится

«к истине»? Действительно, мы долго останавливаемся перед вопросом о причине этого стремления, — до тех пор пока мы не остановились окончательно перед еще более глубоким вопросом. Мы спросили о *ценности* этого стремления. Положим, мы хотим истины: *почему же лучше* не лжи? не сомнения? не незнания? Проблема ценности истины предстала перед нами — или мы сами подошли к этой проблеме? Кто из нас здесь Эдип? Кто сфинкс? По-видимому, здесь сходятся вопросы и вопросительные знаки?.. И поверит ли кто, что в конце концов нам будет казаться, что эта проблема еще никогда не была поставлена нам — что мы увидели ее впервые, впервые отважились на нее? Ибо при этом есть риск, более которого, может быть, и не существует.

2. Как *могло бы* что-либо возникнуть из своей противоположности? Например, истина из заблуждения? или стремление к истине из стремления к обману? или самоотверженное действие из корыстолюбия? или чистое, ясное, как свет солнца, воззрение мудреца из жадности? Такие явления невозможны: кто мечтает об этом — глупец еще хуже того. Предметы высшей ценности должны иметь иное, *собственное* происхождение — из этого непрочного, обманчивого, ничтожного мира, из этой путаницы безумия и жадности их вывести нельзя! В недрах бытия, в незыблемом, скрытом божестве, в «вещи в себе» (Ding an sich) — *вот где* «должны лежать их основы и более нигде!» — этот способ суждения составляет тот типичный предрассудок, по которому можно узнать метафизиков всех времен; этот род оценки находится в глубине всех их логических выводов, из этой «веры» своей они стараются достигнуть «знания», чего-то, чему в конце концов торжественно дается название «истины». Основное верование метафизиков есть *вера в противоположность ценностей*. Даже самым осторожным из них не пришло в голову усомниться уже на пороге, там, где это было особенно необходимо, даже тогда, когда они дали себе слово «de omnibus dubitandum» (сомне-

ваться во всем). Мы можем сомневаться, во-первых, в том, что вообще существуют противоположности, и, во-вторых, что те популярные оценки и противоположные ценности, на которые метафизики наложили свою печать, может быть, только оценки переднего плана, ближайшие перспективы, видимые к тому же из-за угла или снизу — лягушечьи перспективы, как говорят художники? При всей ценности, которую может иметь истинное, правдивое и бескорыстное, возможно, что кажущемуся стремлению к обману, к себялюбию и жадности следовало бы для жизни вообще приписать высшую и более основательную ценность. Возможно даже, что ценность тех хороших и уважаемых вещей заключается именно в том, что они фатальным образом сплетены, связаны, сродственны и, может быть, одинаковы по своей сущности с этими дурными и, по-видимому, противоположными вещами. Может быть! — Но кто же захочет заняться такими опасными «может быть»? Для этого следует подождать появления новой породы философов, таких, которые отличаются другими, противоположными вкусами и наклонностями, нежели те, которые были до сих пор — философов опасного «может быть» в полном смысле слова. И, серьезно говоря, я вижу появление таких новых философов.

3. После того как я долго следил за философами и наблюдал их, я сказал себе: нужно большую часть сознательного мышления причислить еще к функциям инстинкта, даже и по отношению к философскому мышлению; здесь надо переучиваться так же, как люди переучивались относительно наследственности и «прирожденного». Насколько самый акт рождения мало принимается во внимание во всем предыдущем и последующем ходе наследственности, настолько же мало «самосознание» в каком-либо положительном смысле может быть *противопоставлено* инстинктивному мышлению: большая часть сознательного мышления философа тайно управляется его инстинктами, которые насильно ведут его по извест-

ным путям. За всякой логикой и ее кажущейся самостоятельностью движения скрывается также оценка, точнее говоря, физиологические требования, ради сохранения известного рода жизни. Например, — что определенное ценится более неопределенного, обман ценится менее «правды» — подобные оценки при всей своей регулирующей важности для нас, суть только оценки переднего плана, известного рода глупость *niaiserie*, которая, пожалуй, нужна для сохранения таких существ, как мы. Предположив, что «мера вещей» не есть именно человек...

4. Ложность суждения еще не может служить нам возражением против суждения; в этом отношении наш новый язык кажется наиболее непонятным. Вопрос заключается в том, насколько оно способствует развитию, сохранению жизни, сохранению рода, может быть, даже зарождению рода. И мы принципиально склонны утверждать, что самые ложные суждения (к которым синтетические суждения принадлежат *a priori*) для нас самые необходимые, что без допущения логических фикций, без измерения действительности чисто вымышленным миром абсолютного, самому-себе-равного, без известной подделки мира посредством числа, человек не мог бы жить. — Отречение от ложных суждений было бы отречением от жизни, отрицанием ее. Признать неправду необходимым условием жизни, — это значит, конечно, оказывать опасное сопротивление обычно высокооцениваемым чувствам, и философия, отваживающаяся на это, уже одним этим ставит себя по ту сторону добра и зла.

5. Смотреть на всех философов отчасти с насмешкой побуждает нас не то, что мы поминутно видим, до чего они невинны — как часто и как легко они ошибаются и заблуждаются, одним словом, видим их детскую наивность и ребячество, а то, что они поступают не всегда честно и в то же время они все вместе поднимают добродетельный гвалт, как только, хотя бы издали, затрагивается проблема правдивости. Все они делают вид, будто

достигли своих собственных мнений и открыли их путем саморазвития холодной, чистой, божественно-невозмутимой диалектики (в отличие от мистиков всех сортов, которые честнее, но и глупее их, и говорят о «вдохновении свыше»); тогда как в сущности они с помощью подтасованных оснований защищают предвзятый тезис, выдумку, «внушение свыше», большей частью отвлеченным способом созданное и профильтрованное желание сердца. Все они адвокаты, только не хотят носить эту кличку, и даже большей частью хитрые защитники своих предрассудков, которые они называют «истинами». Они очень далеки от той храбрости совести, которая признается именно в этом, очень далеки от той храброй порядочности, которая высказывает это, для того ли, чтобы предостеречь друга или недруга, на зло ли другим, или в насмешку над собой. Натянутое и благонаправленное лицемерие старика Канта, с которым он нас заманивает на обходные диалектические пути, ведущие или скорее заманивающие к его категорическому императиву — это зрелище вызывает у нас, избалованных, улыбку, и нам очень забавно наблюдать тонкие уловки старых моралистов и проповедников морали. Припомним также тот фокус в математической форме, в который Спиноза, как в панцирь, заковал и замаскировал свою философию — «любовь к *своей* мудрости», по справедливой и верной оценке выражения, — чтобы этим сразу запугать противника, который осмелился бы бросить взор на эту непобедимую деву, Палладу-Афину. Сколько собственной трусости и несостоятельности скрывает уединенный больной под этой маской!

6. Мало-помалу я выяснил себе, чем была до сих пор всякая большая философия: это исповедь ее автора, нечто вроде невольных и бессознательных мемуаров; я понял также, что нравственные (или безнравственные) намерения каждой философии составляли истинный зародыш, из которого возникло все растение. Хорошо (и умно) для объяснения того, как составились самые отда-

ленные метафизические суждения философа, предварительно спросить: какую он хочет вывести из этого мораль? Поэтому я не думаю, чтобы источником философии было «побуждение к познанию», но что здесь, как и всюду, другое побуждение воспользовалось познанием (и ошибкой!) как орудием. Кто старается распознать, насколько основные побуждения человека именно в этом случае проявляют свою деятельность, как *вдохновляющие* гении (или демоны), тот найдет, что все они уже прежде занимались философией, и что каждое из них считало именно себя охотнее всего конечной целью бытия и полноправным *господином* всех остальных побуждений. Каждое побуждение властно, и как *такое* пытается философствовать. Разумеется, с учеными, с людьми, посвятившими себя науке, дело обстоит, может быть, иначе — «лучше», если хотите: там действительно, пожалуй, есть нечто вроде побуждения к познанию; какой-нибудь маленький самостоятельный механизм, который, будучи хорошо заведен, храбро работает без того, чтобы другие побуждения ученого принимали в этом участие. Собственно «интересы» ученого находятся обыкновенно совсем в ином месте, — в семье, в зарплатке или в политике, почти безразлично, к какой части науки приставлен его маленький механизм и выработает ли из себя «обещающий» молодой работник хорошего филолога или химика — его не *определяет* то, что он сделается тем или другим. В философе, наоборот, нет ничего безличного; в особенности мораль его служит решительным и решающим показателем того, *кто он*, то есть в каком порядке, по отношению одних к другим, стоят самые сокровенные побуждения его натуры.

7. Как философы могут быть злобны! Я не знаю ничего более ядовитого, как шутка, которую позволил себе Эпикур, относительно Платона и его последователей; он назвал их *Dionysiokolakes*. Это означает по смыслу слова «льстецы Диониса», то есть прихвостни тиранов и плевколизы. Ко всему этому он везде хочет сказать, что

«всё это *комедианты*, у которых нет ничего натурального» (Dionysokolax — было народное название актера). В этом-то и заключается собственно злоба, которою Эпикур хотел уязвить Платона. Его раздражала грандиозная манера выставлять себя напоказ, что так хорошо умели делать Платон и его ученики — и чего вовсе не умел Эпикур! Он, старый школьный учитель на Самосе, сидел спрятанным в своем садике, в Афинах, и написал триста книг против Платона — кто знает, может быть, из злости и тщеславия? Целое столетие понадобилось для того, чтобы греки раскусили, кто собственно был это садовое божество — Эпикур. Да еще раскусили ли?

8. Во всякой философии есть пункт, в котором на сцену выступает «убеждение» философа, или говоря языком одной старой мистерии:

ADVENTAVIT ASINUS. PULCHER ET FORTISSIMUS
(ЯВИЛСЯ ПРЕКРАСНЫЙ И СИЛЬНЫЙ ОСЕЛ)

9. Вы хотите *жить* «сообразно с природой?» О, вы, благородные стойки, какой обман слов! Вообразите себе существо такое, как природа, без меры расточительное, без меры равнодушное, без намерений, без внимания к чему бы то ни было, без пощады и справедливости, плодородное и бесплодное, неуверенное, представьте себе безразличие, как власть — как *могли* бы вы жить сообразно с этим безразличием? Жить — разве это не значит хотеть: быть как раз иным, чем эта природа? Разве жить не значит хотеть оценивать, предпочитать, быть несправедливым, ограниченным, отличным от всего другого? И положим, что ваш императив «жить сообразно природе» означает в сущности то же, что «жить сообразно жизни» — как бы вы могли этого *не* делать? К чему делать принцип из того, что вы сами есть и должны быть? В действительности дело обстоит совершенно иначе: между тем, как вы с восторгом объявляете, что вычитали канон вашего закона из природы, вы, удивительные актеры, себя самих обманывающие, хотите чего-то совершенно противоположного! Ваша гордость

хочет природе — даже природе — предписать и привить вашу мораль, ваш идеал, вы требуете, чтобы она была природой «согласно со Стоей», и желали чтобы все существующее существовало по вашему собственному образцу в качестве непомерного вечного возвеличения и распространения стоицизма! При всей вашей любви к истине вы так долго, так упорно, так гипнотически-неподвижно принуждаете себя смотреть на природу *ложно*, т. е. стоически, пока вы уже не можете видеть ее иною, — а какое-то бездонное высокомерие внушает вам еще сумасшедшую надежду, что, *потому что* вы умеете сами себя истязать — стоицизм есть самоистязание, — природа также позволяет истязать себя: разве стоик не есть *часть* природы?.. Но это старая и вечная история: то, что случилось некогда со стоиками, случается еще и теперь, как только какая-либо философия уверует в самое себя. Она всегда создает мир по своему образцу — она иначе не может. Философия — это и есть сама та потребность, то духовное стремление к власти, к созданию мира, к *causa prima* (к первопричине).

10. Усердие и проницательность, — я сказал бы даже лукавство, с которым всюду в Европе занимаются проблемой о «действительном и кажущемся мире», заставляет задуматься и прислушиваться, и тот, кто за этим слышит только «стремление к истине», тот не одарен особенно тонким слухом. В отдельных и редких случаях может быть при этом такое стремление к истине, ищущая приключений отвага, тщеславие оставшегося не у дел метафизика, которому в конце концов предпочтут пригоршню «верного» целому возу прекрасных возможностей. Может быть, найдутся даже фанатики — пуритане совести, которые предпочтут опираться на верное ничто, чем на неверное нечто. Но это — нигилизм и признак отчаявшейся, смертельно усталой души, как бы ни были храбры с виду действия такой добродетели. Но у более сильных, более жизненных, еще жаждущих жизни мыслителей дело обстоит не так. Становятся во враждебное отношение к

кажущемуся и, произнося уже слово «перспективно» с высокомерием, они так же низко оценивают достоверность своего собственного тела, как и достоверность того обмана чувств, который говорит нам, что земля неподвижна, и, по-видимому, с удовольствием выпускают из рук верное достояние (ибо в чем теперь люди более уверены, чем в своем теле?). Кто знает, не хотят ли они в сущности завоевать обратно нечто, чем когда-то обладали *с еще большей уверенностью*, нечто в роде старинной веры былых времен, может быть, веры в «бессмертие души», может быть, в «старого Бога», одним словом, понятия, с которыми лучше, крепче и веселее жилось, чем с «современными идеями». В этом есть *недоверие* к «современным идеям», неверие во все, что создано вчера и сегодня; может быть, к этому примешивается легкое раздражение и презрение, которое не может выносить ту смесь понятий самого различного происхождения, каким теперь является так называемый позитивизм, отвращение более избалованного вкуса к рыночной пестроте и лохмотьям этих жалких философов истины, у которых нет ничего нового и настоящего, кроме этой пестроты. Но в одном, мне кажется, следует согласиться с этими нынешними скептическими врачами действительности и микроскопистами познания: их инстинкт, гонящий их из *современной* действительности, непреодолим — что нам до их окольных дорог, ведущих обратно! Самое существенное в них не то, что они хотят *назад*, а то что они хотят *прочь*. Немного более силы, полета, мужества, художественности и они захотели бы *вон* — а не назад!

11. Мне кажется, что всюду теперь стараются отвести глаза от действительного влияния, которое имел Кант на немецкую философию, и особенно благоразумно пройдена молчанием оценка, данная им себе самому. Кант прежде всего гордился своими категориями; со своей таблицей категорий в руках он говорил: «это самое трудное, что могло когда-либо быть предпринято для

пользы метафизики». Поймите только это «могло быть»! Он гордился тем, что открыл в человеке новую способность, способность к синтетическим априорным суждениям. Положим, что он сам себя в этом обманывал; но развитие и быстрый расцвет немецкой философии связаны с этим самомнением и стараниями младших философов открыть нечто еще более горделивое — во всяком случае, открыть «новые способности». Подумаем, это своевременно. Каким образом *возможны* синтетические априорные суждения, спрашивает себя Кант — и что же он отвечает? *возможны в силу возможности* (Vermöge eines Vermögens). К сожалению, он отвечает не тремя словами, а так обстоятельно важно и с таким немецким глубокомыслием и вычурностью, что никто не заметил смешной *niaiserie allemande* (немецкой наивной глупости), заключающейся в подобном ответе. Относительно этой новой способности люди выходили из себя, и восторг достиг своего апогея, когда Кант к тому же открыл еще моральную способность в человеке, ибо тогда немцы были еще «моральны» и отнюдь не «реально-политичны». Настал медовый месяц немецкой философии; все юные теологи тюбингенского заведения тотчас удалились в кусты, — все стали искать «способности». И чего только ни находили в этой невинной, богатой, еще юной эпохе немецкого духа, когда еще пела свои песни романтика, злобная фея, когда еще не умели делать различия между словами «находить» и «выдумывать»! Прежде всего способность к «сверхчувственному»: Шёллинг назвал это интеллектуальной интуицией и тем пошел навстречу сердечным желаниям своих отличающихся, в сущности, благочестивыми стремлениями немцев. Принимать всерьез это бурное и страстное движение, молодое, хотя оно и прикрывалось серыми и старческими понятиями, было бы крайне несправедливо, а тем более не следует относиться к нему с нравственным негодованием. Как бы то ни было, юноши состарились — мечта улетучилась. Настало время, когда все потирали себе

лоб: его потирают и теперь. Грезил тогда, и прежде всех грезил старый Кант. «При помощи способности», — сказал или, по крайней мере, думал он. Но разве это ответ? Объяснение? Разве это скорее не повторение вопроса? Каким образом опиум заставляет спать? При помощи способности — *virtus dorminativa* отвечает врач у Мольера:

Qnia est in eo virtus dorminativa, cujus est natura sensus assupire.

Но подобные ответы хороши в комедии, и пора, наконец, кантовский вопрос «каким образом возможны синтетические суждения а priori?» заменить другим вопросом: «к чему *нужна* вера в такие суждения?» — и понять, что для цели сохранения существ нашей породы надо *веровать* в истинность подобных суждений; к тому же они, конечно, могли бы еще быть *ложными* суждениями! Или, выражаясь более ясно, грубо и основательно: синтетические априорные суждения вовсе не должны бы «быть возможны»: мы не имеем никакого права на них, и в наших устах это все только ложные суждения. Конечно, вера в их истинность необходима, как вера в авансцену и обман зрения необходимы для перспективной оптики жизни.

Если мы вспомним еще, наконец, о громадном влиянии, которое «немецкая философия» — вы поймете, надеюсь, ее право на кавычки? — имела на всю Европу, то мы не усомнимся, что в этом большую роль играла известная *virtus dorminativa*. Благородные тунеядцы, люди добродетельные, мистики, художники, на три четверти христиане и политические обскуранты всех наций были в восторге получить, благодаря немецкой философии, противоядие против все еще сильного сенсуализма, который перешел в этот век из предыдущего, одним словом, *sensus assupire*.

12. Что касается материалистической атомистики, то ее можно легко опровергнуть, и в Европе, вероятно, не найдется ни одного ученого, могущего оказаться таким неучем, чтобы придавать ей какое-либо серьезное значе-

ние, благодаря далматинцу Босковичу, который вместе с поляком Коперником был до сих пор величайшим и победоноснейшим противником обмана зрения. В то время как Коперник уговаривает нас верить, противно свидетельству наших чувств, что земля *не* стоит на месте, Боскович учил нас отречься от веры в последнее, что еще оставалось твердым, от земли, от веры в «материю», в атом: это было величайшим торжеством над чувствами, которое когда-либо было одержано на земле. — Но мы должны идти еще далее и объявить беспощадную войну даже «атомистической потребности», которая все еще продолжает свое опасное существование в таких областях, где этого никто не подозревает. Мы должны уничтожить так же еще другую, более опасную атомистику, которой лучше всего и дольше всего учило христианство — это *атомистика душ*. Этим термином мы позволили себе означить ту веру, которая представляет душу как нечто несокрушимое, вечное, нераздельное, как монаду, как Atomon: *эту* веру следует удалить из науки! При этом, между нами сказать, нет никакой надобности отвергать самую «душу» и отказываться от одной из самых почтенных и древних гипотез, как это весьма неловко делают натуралисты, которые, как только затрагивают «душу», так ее теряют. Но путь к новым и более утонченным гипотезам души открыт, и такие понятия, как «смертная душа», и «душа как множественность субъекта», и «душа как общественное создание побуждений и аффектов», хотят отныне получить право гражданства в науке. В то время как новый психолог полагает конец суеверию, которое до сих пор с тропической роскошью разрасталось вокруг представления о душе, он сам себя вытолкнул в новую бесплодную пустыню, в новое недоверие — возможно, что прежним психологам было удобнее и веселее — но в конце концов, он знает, что он этим осужден на то, чтобы *изобретать* — и кто знает? может быть, и на то, чтобы — *находить*.

13. Физиологи должны бы быть осмотрительнее, представляя инстинкт самосохранения главным побуждением органического существа. Прежде всего каждое живое существо хочет *проявить* свою силу — сама жизнь есть воля к мощи, и самосохранение есть только одно из косвенных и более частых *последствий* ее. Одним словом, здесь, как и везде, следует остерегаться излишних теологических принципов, к числу которых принадлежит и инстинкт самосохранения (мы обязаны им непоследовательности Спинозы). Так повелевает метод, который должен, главным образом, быть экономией принципов.

14. Теперь в пяти-шести головах возникает уже мысль, что физика есть только изложение и исправление мира (по нашему мнению! с позволения сказать), а не объяснение мира. Но поскольку она утверждается на вере в чувства, она ценится больше и еще долго должна цениться более того, а именно, как объяснение. За нее стоят зрение и осязание, то, что видит глаз и трогает рука: это действует на век с плебейскими вкусами обворожительно, *убедительно* — ведь это инстинктивно следует канону истины вечно популярного сенсуализма. Что ясно? что «объясняет»? Прежде всего то, что можно видеть и осязать — до этого надо довести каждую проблему. Наоборот, как раз в *противодействии* чувственности и состояло очарование платоновского мышления, которое было благородным мышлением, может быть, среди людей, отличавшихся более сильными и требовательными чувствами, нежели наши современники, но которые умели находить высшее торжество в том, чтобы оставаться господами этих чувств: они достигали этого посредством бледных, холодных, серых сетей — понятий, которые они набрасывали на пестрый чувственный вихрь, на сброд чувств, как говорил Платон. В этом одолении мира и толковании его по способу Платона было другого рода наслаждение, различное от того, которое предлагают нам нынешние физики, а также дарвинисты и антителеологи между физиологами с их принципом «возможно — меньшей силы» и возможно большей глупо-

сти. «Там, где человеку нечего видеть и осязать, там ему нечего и искать» — это, конечно, совершенно иной императив, нежели платоновский, но который, однако, как раз подходит для крепкого, работающего поколения машинистов и строителей мостов будущего, которым приходится делать только одну *зубую* работу.

15. Чтобы со спокойной совестью заниматься физиологией, следует держаться воззрения, что органы чувств не представляют явлений в смысле идеалистической философии: как таковые они не могли бы быть причинами! Сенсуализм является по крайней мере регулятивной гипотезой, чтобы не сказать эвристическим принципом. — Как? А ведь другие утверждают, что внешний мир есть создание наших органов? Но тогда бы и наше тело, как часть этого внешнего мира, было бы также созданием наших органов? А это, как мне кажется, было бы совершенным *reductio ad absurdum*, — предположив, что понятие *causa sui* есть совершенная нелепость. Следовательно, внешний мир не есть создание наших органов?

16. На свете все еще есть безобидные самонаблюдатели, которые думают, что существуют «непосредственные достоверные истины» как, например: «я мыслю»; или, подобно суеверию Шопенгауэра: «я хочу» — как будто здесь познание овладело своим предметом в чистом и обнаженном виде, как «вещью в себе» и как будто со стороны субъекта и со стороны объекта не существует никакой подделки. Но «непосредственная уверенность», точно так же как «абсолютное познание» и «вещь в себе», включает в себе *contradictio in adjecto*, и я сто раз буду повторять: надо же наконец освободиться от обольщения слов! Пусть народ думает, что познание есть окончательное знание, философ может говорить себе: когда я разлагаю действие, содержащееся в выражении «я мыслю», то я получаю ряд смелых мнений, обоснование которых трудно, а может быть, и невозможно: например, что именно я, который думает о необходимости вообще

существования такого нечего, которое думает, что мышление есть деятельность и действие со стороны существа, которое представляется, как причина, что существует «Я», наконец, что установлено уже значение слова «мыслить», — что я знаю, что такое мыслить. Ибо, если я не решил бы этого уже в самом себе, то почему мог бы я узнать, что то, что происходит, не есть «хотение» или «чувство»? Одним словом, это «я мыслю» предполагает, что я свое мимолетное состояние *сравниваю* с другими состояниями, которые я у себя знаю, чтобы таким образом установить, что оно представляет; но вследствие этого отношения к дальнейшему «знанию», оно во всяком случае не имеет для меня «непосредственной достоверности». Вместо этой «непосредственной достоверности», в которую народ в известном случае может верить, философ получает ряд метафизических вопросов, настоящих вопросов совести интеллекта, которые гласят так: «откуда я беру понятие «мыслить»? Почему я верю в причину и действие? Что дает мне право говорить о «Я», да еще о «Я», как о причине, и, наконец, о «Я» как причине мышления?» Кто берет смелость на себя сослаться на нечто вроде *интуиции* познания, чтобы ответить тотчас же на эти метафизические вопросы, как это делает тот, кто говорит: «я думаю и знаю, что это по крайней мере правда, действительно, верно,» — тот встретит улыбку и вопрос на лицах философов. «Милостивый государь, — может быть, скажет ему философ, — это невероятно, чтобы вы не ошибались: но почему же нужна непременно истина?»

17. Что касается суеверия логиков, то я неустанно буду всегда подчеркивать один маленький, коротенький факт, который неохотно допускается этими суеверами, а именно, что мысль приходит, когда «она» хочет, а не когда «я» хочу. Поэтому является извращением факта, когда говорят: подлежащее «я» обуславливает сказуемое «мыслю». Оно думает; но чтобы это «оно» именно было знаменитое «я» — это, мягко выражаясь, есть предположение, мнение, но отнюдь не «непосредственная досто-

верность». Наконец, и этому «нечто думает» придается уже слишком много значения: уже это «оно» содержит в себе *изложение* процесса, но не принадлежит к самому процессу. Мы заключаем здесь по грамматической привычке: «мыслить есть деятельность; для каждой деятельности должен быть тот, который действует; следовательно...» Приблизительно по этой схеме старая атомистика подыскивала в действующей «силе» еще тот комочек материи, в котором она сидит, из которого она действует — атом. Более серьезные головы научились, наконец, обходиться без этого «остатка земли», и, может быть, когда-нибудь и логики привыкнут обходиться без словечка «оно» (в котором скрылось честное старое «Я»).

18. Одно из особенных очарований каждой теории составляет то, что ее можно отвергнуть: этим-то она и привлекает утонченные умы. Кажется, что сто раз опровергнутая теория «свободной воли» обязана своим продолжительным существованием только этой привлекательной силе: постоянно является кто-нибудь, кто чувствует себя достаточно сильным, чтобы опровергнуть ее.

19. Философы говорят обыкновенно о воле, как о самой известной вещи в мире. Шопенгауэр высказал даже мнение, что собственно нам известна одна только воля, известна совершенно, всецело и без примеси. Но мне и тут думается, что Шопенгауэр и в этом случае сделал только то, что обыкновенно делают философы: что он взял народный предрассудок и преувеличил его. Хотеть — кажется мне прежде всего чем-то *сложным*, чем-то, что представляет единство только в качестве слова, и именно в этом одном слове и заключается народный предрассудок, который овладел философами порой весьма неосмотрительными. Будем же мы хоть раз осмрительны, будем «не-философами»; скажем: в каждом хотении прежде всего есть многочисленность чувств, а именно чувство состояния, от которого нас влечет *прочь*, чувство состояния, по *направлению* к которому влечет,

самое чувство этих обоих противоречивых влечений, затем еще сопутствующее мускульное чувство, которое даже и без того, чтобы мы двигали руками и ногами, по известного рода привычке, начинает действовать, как только мы «захотим». Подобно тому как ощущения, да еще разнообразные ощущения, должны быть признаны составной частью хотения, такую же составной частью является и мышление: в каждом акте хотения есть преобладающая мысль — и не следует думать, что эту мысль можно отделить от «хотения» так, чтобы все-таки оставалась еще «воля». В-третьих, воля не только есть сложность чувствования и мышления, но и прежде всего есть *аффект*, и к тому же аффект приказания. То, что называется «свободой воли», есть, главным образом, аффект превосходства по отношению к тому, кто должен повиноваться: «я свободен — он должен повиноваться» — это сознание есть в каждой воле, и точно так же то напряжение внимания, тот прямой взгляд, который фиксирует исключительно одно, та безусловная оценка: «теперь нужно это и ничто иное», та внутренняя уверенность в том, что послушание необходимо, и все то, что составляет принадлежность состояния повелевающего. Человек, который *хочет*, — повелевает чему-то в себе, что повинуетсЯ или про что он думает, что оно повинуетсЯ. Но обратите теперь внимание на то, что есть самого удивительного в воле, в той многосторонней вещи, для которой народ имеет лишь одно название: поскольку мы в данном случае представляем собой одновременно повелевающих и повинующихся и как повинующиеся испытываем чувства принуждения, натиска, сопротивления, движение, которые начинаются тотчас же, после волевого акта; поскольку мы, с другой стороны, имеем обыкновение не замечать эту двойственность и обманывать себя относительно нее с помощью синтетического понятия «Я», к хотению прицепилась еще целая цепь ошибочных заключений и, следовательно, ложных оценок воли, — так что хотящий

совершенно чистосердечно верит, что хотения *достаточно* для действия. Так, в большинстве случаев хотение существовало только там, где можно было ожидать и действие повеления, следовательно, повиновение и действие, то кажущееся обратилось в чувство, как будто существует *необходимость действия*. Одним словом, хотящий думает с известной степенью уверенности, что воля и действие каким-то образом составляют одно, — он приписывает удачу, исполнение хотения самой воли и наслаждается при этом увеличением чувства мощи, которое ведет за собой всякий успех. «Свобода воли» — вот выражение, соответствующее тому многостороннему чувству радости хотящего, который повелевает и вместе с тем отождествляет себя с исполняющим, — который, как таковой, наслаждается вместе с ним победой над сопротивлениями, но про себя думает, что, собственно говоря, побеждает сопротивления его воля. Таким образом хотящий к чувству наслаждения повелевающего присоединяет чувства наслаждения исполняющих, преуспевающих орудий, служебных «подчиненных видов воли» или «подчиненных видов душ» — наше тело есть собрание многих душ. L'effet c'est moi — здесь происходит то, что происходит во всякой хорошо организованной и счастливой общине, а именно, что правящий класс отождествляет себя с успехами общества. При всяком хотении дело сводится к хотению и повелению на основе общественного знания из многих «душ», вследствие чего философ должен бы был присвоить себе право подвести хотение под кругозор морали, причем мораль принималась бы как учение о господствующих обстоятельствах, при которых возникает явление «жизни».

20. То обстоятельство, что самые различные философы непременно заполняют известную основную схему *возможными* философиями доказывает, что отдельные философские понятия не представляют собой нечто случайное, нечто само по себе растущее, но возникают в

отношении и сродстве друг к другу, что они, как ни внешне запутаны и ни произвольны они в истории мышления, все-таки так же принадлежат к какой-нибудь системе, как и все члены фауны одной части света. Под влиянием невидимой силы они все снова пробегают один и тот же круг, как бы независимо друг от друга они ни чувствовали себя со своей критической и математической волей: нечто в них руководит ими, нечто гонит их в определенном порядке друг за другом — это прирожденная систематика и родственность понятий. Их мышление действительно, — не столько нового, сколько узнавание вновь, воспоминание, возвращение обратно к далекому, глубоко древнему общему обиходу души, из которого эти понятия выросли когда-то: — философствование, на основании этого, есть род атавизма высшего разряда. Замечательное фамильное сходство всего индийского, греческого, немецкого философствования объясняется довольно просто. Там, где существует сродство языков, — благодаря общей философии грамматики — я хочу сказать, благодаря бессознательному господству и руководству одинаковыми грамматическими функциями, — неизбежно все будет приспособлено с самого начала для однородного развития и последовательности философских систем; точно так же, как путь, по-видимому, закрыт для других возможных миротолкований. Философы урало-алтайской области языка (в которых понятие субъекта развито весьма плохо) по всей вероятности совершенно иначе «смотрят на мир» и идут иными путями, нежели индогерманцы и мусульмане — принудительная сила определенных грамматических функций является в конце концов силой физиологических оценок и расовых условий. — Это может служить отпором поверхностному мнению Локка относительно происхождения ид. й.

21. *Calisa sui* — есть лучшее из когда-либо выдуманных самопротиворечий, род логического уродства: но непомерная гордость человека довела его до того, что он страшно запутался как раз в этой бессмыслице. Стремле-

ние к «свободе воли» в том метафизическом чрезмерном смысле, который, к сожалению, все еще господствует в головах полуобразованных людей, стремление нести на себе последнюю и полную ответственность и избавиться от нее Бога, мир, предков, общества, есть нечто иное как потребность быть *causa sui* и желание с более чем мюнхгаузенской отвагой вытянуть себя за волосы из болота небытия в бытие. Положим, что кто-нибудь разгадает мужицкую наивность этого знаменитого понятия «свободная воля» и выкинет его из своей головы; тогда я попрошу его еще на шаг подвинуть вперед свое «просветление» и выбросить из головы также и обратную сторону понятия «свободная воля», я говорю о «несвободной воле», которая ведет к злоупотреблению причиной и действием. Не следует ошибочно *овеществлять* «причину» и «действие», как это делают естествоиспытатели (и те, кто, подобно им, придерживается натуралистического мышления) сообразно господствующей механической нелепости, которая заставляет причину нажимать и толкать, пока она «подействует»; «причиной» и «действием» следует пользоваться только как чистыми *понятиями*, т. е. как условными фикциями с целью обозначения, понимания, но *не* объяснения. В понятии «в себе» нет «причинных связей», «необходимостей», «психологической несвободы», здесь *не* следует «действие за причиной», никакой «закон» *не* управляет. Мы одни только выдумали причины, последовательность, соотношение, относительность, принуждение, число, закон, свободу, основание, цель. И когда мы этот мир знаков приめшиваем, как нечто существующее «в себе», к вещам, то мы тут поступаем так, как всегда, то есть опираемся на *мифологию*. «Несвободная воля» — мифология; в действительной жизни говорят о *сильной* и *слабой* воле. Когда какой-либо мыслитель в каждом «причинном сцеплении» и каждой «психологической необходимости» чувствует нечто в роде принуждения, нужды, необходимости подчинения, давления, несвободы, то это всегда

служит признаком того, что ему чего-то не хватает. Именно такие чувства выдают личность. И вообще, если мое наблюдение верно, «несвобода воли» как проблема исследуется хотя и с двух противоположных сторон, но всегда глубоко *личным* образом. Одни ни за что не хотят отрешиться от своей «ответственности», от веры в *себя*, от личного права на *свою* заслугу (к этим принадлежат тщеславные расы), другие же, наоборот, не желают нести никакой ответственности, брать на себя никакой вины и желают, в силу внутреннего самопрезрения, *свалить* куда-нибудь и самих себя. Последние имеют обыкновение, если они пишут книги, заступаться нынче за преступников. Известный род социалистического сострадания служит их наиболее привлекательной маской. И в самом деле, фатализм слабовольных делается необыкновенно красивым, когда умеет представиться в форме «религии человеческого страдания» (*la religion de la souffrance humaine*): это выражение *его* хорошего вкуса.

22. Да простят мне, как старому филологу, который не может отрешиться от злости, что я касаюсь скверных фокусов толкования; но та «закономерность природы»; о которой вы, физики, говорите с такой гордостью, как будто... она существует только благодаря вашему толкованию и плохому знанию «филологии» — это не факт, не «текст», а скорее наивно-гуманитарное приспособление и извращение чувств, с которыми вы идете навстречу демократическим инстинктам современной души! «Всюду равенство перед законом, — и природа в этом отношении поставлена не лучше нас»: благодетельная задняя мысль, в которой скрывается плебейская враждебность ко всему привилегированному и автономному, и новый, утонченный атеизм: «*ni dieu, ni maître*» (ни бога, ни господина) — этого хотите и вы, и потому: «да здравствует закон природы!» — не так ли? Но, как я уже сказал, это толкование, а не текст; и может всегда явиться кто-нибудь другой с противоположными намерениями и искус-

ством толкования, который сумеет из той же природы по отношению к тем же явлениям, извлечь как раз тиранически-беспощадное выполнение требований мощи — такой толкователь, который так наглядно докажет вам отсутствие исключительности и безусловность во всякой «воли к мощи», что почти каждое слово, и даже слово «тирания» в конце концов явится бесплодным или ослабляющей или смягчающей метафорой, как слишком человеческое, который все-таки кончит тем, что будет утверждать об этом мире то же, что утверждаете вы, а именно, что он имеет свое «необходимое» и «вычислимое» течение, но не потому, что в нем *законы царят*, а потому, что законы абсолютно *отсутствуют*, и каждая мощь в каждое мгновение извлекает свое последнее следствие. Положим, что и это так же толкование — и вы, конечно, горячо схватитесь за это возражение? — что же, тем лучше.

23. Вся психология останавливалась до сих пор на моральных предрассудках и опасениях — глубже идти она не отважилась. Рассматривать ее — как рассматриваю ее я — как морфологию и учение о *развитии воли к мощи* — об этом никто даже и не подумал, насколько, по крайней мере, возможным является усмотреть в том, что до сих пор писалось, симптом того, о чем умалчивалось. Сила моральных предрассудков проникла в духовный, по-видимому, наиболее холодный и наиболее свободный от предположений мир — и, само собой разумеется, оказала вредное влияние, задержала, ослепила, извратила. Истинная физиопсихология должна бороться с бессознательным сопротивлением в сердце исследователя: «сердце» против нее. Уже учение об условности «хороших» и «дурных» побуждений как более утонченная безнравственность оскорбляет и огорчает еще сильную и крепкую совесть, а тем более учение о том, что хорошие побуждения вытекают из дурных. Предположим, что кто-либо считает аффекты ненависти, зависти, корыстолюбия, властолюбия — аффектами, обуславливающими

жизнь, чем-то таким, что принципиально и существенно должно существовать в общем обиходе жизни и, следовательно, должно усилиться в случае, если жизнь делается интенсивнее, — тот страдает от такого направления своего суждения, как от морской болезни. И все-таки и эта гипотеза далеко еще не самая тяжелая и чуждая в этой громадной, почти еще новой области опасного познания; и, действительно, много основательных причин, чтобы от нее держался в стороне всякий, кто может! С другой стороны, раз кто попал сюда на своем корабле — смело вперед! стисни зубы! открой глаза и твердо положи руку на руль! — мы плывем прямым путем через мораль, мы попираем, мы раздробляем, может быть, наш собственный остаток нравственности, направляя туда наш путь, но дело не в нас! Никогда еще не открывался отважным путешественникам и искателям приключений более *глубокий* мир размышления, и психолог, приносящий, таким образом, жертву — но это не *sacrificio dell'intelletto* (не жертва ума)! — будет иметь, по крайней мере, право требовать за это, чтобы психология снова была признана царицей наук, для служения и приготовления которой и существуют другие науки, так как психология есть отныне путь к основным проблемам.

ГЛАВА II

Свободный дух

24. O sancta simplicitas! В каком странном опрощении и в каком извращении живет человек! Нельзя достаточно надивиться, если когда-нибудь глаза, наконец, откроются на это чудо! Как мы всё сделали вокруг себя свободным, легким и простым! как мы сумели дать нашим чувствам свободный пропуск ко всему поверхностному, нашему мышлению божественную жажду к резвым прыжкам и ошибочным умозаключениям! — как мы с самого начала сумели удержать наше незнание для

того, чтобы пользоваться еле понятной свободой, необдуманностью, неосторожностью, веселостью, радостью жизни, чтобы наслаждаться жизнью! И только на этой твердой гранитной основе незнания могла до сих пор возвышаться наука, воля к знанию, на основе еще гораздо более могучей воли, воли к незнанию, к неуверенности, к неправде! Не как противоположность, а как утонченность ее! Пусть язык и здесь, как и всюду, не может освободиться от своей косности и продолжает говорить о противоположностях, где есть только степени и тонкие оценки; пусть врожденное лицемерие морали, которая теперь стала непобедимой «плотью и кровью», даже нас, знающих, заставляет говорить по-своему; мы иногда понимаем и смеемся над тем, как самая лучшая наука хочет удержать нас в этом упрощенном, насквозь искусственном, сочиненном, поддельном мире, как она волей-неволей любит заблуждение, потому что она, живая, любит жизнь!

25. После такого веселого введения надо послушать и серьезное слово: оно обращается к самым серьезным. Остерегайтесь вы, философы и друзья познания, и берегитесь мученичества! Берегитесь страдания за «правду»! оно лишает вашу совесть невинности и тонкой безразличности, оно делает вас безумно раздражительным к возражениям и красным платкам, оно отупляет и делает вас подобными быкам и зверям, когда в борьбе с опасностью, поруганием, подозрением и еще более грубыми проявлениями враждебности вы, в конце концов, должны играть еще роль защитников истины на земле, как будто «истина» такая беззащитная и неуклюжая личность, которая нуждается в защитниках и как раз в вас, рыцари печальнейшего образа, в вас, рассыльные и пауки, прядущие паутину ума! В конце концов вы отлично знаете, что никакого не может иметь значения, правы ли именно вы в том, что до сих пор еще ни один философ не был прав и что в каждом маленьком вопросительном знаке, который вы ставите за вашими излюбленными

словами и любимыми учениями (а при случае и к самим себе), больше достоверности, чем во всех торжественных жестах и козырях, с которыми вы выступаете перед обвинителями и судебными палатами! Отойдите лучше в сторону. Бегите в скрытое место! И наденьте вашу маску и вашу хитрость, чтобы вас перемешали, или чтобы вас немного боялись! И не забудьте сада, сада с золотой решеткой! И пусть вокруг вас будут люди, которые похожи на сад или на музыку над водой в вечернюю пору, когда день становится уже воспоминанием. Выберите *хорошее* уединение, свободное и резвое, легкое уединение, которое вам также даст право в каком-либо смысле оставаться еще добрыми людьми! Какими ядовитыми, какими хитрыми, какими дурными делает каждая долгая война, которую нельзя вести с открытыми силами. Какими *личными* делает долгая боязнь, долгое высматривание врагов, возможных врагов! Эти изгнанники общества, эти давно преследуемые, затравленные, а также отшельники по принуждению, как Спиноза и Джордано Бруно, в конце концов всегда, хотя бы под духовной маскою и даже, может быть, сами того не зная, делаются утонченными мстителями и отравителями (доройтесь-ка хоть раз до дна этики и теологии Спинозы!) — а о нелепости морального негодования, которое у всякого философа служит несомненным знаком того, что он утратил свой философский юмор и говорить нечего! Мученичество философа, его «принесение себя в жертву истине» заставляет ярко выступать свойства актера и агитатора, скрывающиеся в нем, и если предположить, что на него до сих пор смотрели с артистическим любопытством, то по отношению к многим философам можно конечно понять опасное желание увидеть его в состоянии его вырождения (выродившимся в «мученика», в крикуна подмосток и трибуны). Но при этом во всяком случае ясно должно представить себе, *что* мы при этом увидим только игру сатиров, только заключительный фарс, только доказательство того, что длинная трагедия *окончена*, предположив, что

всякая философия при своем возникновении была длинной трагедией.

26. Каждый избранный человек стремится к уединению и к своему домашнему углу, где он *избавлен* от толпы, от многолюдия, от большинства, где он может забыть правило «человека» и быть его исключением, за исключением одного случая, *когда более сильный инстинкт прямо наталкивает его на это правило, как человека познающего в обширном и исключительном смысле слова. Кто в общении с людьми при случае не отливает всеми цветами нужды, делаясь серым и зеленым от отвращения, досады, сострадания, мрачности, отчуждения, тот несомненно не обладает высшим вкусом; предположим, однако, что он берет на себя всю эту тяжесть и неприятность недобровольно, что он уклоняется от нее и останется, смиренно и гордо, в своей крепости, тогда несомненно одно: он не создан для познания, не предназначен для него. Ибо если бы это было иначе, он когда-нибудь должен бы был сказать себе: «Черт бы побрал мой хороший вкус! Ведь правило интереснее исключения, — интереснее меня, исключения!» — и пошел бы *вниз* и прежде всего *в среду* людей. Изучение среднего человека долгое, серьезное, причем для этой цели требуется много притворства самообладания, сближение с людьми дурного общества, — кроме людей своего круга, все это — составляет неперемennую часть истории жизни философа, может быть, самую неприятную, вонючую, самую богатую разочарованиями. Если же ему посчастливится, как и подобает счастливчику познания, то он встречает людей, сокращающих и облегчающих ему его задачу. Я имею в виду так называемых циников, которые просто признают в себе животное, пошлость, «правило» и притом обладают той степенью ума и самохвальства, благодаря которым они *свидетельствуют* о себе и себе подобных, а в книгах даже валяются в своем собственном навозе. Цинизм есть единственная форма, в которой пошлые души могут выказать некоторую честность,

и высший человек должен при каждом грубом и утонченном цинизме широко открывать уши, поздравлять себя каждый раз, когда высказывается перед ним бесстыдный шут или ученый сатир. Бывают даже случаи, когда к отвращению присоединяется очарование, а именно там, где с таким нескромным козлом и обезьяной, по капризу природы, связан гений, как например у аббата Галиани, самого глубокого, проницательного и, может быть, самого грязного человека своего столетия. Он был глубже Вольтера и вследствие этого гораздо молчаливее. Очень часто случается, что, как мы уже заметили, научная голова посажена на тело обезьяны, выдающийся ум вложен в пошлую душу — среди врачей и физиологов морали это явление нередкое. И там, где есть озлобления, совершенно безобидно говорят о человеке, как о брюхе с двумя потребностями и о голове с одной потребностью, всюду, где человек видит, ищет и *хочет* только удовлетворения голода, полового влечения и тщеславия, — как будто все это единственные и настоящие побудительные причины человеческих деяний, — одним словом, там, где о человеке говорят не только *душно*, но и *злбно* — там стремящийся к познанию должен внимательно прислушиваться и вообще должен держать свои уши там, где говорят без негодования; ибо негодующий человек и тот, кто собственными зубами разрывает самого себя (или взамен того мир, Бога или общество), может быть, в нравственном отношении стоит выше смеющегося и самодовольного сатира, но во всяком другом случае он представляет собой более ординарное, индифферентное и менее поучительное явление. И никто не *лжет* так, как человек негодующий.

27. Трудно добиться того, чтобы тебя понимали, в особенности когда мыслишь и живешь *gangastrotogati*, между людьми, которые мыслят и живут иначе, а именно *kurmagati* или в лучшем случае по «способу передвижения лягушки» *mandeikagati* — то есть я делаю всё для того, чтобы меня «с трудом понимали!», и надо быть

серьезно благодарным уже хотя бы за некоторую тонкость толкования. Что же касается «добрых друзей», которые всегда слишком ленивы, и именно в качестве друзей считают, что имеют право быть ленивыми, то хорошо им с самого начала предоставить арену для недоразумений — таким образом можно еще и посмеяться — или совсем отделаться от добрых друзей — и тоже посмеяться.

28. Что труднее всего достается при переводе с одного языка на другой, это темп его стиля, который коренится в характере расы, т. е., говоря физиологически, средний темп его «обмена веществ». Есть переводы, сделанные с такой добросовестностью, что могут считаться подделками, невольной популяризацией оригинала только потому, что смелый и веселый темп его, который помогает перепрыгивать затруднения в словах и вещах, непереводим. Немец не способен на быстрый темп, *presto* в своей речи, а следовательно, как мы вправе заключить, на многие забавные и смелые оттенки свободной мысли. Как шут и сатир чужды его натуре и его совести, так и Аристофан и Петроний для него не переводимы. Всё важное, неповоротливое, торжественно-неуклюжее, все скучные и тягучие роды слога развиты у немцев в удивительном разнообразии — да простят мне, если я скажу, что даже проза Гете в ее смеси топорности и изящества не составляет исключения, представляя собой «зеркало доброго старого времени», к которому она принадлежит, и выражение немецкого вкуса в те времена, когда еще существовал немецкий вкус — вкус рококо *in moribus et artibus* (в нравах и обычаях). Лессинг благодаря своей актерской натуре, которая многое понимала и многое умела, составляет исключение. Он, который недаром переводил Бейля и любил приютиться поблизости Вольтера и Дидро, а еще лучше вблизи римских писателей комедий, любил также в *tempo* вольнодумство и охотно спасался из Германии. Но разве может немецкий язык, даже в прозе Лессинга, подражать *tempo* Макиавелли, который в своем «*Principe*» заставляет вас

дышать сухим редким воздухом Флоренции и не может не рассказать самое серьезное обстоятельство в темпе самого необузданного *allegriissimo*, может быть, не без злобного чувства артиста при сознании того контраста, на какой он отваживается: длинные, тяжелые, жестокие и опасные мысли — и темп галопа и наилучшего шаловливого настроения. Кто же решился бы наконец переводить на немецкий язык Петрония, который более кого-либо из великих музыкантов до нынешнего времени был мастером быстрого темпа, *presto* в своих выдумках и словах — и какое в конце концов дело до всех болот больного, злого мира, «старого мира» тому, кто, как он, имеет ноги ветра, порыв и дыхание и злобный освободительный смех ветра, который все оздоравливает, заставляя *двигаться*! А что касается Аристофана, этого просветительного, всестороннего духа, ради которого всему греческому *прощается* его существование, — допуская, что мы глубоко поняли все, что в нем нуждается в прощении и просветлении, — то о скрытности и загадочности натуры Платона более всего заставляет задуматься тот мелочный факт, что под подушкой его смертного одра не нашли никакой «Библии», ничего египетского, пифагорейского, платоновского, а нашли Аристофана. А как мог бы такой человек, как Платон, вынести греческую жизнь, к которой он относился отрицательно, если бы не было Аристофана?

29. Не многие имеют возможность быть независимыми: это преимущество сильных. Кто постарается это сделать даже с самым твердым правом, но без *обязательного* принуждения, тот доказывает, что он вероятно не только силен, но и до дерзости смел. Он входит в лабиринт, он усугубляет опасности, которые жизнь сама по себе уже приносит с собой; из них не самая меньшая та, что никто не видит глазами, где и как он сбивается с пути, остается одиноким и его на куски разрывает какой-нибудь Минотавр совести. Положим, что такой человек погибает, но это происходит так далеко от пони-

мания людей, что они этого не чувствуют и не сочувствуют: — а он не может вернуться назад! он не может вернуться даже к состраданию людей!..

30. Наши высочайшие идеи должны звучать как безумие, а при известных обстоятельствах как преступление, если они невзначай достигают слуха людей, которые не созданы, не предназначены для того. Различие между экзотерическим и эзотерическим, как его понимали иногда философы у индусов и греков, у персов и мусульман, одним словом, всюду, где верили в касты, а не в равенство и равноправие, состоит не в том, что экзотерик вне мира и снаружи, и смотрит, оценивает, измеряет, судит не изнутри; гораздо важнее здесь то, что он видит вещи *снизу*, а эзотерик глядит на них *сверху вниз*. Душа может подниматься на такие высоты, откуда даже трагедия перестает производить трагическое впечатление; и если взглянуть на всю скорбь мира, взятую вместе, то кто решится утверждать, что вид ее *необходим*, что он подвигнет и принудит нас к сочувствию и вследствие того к усилению скорби?.. то, что для большинства людей высшего разряда служит пищей или утешением, должно на отличный от них и низший род людей действовать почти как яд. Добродетели заурядного человека, пожалуй, показались бы пороками и недостатками у философа. Возможно, что высшего разряда человек, только опустившись и погибая, приобретает качества, ради которых в том низменном мире, в который он погрузился, его начинают чтить как святого. Есть книги, которые имеют обратную ценность для души и здоровья, смотря по тому, пользуется ли ими низменная душа, низменная жизненная сила или более высшая и мощная. В первом случае эти книги опасные и развращающие, во втором — это клич герольда, который призывает храбрых к храброй борьбе. Книги, которые читает всякий — это всегда скверно пахнущие книги: к ним прилипает запах мелкого люда. Там, где толпа ест и пьет, даже там, где она поклоняется — там обыкновенно

воняет. Не следует ходить в церкви, если хочешь дышать *чистым* воздухом.

31. В юные годы мы почитаем и презираем без всех оттенков, которые составляют лучшее приобретение жизни, и нам по справедливости приходится жестоко платить за то, что мы так одобрительно и резко отрицательно относились к людям. Все приспособлено к тому, чтобы жестоко обманывали и злоупотребляли самым дурным из всех пристрастий, пристрастием к безсловному, пока человек научается применять некоторое искусство в своих чувствах и лучше решится на попытку с искусственным, как это делают настоящие артисты жизни. Свойственные юности чувства гнева и благоговения, по-видимому, не знают покоя до тех пор, пока они не извратят до такой степени людей и вещи, что могут излиться на них: юность сама по себе уже есть нечто обманывающее и искажающее. Позднее, когда молодая душа, измученная постоянными разочарованиями, недоверчиво оборачивается против самой себя, все еще горячая и дикая, даже в своем недоверии и среди угрызений совести — как гневается она на себя, как она мстит за свое долгое ослепление, как будто это была намеренная слепота! В этом переходном состоянии человек сам себя наказывает недоверием к своему чувству; он истязает свое увлечение сомнением, спокойной совести он боится, как опасности, как бы задерживания завесы над самим собой и утомления более утонченной честности. И прежде всего он становится принципиально противником «юности». Пройдет еще десятилетие — и человек поймет, что и это тоже — была юность!

32. В самый продолжительный период истории человечества — этот период называют доисторическим — положительная или отрицательная ценность какого-либо действия выводилась из его последствий, причем самое действие, точно так же, как и его происхождение, мало принималось во внимание, как и теперь еще, например в Китае, отличие или позор детей падает на родителей;

точно так же действующая обратно сила успеха или неуспеха побуждала человека судить о действии хорошо или дурно. Назовем этот период *доморальным* периодом человечества: императив «познай самого себя» был еще неизвестен. За последние же десять тысячелетий на некоторых обширных пространствах земли шаг за шагом пришли к тому, что не последствия, а происхождение действия определяет его оценку: великое событие, в общем значительное усовершенствование взгляда и мерила, бессознательное следствие господства аристократических ценностей и веры «в происхождение», признак периода, который в узком смысле можно назвать *моральным* — это первый шаг к самопознанию. На место следствия — происхождение; какой переворот перспективы! И конечно, этот переворот достигнут путем долгой борьбы и колебаний! Правда, что благодаря этому новое фатальное суеверие, своеобразная узкость толкования получили господство: происхождение какого-либо действия стали объяснять в самом положительном смысле как происхождение из *намерения*, и все уверовали, что ценность действия заключается в ценности его намерения. Рассматривать намерение, как самое происхождение и предварительную историю действия, — предрассудок, на основании которого на всем почти земном шаре до самого последнего времени высказывалась моральная похвала, порицание, творили суд и философствовали. — Но, может быть, мы теперь пришли к необходимости решиться на новый переворот и на радикальную перестановку ценностей, благодаря проявлению нового самосознания и углубления человека в самого себя. Может быть, мы стоим на пороге периода, который, употребляя отрицательный оборот, следовало бы назвать *внеморальным*. Теперь, когда среди нас, имморалистов, возникает подозрение, что именно *не преднамеренное* в каком-либо действии и дает ему решающую ценность и что всякая преднамеренность, все, что может быть замечено, узнано, «сознано», принадлежит к его оболочке и

что-либо выдает, а еще более, как каждая оболочка, *скрывает*? Одним словом, мы думаем, что намерение есть только признак, симптом, нуждающийся еще в истолковании, — что мораль, в том смысле, как ее понимали до сего времени, то есть мораль намерений, была предрассудком, чем-то необдуманном, может быть, предварительным, нечто в роде астрологии или алхимии, но во всяком случае нечто, что должно быть побеждено. Победа над моралью, в известном смысле даже самоодоление морали — пусть это будет названием той долгой скрытой работы, которая предназначена для современников с самой тонкой и честной, но также самой злобной совестью, как живым пробным камнем души.

33. Делать нечего: придется беспощадно призвать к ответу и поставить перед судом чувства преданности, самоотверженности ради ближнего, всю мораль самоотречения, точно так же как и эстетику «бескорыстного воззрения», под которой кастрация искусства, наверно, старается найти себе оправдание. Слишком много чар и сладости в этих чувствах «для других», а не «для меня», чтобы не быть вдвойне недоверчивыми и чтобы не спросить: «может быть, это только *соблазны*?» Что они *нравятся* тому, кто ими обладает, кто пользуется их плодами, даже простому зрителю — это еще не есть аргумент в их пользу, а именно как раз предостерегают против них. Итак, будем осторожны!

34. На какую бы точку зрения философии мы не стали теперь, отовсюду обманчивость мира, в котором мы думаем, что живем, есть еще наиболее верное и прочное из всего того, что может охватить наш взгляд. Мы находим для этого одни причины за другими, которые увлекают нас к предположениям об обманчивом принципе в «сущности вещей». Но кто делает наше мышление, следовательно, «ум» ответственным за обманчивость мира — почетная увертка, которой пользуется всякий *advocatus dei*, — кто весь этот мир вместе с пространством, временем, формой, движением считает ложным *открытием*,

тот имеет, по крайней мере, хороший повод не доверять всякому мышлению — разве оно не обманывало нас до сих пор? И какое удостоверение имели бы мы, что оно не будет делать и впредь того, что делало всегда? Серьезно, есть что-то трогательное и внушающее благоговение в невинности мыслителей, которое и теперь еще позволяет обращаться к сознанию с просьбой, чтобы оно дало им честный ответ, например, на вопрос: «реально» ли оно и почему это оно так решительно отстраняет от себя внешний мир и другие вопросы подобного рода. Вера в «непосредственные достоверности» есть *моральная* наивность, которая нам, философам, делает честь; но мы не должны же быть только моральными личностями! Помимо морали, вера есть глупость, которая не делает нам большой чести. Пусть в буржуазной жизни постоянное недоверие считается признаком «дурного характера» и, следовательно, принадлежит к разряду неумных вещей; но здесь между своими, по ту сторону буржуазного мира и его одобрения и отрицания — что мешает нам быть неумными и говорить: философ, собственно говоря, имеет *право* на «дурной характер» в качестве существа, которого до сих пор более всего и лучше всего дурачили, теперь он *обязан* быть недоверчивым и злобно коситься из пропасти подозрения. Да простят мне эту мрачно-карикатурную шутку; я сам давно уже научился думать иначе об обманывании других и о том, что меня обманывают, и держу в запасе, по крайней мере, несколько тумачков против той слепой ярости, с которой философы возмущаются против того, будто они обмануты. Почему *нет*? Ведь это не более как нравственный предрассудок, будто истина имеет более цены, чем иллюзия; это даже хуже всего доказанное предположение из всех существующих на свете. Мы же должны сознаться себе в том, что вовсе бы не существовало бы жизни, иначе как на основе перспективных оценок и видимостей; и если бы с добродетельным восторгом и тупоумием некоторых философов совершенно отменили «кажущийся

мир» — положим, что вы могли бы это сделать, — то тогда, по крайней мере, от вашей «истины» ровно бы ничего не осталось! Да и что заставляет предполагать, что есть существенное различие между «истинным» и «ложным»? Разве не достаточно допустить существование степеней видимости как более светлые и темные оттенки и общие тона иллюзии, различные *valeurs*, как говорят художники? Почему бы мир, который *до известной степени касается нас*, не мог бы быть фикцией? А потому, кто спросит: «но ведь для фикции должен быть все-таки создатель ее?», можно бы коротко ответить: «*почему?*» Может быть, эти слова «должен быть» также составляют часть фикции? Разве не позволительно отнестись к субъекту, как и к предикату и объекту, немного иронически? Разве философ не мог бы стать выше верования в грамматику? Мы преклоняемся перед гувернантками, но разве не пора было бы философии отречься от веры в гувернанток.

35. О Вольтер! о человечность! о тупоумие! истина, *искание* истины чего-нибудь да стоит, и когда человек при этом поступает слишком по-человечески — «*il ne cherche le vrai que pour faire le bien*» (он ищет истины только для того, чтобы делать добро), — то держу пари, что он не найдет ничего!

36. Положим, что ничего реального не «дано», кроме нашего мира вожелений и страстей, что мы не к чему «реальному» не можем ни спуститься, ни подняться, как только к реальности наших инстинктов, ибо мышление есть только взаимоотношение этих инстинктов. Не позволительно ли сделать попытку и задать вопрос: не *достаточно* ли этих «данных», чтобы по подобным им понять так называемый механический (или «материальный») мир? Понять не как обман и «видимость», «представление» (в берклеевском и шопенгауэровском смысле), но как нечто, стоящее на одинаковой степени той реальности, какую имеет наш аффект — как более первобытную форму мира аффектов, где в могучем единстве

заключено еще все, что потом в органическом процессе разветвляется и получает форму (что натурально, также становится более нежным и слабым), как род инстинктивной жизни, в которой все органические функции, — саморегулирование, приспособление, питание, выделение, обмен веществ, — синтетически связаны между собой — как *предварительная форма жизни*? В конце концов, делать эту попытку не только позволительно, но и предписывается совестью метода. Не предполагать несколько родов причинности, пока не будет доведена до крайних пределов (до бессмыслицы, с позволения сказать) попытка обойтись с одной — вот мораль метода, от которой в настоящее время нельзя уклоняться; — это следует «из ее определения», как сказал бы математик. Вопрос заключается, в конце концов, в том, признаем ли мы действительно волю *действующей*, верим ли мы в причинность воли; если это так — и в сущности, вера в *это* и есть наша вера в причинность, — то мы должны сделать попытку установить гипотетически причинность воли как единственную причинность. «Воля», разумеется, может действовать только на «волю», а не на вещества (как, например, на нервы); одним словом, надо отважиться на гипотезу: не везде ли, где признаны «действия», воля действует на волю и не всякое ли механическое явление, поскольку в нем действует сила, есть сила воли, действие воли. Предположим наконец, что нам удалось объяснить всю нашу инстинктивную жизнь как выделение формы и разветвление одной основной формы воли, а именно, воли к власти, как утверждаю я. Допустив, что мы получили бы возможность свести все органические функции к одной воле, к власти, и нашли бы в ней также разрешение проблемы зарождения и питания — и это проблема, — то мы приобрели бы этим право определить всякую действующую силу одним термином: *воля к власти*. Мир, рассматриваемый изнутри, мир, определяемый и обозначаваемый на основании его «познавательного характера», и был бы именно «волей к власти» и ничем иным.

37. «Как? Так значит, попросту говоря: Бога нет, а черт есть?» Наоборот! Наоборот, друзья мои! Да черт поберит, кто же заставляет вас говорить попросту?

38. То, чем представилось при полном свете нового времени французская революция, этот страшный и, при ближайшем рассмотрении, ненужный фарс, к которому, однако, благородные и восторженные зрители всей Европы издали так долго и так страстно применяли свои толкования, собственные чувства негодования и пылкого увлечения, пока *текст не исчез под толкованием*: таким образом, благородное потомство могло еще раз ложно понять все прошлое и вследствие этого только переносить его зрелище. Или, может быть, этого не было и не были ли мы сами «благородным потомством»? И не прошло ли оно именно теперь, когда мы это поняли?

39. Никто не будет считать какое-либо учение истинным только потому, что оно делает счастливым или добродетельным, за исключением разве только милых идеалистов, восторженно мечтающих о добром, истинном и прекрасном и заставляющих плавать вперемежку в своем пруду всевозможные пестрые, неуклюжие и добродушные желаемые вещи. Счастье и добродетель — не аргументы. Но и самые осмотрительные умы охотно забывают, что делать несчастным и делать злым — также не контраргументы. Одно только могло бы быть истинным, хотя оно было бы в высшей степени и вредным и опасным, и, может быть, оно, по своему основному свойству существования таково, что полное знание его повлекло бы за собой гибель. Поэтому силу ума можно бы измерить по тому, какую «дозу истины» он еще в состоянии выдержать, иначе сказать, до какой степени разжиженной, закутанной, подслащенной, фальсифицированной она *была бы ему нужна*. Но нет никакого сомнения в том, что для открытия известных *частей истины* несчастные и злые пользуются большими преимуществами, имеют большие шансы на успех; не говоря уже о злых, которые счастливы — это род людей, о которых

моралисты умалчивают. Может быть, черствость и хитрость представляют более благоприятные условия для возникновения сильного, независимого ума философа, нежели та кроткая, тонкая уступчивость и искусство легкого обращения, которые мы так ценим у ученого. Если понятие «философ» не ограничивать теми, кто пишет книги, или тем более теми, которые излагают в книгах *свою* философию, то последнюю черту к портрету свободомыслящего философа мы находим у Стендаля. Эту черту я хочу выделить ради немецкого вкуса — как *противоречие* ему. «Чтобы быть хорошим философом, — говорит этот последний великий психолог, — надо быть сухим, ясным, без иллюзий. У банкира, нажившего себе состояние, часть характера приспособлена к тому, чтобы делать открытия в философии, то есть, чтобы ясно видеть то, что есть».

40. Все глубокое любит маску. Самые глубокие вещи питают даже ненависть к образу и подобию. Не может ли *противоположность* быть настоящей маской, которой прикрывается стыдливость божества? Вопрос достойный быть предложенным; и удивительно было бы, если бы какой-либо мистик уже решил про себя на что-либо подобное. Есть факты такого деликатного свойства, что мы хорошо делаем, когда заваливаем их грубостью и делаем их неузнаваемыми; существуют деяния любви и искреннего великодушия, после которых можно только посоветовать взять палку и отколотить очевидца: этим можно замутить его память. Некоторые умеют мутить и истязать свою собственную память, чтобы отомстить хотя бы этому единственному свидетелю: стыд изобретен. Люди стыдятся более всего не самых постыдных вещей: не одно только лукавство скрывается под маской — в хитрости бывает так много доброты. Я могу себе представить, что человек, который должен скрывать что-нибудь драгоценное и легкоуязвимое, стал бы катиться через жизнь грубым и круглым, как старая неуклюжая зеленая бочка: этого требует утонченность

его стыда. Человеку, имеющему глубину в стыде, попадают веления его судьбы и его нежные решения на таких путях, до которых достигают немногие и о существовании которых самые близкие ему люди не должны знать: опасность, которой подвергается его жизнь, а затем снова завоеванная им уверенность в жизни скрывается от их взоров. Такого рода скрытный человек, который инстинктивно пользуется речью для замалчивания и молчания и неисчерпаем в способах уклоняться от сообщений, хочет того и способствует тому, чтобы вместо него в сердцах и головах его друзей ходил не он сам, а его маска. И даже если он этого не хочет, то он все-таки когда-нибудь увидит, что там все-таки есть его маска — и что это хорошо. Всякий глубокий ум нуждается в маске; более того, каждый глубокий ум постоянно окружен маской, благодаря постоянно ложному, то есть *плоскому* толкованию каждого его слова, каждого его шага, каждого его проявления жизни.

41. Всякому надо самому испытать себя в том, насколько он предназначен к независимости и повелеванию — и сделать это следует своевременно. Не следует уклоняться от самоиспытаний, хотя это, может быть, самая опасная игра, в которую можно играть, и в конце концов, эти испытания, которые свидетельствуют перед нами самими, а не перед каким другим судьей. Не следует привязываться к личности — даже самой любимой, — каждая личность есть тюрьма и уголь. Не следует привязываться к отечеству — даже самому страдающему и нуждающемуся в помощи, — менее трудно оторвать сердце свое от победоносного отечества. Не следует привязываться к состраданию, хотя бы оно и относилось к людям высшего порядка, у которых редко нам доводится видеть мученичество и беспомощность. Не следует привязываться к какой-нибудь науке, хотя бы она влекла нас к себе драгоценнейшими, по-видимому, только для нас одних скопленными сокровищами. Не следует привязываться к собственному своему освобождению, к сладостной дали и неведомым странам,

вроде птицы, которая летит все выше, чтобы видеть под собой все большее пространство — в этом опасность летящего. Не следует привязываться к своим собственным добродетелям и сделаться, как целое, жертвой какой-нибудь отдельной части нас самих, например, нашего «радушия»; такая опасность из опасностей бывает у высокороденных и богатых душ, которые расточительно, почти равнодушно обращаются с собой и доводят добродетель либеральности до порока. Надо уметь *беречь* себя — это сильнейшее испытание независимости.

42. Новая порода философов появляется на свет: я отваживаюсь назвать их небезопасным именем. Так, как я их угадываю, как они дают себя угадывать — ибо их роду свойственно желание оставаться загадкой, — эти философы будущего могли бы, пожалуй, по праву или вопреки праву, называться *искусителями*. Самое это имя в конце концов есть только попытка и, если хочется, искушение.

43. Новые ли друзья «истины» эти грядущие философы? По всей вероятности так, ибо все философы до сих пор любили свои истины. Но они, наверное, будут не догматики. Их гордости и их вкусу будет противно, если их истина должна сделаться достоянием каждого — что прежде всего было тайным желанием и задней мыслью всех догматических стремлений. «Мое суждение есть *мое* суждение: на него не так легко приобрести право другому», — скажет, может быть, такой философ будущего. Следует отделаться от дурного вкуса хотеть быть согласным со многими. «Благо» перестает быть благом, когда о нем говорит сосед. И как могло бы существовать еще «общее благо»? Это выражение заключает в себе противоречие. То, что может быть общим, всегда имеет лишь малую ценность. В конце концов все должно быть так, как оно есть и как всегда было: великие вещи остаются для великих людей, пропасти для глубоких, нежности и ужасы для утонченных, а в общем все редкое для редких.

44. Нужно ли еще говорить после этого, что они, эти философы будущего, будут свободными, *очень* свободными умами, — несомненно кроме того и то, что они будут свободными умами, но еще и чем-то большим, высшим, совершенно иным, что не желает быть не понятым и смешанным с другим. Но говоря это, я сознаю по отношению к ним самим, как и по отношению к нам, герольдов и предшественников, нас, свободных умов — *обязанность* сообщая сдунуть с себя старый *недепый* предрассудок и недоразумение, которые слишком долго, подобно туману, обволакивали свободный ум и делали его непрозрачным. Во всех странах Европы, и точно так же в Америке, существует теперь нечто злоупотребляющее этим именем, род узких, закованных в цепи умов, которые хотят приблизительно противоположного тому, что лежит в основании наших намерений и инстинктов — не говоря уже о том, что по отношению к возникающим *новым* философам они должны быть закрытыми окнами и запертыми дверьми. Одним словом, они принадлежат к *нивелировщикам*, к этим неправильно названным «свободным умам», как красно говорящие и пишущие рабы демократического вкуса и его «современных идей», — все люди без одиночества, без собственного одиночества, грубые добрые ребята, которым нельзя отказывать в мужестве и добронравии; но только они именно несвободны и до смешного поверхностны, в особенности в своей основной склонности усматривать в формах существовавшего до сих пор общества причину приблизительно *всего* человеческого горя и страдания, причем истина удачно ставится вниз головой! Всеми своими силами они стремятся достигнуть стадного счастья на общественном зеленом пастбище оставить со спокойствием, безопасностью, довольством, облегчением жизни для каждого. Обе их более всего избитые песенки называются: «Равенство прав» и «Сочувствие ко всему страждущему» — и само страдание считается ими чем-то, что должно быть *упразднено*. Мы же, люди противоположного образа

мыслей, которые с открытыми глазами и открытой совестью отнеслись к вопросу о том, где и как до сих пор «человек» давал более сильный рост в высоту, думаем, что это случалось каждый раз при противоположных условиях, что для этого опасность его положения должна была разрастись до чудовищных размеров, его сила изобретательности и притворства (его «ум») должна была под долгим гнетом и принуждением развиваться до тонкости и отваги, его воля к жизни возвыситься до безусловной воли к власти; мы думаем, что суровость, насилие, рабство, опасность на улице, а в сердце скрытность, стоицизм, искусство соблазна и всякая чертовщина, что все злое, страшное, тираническое, все хищное и змеиное в человеке столько же служит к возвышению вида «человека», сколько и противоположность всего этого. И говоря это, мы все еще не высказались достаточно и останавливаем нашу речь здесь, на *другом* конце всех современных идеологий и стадных вожделений, — может быть, как их антиподы? Удивительно ли, что мы, «свободные умы», не особенно общительны? что мы не желаем в каждом нашем мнении открывать, *от чего* может освободиться ум и *куда* он тогда, может быть, будет направлен? и что означает опасная формула «по ту сторону добра и зла», которая нас, по крайней мере, спасает от смешивания с другими: мы нечто иное, чем «libres penseurs, liberi pensatori», свободомыслящие, или как там еще называют себя славные поборники «современных идей». Мы были, как дома, или, по меньшей мере, побывали в гостях, во всех областях ума; мы ускользали постоянно из душевных приятных уголков, в которые загоняли нас пристрастие и предвзятая ненависть, юность, происхождение, случайные встречи людей и книг, или даже усталость скитания; полные злобы против соблазнов зависимости, состоящих в почестях, деньгах, должностях или увлечении чувств; благодарные даже нужде и полной перемене за то, что они всегда освобождали нас от какого-нибудь правила и его «предрассудка», благодарные

божеству, черту, овце и червяку, живущим в нас; мы, любопытные до порочности, исследователи до жестокости, с пальцами, желающими схватить неуловимое, с зубами и желудками, способными переваривать самое неудобоваримое; готовые к каждому ремеслу, требующему остроумия и острых чувств; готовые на всякий подвиг, благодаря избытку «свободной воли» с явной и скрытой душой, в последние намерения которой не так-то легко заглянуть, с передними и задними планами, которых никто бы не осмелился выполнить до конца; скрытые под мантиями света завоеватели, хотя мы похожи одинаково на наследников и на расточителей; приводящие в порядок и собирающие с утра до вечера скряги нашего богатства и наших битком набитых ящиков; экономные в учении и забывании, изобретательные на схемы, порой гордящиеся таблицами категорий, порой педанты, порой ночные совы труда, даже среди белого дня, и при случае, пугала, — а это в настоящее время нужно: поскольку мы прирожденные, зачатые, ревнивые друзья *одиночества*, нашего собственного, глубокого, полночного, полдневного одиночества — вот какого сорта мы люди — мы свободные умы! и может быть, и вы тоже нечто в этом роде — вы, грядущие, вы, новые философы?

ГЛАВА III

О религии

45. Человеческая душа и пределы ее, достигнутый до сих пор объем внутреннего опыта человека, высота, глубина и даль этого опыта, вся *продолжавшаяся до сих пор* история души и ее еще неисчерпанные возможности — вот предназначенная для прирожденного психолога и любителя «великой охоты» охотничья область. Но как часто он должен говорить с отчаянием: «я один! ох! только один в этом большом первобытном лесу!» И ему хочется иметь сотню помощников для охоты и хороших

дрессированных собак, которых он мог бы послать в область истории человеческой души, чтобы они согнали там вместе *всю* его дичь. Напрасно: он с горечью убеждается каждый раз в том, как трудно найти помощников и собак в той области, которая возбуждает его любопытство. Неудобство посылать ученых в новые и опасные области, где необходимы мужество, мудрость, тонкость во всех смыслах, заключается в том, что они уже более не пригодны там, где начинается «*большая охота*», но также и большая опасность: — как раз там-то они и теряют свое чутье и остроту своего зрения. Так, например, для того, чтобы отгадать и установить, какая история до сих пор составляла проблему *знания* и *совести* в душе религиозных людей, надо, может быть, самому быть чем-то столь глубоким, столь израненным, столь громадным, каким была индивидуальная совесть Паскаля, — и тогда еще необходимо было бы обширное светлое небо злобной духовности, которое было бы в состоянии охватить свысока взглядом эту путаницу опасных и горестных явлений жизни, привести их в порядок и заключить в формулы. Но кто мог бы мне оказать эту услугу? У кого хватило бы времени ждать таких слуг? — они являются весьма редко, они во все времена столь невероятны! В конце концов приходится все делать *самому*, чтобы самому что-нибудь знать: это значит, что приходится делать *много!* — Однако любопытство, подобное моему, останется приятнейшим из пороков — простите! я хотел сказать: любовь к истине получает свою мзду на небесах и уже на земле.

46. Вера в том виде, как ее требовало древнее христианство и нередко достигало в среде скептического и свободомыслящего южного мира, имевшего в прошлом долгую, вековую борьбу философских школ с прибавкой воспитания в духе терпимости, которое давала римская империя, — эта вера — не та искренняя и ворчливая вера подданных, с которой какой-нибудь Лютер или Кромвель или какой-либо другой северный варвар духа

держались за своего бога и за христианство. Скорее это была вера Паскаля, странным образом похожая на длительное самоубийство разума — упорного, живучего, подобного червю разума, который нельзя умертвить сразу одним ударом. Христианская вера есть с самого начала жертва, принесение в жертву всей свободы, всей гордости, всей самоуверенности ума и в то же время это отдавание самого себя в рабство, самопоношение, самокалечение. Жестокость и религиозный культ финикиян есть в этой вере, которую навязывают расслабленной, многосторонней и избалованной совести: она предполагает, что подчинение ума неописуемо больно, что все прошлое и все привычки такого ума противятся высшему абсурду (*absurdissimum*), каким является ему «вера». Современные люди с притупленным против всякой христианской номенклатуры умом, уже не чувствуют более того в высшей степени потрясающего, что для античного вкуса заключалось в парадоксальной формуле: «распятый Бог». До тех пор никогда и нигде еще не было ничего равного той смелости в обратном понятии, того одинаково страшного, вопросительного и достойного вопроса, как эта формула: она была предзнаменованием переоценки всех античных ценностей. Это Восток, *глубокий* Восток, это восточный раб, который, таким образом, мстил Риму за его благородную и легкомысленную терпимость, мстил римскому «католицизму» неверия. И разумеется, то, что возмутило рабов против их господина, было не вера, но свобода от веры, та полустойческая и смеющаяся беспечность по отношению к серьезности веры. «Просвещение» возмущает: раб хочет безусловно, он понимает только тираническое даже в морали, он любит так же, как ненавидит, без оттенков, до глубины души, до боли, до болезни, его многое *скрытое* страдание возмущается против благородного вкуса, который, по-видимому, *отрицает* страдание. Скептическое отношение к страданию, в сущности лишь внешний прием аристократической морали, в достаточной степени

причастно к возникновению последнего большого восстания рабов, начавшегося с французской революции.

47. Где бы ни проявлялся доселе на свете религиозный невроз, мы находим его связанным с тремя опасными диетическими предписаниями: отшельничество, пост и половое воздержание: причем, однако, нельзя с уверенностью решить, что здесь причина, что действие, и существует ли здесь вообще какое-либо соотношение между причиной и действием. Но последнее сомнение оправдывается тем обстоятельством, что как раз к наиболее правильным признакам этого явления, как у диких, так и у культурных народов, принадлежит внезапное проявление необузданнейшего сладострастия, которое затем так же внезапно переходит в припадок покаяния и в отрицание мира и воли. И то и другое можно бы, пожалуй, объяснить скрытой эпилепсией. Но здесь, более чем где-либо, приходится воздерживаться от толкований: никогда вокруг какого-либо типа не выросло такого множества нелепостей и суеверий, ни один до сих пор не интересовал людей и даже философов, как этот, — пора было немножко охладеть, научиться осторожности, а еще лучше — отвернуться и *отойти* от него. Еще на заднем плане последней философии, шопенгауэровской, стоит, почти как самостоятельная проблема, этот страшный вопросительный знак религиозного кризиса и пробуждения. Каким образом *возможно* отрицание воли? Как возможен святой? — это и был, по-видимому, тот вопрос, с которого Шопенгауэр начал заниматься философией. Здесь выказалась истинно шопенгауэровская последовательность: самый убежденный из его приверженцев (может быть, и последний в Германии), Рихард Вагнер, как раз на этом окончил собственное творчество и напоследок вывел его на сцену, как живого, страшный и вечный тип, *type vécu*, Кундрий, в то самое время, когда психиатры всех стран Европы имели случай наблюдать его вблизи, везде, где религиозный невроз, или, как я называю это, «религиозное сумасшествие»,

проявило себя в последний раз в эпидемической форме в виде «армии спасения». Если же мы спросим себя, что особенно интересного во всякое время и для всякого рода людей, а также и философов представлял собой святой, то это без сомнения была присущая ему видимость чуда, то есть непосредственная *последовательность противоположностей*, морально противоположная ценным состояниям души. Люди думали, что им сейчас станет очевидно, как «дурной человек» разом делается «святым» хорошим человеком. Психология до сих пор претерпевала здесь крушение: не было ли это следствием того, что она подчинилась господству морали, что она сама *верила* в противоположности моральных ценностей и эти противоположности *ввела* в текст и в фактический состав дела. Как? «Чудо» — только ошибка толкования, недостаточное знание философии?

48. По-видимому, латинским расам гораздо более присущ их католицизм, нежели нам, северянам, все христианство вообще, и, следовательно, неверие в католических странах имеет совершенно иное значение, чем в протестантских, там это нечто вроде возмущения против гения расы, тогда как у нас это скорее возвращение к духу (или к отрицанию духа) расы. Мы, северяне, без сомнения происходим от варварских рас, и по отношению к нашей способности к религии у нас плохие способности к ней. Отсюда следует исключить кельтов, которые поэтому и представляют собой наилучшую почву для восприятия христианской заразы на севере. Во Франции христианский идеал расцвел настолько, насколько допустило это бледное северное солнце. Какими чуждыми, благочестивыми кажутся на наш взгляд эти последние французские скептики, насколько в их роду есть еще кельтической крови! Какой католический, не немецкий запах имеет для нас социология Огюста Конта с ее римской логикой инстинктов! Какой иезуит этот любезный и умный Цицерон Порт-Рояля, Сен-Бёв, несмотря на свою ненависть к иезуитам! А Эрнест Ренан?

каким непонятным кажется нам, северянам, язык Рена-на, которого на каждом шагу самое ничтожное религиозное напряжение выводит из равновесия его, в утонченном смысле, сладостную и любящую покой душу! Стоит только повторить за ним эти красивые фразы — и сколько злости и негодования подымется ему в ответ в нашей менее прекрасной, более суровой немецкой душе: «Скажем смело, что религия есть продукт нормального человека, что человек наиболее прав, когда он наиболее религиозен и наиболее уверен в бесконечной судьбе... Только когда он добр, он желает, чтобы добродетель соответствовала вечному порядку, только когда он смотрит безразлично на вещи, он находит смерть возмутительной и нелепой. Как не предположить, что в эти минуты человек видит лучше всего?» Эти фразы являются до такой степени *антиподами* моему слуху и моим привычкам, что когда я впервые прочитал их, я в первом порыве негодования написал рядом: «La niaiserie religieuse par excellence!» (религиозная глупость по преимуществу) — а в последней вспышке моего гнева я даже полюбил эти фразы с их вниз головой поставленной истиной! Это так прелестно, так необычно иметь своих собственных антиподов.

49. В религиозности древних греков удивительнее всего чрезмерный избыток изливаемой ею благодарности — очень благородна та порода людей, которая становится в такое отношение к природе и жизни! — Позднее, когда чернь в Греции достигла преобладания, *страх* берет перевес и в религии: — подготовлялось христианство.

50. Страсть к Богу бывает различных родов: есть мужицкая, чистосердечная и назойливая, как у Лютера; во всем протестантизме отсутствует южная «деликатность». Есть в ней восточное неистовство, как у незаслуженно помилованного или возвеличенного раба, как например у Августина, который самым обидным образом лишен всякого благородства в манерах и вожделениях. Бывает женственная нежность, стремящаяся стыдливо и невинно

к *unio mystica et physica* (к мистическому и физическому единению). Во многих случаях она проявляется довольно причудливо, как прикрытие половой зрелости девушки или юноши, порою как истерия старой девы, как ее последнее тщеславие. Церковь не раз уж в подобных случаях признавала женщину святой.

51. До сих пор самые могущественные люди благоговейно преклонялись перед святыми, как перед загадкой самообуздания и намеренного крайнего самообречения. Почему они преклонялись? Все чуяли в нем, как бы за вопросительным знаком его хрупкой и жалкой внешности — превосходную силу, которая не пробовала себя на подобном обуздании, силу воли, в которой они узнавали и умели чтить собственную силу и стремление к власти: почитая святого, они почитали нечто, что было в них самих. К этому присоединялось еще и то, что вид святого внушал им недоверие: к такому чудовищному отрицанию, противоестественности, стремятся даром: так они говорили себе и спрашивали себя. Может быть, на то есть основание, большая опасность, о которой аскет, благодаря своим тайным сношениям, лучше осведомлен, чем они? Как бы то ни было, сильные мира узнали через него новый страх, они почувствовали новую силу, нового, еще непобежденного врага: — «воля к власти» принудила их остановиться перед святым. Они должны были спросить его...

52. В еврейском Ветхом Завете, книге о божественной справедливости, есть люди, вещи и речи такого высокого стиля, что в индийской и греческой письменности ничто не может с ними сравниться. Мы с благоговением и страхом стоим перед этими грандиозными пережитками того, чем был когда-то человек, и печальные мысли приходят в голову о древней Азии и ее выдвинутом небольшом полуострове, Европе, которая во что бы то ни стало хочет казаться перед Азией «прогрессом человека». Конечно, кто сам представляет собой ничтожное смиренное домашнее животное и знает

только потребности домашнего животного (подобно нашим нынешним образованным людям вместе с христианами «образованного» христианства), тому среди этих развалин нечего удивляться, а тем более огорчаться — удовольствие, которое доставляет Ветхий Завет, есть пробный камень по отношению к «великому» и «малому»; может быть, Новый Завет, книга о милости, все-таки скорее будет ему по душе (в нем есть много свойств настоящего нежного и тупого духа мелких душ). Соединить этот Новый Завет, во всех отношениях нечто в роде стиля рококо, в одну книгу с Ветхим Заветом и сделать из этого «Библию», «Книгу в себе» — это, может быть, величайшая смелость и самый большой «грех против духа», какой только имеет литературная Европа на своей совести.

53. Почему царствует ныне атеизм? — Как «отец», бог опровергнут точно так же, как «судья», «награждающий», точно так же опровергнута и его «свободная воля»; он не слышит, а если бы он слышал, он не знал бы, как помочь. Самое скверное то, что он, по-видимому, неспособен ясно объясняться — он неясен. Вот что, в результате многих разговоров, расспрашивая и прислушиваясь, я нашел в качестве причин падения европейского теизма. Мне кажется, что хотя религиозный инстинкт и сильно возрастает, и он как раз с глубоким недоверием отвергает удовлетворение теизма.

54. Что же в сущности делает новейшая философия? Со времен Декарта — и именно скорее назло ему, нежели на основании его примера — все философы, под видом критики понятия «субъект» и «предикат», нападают на старое понятие души, то есть нападают на основную гипотезу христианского учения. Новейшая философия, как теория познавательного скептицизма, тайно или явно *антихристианская*, хотя для более тонкого слуха отнюдь не антирелигиозная. В былые времена верили в «душу», как верят в грамматику и грамматический субъект: тогда говорили: «Я» есть условие, «мыслю» есть

предикат, и обусловлено, — мышление есть действие, к которому, как причину, надо мыслить субъекта. И вот начали, с достойными удивления упорством и хитростью, пробовать, нельзя ли вылезти из этой сети, не заключается ли истина в обратном; «мыслю» — условие, «Я» — условно, следовательно, «Я» есть только синтез, *совершаемый* посредством мышления. Кант в сущности хотел доказать, что из субъекта нельзя доказать субъект — а также и объект: возможность *кажущегося* существования единичного субъекта, то есть «души», не была всегда чужда ему, — та мысль, которая уже некогда существовала в форме философии Веданты и пользовалась громадным могуществом на земле.

55. Существует большая лестница религиозных жестокостей со многими отростками; но три из них самые главные. Когда-то своему богу приносили в жертву людей и, может быть, именно тех, которых более всего любили — сюда принадлежат жертвы первенцев всех религий древних времен, и жертва Тиверия в пещере Митры на острове Капри — этот ужаснейший из римских анахронизмов. Затем, в моральную эпоху человечества жертвовали своему богу самые сильные из своих инстинктов, свою «природу» — *эта*-то торжественная радость и сияет в жестоком взоре аскета, вдохновенного противника «естественного». Наконец, чем оставалось жертвовать еще? Не следовало ли в конце концов пожертвовать всем тем, что было утешительного, святого, целительного, всей надеждой, верой в сокрытую гармонию, в будущее блаженство и справедливость? Не должно ли было пожертвовать самим Богом и из жестокости к самим себе поклоняться камню, глупости, тяжести, судьбе, боготворить Ничто? За Ничто пожертвовать Богом — эта парадоксальная мистерия последней жестокости осталась на долю того поколения, которое подрастает теперь: мы все уже вкусили отчасти от этого.

56. Кто, подобно мне, с загадочной алчностью долго старался продумать пессимизм до самой глубины и освободить его от полухристианской, полунемецкой узости и глупости, с которыми он представлялся этому столетию в образе шопенгауэровской философии. Кто действительно заглянул азиатским или сверхазиатским оком в глубь самой мироотрицающей из всех возможных философий — по ту сторону добра и зла, — а не пребывал там, как Будда и Шопенгауэр, в заколдованном кругу морали — тот, может быть, этим самым, против своей воли, открыл свои глаза на обратный идеал, на идеал самого смелого, жизненного и утвердительно смотрящего на мир человека, который не только научился мириться с тем, что было и есть, но желает возвращения того, как оно *было* и *есть*, вечного возвращения, ненасытно взывая *da saro* (с начала) не только для себя, но и для всей пьесы, и не только для отдельного представления или для отдельного зрелища, а, в сущности, для того, кому нужно это зрелище и кто делает его нужным, потому что он беспрестанно нуждается в самом себе — и делает себя нужным. — Как? И разве это не было бы *circulus vitiosus deus* (ложный круг бога)?

57. Вместе с силой духовного зрения и взгляда растет даль и как бы пространство вокруг человека: мир его становится глубже, все новые звезды, новые загадки и картины входят в круг его зрения. Может быть, все, на чем духовный взор упражнял свое остроумие, свое глубокомыслие, было лишь поводом к его упражнению, предметом игры, чем-то пригодным для детей и для детских умов. Может быть, самые торжественные понятия, за которые более всего боролись и страдали, понятия «Бог» и «грех» покажутся нам не более важными, чем кажутся старику детские игрушки и детское горе — и может быть, тогда «старому человеку» понадобится другая игрушка и другое горе — он все еще будет в достаточной степени ребенком — вечным ребенком!

58. Замечали ли люди, насколько для истинно религиозной жизни (а так же, как для излюбленной микроскопической работы самоиспытания, так и для того нежного спокойного состояния, которое называют «молитвой» и которое представляет собой постоянную готовность к принятию «грядущего Господа»), нужна внешняя праздность или полупраздность, я подразумеваю праздность со спокойной совестью, унаследованную от предков, прирожденную, которой не чуждо аристократическое чувство, что работа *позорит*, то есть опошляет душу и тело, и «что, следовательно, современное, шумное, гордящееся трудолюбие, более чем что-либо другое, воспитывает и подготавливает к неверию. Между теми, которые теперь, например в Германии, живут в стороне от религии, я нахожу поборников «свободомыслия» всякого рода и происхождения, и, главным образом, множество таких, в которых трудолюбие из поколения в поколение уничтожало религиозные инстинкты, так что они уже вовсе и не знают, на что нужны религии, и только с известного рода тупым изумлением констатируют их наличность в мире. Они, эти добрые люди, чувствуют, что ими всецело овладели их дела, их удовольствия, не говоря уже о «фатерланде» (отечестве), о газетах и «семейных обязанностях». Кажется, как будто у них совсем нет времени для религии, да к тому же для них останется совершенно неясным, в чем тут дело: является ли религия новым занятием или новым удовольствием, так как невозможно, — по их мнению, — чтобы люди ходили в церковь только для того, чтобы портить себе настроение. Они не противники религиозных обрядов. Если со стороны государства требуется участие в подобных обрядах, они делают то, чего от них требуют, как делают многое — с терпеливой и скромной серьезностью и без особенного любопытства и неудовольствия: — они живут слишком в стороне и вне всего этого, чтобы быть в душе за или против подобных вещей. К этим равнодушным принадлежит ныне большинство немецких протес-

тантов средних классов, в особенности в деятельных, больших, торговых центрах и центрах путей сообщения, также громадное большинство трудолюбивых ученых и весь университетский персонал (за исключением теологов, жизнь и возможность существования которых в университете представляет собой все более и более утончающуюся загадку для психологов). Редко богомольные или хотя бы приверженные к церкви люди составляют себе понятие о том, как *много* доброй, и, можно сказать, напряженной воли нужно в настоящее время немецкому ученому, чтобы серьезно отнестись к проблеме религии. По своему ремеслу (и, как мы сказали, благодаря ремесленной работе, к которой его обязывает современная совесть) он склоняется к пропитанному сознанием своего превосходства, почти снисходительно-веселому, отношению к религии, к которому порою примешивается легкое пренебрежение, направленное против «нечистоплотности» духа, всегда предполагаемого им там, где люди еще придерживаются церкви. Только с помощью истории (следовательно, не по собственному опыту) удастся ученому достигнуть благоговейной серьезности и известного рода робкой почтительности по отношению к религии. Но даже тогда, когда он довел свое чувство даже до благодарности к ним, он своей личностью ни на шаг не приблизился к тому, что существует еще под видом церкви и благочестия — может быть, наоборот. Практическая индифферентность к религиозным вещам, среди которой он родился и вырос, возрастает у него до осмотрительности и чистоплотности, которая остерегается соприкосновения с религиозными людьми и вещами; и как раз глубина его терпимости и гуманности заставляет его уклоняться от того безусловно необходимого состояния, которое сама терпимость приносит с собой. Каждая эпоха имеет свой божественный вид наивности, за измышление которой другие эпохи могут завидовать ей. А сколько наивности, достойной почитания, детской и безгранично нелепой наивности

заключается в этой самоуверенной вере ученого, в спокойной совести его терпимости, в несознающей ничего, простодушной уверенности, с которой его инстинкт смотрит на религиозного человека, как на менее ценный и более низменный тип, которого он сам далеко перерос, — он, маленький самонадеянный карлик и черно-рабочий, прилежно проворной головой и руками изготовляющий «идеи», «современные идеи»!

59. Кто глубоко заглянул в мир, тот догадывается, конечно, какая мудрая мысль заключается в том, что люди поверхностны. Их научает быть легкомысленными, пустыми и лживыми их инстинкт самосохранения. У философов и художников там и сям встречается страстное преувеличение, поклонение «чистым формам»: никто не может сомневаться в том, что тот, кому так *нужен* культ поверхности, когда-то сделал несчастную попытку заглянуть *под* нее. Может быть, по отношению этих обжегшихся детей, прирожденных художников, находящихся наслаждение жизнью только в *подделывании* ее образа (как бы в долголетнем мщении жизни), существует еще и ряд ступеней: о степени, в которой им опротивела жизнь, можно было бы заключить из того, насколько желательно им видеть ее образ искаженным, разжиженным, перенесенным в иной мир, обоготворенным; в таком случае *homines religiosi* (людей религиозных) можно было бы причислить к этим художникам, как составляющим их *высший* разряд. Глубокий подозрительный страх перед неисцелимым пессимизмом принуждает людей в течение целых тысячелетий зубами вцепляться в религиозное толкование бытия; страх перед тем инстинктом, который предчувствует, что истиной овладеть слишком рано, прежде чем человек станет достаточно сильным, достаточно крепким, в достаточной степени художником... Благочестие, «жизнь в Боге», рассматриваемые с этой точки зрения, явились бы при этом утонченнейшим и крайним выражением *страха* перед истиной, как художническое поклонение и опьяне-

ние последовательнейшей из всех подделок, как стремление к обратной стороне истины, к неправде во что бы то ни стало. Может быть, еще не было до сих пор более сильного средства, чем благочестие, чтобы сделать самого человека прекраснее. При помощи благочестия человек может достигнуть такой художественности, такой внешности, игры красок, таких достоинств, что вид его не вызовет более страдания.

60. Любить человека *ради Бога* — это было до сих пор самое благородное, самое возвышенное чувство, которого достигли люди. Что любовь к человеку без какого-либо освещающего намерения есть лишняя глупость и скотство, что влечение к этой человеческой любви должно от высшего влечения получить свою утонченность, свое зернышко соли и пылинку амбры, — кто бы ни был тот человек, который это впервые почувствовал и «пережил», как бы ни запинаясь его язык в то время, когда он старался выразить такую нежность — пусть он навсегда останется для нас святым и достойным почитания, как человек, полет которого был бы высокий и заблуждение самое прекрасное.

61. Философ, как понимаем его *мы*, свободные умы, человек, который несет огромнейшую ответственность, на совести которого лежит общее развитие человека — такой философ воспользуется религиями для своего культурного и воспитательного дела, и даже будет пользоваться современными ему политическими и хозяйственными условиями. Влияние в отношении отбора и культуры, всегда настолько же разрушающее, насколько творческое и образующее влияние, которое может быть оказываемо при помощи религий, разносторонне и разнообразно, смотря по роду людей, которые поставлены под их власть и охрану. Для сильных, независимых, подготовленных и предназначенных повелевать, тех, в которых воплощается разум и искусство правящей расы, религия есть лишнее средство для преодоления препятствий к достижению господства. Это связь, соединяющая

властелина и подданных и предающая в руки первого совести последних, все их тайное и сокровенное, что охотно уклонилось бы от повиновения. И в случае, если некоторые натуры такого благородного происхождения вследствие своей высокой духовности склоняются к более уединенной и созерцательной жизни и оставляют за собой лишь наиболее утонченный род господства (над избранными учениками или братьями ордена), тогда религия может сама служить средством, чтобы оградить свой покой от шума и тяготы более *грубого* управления и свою чистоту от *необходимой* грязи всякого политиканства. Так понимали это брахманы: с помощью религиозной организации они взяли себе власть выбирать царей для народа, тогда как сами держались в стороне и чувствовали себя так, как чувствуют себя люди, исполняющие высшие и сверхцарские задачи. Между тем религия дает также некоторой части подчиненных руководство и случай подготавливаться к будущему господству и повелению, тем, медленно поднимающимся, более сильным классам и сословиям, в которых благодаря счастливым семейным нравам сила и желание власти, стремление к самообладанию постоянно возрастает; религия побуждает и искушает их стремиться к высшей духовности, испытывать чувства великого самопреодоления, молчания и уединения. Аскетизм и пуританизм почти необходимые средства воспитания и облагораживания, когда какая-либо раса хочет одолеть влияние своего происхождения из низшего народа и работает для будущего своего господства. Обыкновенным же людям, большинству, тем, которые существуют для служения и для всеобщей пользы и лишь поэтому *имеют право* на существование, религия дает неоценимое чувство довольства своим положением и своим родом, сердечный мир во многих отношениях, облагороженное чувство послушания, сочувствие счастью и страданию себе подобных, и вместе с тем как бы просветляет, скрашивает и оправдывает всю обыденную жизнь, всю низменность, всю полуживотную нищету их души. Религия

и религиозное значение жизни бросает солнечное сияние на этих вечно страдающих людей и делает им сносным собственный вид; она действует, как эпикурейская философия на страждущих высшего разряда — освежая, придавая утонченность, как бы используя страдание и, наконец, даже освещает и оправдывает. Может быть, самое почтенное в христианстве и буддизме — их искусство научать самого низшего переходить путем благочестия на более высокую ступень иллюзорного порядка вещей и тем самым удержат в себе довольство настоящим порядком, среди которого жить в достаточной степени тяжело: но эта-то тяжесть и нужна!

62. В конце концов, однако, для того чтобы отдать должное и отрицательное сторонам подобных религий и осветить их зловещую опасность, мы должны сказать, что когда религии в руках философов являются не культурным и воспитательным средством, а действуют от себя и *самовластно*, когда они сами служат конечною целью, а не средством в ряду других средств — то это всегда оплачивается дорогой и страшной ценой. У людей, как и у всякой другой породы животных, есть излишек неудавшихся субъектов, больных, вырождающихся, калек, неизбежно страдающих. Удачные случаи и у человека всегда представляют собой исключения и даже, ввиду того, что человек есть еще *не установившийся животный тип*, — редкие исключения. Хуже того: чем выше тип, представляемый данным человеком, тем менее является вероятным, что он *удастся*: случайность, закон бессмыслицы в общем хозяйстве человечества выказывает себя самым страшным образом в своем разрушительном влиянии на людей высшего порядка, жизненные условия которых, тонкие и разнообразные, рассчитать трудно. Как же относятся обе названные величайшие религии к этому *излишку* неудачных случаев? Они стараются сохранить для жизни все, что только может быть сохранено, они даже принципиально, как религия *для страждущих*, становятся на сторону последних, они считают правыми

тех, которые страдают жизнью, как какой-нибудь болезнью, и хотели бы добиться, чтобы всякое другое понимание жизни считалось ложным и невозможным. Как бы высоко ни оценивали эту жалеющую и охраняющую работу, которая до сих пор почти всегда относилась к самому страдающему типу человека, но в общем подсчете доселе существовавшие, *суверенные* религии являются главными причинами, задерживающими вид «человек» на более низкой ступени, они сохранили слишком много того, *что должно было погибнуть*. Мы обязаны им неоцененными благами, и кто же достаточно богат благодарностью, чтобы не стать бедняком, хотя бы перед всем тем, что сделали до сих пор для Европы «духовные люди христианства»! И все-таки, если они приносили страждущим утешение, внушали угнетенным и отчаивающимся мужество, давали слабовольным поддержку и заманивали в монастыри и духовные тюрьмы, прочь от общества, людей с расстроенным внутренним миром и обезумевших; что еще, кроме этого, должны они были сделать, чтобы по доброй совести так основательно поработать в пользу сохранения больных и страждущих, то есть на деле и в сущности для *ухудшения европейской расы*? Поставить все оценки ценностей *вниз головой* — вот что они должны были сделать. Сломить сильных, оскорбить великие ожидания, бросить подозрение на счастье в красоте; все, что есть великолепного, мужественного, завоевательного, властолюбивого, все инстинкты, свойственные высшему и наиболее удачному типу «человек», превратить в неуверенность, угрызания совести, саморазрушение, всю любовь к земному и к властвованию над землей обратить против земли и всего земного — вот задача, которую поставила и должна была поставить себе церковь до тех пор, пока в ее оценке «отречение от мира», «отречение от чувств» и «высший человек» не сложились в одно понятие, одно чувство. Допустим, что кто-нибудь может насмешливым и беспристрастным оком эпикурейского бога окинуть причудливо горестную

и столь же грубую, сколько тонкую комедию европейского христианства, тот, мне кажется, вдоволь мог бы надивиться и посмеяться: не покажется ли ему, что в Европе в течение восемнадцати веков господствовало единственное желание: сделать из человека *возвышенный выродок*? Кто же с обратными, не эпикурейскими потребностями, с неким божественным молотом в руке приступит к тому почти произвольно выродившемуся и погибшему типу человека, каким представляется европейский христианин (как, например, Паскаль), разве тот с ужасом, состраданием и гневом не закричит: «О вы, тупицы, высокомерные сострадательные тупицы, что вы наделали! Разве ваши руки способны к такой работе! Как вы обтесали и оболванили мой прекраснейший камень! Что вы позволили себе сделать?» — Я хотел сказать: христианство до сих пор было наиболее роковым видом самовозвеличения! Люди недостаточно высокого и твердого склада ума, чтобы работать в качестве художников *над человеком*, люди недостаточно сильные и дальнорзоркие, чтобы сделать над собою высокое усилие и дать свободу действия закону, по которому рождаются и умирают тысячи неудачных существ; люди недостаточно благородные, чтобы видеть пропасть, открывающуюся порядком и разделяющую человека от человека, такие люди со своим изречением «равенство перед богом» управляли судьбами Европы, пока не вырастили наконец измелечавшую, смешную породу, какое-то стадное животное, нечто послушное, хилое и посредственное — нынешнего европейца...

ГЛАВА IV

Афоризмы и интермедии

63. Кто учитель по натуре своей, тот, принимая серьезно все только постольку, поскольку это имеет отношение к его ученикам, делает то же и по отношению к самому себе.

64. «Познание ради познания» — вот последняя ловушка, расставленная нам нашей моралью: таким образом мы снова целиком запутываемся в ней.

65. Привлекательность познания была бы ничтожна, если бы не приходилось по пути к нему преодолевать столько стыда.

65а. Всего недобросовестнее мы относимся к своему Богу: он *не смеет* грешить.

66. Склонность позволять себе унижать, урезывать, обманывать, эксплуатировать могла бы быть стыдом бога среди людей.

67. Любовь к одному есть варварство, так как она в ущерб всем остальным. Такова и любовь к Богу.

68. «Я это сделал», — говорит моя память. «Я не мог этого сделать», — говорит моя гордость и остается непреклонной. В конце концов память уступает.

69. Плохо наблюдали жизнь те, кто не рассмотрели и руку, которая — будто щадя — убивает.

70. Кто обладает характером, в том есть и типичное переживание, которое постоянно повторяется.

71. *Мудрец в роли астронома.* — Пока звезды кажутся тебе чем-то «сверх тебя», тебе недостает еще проницательности познающего.

72. Не в силе, а в длительности высших ощущений заключается величие человека.

73. Кто достигает своего идеала, тот этим самым переступает его рамки.

73а. Иной павлин скрывает от постороннего глаза свой павлиний хвост и называет это своей гордостью.

74. Гениальный человек невыносим, если кроме гениальности не обладает еще по меньшей мере двумя качествами: способностью быть благодарным и чисто плотностью.

75. Степень и характер родовитости человека можно проследить до последних глубин его духа.

76. В моменты мира воинственный человек обрушивается на самого себя.

77. Своими принципами человек старается либо тиранизировать свои привычки, либо оправдать, либо превознести, либо осудить, либо скрыть их. Два человека с одинаковыми принципами могут, очевидно, стараться, при этом не об одном и том же.

78. Кто презирает самого себя, тот все же при этом еще и уважает себя как презирающего.

79. Душа, чувствующая себя любимой, но не любящая, обнажает свои подонки: все низменное в ней — всплывает.

80. Когда что-либо делается нам ясным, оно перестает затрагивать нас. — Что подразумевал тот бог, который предлагал «познать самого себя». Должно ли это было значить: «перестань быть заинтересованным собой! будь объективен!» — А Сократ? — А «научный человек»?

81. Ужасно умирать от жажды посреди моря. Уж не хотите ли вы так насолить вашу истину, чтобы она перестала утолять жажду?

82. «Сострадание ко всем» — ведь это было бы жестокостью и тиранией по отношению к тебе, сосед мой.

83. *Инстинкт.* — Когда горит дом, можно забыть и об обеде. — Да, но об этом вспомнить на пепелище.

84. Женщина научается ненавидеть в той же мере, в какой теряет способность очаровывать.

85. Одни и те же аффекты у мужчин и женщин различны в темпе; поэтому-то мужчина и женщина не перестают не понимать друг друга.

86. Сами женщины, позади личного своего тщеславия, носят в себе безличное презрение — к «женщине».

87. *Сердце сковано, дух свободен.* Наложив крепкие оковы на сердце свое, можно дать большую свободу своему духу. Я говорил уже об этом когда-то. Но мне в этом не верят, допуская, что сами этого уже не знают.

88. Очень умным людям начинают не доверять, если видят их в затруднении.

89. Ужасные происшествя заставляют предполагать, не является ли тот, кто их пережил, сам чем-то ужасным.

90. Тяжелые, унылые люди становятся менее тяжелыми от того, что вносят тяготу в душу других людей: от ненависти и любви.

91. Так холоден, так леденящ, что можно обжечь об него пальцы! Ужаснется тот, чья рука прикоснется к нему! — И именно поэтому некоторым он кажется пламенным.

92. Кто хоть раз не жертвовал собою ради своей доброй славы?

93. В снисходительности нет и крупинки человеконенавистничества, но именно поэтому в ней так страшно много презрения к людям.

94. Зрелость человека: быть зрелым — значит вернуть себе ту серьезность, которою обладал в детстве — в игре.

95. Стыдиться своей безнравственности — это первая ступень лестницы, на вершине которой будешь стыдиться своей нравственности.

96. Расставаться с жизнью нужно так, как Одиссей расставался с Навзикаей: не столько влюбленным, сколько благодарствующим.

97. Вы говорите, великий человек? Я все вижу только актера, разыгрывающего свой собственный идеал.

98. Если мы дрессируем свою совесть, она будет, кусая, целовать нас.

99. Разочарованный говорит: «Я жаждал отклика, а слышу лишь хвалу!»

100. Перед самими собой мы представляемся проще, чем мы есть. Таким образом мы даем себе отдых от наших ближних.

101. Познающему ныне легко почувствовать себя животным образом Бога.

102. Открывая взаимность в любимом существе, мы должны бы были отрезвиться в отношении к нему. «Неужели? Оно достаточно неприятно, чтобы любить тебя? Или достаточно ограничено? Или...»

103. *Опасность в счастье.* Все удастся мне нынче, как нельзя лучше, отныне я люблю любую участь: — кто хочет быть моей судьбой?

104. Не любовь к людям, а бессилие их любви мешает нынешним христианам — сжигать нас.

105. Свободному духом «благочестивцу познания» — *ria fraus* претит еще больше, чем *impia fraus* (претит его благочестию). Отсюда его глубокое непонимание религии, свойственное «свободному духом» — и в этом он не свободен.

106. С помощью музыки страсти сами вкушают себя.

107. Решение стать глухим по отношению к любому возражению есть признак сильного характера! Следовательно, при случае — упорство в глупости.

108. На свете нет моральных явлений, есть только моральное истолкование явлений.

109. Преступник очень часто не стоит на высоте совершенного поступка: он умалет и поносит его.

110. Защитники преступника редко бывают артистами своего дела, чтобы использовать в пользу клиента красоту ужаса его поступка.

111. Наше тщеславие всего труднее задеть, если была задета наша гордость.

112. Кто чувствует себя призванным к созерцанию, а не к верованию, тому все верующие кажутся слишком шумливыми и назойливыми: он обороняется от них.

113. «Ты хочешь заслужить его расположение? сделай вид, что теряешься перед ним».

114. Невероятное стремление к половой любви и стыд в этом стремлении в корне отравляют женщине все перспективы.

115. Где нет места для любви или ненависти, там нет и крупной роли для женщины.

116. Выдающиеся эпохи в нашей жизни — моменты, когда у нас хватает смелости худое назвать хорошим.

117. Желание преодолеть какой-либо аффект — в конце концов только стремление к какому-либо другому, одному или нескольким аффектам.

118. Иногда встречается невинность восхищения: ею обладает тот, кому не приходит в голову, что он сам когда-либо может стать объектом восхищения.

119. Отвращение к грязи может быть так велико, что мешает нам очищаться, — «оправдываться».

120. Подчас чувственность обгоняет любовь, корень любви остается слабым, неприжившимся, и вырвать его бывает нетрудно.

121. Что Бог научился по-гречески, когда захотел стать писателем, в этом заключается большая утонченность, так же как и в том, что он не научился этому лучше.

122. Радоваться похвале — в этом у многих заключается лишь учтивость сердца, полная противоположность тщеславию духа.

123. Люди ухитрились развратить даже конкубинат с помощью брака.

124. Тот, кто радуется, стоя на костре, торжествует не над болью, а над тем, что не чувствует боли там, где ее ожидал.

125. Если нам приходится о ком-нибудь менять свое мнение, то мы жестоко вымещаем на нем то неудобство, которое он нам этим причинил.

126. Народ представляет собою обход, сделанный природой, чтобы создать шесть-семь великих людей, чтобы потом обойти и их.

127. У всех истых женщин наука оскорбляет чувство стыдливости. При этом они чувствуют себя так, точно им заглянули под кожу, или, что еще хуже, под платье и убор.

128. Чем абстрактнее истина, которую ты хочешь преподать, тем больше должен ты стараться склонить к ней и чувства.

129. У дьявола открываются на Бога самые широкие перспективы, поэтому он и держится от него вдали: дьявол ведь самый старый друг познания.

130. Что человек *из себя представляет*, вскрывается тогда, когда талант его начинает бледнеть, когда он перестает показывать, что он *может*. Талант его тоже своего рода убор; убор есть также способ скрываться.

131. Мужчина и женщина часто ошибаются друг в друге: это происходит потому, что в сущности каждый из них чтит и любит самого себя (или собственный идеал, чтобы выразиться учтивее). Так, например, мужчина желал бы видеть женщину миролюбивой, тогда как она *по существу своему* неуживчива, как кошка, хотя и научилась представляться миролюбивой.

132. Больше всего бываешь наказан за свои добродетели.

133. Кто не умеет найти дорогу к своему идеалу, тот живет еще более легкомысленно и дерзко, чем человек без идеала.

134. Только от чувств наших исходит всякая достоверность, всякая чистота совести, всякая очевидность истины.

135. Фарисейство не есть форма вырождения доброго человека: большая доля его есть условие всякой хорошей жизни.

136. Один ищет акушера для своих мыслей, другой — человека, которому он мог бы помочь разрешиться ими: таково происхождение хорошего разговора.

137. Вращаясь среди ученых и художников, мы часто делаем ошибку в обратном направлении: нередко оказывается, что за замечательным ученым скрывается посредственный человек, а за посредственным художником, даже очень часто, — весьма замечательный человек.

138. Во сне и наяву мы поступаем одинаково: сначала измышляем человека, с которым приходим в соприкосновение, и затем тотчас же забываем об этом.

139. В мести и в любви женщина проявляет больше варварства, чем мужчина.

140. *Совет в форме загадки.* — Если путы не рвутся, попробуй раскусить их.

141. Брюхо мешает человеку слишком легко возомнить себя Богом.

142. Самое целомудренное изречение, какое я когда-либо слышал: «*Dans le véritable amour c'est l'ame, qui enveloppe le corps*» («В истинной любви душа обхватывает тело»).

143. Наше тщеславие требует, чтобы то, что нам удается лучше всего, все считали особенно для нас трудным. К вопросу о происхождении многих видов морали.

144. Если женщина обнаруживает склонность к науке, то обыкновенно в ее половой сфере что-нибудь да не в порядке. Так неродоспособность располагает уже к известной мужественности вкусов; ведь мужчина, с вашего позволения, ничто иное, как «неродоспособное животное».

145. Сравнивая между собой мужчину и женщину, можно сказать, что у женщины не развилась бы гениальность в умении украшать себя, если б у нее не было постоянного инстинктивного сознания ее *второстепенной* роли.

146. Тот, кто борется с чудовищами, должен следить за собой, чтобы самому не обратиться в чудовище. Попробуй подолгу смотреть в пропасть, и она заглянет тебе в глаза.

147. Из старинных флорентийских новелл, а также из жизни: Buona femmina e mala femmina vuol bastone (Хорошая и дурная женщина — обе просят бича). Sacchetti, Nov. 86.

148. Заставить быть о ней хорошего мнения, а затем и самой свято уверовать в его справедливость, — кому этот фокус удастся лучше, чем женщине.

149. То, что данная эпоха осуждает как дурное, является обыкновенно несвоевременным отзвуком того, что прежде считалось хорошим — атавизм более древнего идеала.

150. В соседстве с героем все превращается в трагедию, в соседстве с полубогом — в сатиру; чем же становится окружающее вблизи Бога? Быть может, «вселенной»?

151. Иметь талант — еще недостаточно. Надо еще получить ваше разрешение на обладание им, не так ли, друзья мои?

152. «Где древо познания, там и рай», — так вещают новые и древние змии.

153. То, что делается ради любви, происходит вне сферы добра и зла.

154. Противоречие, прыжок в сторону, радостное недоверие, любовь к насмешке — все это признаки здоровья: все безусловное относится к области патологии.

155. Склонность к трагическому растет и падает вместе с чувствительностью.

156. Безумие у отдельных лиц является исключением, у групп, партий, народов, эпох — правилом.

157. Мысль о самоубийстве является большим утешением. Она помогает пережить не одну тяжкую ночь.

158. Сильнейшей из наших склонностей, тирану внутри нас, подчиняется не только наш разум, но и наша совесть.

159. Следует оплачивать за хорошее и дурное: но зачем же непременно тому лицу, которое причинило нам добро или зло?

160. Мы недостаточно любим наше познание, если решаемся поделить им.

161. Поэты бесстыдны по отношению к своим переживаниям: они эксплуатируют их.

162. «Нашим ближним является не сосед наш, а сосед нашего соседа», — так думает каждый народ.

163. Любовь обнажает возвышенные и сокровенные свойства любящего, все редкое в нем и исключительное; поэтому она и обманчива по отношению к тому, что в нем является правилом.

164. Иисус сказал своим Иудеям: «Закон был для рабов, — вы же любите Бога, как люблю его я, сын Божий!» Какое дело сынам Бога до морали!

165. *Применительно к каждой партии.* — Пастух должен всегда иметь еще и передового барана, — чтобы самому при случае не становиться бараном.

166. Можно лгать ртом, но гримаса, которую человек при этом делает, все же выдает правду.

167. У жестких людей задушевность является предметом стыда, и в то же время она нечто ценное.

168. Христианство поднесло Эроту чашу с ядом: — но он не умер, а только выродился в порок.

169. Много говорить о себе — тоже может быть средством скрыть свое истинное «Я».

170. В похвале больше навязчивости, чем в хуле.

171. Сострадание в человеке познания почти так же смешно, как нежные руки у циклопа.

172. Подчас, из любви к людям, человек раскрывает свои объятия для первого встречного (не будучи в состоянии обнять всех людей): но этого нельзя давать почувствовать первому встречному.

173. Не бывает ненависти к человеку, пока считаем его ниже себя, и она появляется тогда, когда считаем его равным себе или выше себя.

174. Господа утилитаристы, ведь и вы любите все utile лишь как колесницу для ваших склонностей, — но и вам грохот колес ее кажется в конце концов невыносимым.

175. Человек любит в итоге лишь свои желания, а не желаемое.

176. Тщеславие других только тогда претит нам, когда оно сталкивается с нашим собственным тщеславием.

177. По отношению к вопросу, что такое «правдивость», еще пожалуй никто не был достаточно правдив.

178. Умным людям никто не верит, что они способны на глупости: какое нарушение человеческих прав!

179. Последствия наших поступков хватают нас за горло, хотя мы бы за это время и «исправились».

180. Существует невинность во лжи, служащая при знаком твердой веры во что-либо.

181. Нечеловечно благословлять там, где звучат проклятия.

182. Доверчивость человека, стоящего выше нас, ожесточает, так как мы не можем отплатить ему тем же.

183. «Не то, что ты обманул меня, а то, что я больше не могу верить тебе, потрясло меня».

184. Существует заносчивость в доброте, воспринимаемая как злость.

185. «Это не нравится мне». — Почему? — «Потому, что я не дорос до этого». — Ответил ли так когда-нибудь хоть один человек?

ГЛАВА V

К вопросу о естественной истории морали

Нравственное чувство современного европейца настолько же чутко, сложно, многообразно и утонченно, насколько соответствующая этому чувству наука о морали еще молода, неразвита, неуклюжа и груба. Это интересное противоречие воплощено подчас в лице самого моралиста. Уже самое выражение «наука о морали» слишком кичливо и безвкусно по сравнению с тем, что им обозначается: признак хорошего вкуса — тяготение к более скромным названиям. Если строго разобраться в этом вопросе, придется сознаться, что единственное, что здесь еще долго будет необходимо и что пока имеет право на существование, это — группировка и систематизация с помощью отвлеченных понятий необозримого царства тонких чувств оценки и различий ценности, которые живут, растут, размножаются и умирают; затем, быть может, еще и попытки подчеркнуть повторяющиеся и наиболее распространенные формы этой живой кристаллизации, в качестве подготовки к учению о типах морали. Надо сознаться, что до сих пор философы не были столь скромны. Все они, приступая к морали как к науке, требовали от себя, с чопорной до смешного серьезностью, чего-то более высокого, сложного, торжественного: все они стремились к обоснованию морали, и каждый считал, что ему это удалось; сама же мораль принималась как нечто данное. Их нелепой кичливости задача описания морали, заброшенная ими в прах и пыли, казалась слишком ничтожной и далекой. А между тем для выполнения этой работы самые тонкие пальцы и чувства являются слишком грубыми. Именно потому, что с фактической стороны вопроса философы морали были знакомы только в грубых чертах, в произвольных выдержках и случайных сокращениях, как с моралью их среды, их класса, их церкви, духа их времени, их климата и местности, — именно потому, что они были

мало осведомлены и даже мало любознательны по отношению к народам, эпохам и прошлому, — моральные проблемы, всплывающие только при сравнении различных видов морали, не доходили до их сознания. Во всех прежних «науках о морали» отсутствовала, как это ни странно, самая проблема морали; отсутствовало подозрение, что тут есть нечто проблематичное. То, что философы называли «обоснованием морали» и то, чего они от себя требовали, было, в правильном освещении, лишь ученой формой их наивной веры в господствующую мораль, новой формой выражения этой веры, следовательно, своего рода отрицанием того, что эта мораль *может* рассматриваться как проблема, во всяком случае противоположностью оценке, анализу, вивисекции этой веры! Стоит послушать, с какой, чуть ли не вызывающей благоговение, наивностью понимает еще Шопенгауэр свою задачу. Какие же напрашиваются выводы относительно научности «науки», главные строители которой болтают, как дети или как старые бабы! «Принципом», — говорит он в «Основных проблемах этики», — и основным положением, с содержанием которого согласны по существу все философы морали, является: *neminem laede, immo omnes, quantum potes, juva* (никого не ненавидь, всем одинаково, насколько можешь, помогай) — это и есть собственно то положение, которое стремятся обосновать все философы нравственности... вот истинный фундамент этики, который, точно камень мудрецов, искали в течение тысячелетий. Действительно, обосновать такое положение нелегко; как известно, тут не посчастливилось и Шопенгауэру; и тот, кому бросилось в глаза, как бессмысленно, фальшиво и сентиментально звучит эта фраза по отношению к миру, сущностью которого является жажда власти, — тот пусть вспомнит, что специальностью Шопенгауэра, помимо пессимизма, была еще — игра на флейте... ежедневно после трапезы: справьтесь об этом у его биографа. Поставим, между прочим, вопрос: пессимист, отрицающий

Бога и вселенную, и в то же время не дерзающий под-
нять руку на мораль, — признающий и приветствующий
звуками флейты эту *laede-neminem* — мораль, является
ли он на самом деле пессимистом?

187. Раньше, чем рассуждать о ценности таких утверж-
дений, как например — о присутствии в нас категориче-
ского императива, можно еще поставить вопрос: что го-
ворит такое утверждение о самом утверждающем? Суще-
ствуют формулы морали, которые служат создавшему их
для оправдания его перед окружающими; другие — для
того, чтобы примирять его с самим собою; третьими он
распинает и смиряет себя; одними он мстит, за другими
прячется, с помощью третьих — преобразуется и уно-
сится вдаль и ввысь; одна формула служит ему, чтобы за-
быться, другая — чтобы заставить окружающих забыть о
себе вообще или что-либо о себе; иной моралист не
прочь проявить над человечеством свою власть и свой
творческий каприз; другой, быть может, именно Кант,
дает своей формулой понять: «что во мне достойно ува-
жения, это — умение повиноваться, — и в этом отноше-
нии у вас дело *должно* обстоять не иначе, чем у меня!»
Словом, различные виды морали являются тоже ничем
иным, как символическим языком наших аффектов.

188. Всякая мораль, в противоположность к *laisser
aller* (предоставить свободу), является актом тирании по
отношению к «природе», а также по отношению к «разу-
му»: однако это не есть возражение против нее, так как
требуется еще доказать, что всякого рода тирания и
противоразумность есть нечто недозволенное. Суще-
ственным и неоцененным свойством всякой морали яв-
ляется длительность оказываемого ею принуждения.
Чтобы постигнуть стоицизм, Port-Royal, пуританизм,
вспомните о тех путях, среди которых приходилось до
сих пор каждому языку развиваться до теперешней
мощи и свободы, о путях метрических, о тирании ритма
и рифмы. Как много пришлось у всех народов помучить-
ся от этого поэтам и ораторам, не исключая и некото-

рых прозаиков современности, в чьих ушах свила себе гнездо непоколебимая совесть — «ради нелепости», как говорят глупцы утилитаристы, воображающие, что изрекают нечто премудрое, — «из подчинения законам произвола», по выражению анархистов, подчеркивающих этим, что себя они считают свободными, даже свободными духом. А между тем, замечателен тот факт, что все, что только есть на свете свободного, изысканного, смелого, гармоничного и мастерски законченного, в области ли мышления или управления, в словах и убеждениях, в искусстве ли или в нравах и обычаях, все это развилось исключительно благодаря «тирании» таких «законов произвола»; и в самом деле весьма возможно, что именно в них-то и заключается «природа», «естественность», а совсем не в распушенности, не в «laisser aller». Каждый художник знает, как далеко от этого «laisser aller» его «естественнейшее» состояние, свободная группировка, композиция, формировка в минуты вдохновения, — и как строго и точно он именно тут-то и подчиняется тысячам законов, ускользающих от формулирования в понятиях, именно благодаря их твердости и определенности (тогда как даже наиболее устойчивое понятие, в сравнении с ними, всегда содержит в себе что-то расплывчатое, многозначашее, многообразное). Повторяю, самое существенное «на небеси и земле» заключается, по-видимому, в том, что люди долго пзвиновались в одном каком-либо направлении, и из этого всегда что-нибудь да выходило, ради чего стоит жить на свете, например доблесть, искусство, музыка, разум, одухотворенность, — все преобразующее, утонченное, безумное и божественное. Продолжительная скованность духа, недоверчивая принужденность в сообщении своих мыслей, дисциплина, которую налагает на себя мыслитель, чтобы мыслить согласно директивам церкви и двора, или согласно предпосылкам аристотелевской философии, необходимость истолковывать все происходящее согласно христианской схеме, — все это насильственное,

произвольное, жестокое, противоразумное, — оказалось средством воспитания духовной мощи европейца, его бескорыстной любознательности и утонченной гибкости его ума. Конечно, наряду с этим должно было быть подавлено, придушено, погублено невосполнимое количество духовных сил, так как тут, как и везде, «природа» показала себя такою, какова она есть: расточительной и равнодушной в своем возмущающем, но благородном величии. Существовавшая в течение тысячелетий необходимость мыслить только для того, чтобы что-либо доказать (так как теперь мы, наоборот, относимся подозрительно ко всякому, кто хочет «что-либо доказать»), необходимость иметь всегда перед собою заранее намеченный результат своей строжайшей умственной работы, аналогично древней азиатской астрологии или существующему еще и в наше время безобидному христианско-моральному истолкованию ближайших личных обстоятельств «во славу Божию» или «во благо души»: — вся эта тирания, весь этот произвол, эта суровая и грандиозная ограниченность были воспитателями духа; рабство, как более грубое, так и более утонченное, является, по-видимому, необходимым средством духовного дисциплинирования. Взгляните с этой точки зрения на любую мораль, и вы увидите, что «природа» ее именно в том и заключается, что учит ненавидеть распущенность, слишком большую свободу, и прививает потребность в сужении задач и горизонтов; учит, следовательно, в известном смысле ограниченности, как условию жизни и развития. «Ты должен повиноваться кому-либо и притом долгое время, иначе ты погибнешь и потеряешь последнюю каплю уважения к себе» — вот таков, по-моему, моральный императив природы, правда, не категорический, как этого требовал от него старик Кант, например (отсюда и «иначе»), и обращенный не к отдельным единицам (что за дело природе до единиц!), а к народам, расам, эпохам, классам, и прежде всего ко всему типу животного царства, именуемому «человек».

189. Работящие расы с трудом переносят праздность: установление такой степени почитания воскресных дней, что со скуки англичанин, незаметно для самого себя, начинает мечтать о буднях, является мастерски рассчитанным ходом английского инстинкта; своего рода умно придуманным, умно выдвинутым постом, каковых мы немало встречаем в античном мире (хотя у южных народов и не по отношению к труду). Должно существовать много видов поста, и везде, где царят сильные склонности и привычки, законодателям следует позаботиться о введении промежуточных дней, в которые на такие склонности налагаются цепи и им приходится поголодать. С высоты птичьего полета, целые поколения, отмеченные каким-либо моральным фанатизмом, представляются именно такими вводными периодами скованности и поста, во время которых склонности человека пригибаются и преклоняются, и в то же время очищаются и обостряются; отдельные философские секты (например, стоики среди эллинской культуры и ее насыщенной эротическими ароматами атмосферы) могут быть истолкованы с этой точки зрения. Этим дан и намек к объяснению, каким образом в Европе, именно в христианский период и вообще впервые под давлением христианских квалифицирующих суждений, половое чувство выросло в любовь.

190. В Платоновской философии морали есть кое-что, не связанное внутренним образом с мирозерцанием Платона и даже как бы стоящее в противоречии с ним: это те черточки сократизма, для которого сам Платон был собственно слишком благороден. «Никто не хочет сам причинить себе вред, — следовательно, все дурное происходит недобровольно. Дурной человек сам причиняет себе вред: он бы не делал этого, если бы знал, что дурное — дурно. Следовательно, дурной человек делает дурное только по ошибке. Избавьте его от его дурной ошибки, и дурной человек неизбежно пре-

вратится в хорошего». Такой способ умозаключения отзывает плебсом, который из целого дурного поступка принимает во внимание только вредные последствия его и рассуждает собственно так: «*глупо* поступать дурно», отождествляя без дальнейших оговорок «хорошее» с «полезным и приятным». Встречаясь с любой формой утилитаризма в морали, можно сразу угадать ее происхождение, и чутье наше редко обманет нас. Платон, отважнейший из пересказчиков, воспринимавший всего Сократа точно уличную популярную мелодию, варьируя ее до бесконечности на собственные лады и манеры, сделал все, чтобы внести в теорию своего учителя что-либо утонченное и благородное, и прежде всего самого себя. Говоря в шутку и следуя при этом Гомеру, что такое платоновский Сократ, если не *πρὸς τὸν Πλάτωνα οἷον ἐστὶν ὁ Σόκρας*.

(В начале Платон и в конце Платон, а посередине бредни).

191. Старая теологическая проблема: «вера или знание», или точнее «инстинкт или разум», — другими словами, имеет ли инстинкт при оценке явлений больше веса, чем разум, ставящий вопрос «почему», требующий оснований, следовательно, целесообразности и полезности поступков, — это все та же старая, моральная проблема, впервые поставленная Сократом и разделявшая умы еще задолго до появления христианства. Сам Сократ, благодаря характеру своего таланта, таланта выдающегося диалектика, занял позицию на стороне разума; и в самом деле, чем он занимался всю свою жизнь, как не высмеиванием неуклюжей неспособности благородных афинян, которые были людьми инстинкта наравне со всеми людьми, благородными по происхождению, и не умели отдавать отчета в основаниях своих поступков. Но в конце концов он подсмеивался втихомолку и над самим собой: перед лицом своей более утонченной совести, исповедуясь перед самим собой, он находил и у себя ту же неуклюжесть и неспособность. Но разве из-за

этого, говорил он себе, следует отрешаться от инстинктов? Нужно признать и за ними и за разумом право на существование. Нужно следовать инстинктам, а разуму предоставить обосновывать их. В этом и заключалось лицемерие великого насмешника; он довел свою совесть до того, что она удовлетворялась таким самообманом: в сущности же он видел иррациональность в моральных суждениях. Платон, более невинный в таких вопросах и лишенный плебейского лукавства, употреблял все свои силы — величайшие, какими располагал до него кто-либо из философов, — чтобы убедить себя, что разум и инстинкт, каждый сам по себе, стремятся к одной цели, к добру, к «богу»; со времени Платона все теологи и философы стоят на одном и том же пути: в вопросах морали до сих пор одерживал верх инстинкт, «вера», по выражению христиан, «стадо», как я это называю. Исключение составляет Декарт, отец рационализма (и, следовательно, дед революции), для которого авторитетом был только разум: но разум есть лишь орудие, а Декарт был поверхностен.

192. Кому удалось проследить историю какой-либо науки отдельно, тот найдет в ее развитии руководящую нить для понимания наиболее древних и общих моментов всякого «знания и познания»: и там и здесь раньше всего появляются и развиваются скороспелые гипотезы, измышления, примитивное стремление к «вере», недостаток недоверчивости и терпения, — наши чувства лишь поздно научаются (а в совершенстве не учатся никогда) быть верными, осторожными органами познания. Нашему глазу кажется удобнее воспроизвести при случае неоднократно раньше виденную картину, чем запечатлеть то новое, что отличает данное впечатление от предыдущих: для этого нужно меньше сил, меньше «моральности». Слышать что-либо новое нашему уху мучительно и трудно; мы плохо слушаем чуждую нам музыку. Вслушиваясь в чуждое наречие, мы бессознательно стараемся группировать услышанные звуки в слова, бо-

лее нам знакомые и привычные. Подобным путем германец передал когда-то в «armbrust» (самострел) слышанное им слово «arcubalista». Ко всему новому чувства наши относятся враждебно и с неохотой; и вообще, над наиболее «простыми» чувственными процессами господствуют аффекты: страх, любовь, ненависть, а также и пассивный аффект — лень. Подобно тому, как современный читатель прочитывает на любой странице далеко не все слова (и даже слоги), на ней написанные, а выхватив наобум из двадцати слов приблизительно пять, «угадывает» принадлежащий им, по его предположению, смысл, так и мы, рассматривая хотя бы дерево, не отдаем себе точного подробного отчета в том, каковы его листья, цвет, форма, ветви; нам гораздо легче, окинув его беглым взглядом, приблизительно представить себе нечто вроде дерева. Даже посреди чрезвычайных переживаний мы поступаем совершенно так же: мы измышляем большую часть переживания, и нас нелегко заставить не смотреть на него глазами изобретателя его. Все это говорит, что с самого основания мы с незапамятных времен *привыкли ко лжи*. Или, чтобы выразиться добродетельно и лицемерно, другими словами, короче, более приятно: в нас гораздо более творчества, чем это принято думать. Посреди оживленного разговора я часто вижу лицо моего собеседника, в соответствии с мыслью, которую он высказывает, или которую, как мне кажется, я вызвал в нем, настолько ясно и детально, что эта степень ясности далеко превосходит силу моего зрения: тонкая игра мускулов и выражение глаз должны быть, очевидно, присочинены мною. По всей вероятности, лицо моего собеседника выражало что-либо иное или даже совсем ничего не выражало.

193. Quidquid luce fuit tenebris agit (Что бывает при свете, то действует и в сумерках), но также и наоборот. То, что мы часто переживаем во снах и мечтах, совершенно так же относится к общему обиходу нашей души, как и что-либо «действительно» пережитое: оно обога-

щает нашу душу или делает ее бледнее, увеличивает и сокращает наши потребности и до известной степени владеет нами среди бела дня и в наиболее светлые моменты бодрствования нашего духа. Предположим, что кто-либо в снах или мечтах своих часто видит себя летающим, и в конце концов, стоит ему забыться, как он чувствует, что обладает силой и искусством летать, точно привилегией своей и особенным завиднейшим благополучием; ему кажется, что он способен по малейшему импульсу описывать круги и изгибы, что у него есть чувство известной божественной легкости возноситься вверх без напряжения и опускаться вниз без падения — без тяжести! — Как может человек, с такими привычками и переживаниями в снах и мечтах своих, не видеть «счастье» и наяву в ином свете, чем другие люди? Как может он не предъявлять к счастью *особых* требований? «Порыв», как изображают его поэты, должен казаться ему по сравнению с его «полетом» слишком низменным, телесным, насильственным, слишком «тяжеловесным».

194. Различие в людях проявляется не только в различии табели благ, которую они себе составили, следовательно, в том, что они стремятся к обладанию различными благами или что они не сходятся в сравнительной оценке, в установлении того или иного иерархического порядка всеми ими признанных благ: оно сказывается гораздо сильнее в том, что они считают действительным обладанием и владением каким-либо благом. По отношению к женщине, например, наименее притязательный довольствуется правом располагать ее телом и удовлетворением полового чувства и считает это достаточным знаком обладания ею; другой, наделенный более требовательной и недоверчивой жадой обладания, считает подобное владение сомнительным, кажущимся и желает более тонких доказательств; прежде всего он желает знать, только ли женщина отдается ему, или же она готова бросить ради него все, что имеет или чем дорожит. Только тогда он считает, что владеет ею. Третий,

наконец, не останавливается и на этом в своей недоверчивости и жажде обладания. Если женщина всем жертвует ради него, он задает себе вопрос, действительно ли она делает это ради него, каков он есть, или ради миража, который она создала себе вместо него: чтобы чувствовать себя любимым, он хочет, чтобы она знала его до последних глубин его души, он имеет смелость дать разгадать себя. И только если она не обманывается в нем, если она любит его за сокровенные уголки его души, за его скрытую ненасытность так же сильно, как за его доброту, терпение и ум, только тогда он чувствует себя полным обладателем своей возлюбленной. Иной, желая овладеть народом, считает пригодными для этой цели все ухищрения Калиостро и Катилины. Другой, с более изысканной жаждой обладания, говорит себе: «нельзя обманывать там, где хочешь владеть»; мысль, что не он, а его ласка владеет сердцем народа, раздражает и возмущает его: «я должен дать узнать себя и, значит, прежде всего познать самого себя». Почти все люди, занимающиеся благотворительностью, прибегают постоянно к одному и тому же ухищрению: первым делом создают себе образ того, кому собираются оказать помощь. С помощью такого самообмана они создают себе иллюзию, будто данный человек «заслуживает» помощи, будто он нуждается именно в их помощи и за всякую помощь покажет себя глубоко им обязанным, привязанным, покорным; с помощью такого миража они располагают нуждающимся, точно своей собственностью, так как и вся благотворительность их есть ничто иное, как одна из форм проявления все той же жажды собственности. Они проявляют ревность, если в деле оказания помощи кто-либо столкнется с ними или опередит их. Родители бессознательно делают из своих детей нечто себе подобное, — они называют это «воспитанием», — ни одна мать не сомневается в глубине своего сердца, что в своем ребенке она родит предмет собственности, ни один отец не откажется от права подчинить его *своим*

правилам. В былое время отцы считали себя вправе располагать по своему произволу жизнью и смертью новорожденных (например, у древних германцев). И как отец, так и учитель, сословие, священник, князь видят в каждом новом человеке несомненный повод к новому обладанию. Из чего следует...

195. Евреи — народ, «рожденный для рабства», как говорит Тацит и весь античный мир, или «избранный народ среди народов», как они сами себя называют, — евреи выполнили тот фокус выворачивания ценностей наизнанку, благодаря которому жизнь на земле получила на несколько тысячелетий новую и опасную прелесть: их пророки спаяли воедино «богатое», «безбожное», «насильственное» и «чувственное» и впервые слово «мир» сделали бранным словом. В этой переоценке ценностей (к которой относится и отождествление «бедного» со «святым» и «другом») и заключается значение еврейского народа: он положил начало протесту против рабства в морали.

196. Существует бесчисленное множество темных тел, о присутствии которых рядом с солнцем мы заключаем, но которых мы никогда не увидим. Это притча, между нами говоря; психолог-моралист видит в звездных письменах лишь язык притч и символов, дающий возможность многое замалчивать.

197. Совершенно не понимает хищного зверя, хищного человека (например, Цезаря Борджиа), совершенно не понимает природы их тот, кто ищет какую-то «болезненность» в этих наиболее здоровых тропических чудовищах, или тем более, если ищет в них что-то врожденно-адское. Этим грешили до сих пор почти все моралисты. По-видимому, в душе моралистов живет какая-то ненависть к тропическим странам и девственным лесам! И они желают во что бы то ни стало дискредитировать «тропического человека», под видом ли болезненности и вырождения или под видом внутреннего ада и самоутрызения! Зачем это? Во славу «умерен-

ного пояса»? Во славу умеренных людей? Людей «нравственных», заурядных? — Это относится к главе «Мораль как форма страха».

198. Все эти виды морали, апеллирующие к отдельному человеку, якобы ради его счастья, являются ничем иным, как правилами поведения соответственно со степенью опасности, которая заключается в каждом человеке; рецепторами против его страстей, его хороших и дурных склонностей, в которых выражается желание власти и господства; мелкими и крупными ухищрениями и правилами благоразумия, отзывающимися затхлостью домашних снадобий и премудростью старых дев; все они нелепой и странной формы, так как обращены ко всем и склонны к обобщениям там, где обобщать нельзя; все вещают безапелляционно, мнят себя безусловными: и все они с точки зрения интеллектуальности не имеют большой цены и далеко еще не являются наукой, тем паче премудростью, а всего-навсего лишь благоразумием, благоразумием и благоразумием, трижды смешанным с ограниченностью, — в форме ли равнодушия к игре аффектов, предписываемого стойками; в форме ли философии Спинозы, отрицающей смех и слезы и проповедующей разрушение аффектов путем анализа и вивисекции их; или в форме низведения аффектов на безвредный средний уровень, на котором разрешается удовлетворять их — аристотелизм в морали; или в форме удовлетворения аффектов в намеренном разжижении и одухотворении, с помощью символики искусства, например, музыки, или же в форме любви к Богу и к людям «по воле Божией» — потому что в религии страсти опять получают право гражданства; наконец, даже в форме свободного следования своим аффектам, как тому учили Гафиз и Гете, смелого распускания удил и духовноплотского *licentia morum* там, где дело идет о старых мудрых чудаках и пьяницах, для которых это уже «не опасно». Это тоже к главе «Мораль как форма страха».

199. Во все времена существования человека, существовали и человеческие стада (родовые союзы, общины, племена, народы, государства) и большое число подчиненных по сравнению с числом повелевающих. Принимая во внимание, что повиновение до сих пор воспитывалось в людях успешнее и продолжительнее, чем что-либо другое, легко предположить, что, в общем, каждому человеку привита от рождения потребность подчиняться, в виде *формальной совести*, которая повелевает: «ты должен то или иное непременно сделать, того или другого ни в коем случае не сделать», словом — «ты должен». Эта потребность стремится к насыщению; к наполнению своей формы известным содержанием; при этом, соответственно ее силе и напряженности, она не делает особенно строгого выбора и принимает на веру то, что нашептывают ей родители, учителя, законы, предрассудки данного класса, общественное мнение. Необыкновенная ограниченность развития человека, присущие ему колебания, медлительность, способность делать шаг вперед и два назад — все это основано на том, что стадный инстинкт повиновения передается по наследству не только легче, чем искусство повелевать, но и в ущерб последнему. Если представить себе этот инстинкт развившимся до последней крайности, то независимые люди, люди-повелители должны совершенно исчезнуть; или же они должны страдать от угрызений совести и нуждаться во лжи перед самими собой для того, чтобы повелевать: делать вид, будто они повинуются. Такое положение и на самом деле создалось теперь в Европе: я его называю моральным лицемерием повелевающих. Они не знают иных способов защищаться от угрызений совести, как прикрываясь более древними и высшими велениями (предков, законодательства, права или, наконец, Бога), или заимствовать у стадного образа мыслей стадные термины, вроде «первых слуг народа» или «орудий осуществления общего блага». С другой стороны, стадный европейский чело-

век нашего времени становится в такую позу, точно он является единственно допустимым видом человека, и превозносит как истинно человеческие добродетели те свойства свои, которые делают его ручным, уживчивым, полезным стаду: дух общности, благожелательность, внимательность, усердие, умеренность, скромность, снисходительность, сострадание. В тех же случаях, где выясняется возможность обойтись без вождя и передового барана, делают опыт за опытом заменить повелителя несколькими благоразумными стадными людьми: таково, например, происхождение представительного образа правления. Каким благодеянием, каким избавлением этого стадного европейца от непосильного бремени оказывается, вопреки всему, появление неограниченного повелителя, об этом свидетельствует появление Наполеона: история его деятельности является историей чуть ли не величайшего счастья, достигнутого всем этим столетием в наилучшие моменты и в лице лучших представителей его.

200. Человек, живущий в такую эпоху, когда различнейшие расы перемешиваются между собою, наделен наследственностью крайне различного происхождения; это значит, что склонности и взгляды его столь разнообразны и противоречивы, что находятся между собою в постоянной борьбе. Такой человек позднейшей культуры, в душе которого преломляются самые противоречивые настроения, будет в среднем человеком сравнительно слабым: больше всего он стремится к тому, чтобы прекратилась борьба, которая в нем происходит; счастье представляется ему успокоительным (например, эпикурейским или христианским) бальзамом или примирительным образом мыслей, олицетворением покоя, отдыха, сытости, душевного единства, «субботой из суббот», говоря языком святого Августина, который сам был таким человеком. Есть, однако, и такие натуры, на которые эта борьба действует возбуждающе, подзадоривающе; и если такая натура, кроме

властных и непримиримых наклонностей, унаследует еще искусство в совершенстве вести с собой эту борьбу, унаследует самообладание и способность самовнушения, то она является образцом тех чарующих, неуловимых, жизненных типов, лучшими представителями которых были Алкивиад и Цезарь (к которым я охотно причислил бы *первого* европейца, соответствующего моему вкусу, Фридриха II Гогенштауфена) и среди художников — Леонардо да Винчи. Они появляются в то же самое время, когда выступает на первый план вышеупомянутый слабейший тип, с его стремлением к покою и отдыху. Оба эти типа неразрывно связаны друг с другом и рождены от одинаковых причин.

201. До тех пор пока понятие полезности, господствующее в моральных суждениях, понимается как «полезность стаду», до тех пор пока все внимание обращено на сохранность всей общины и безнравственным называется лишь то, что кажется опасным процветанию ее, до тех пор не может существовать «мораль любви к ближнему». Предположим, что и в это время человек постоянно понемногу упражняется в сострадании, мягкости, внимательности, уживчивости, услужливости, что и на этом уровне развития общества появляются те склонности, которые позже получают почетное название, название «добродетелей» и, в конце концов, почти совпадают с понятием «нравственность»: и несмотря на это, в это время они еще не принадлежат к области моральных понятий, они внеморальны. В лучшие римские времена поступок, в котором выражалось сострадание, не считался ни дурным, ни хорошим, ни нравственным, ни безнравственным. И если его хвалили, то наряду с похвалой уживалось и невольное пренебрежение, возникавшее при ближайшем поводе к сравнению с таким поступком, который способствовал общему благу. В конце концов «любовь к ближнему» является всегда чем-то второстепенным, отчасти условным, произвольно-фан-

тастическим по сравнению со *страхом перед ближним*. Когда форма общества твердо установлена и ограждена от внешних опасностей, появляются новые моральные перспективы, созданные уже страхом перед ближним. Некоторые сильные и опасные склонности, например предприимчивость, отвага, мстительность, хитрость, хищность, жажда власти, которые дотоле, хотя и под другими названиями, не только почитались, но воспитывались и прививались (потому что в них была необходимость на случай внешней опасности), кажутся особенно опасными теперь, когда для них нет громоотводов, — и мало-помалу общество клеймит их как безнравственные и клеветает на них. Теперь превозносятся как раз противоположные склонности; шаг за шагом стадный инстинкт делает свои выводы. Вся современная моральная перспектива сводится к оценке той опасности как целого, которую представляет собою какое-либо мнение, состояние аффектов, желание, дарование: страх является и здесь родоначальником морали. Самосознание общины, остов ее разбивается о те высшие и сильные склонности, которые, прорываясь внезапно, выносят индивида далеко за пределы золотой середины и возносят его высоко над уровнем стадного сознания. Поэтому именно эти склонности община клеймит и порочит особенно охотно. Высокая, независимая интеллектуальность, жажда одиночества, крупный ум внушают ей страх. Все, что поднимает индивида над уровнем стада и внушает ближнему страх, называется теперь *злом*; скромный, уживчивый, приспособляющийся нрав, средняя интенсивность страстей находятся в моральном почете. Наконец, среди очень мирной обстановки исчезает все более необходимость закалять свои чувства, быть суровым и твердым; и вот, всякая суровость, даже в правосудии начинает тревожить общественную совесть; высоко-развитое, твердое благородство, умение самому за себя отвечать оскорбляет и вызывает почти недоверие;

«ягненок», тем паче «баран» попадает в почет. Существуют такие моменты дряблости и изнеженности в истории общества, когда оно берет под свою защиту даже вредящего ему преступника, и делает это совершенно серьезно и искренно. Наказание кажется ему в чем-нибудь да несправедливым, само представление о «наказании» и «необходимость наказывать» причиняет ему боль и страх. «Разве недостаточно — *обезвредить* его? Зачем же еще наказывать? Наказание — это что-то ужасное» — в этом вопросе выражается последний вывод, делаемый стадной моралью, моралью боязливости. Если предположить, что можно было бы уничтожить всякую вообще опасность, уничтожить основания для страха, то одновременно с этим исчезла бы и эта мораль: она не была бы больше нужна, она сама поняла бы свою ненужность! Кто проанализирует совесть современного европейца, тот из тысяч ее моральных складок и скрытых уголков извлечет один и тот же императив, императив стадного страха: «мы хотим, чтобы наступил наконец момент, когда бы нам нечего было бояться!» Путь к этому моменту, стремление к нему, называется нынче в Европе и повсюду — прогрессом.

202. Уши современного человека остаются глухими к тем истинам, *нашим* истинам, которые мы уже неоднократно высказывали. Поэтому вернемся к ним еще раз. Нам достаточно хорошо известно, как оскорбительно звучит, если без всяких прикрас причислить человека к животным. Но нам, применяющим по отношению к человеку «современного образа мыслей» такие выражения, как «стадо», «стадные инстинкты», это будет несомненно поставлено даже в вину. Что же делать? Мы не можем иначе: в этом-то и заключается наша новая точка зрения. Мы пришли к такому заключению, что Европа и те страны, где сказывается ее влияние, единодушны в основных положениях морали: европейец отлично знает, что такое добро и зло, о которых плохо был осведомлен

Сократ и раскусить которое предлагал знаменитый Змий древности. Хоть это и жестко звучит и плохо доходит до ушей современного человека, мы все же повторяем, что и тут мнит себя знающим, превозносит себя своими хвалами и порицаниями никто иной, как все тот же инстинкт стадного животного «человека». Этот инстинкт перевешивает все другие, господствует над ними, и тем сильнее, чем больше сглаживаются различия между особями, чем больше они сближаются между собой. Преобладание стадного инстинкта над остальными является симптомом этого сближения. *Современная европейская мораль есть мораль стадного животного*: следовательно, с нашей точки зрения, это лишь один из видов человеческой морали, на ряду, до и после которой возможны и должны были бы существовать иные, главным образом высшие формы ее. Но против этой «возможности» этого «долженствования» и ополчается, преимущественно, современная мораль; упорно и непоколебимо утверждает она: «я — сама мораль, ничто кроме меня не может называться моралью!» С помощью религии, которая всегда была к услугам стадных вождельцев и льстила им, дело дошло, наконец, до того, что даже в политических и общественных учреждениях мы видим ясное выражение этой морали: демократическое движение наследует в этом отношении христианскому. Но особенно нетерпеливым, ненормальным и алчным представителям этого инстинкта темп демократического движения кажется слишком медленным и вялым, об этом свидетельствует все более свирепеющий рев, все более циничный скрежет зубов анархистских псов, блуждающих по прогулкам европейской культуры. Казалось бы, что их отделяет пропасть от мирных, работающих демократов и революционных идеалов, а тем более от тяжеловесных якобы — философов, бредящих о всеобщем братстве, именуемых социалистами и стремящихся к «свободе общества»: на самом же деле в тех и других живет одна и та же основная,

инстинктивная враждебность ко всякой иной форме общества, кроме *автономного* стада (вплоть до уничтожения понятий «господин», «слуга — ni dieu ni maître называется формулой социализма); они сходятся в прямом противодействии всякому особому притязанию, всяким особым правам и привилегиям (это значит, собственно, всяким правам, потому что когда все равны, то ни у кого нет надобности в «правах»); в них одинаковое недоверие к карающему правосудию (как если бы оно было насилием над слабым; несправедливостью по отношению к необходимому следствию всего предыдущего общественного строя); общая у них, следовательно, и религия сострадания, общее сочувствие везде, где только проявляется чувство, жизнь, страдание (нисходя до животного и возносясь до бога; разнuzданность «сострадания к богу» тоже относится к демократической эпохе); они сходятся в криках и нетерпении сострадания, в смертельной ненависти к страданиям вообще, в чуть не женской неспособности быть зрителями страданий, *заставлять* страдать; они сходятся в невольном изнеживании человека, под гнетом которого Европа находится под угрозой нового буддизма; они единодушно верят в мораль *общего* сострадания, точно она и есть истинная мораль, точно в ней зенит, достигнутый человеком, единственная надежда будущего, средство утешения в настоящем, отпущение всех грехов в прошлом, — словом, они сходятся в вере в общество, как в избавителя, следовательно в стадо, в «себя»...

203. Нам, людям другой веры, нам, считающим демократическое движение не только формой упадка политической организации, но и формой упадка и измельчанием человека, низведением его на ступень заурядности, — на что возложить нам надежды наши? На новых философов, — иного выбора нет. На умы достаточно сильные и самородные, чтобы дать толчок к обратным оценкам, к переоцениванию «вечных ценностей», на

предтечий и людей будущего, завязывающих в настоящем узел, который на целые тысячелетия толкнет волю человека на новые пути. Выход тут только один: показать человеку его будущее, как кристаллизованную волю его, как зависящее от его воли и подготовить отважные опыты воспитания и обуздания, чтобы таким образом положить конец царству бессмыслицы и случая, которое до сих пор именовалось «историей» и завершающей формой которой является бессмыслица господства «большинства»; — для этого понадобится в свое время новый род философов и повелителей, образ которых заставит побледнеть образы кого бы то ни было из живших доселе людей. Образ таких вождей витает перед *нашими* очами; — люди, свободные духом, могу ли я высказать это громко? В чем заключаются *наши* заботы, *наши* огорчения? Создать условия и использовать благоприятные обстоятельства для появления таких вождей; использовать те пути, по которым душа могла бы возрасти до такой мощи и высоты, чтобы почувствовать необходимость этих задач, произвести оценку ценностей, под давлением которой точно молотом выкуется совесть, закалится сердце, чтобы выдержать тяжесть такой ответственности; с другой стороны, сознание необходимости таких вождей, ужасающая опасность в том, что они могут не появиться, не удался или выродиться, — вот в чем *наши* заботы и огорчения, слышите ли вы, люди, свободные духом? Вот те тяжкие отдаленные мысли и грозы, которые тянутся по *нашему* небу. Едва ли что-либо может причинить больше страданий, чем видеть, что необыкновенный человек выбился из своей колеи и стоит на пути к вырождению. Что же должен переживать тот, кто подобно нам, с редкой прозорливостью, предвидит общую опасность вырождения «человека», кто подобно нам познал силу случая, определявшего до сих пор будущее человечества, случая, не направленного ничьей рукой, ни даже «перстом Божиим!», кто

угадывает силу рока, скрытую в идиотской незлобливости и блаженной доверчивости «современных идей», и еще больше — во всей христианско-европейской морали! Он переживает такие страхи, с которыми не сравнятся никакие другие страдания; он охватывает одним взглядом те перспективы, которые открылись бы человеку, если бы удалось сконцентрировать все силы на соответственном воспитании его; всей силой своего сознания он постигает, как неисчерпаем человек для величайших возможностей, и как часто тип «человек» стоял уже на перепутьи к таинственным решениям и новым путям; еще лучше знает он, по мучительнейшим воспоминаниям своим, о какие ничтожные преграды обыкновенно разбивались в прошлом существа высшего порядка, надламывались, падали, делались сами ничтожными! *Общее вырождение человека*, вплоть до того «человека будущего», который мерещится, в виде идеала, современным социалистическим идиотам и тупицам, вырождение человека до уровня совершеннейшего стадного животного (или, по их терминологии, человека «свободного общества»), принятие животного образа, образа карликового животного, с равными правами и требованиями, оно ведь возможно, несомненно возможно! Кто хоть раз продумал эту возможность до конца, тот пережил одним отворачиванием больше, чем другие люди, и познал, быть может, и новые обязанности!

ГЛАВА VI

Мы, ученые

204. Рискуя, что читать наставления и здесь окажется выставлением себя напоказ, то есть тем, чем было всегда: — беззастенчивым «показанием своих ран», как говорил Бальзак, я решаюсь выступить против неподобающей и вредной перестановки рангов, которая незаметно

и как бы с лучшими намерениями грозит произойти в настоящее время между наукой и философией. Я хочу сказать, что мы должны в силу своего *опыта* — а опыт, вообще, мне кажется, всегда означает дурной опыт — иметь право высказывать свое мнение о таком высшем вопросе ранга, чтобы не говорить, как слепые, о красках, или как женщины и художники *против* науки («ах! эта ужасная наука! — вздыхают они, повинувшись инстинкту и стыдливости, — всегда она *доискивается* до всего!»). Провозглашение независимости человека науки, его эмансипация из-под власти философии есть одно из наиболее тонких влияний демократического порядка и беспорядка: самовозвеличение и самовосхваление ученого всюду находится теперь в полной красе своего весеннего расцвета — это еще вовсе не значит, чтобы самопрославление отличалось в этом случае прелестным запахом! «Долой всех господ!» — вот чего хочет и здесь инстинкт черни. И вот, после того как наука успешно отделилась от теологии, у которой она долго состояла «служанкой», она с полным безрассудством и дерзостью хочет предписывать законы философии и в свою очередь желает разыгрывать «господина» — что я говорю! — *философа*! Моя память — память человека науки, с вашего позволения! — битком набита наивными выходками высокомерия по отношению к философии и философам со стороны молодых естественников и старых врачей (не говоря уже о самых образованных и самонадеянных из всех ученых, о филологах и педагогах, обладающих этими качествами по своей профессии). То узкий специалист, рассыльный науки, инстинктивно оборонялся от всех вообще синтетических задач и способностей, то прилежный работник, который почуял запах *otium*'а (досуга) и благородной роскоши в душевном обиходе философа, почувствовал себя обиженным и умаленным. То является тот дальтонизм утилитариста, который ничего не видит в философии, кроме ряда *опровергнутых*

систем и расточительную трату, от которой «никому никакой пользы нет». То вдруг высказывал страх перед замаскированным мистицизмом и урегулированием границ познания; то презрение к некоторым философам, невольно распространившееся и на всю философию. Чаще же всего у молодых ученых за высокомерным пренебрежением к философии я находил дурное влияние какого-нибудь философа; хотя его уже и не признавали, но все еще не вышли из-под влияния его презрительных оценок других философов, — а из этого вытекало общее отрицательное отношение ко всей философии вообще. (В таком виде представляется мне, например, влияние Шопенгауэра на нынешнюю Германию: он своей неразумной яростью против Гегеля довел до того, что все последнее поколение немцев разорвало свою связь с немецкой культурой, которая, принимая во внимание все данные, была вершиной и утонченной степенью презрения *исторического чувства*: но Шопенгауэр именно в этом случае был сам до гениальности беден, невосприимчив и — не немец). Вообще, может быть, прежде всего человеческое, слишком человеческое, короче говоря, убогость самых новых философов, более всего подорвала благоговение к философии и настежь отворила ворота инстинктам черни. Должны же мы сознаться себе, до какой степени далеко нашему современному миру до Гераклитов, Платонов, Эмпедоклов и всех других величественных и царственных отшельников мысли; и с каким полным правом перед такими представителями философии, которые, благодаря моде, так же скоро возвышаются, как и падают, — как например в Германии два берлинские льва: анархист Евгений Дюринг и амальгамист Эдуард фон Гартман — честный человек науки, может считать себя существом лучшего рода и происхождения. Вид же тех философов всякой всячины, которые называют себя «философами действительности» или «позитивистами», в особенности способен поселить опасное

недоверие в душе молодого честолюбивого ученого: ведь все они в лучшем случае сами ученые и специалисты — это ясно как день! — все это побежденные и возвращенные под державную власть науки, такие, которые когда-то захотели от себя *большего*, не имея права на это *большее* и на ответственность за него, и которые теперь честно, но злобно и мстительно, словом и делом, представляют собой *неверие* в господствующую задачу и в господствующее значение философии. Наконец: как может это быть иначе! Наука процветает в настоящее время и, по-видимому, вполне добросовестна, тогда как то, к чему постепенно стремилась вся новейшая философия, этот остаток нынешней философии возбуждает к себе недоверие, досаду, а то, пожалуй, даже насмешку и жалость. Философия, сведенная к «теории познания», представляющая собой в сущности не более, как робкую эпохистику (скрывание своего суждения) и учение о воздержании: — такая философия, которая вовсе не переступает через порог и с болью *отказывает* себе в праве на вход — это философия, находящаяся при последнем издыхании, конец, агония, нечто вызывающее сострадание. Как же может такая философия *господствовать*!

205. Опасности, угрожающие ныне развитию философа, поистине так многочисленны, что можно усомниться: может ли вообще созреть этот плод? Объем и высота башни науки выросли до чудовищного, а вместе с тем выросла и вероятность, что философ уже во время учения утомится или где-нибудь задержится и «специализируется», так что совсем не достигнет вершины, откуда может глядеть кругом, обозревать и *смотрит вниз*. Или же он дойдет туда слишком поздно, когда утратит свои силы и пропустит лучшее время, или когда он уже испорчен, огрубел и вырожден, так что его взгляд и общая оценка вещей уже мало будет иметь значения. Именно тонкость его умственной совести, может быть, заставляет его задерживаться в нерешимости на пути.

Он боится соблазна сделаться дилетантом, сороконожкой и насекомым со множеством щупалец, он отлично знает, что тот, который потерял уважение к самому себе, и как познающий уже не повелевает, не ведет за собой; разве только если бы он захотел сделаться великим актером, Калиостро философии и крысоловом духов, одним словом, соблазнителем. Это было бы, в конце концов, вопросом вкуса, если бы не явилось вопросом совести. Затруднения философа усугубляются еще тем, что он требует от себя отрицательного или утвердительного суждения не о науках, а о жизни и о ценности жизни, что ему трудно уверовать в то, что ему принадлежит право или даже обязанность иметь такое суждение и только на основании многосложнейших, — может быть, тревожнейших и разрушительнейших — переживаний, часто нерешительно, сомневаясь и в безмолвии, он должен искать свой путь к этому праву и этому верованию. И действительно, толпа долгое время смешивала философа то с человеком науки и идеальным ученым, то с религиозно возвышенным, освободившимся от влияния нравов и обычаев, ушедшим от мира мечтателем и опьяненным божественным экстазом фанатиком; и если в наше время кого-нибудь хвалят за то, что он живет «мудро» или как «философ», то это значит не более, как «умно и в стороне». Мудрость чернь считает чем-то вроде бегства, средством и фокусом вывертываться из скверного положения. Но настоящий философ — как кажется *нам*, друзья мои, — живет «не философски» и «не мудро», а прежде всего *неумно* и чувствует тяжесть и обязанность подвергать себя многим испытаниям и искушениям жизни: — он рискует собой постоянно, он ведет опасную игру...

206. По отношению к гению, то есть к существу, которое *зарождает* и *рождает*, понимая слова в самом обширном их смысле, ученый, средний человек науки, всегда имеет некоторое сходство со старой девой; ибо он, как

и она, не имеет понятия о двух самых ценных отправлениях человека. И действительно, обоих их, как ученого, так и старую деву, как бы в возмещение убытка, признают почтенными — и в этом случае подчеркивают почтенность — и чувствуют еще при этом вынужденном признании примесь досады. Всмотримся хорошенько: что такое человек науки? Прежде всего это человек не знатного рода, с добродетелями незнатного, то есть не господствующей, не авторитетной, не самодовлеющей породы вида человек: он одарен трудолюбием, умением сохранять порядок неприхотливостью и умеренностью в способностях и потребностях, он инстинктивно узнает себе подобных и то, что ему подобным нужно, как например та частица независимости и зеленого пастбища, без которой нет спокойствия в работе, то притязание на почет и признание (прежде всего и главным образом; чтобы его замечали и чтобы он был замечен), то сияние доброго имени, то постоянное подчеркивание своей ценности и своей полезности, которым приходится постоянно побеждать внутреннее *недоверие*, составляющее основную черту зависимых людей и стадных животных. Ученому, конечно, свойственны болезни и дурные привычки незнатной породы: он богат мелочной завистью и имеет рысьи глаза для низменных свойств таких натур, до высоты которых ему не подняться. Он доверчив, но как такой человек, который позволяет себе идти, но не *стремиться*, и как раз перед людьми великих стремлений он становится наиболее холодным и замкнутым — глаза его тогда подобны гладкому упорному озеру, в котором не отражается ни восхищение, ни сочувствие. Самое дурное и опасное, на что способен ученый, происходит у него от инстинкта посредственности его породы, от его иезуитизма посредственности, который инстинктивно работает над уничтожением необыкновенного человека и старается сломить, — или еще лучше — ослабить каждый натянутый дух. Ослабить деликатно,

осторожной рукой, с участливым состраданием — вот настоящее искусство иезуитизма, который всегда умел заявить о себе как о религии сострадания.

207. Как бы ни были благодарны *объективному* уму — а кому же до смерти не надоело все субъективное, с его проклятым эгоизмом! — тем не менее следует научиться осторожности к своей благодарности и положить предел преувеличению, с которым прославляется обезличение духа и отречение от своего «Я», как цель в себе, как освобождение и просветление, как это и происходит в пессимистической школе, которая имеет достаточное основание с своей стороны отдавать дань высочайшего почтения «бескорыстному познанию». Объективный человек, который уже не проклинает и не бранит, подобно пессимисту, *идеальный* ученый, в котором научный инстинкт после множества частичных и полных неудач достигает полного расцвета и отцветает, есть без сомнения одно из драгоценнейших орудий, какие только есть на свете: но оно должно быть в руках более могущественного. Он только орудие, говорим мы, он — *зеркало*, — он не «самоцель». Объективный человек есть действительно зеркало; он привык подчиняться всему, что должно быть познано, он не имеет иной радости, кроме познания, «отражения», он ждет, пока придет что-то, и затем нежно простирается так, чтобы даже и мелкими шагами скользящие призрачные существа не прошли незаметно по его поверхности и его коже. Все, что остается в нем еще от «личности», кажется ему случайным, часто произвольным, а еще чаще мешающим; до такой степени он сделался для самого себя средством для прохождения и отражения чужих образов и событий. Он сосредоточивает мысли на «себе» с усилием и часто неверно: он легко смешивает себя с другими, он ошибается в отношении своих собственных потребностей и только в этом случае бывает невежлив и небрежен. Может быть, его мучает нездоровье и мелочность и

домашняя атмосфера, созданная женой и другом, или недостаток товарищей и общества, — да, он принуждает себя думать о своем мучении — напрасно! Его мысль уже унеслась прочь, к *более общему* факту, а завтра он, как и сегодня, не будет знать, что может помочь ему. Он утратил способность относиться серьезно к себе и потерял также время: он весел не от отсутствия горя, а от отсутствия способности ощущать *свое* горе. Обыкновение идти навстречу каждой вещи и каждому событию, лучезарное и наивное гостеприимство, с которым он принимает все, что на него сваливается, его неразборчивое доброжелательство, опасная беззаботность относительно «да» или «нет»: ах! так много есть случаев, где ему приходится расплачиваться за эти добродетели! и он, как человек, слишком легко делает *carut mortuum* этих добродетелей. Если от него требуются любовь и ненависть, — я подразумеваю любовь и ненависть, как их понимают бог, женщина и животное, — он сделает, что может, и даст, сколько-может. Но не надо удивляться, если это будет не много — если он тут как раз окажется настоящим, хрупким, сомнительным и дряблым. Его любовь деланная, его ненависть искусственна и больше похожа на фокус, на мелкое тщеславие и аффектацию. Он является настоящим только там, где он может быть объективным; только в своей веселой целостности он бывает «натурой», он натурален. Его отражающая, как зеркало, и вечно разглаживающаяся душа не может более ни утверждать, ни отрицать; он не повелевает и не разрушает. «Я почти ничего не презираю», — говорит он вместе с Лейбницем: заметьте и оцените это «почти». Он и не образцовый человек, он не идет ни впереди, ни позади других; он вообще становится слишком далеко, чтобы иметь основание становиться на сторону добра или зла. Если его так долго смешивали с *философом*, с властным насадителем и насильником культуры, то ему делали слишком много чести и проглядели в нем самое

существенное: он есть орудие, до известной степени раб; хотя, правда, и самая высшая порода рабов, но сам по себе он ничто — почти ничто! Объективный человек — это орудие, драгоценное, легко портящийся и легко тускнеющий измерительный прибор и зеркало — шедевр искусства, который надо беречь и почитать; но это не цель, не выход, не подъем, не полный человек, в котором оправдывается все *прочее* бытие, не заключение — еще менее начало, зачаток и первопричина, отнюдь не резкое могучее, самостоятельное, что хочет господствовать: скорее это нежная выдутая подвижная форма, которая должна ожидать какого-либо содержания, чтобы сформироваться сообразно с ним — обыкновенно человек без содержания, безличный, следовательно, не представляющий интереса для женщин — заметим в скобках.

208. Когда в настоящее время философ какой-нибудь дает понять, что он не скептик, — я надеюсь, что из только что сделанной характеристики объективного ума это понятно — то это никому не нравится. На этого философа начинают смотреть с некоторой боязнью. Его хотелось бы спросить, спросить так многое... и с этих пор боязливые слушатели, которых теперь так много, считают его опасным. Им чудится, что в то время, как он отвергает скептицизм, они издали слышат зловещий шум, как будто где-то пробуют новое взрывчатое вещество, какой-то духовный динамит, может быть, новооткрытый русский нигилизм, пессимизм по доброй воле, который не только говорит «нет», хочет «нет», но даже страшно подумать! — *делает* «нет». Против такого рода «доброй воли» — воли к настоящему фактическому отрицанию жизни, — нет, как признано, лучшего усыпительного и успокоительного средства, чем скептицизм, мягкий, чудный, убаюкивающий мак — скептицизм, и самого Гамлета нынешние врачи предписывают против «духа» и его подземного шума. «Разве уже не наполнились у всех уши зловещим шумом?» — скажет скептик, как любитель

покоя и почти как член охранительной полиции: это подземное «нет» ужасно! Замолчите вы, пессимистические кроты. Скептик, это нежное создание, пугается очень легко; его совесть приучена к тому, чтобы при каждом «нет» и даже при каждом решительном, твердом «да», вздрагивать и чувствовать как бы укус. *Да и нет!* Это противно его морали. Наоборот, он любит благородным воздержанием праздновать свою добродетель, когда он, например, вместе с Монтенем говорит: «почему я знаю?» или с Сократом: «я знаю, что ничего не знаю», или: «сюда я не решаюсь войти: здесь нет открытой для меня двери», или: «допустим, что она стояла бы открытой, зачем сейчас и входить в нее?», или: «к чему служат все поспешно сделанные гипотезы? Не делать никаких гипотез могло бы легко считаться хорошим вкусом. Разве вы должны непременно сейчас выпрямлять то, что криво? Непременно всякую дыру затыкать паклей? Разве это не успеется? Разве у времени нет времени? о, вы, черти, разве вы совсем не можете *подождать*? И сомнительное имеет свою прелесть, сфинкс также Цирцея — и Цирцея также была философом». — Так утешает себя скептик, и это правда, что он нуждается в утешении. Скептицизм есть наиболее духовное выражение известного многообразного физиологического свойства, которое в обыденной жизни называется слабостью нервов и болезненностью. Она появляется каждый раз, когда решительным и внезапным образом скрещиваются долгое время разъединенные между собой расы и сословия. В новом поколении, которое как бы унаследовало в крови различные меры и ценности, все полно тревоги, беспорядка, сомнения, попытки. Лучшие силы действуют задерживающим образом, сами добродетели не дают друг другу вырасти и окрепнуть, в душе и теле не хватает равновесия, центра тяжести, перпендикулярной устойчивости. Глубже всего заболевает и вырождается в таких помесях *воля*: они не знают более независимости в реше-

нии, храброго и доброго чувства в хотении, — они сомневаются «в свободе воли», даже в своих мечтах. Наша нынешняя Европа — арена бессмысленно-внезапного опыта смешения радикальных сословий и, следовательно, рас — вследствие этого заражена скептицизмом вверху и внизу, то тем подвижным скептицизмом, который нетерпеливо и жадно перепрыгивает с ветки на ветку, то мрачным, как полная неизвестности туча — и ей часто до смерти становится скучно от своей воли! Паралич воли! — где ни сидит теперь этот калека! Да иногда еще какой разряженный! Как соблазнительно разукрашенный! Для этой болезни существуют самые роскошные одежды лжи — и что, например, большая часть того, что теперь в виде «объективности», «научности», «искусства для искусства», «чистого свободовольного познания» выставляется напоказ — что все это только разряженный скептицизм и паралич воли — за этот диагноз европейской болезни я ручаюсь. Болезнь воли неравномерно распределена по Европе: она выказывается более сильной и многообразной там, где старше культура; она исчезает по мере того, как «варвар» еще — или опять — показывается из-под плохо сидящего на ней одеяния западной цивилизации. Поэтому в современной Франции, как это понятно до очевидности, болезнь воли наиболее сильна. И Франция, которая всегда мастерски умела обращать самые роковые свои умственные движения в нечто пленительное и прекрасное, выказывает теперь, как школа и выставка всех очарований скептицизма, свой культурный перевес над Европой. Сила хотеть, и хотеть всею волей, уже несколько сильнее в Германии, причем в Северной Германии сильнее, чем в Средней; значительно сильнее в Англии, Испании и на Корсике; там в связи с флегматическим характером, здесь с твердостью черепов, — не говорю уже об Италии, которая слишком молода еще, чтобы знать, чего она хочет, и которая должна еще наперед доказать, может ли она хотеть, но

сильнее и удивительнее всего сила воли проявляется в громадном срединном царстве, где Европа как бы возвращается в Азию — в России. Там сила хотеть давно уже откладывалась и накапливалась, там воля ждет — неизвестно, воля отрицания или воля утверждения, — ждет угрожающим образом того, чтобы, по любимому выражению нынешних физиков, освободиться. И не только индийские войны и осложнения в Азии нужны для того, чтобы с Европы снята была тяжесть величайшей ее опасности, но и внутренние перевороты, раздробление государства на мелкие части, а главное введение представительственного идиотизма, с прибавлением обязательства для каждого читать за завтраком свою газету. Я это говорю не как желающий: мне было бы гораздо более по сердцу противоположное — я подразумеваю под этим такое усиление угрожающей опасности от России, что Европа должна была бы решиться сделаться столь же грозной, а именно *получить единую волю* посредством новой, господствующей над Европой касты, продолжительную, страшную собственную волю, которая на тысячелетия вперед поставила бы себе цели: — чтобы благодаря этому окончилась долгая комедия строя мелких государств, а также ее династическое и демократическое многоволие. Время для мелкой политики прошло: уже следующее столетие принесет с собой борьбу за государство над землей — *принуждение* к большой политике.

209. Насколько новый воинственный век, в который заметно вступили мы, европейцы, будет благоприятен развитию нового, более сильного рода скептицизма, относительно этого я желал бы высказаться при помощи притчи, которую без сомнения поймут любители немецкой истории. Тот ни в чем не сомневающийся поклонник красивых рослых гренадеров, который в качестве короля Пруссии дал начало военному и скептическому гению, а вместе с тем и победоносно возникающему типу современного немца, сомнительный и сумасбродный

отец Фридриха Великого в одном отношении сам одарен был способностью и счастливой рукой гения. Он знал, чего не доставало тогдашней Германии и какой недостаток был в тысячу раз опаснее, чем недостаток образования и хорошего тона — его нелюбовь к молодому Фридриху вытекала из глубокого инстинктивного чувства боязни. *Мужей не хватало*, и он с досадой и горечью подозревал, что его сын не в достаточной степени обладает качествами мужа. Но он ошибался в этом, и кто не обманулся бы на его месте? Он видел, что его сын подпал под влияние атеизма, остроумия (*esprit*), сластолюбивого легкомыслия французов: — он видел в перспективе великого кровопийцу, паука скептицизма, он предвидел неисцелимое страдание сердца, которое недостаточно твердо ни для зла, ни для добра, разбитой воли, которая уже не повелевает и не *может* повелевать. Но в то же время в сыне его выросал тот новый, более опасный и жестокий вид скептицизма и — кто знает *насколько* благоприятствовали этому развитию ненависть отца и холодная печаль обреченной на одиночество воли? — развивается тот скептицизм дерзновенного мужества, который более всего сродни военному и завоевательному гению, и который в образе великого Фридриха впервые вступил в Германию. Этот скептицизм презирает и, несмотря на это, привлекает к себе: он подрывает и овладевает, он не верит, но при этом не теряется; он дает уму опасную свободу, но держит в строгости сердце: это немецкая форма скептицизма, которая, в виде продолженного и доведенного до высшей степени одухотворенности фридрицианизма, долгое время держала Европу под верховной властью немецкого гения и его недоверия в истории и критике. Благодаря непреодолимо сильному и упорному мужественному характеру великих немецких филологов и исторических критиков (которые, если взглянуть на них с правильной точки зрения, все были артистами в деле разрушения и разложения),

постепенно, и несмотря на весь романтизм в музыке и философии, установилось *новое* понятие о немецком духе, в котором резко выступало влечение к мужественному скептицизму, например в виде неустрашимости взгляда, храбрости и твердости разрушающей руки, в виде упорной воли к опасным путешествиям с любознательными целями, в виде научных экспедиций к Северному полюсу, под негостеприимными и далекими небесами. Вероятно, имеются на то основательные причины, когда теплокровные и поверхностные представители человечества, толпы, отрешиваются от этого духа, «этого фаталистического, иронического, мефистофельского духа», как не без содрогания называет его Мишле. Если же кому-либо захочется почувствовать, как велик этот страх немецкого духа перед «мужем», страх, благодаря которому Европа пробудилась от своей «догматической дремоты», тот должен припомнить то прежнее понятие, от которого пришлось одновременно с ним отделаться; вспомнить так же, как не так-то давно мужеподобная женщина в своем безграничном высокомерии осмеливалась просить сочувствия Европы к этим кротким, добродушным и безмолвным поэтическим болванам-немцам. Нужно же наконец понять удивление Наполеона, когда он увидел Гете; оно ясно показывает, что в течение столетий считалось «немецким духом». «Вот это муж! (Voilà un homme). А я ожидал увидеть только немца!».

210. Итак, если мы допустим, что какая-либо черта в образе философов будущего дает возможность предполагать, не должны ли они быть скептиками в только что упомянутом смысле, то этим мы определили бы лишь одну их особенность, но не их самих. С таким же правом и они могут называть себя критиками, и конечно, это будут люди эксперимента. Тем именем, которым я осмелился окрестить их, я особенно подчеркиваю опыт и любовь к опыту: делалось ли это потому, что они, как

критики душой и телом, любят пользоваться экспериментом в новом, может быть, более обширном, может быть, более опасном смысле? Должны ли они в страстном желании познания идти дальше в своих отважных и мучительных опытах, нежели это может допускать слишком мягкий и нежный вкус демократического века? — Сомнения нет: эти грядущие менее всего смогут обойтись без тех серьезных и отчасти сомнительных качеств, которые отличают скептика от критика, — я подразумеваю верность оценочных мер, сознательное пользование единством метода, известное мужество, изолированность и способность отвечать за себя; да, они признают в себе чувства удовольствия в отрицании и развлечении и в известной обдуманной жестокости, умеющей верно и хорошо владеть ножом даже тогда, когда сердце истекает кровью. Они будут *суровые* (и, может быть, не всегда только к самим себе, как хотелось бы гуманным людям), они не будут связываться с «истиной» для того, чтобы она их «возвышала» и «вдохновляла»: — наоборот, они не особенно будут верить в то, что именно «истина» приносит с собой такие наслаждения. Они усмехнутся, эти строгие умы, если кто-нибудь из них скажет: «эта идея меня возвышает — как может она не быть истиной?», или: «это произведение меня восхищает — может ли оно не быть прекрасным?», или: «этот художник возвышает мой дух — может ли он не быть великим?» Они не только усмехнутся, но почувствуют, может быть, настоящее отвращение ко всему такому мечтательному, идеальному, феминистическому, гермафродитному, и кто мог бы проникнуть в самые сокровенные тайники, вряд ли нашел бы там намерение примирить «христианские чувства» с «античным вкусом», а тем более с «современным парламентаризмом» (как подобное примирение должно встречаться в наш неуверенный, а, следовательно, весьма покладистый век, даже у философов). Эти философы будут требовать от себя не только

критической подготовки и приучения ко всему, что ведет к чистоплотности и строгости в вопросах духа: они даже имели бы право выставять их напоказ — и тем не менее они все-таки не желают называться критиками. Им кажется немалым позором для философии, когда, как это теперь часто случается, кто-нибудь изрекает: «Сама философия есть критика и критическая наука — и ничего более!» Пускай эта оценка философии будет одобрена всеми позитивистами Франции и Германии (возможно даже, что она польстила бы вкусу и сердцу *Канта* — стоит только припомнить заглавия его главных сочинений), наши новые философы все-таки скажут: критики только орудия философа, а потому именно как орудия, далеко еще не сами философы. И великий китаец из Кенигсберга так же был ничем иным, как великим критиком.

211. Я настаиваю на том, чтобы перестали наконец смешивать работников философии и вообще людей науки с философами, чтобы строго воздавалось «каждому свое», тем не слишком много, а этим не слишком мало. Может быть, для воспитания настоящего философа необходимо, чтобы он сам когда-нибудь стоял на тех ступенях, на которых стоят его слуги, научные работники философии, и на которых они *должны* оставаться. Возможно, что он сам должен быть и критиком, и скептиком, и догматиком, и историком, и кроме того, поэтом и собирателем, путешественником, отгадчиком загадок, моралистом и ясновидцем, и «вольнодумцем» — почти всем, дабы пройти весь круг человеческих ценностей и ценностей чувства, и уметь смотреть с высоты в каждую даль, из глубины в каждую высь, из угла в каждое пространство. Но все это ничто иное, как предварительные условия его задачи; сама задача требует иного: она требует, чтобы он *создавал ценности*. Работники философии, по благородному примеру *Канта* и *Гегеля*, должны в области *логического*, или *политического* (морального), или

художественного установить и втиснуть в формулы существующие ценности, т. е. установленные, созданные ценности, которые господствовали одно время и назывались «истинами». На этих исследователях лежит обязанность сделать ясным, понятным, доступным обсуждению все, до сих пор случившееся и ценимое, сократить все длинное, даже «время», и *одолесть* все прошлое. Это громадная, удивительная задача, служение которой может удовлетворить самую утонченную гордость, самую упорную волю. *Настоящие же философы — это повелители и законодатели.* Они говорят: «так должно быть!» Они определяют: «куда?» и «зачем?» человека и распоряжаются подготовительной работой работников философии, всех победителей прошедшего, — они творческой рукой хватаются за будущее, и все, что было и будет, становится для них средством, орудием, молотом. Их «познание» есть *творчество*, их творчество — законодательство, их воля к истине есть *воля к власти*. Существуют ли теперь такие философы? Не должны ли быть такие философы?

212. Мне все более и более кажется, что философ, как *необходимый* человек завтрашнего и послезавтрашнего дня, во всякое время находился и *должен* был находиться в разладе со своим «сегодня»: сегодняшний идеал всегда был его врагом. До сих пор все эти необычайные развиватели человека, которых называют философами и которые сами редко чувствовали себя друзьями мудрости, а скорее неприятными шутами и опасными вопросительными знаками, нашли свое назначение, свое суровое, нежелаемое, неотвратимое назначение, но также, наконец, и великое свое назначение в том, чтобы быть угрызением совести своего времени. В то время как они направляли анатомический нож в сердце *современных* добродетелей, они выдали то, что было их собственной тайной: они делали это, чтобы узнать новое величие человека, новый неизвестный путь к его возвеличению. Каждый раз они открывали, сколько лицемерия, лени,

распущенности и разнузданности, сколько лжи скрывается за самым уважаемым типом современной нравственности, сколько добродетели *пережито*. Каждый раз они говорили: «мы должны идти туда, где *вы* сегодня менее всего можете чувствовать себя дома». Перед лицом мира «современных идей», который хотел бы каждого воткнуть в один угол и одну «специальность», философ — если бы в наше время могли быть философы — принужден был бы отнести величие человека, понятие о «величии» как раз к его обширности и многосторонности, к его цельности во многообразии: он даже определил бы ценность и ранг человека по тому, как велико количество и разнообразие того, что может на себя взять и нести, как *далеко* он может распространить свою ответственность. В наше время вкус времени и добродетель времени ослабляют и разжижают волю — ничто не может быть столь современно, как слабость воли. Следовательно, в идеале философа сила воли, суровость и способность к продолжительной решимости должны входить в понятие «величие», с таким же точно правом, как и обратное учение и идеал тупой, самоотверженной, смиренной, кроткой гуманности соответствовали противоположному веку, такому, который, подобно шестнадцатому веку, страдал запруженной энергией воли и самыми дикими и бурными потоками себялюбия. Во времена Сократа среди людей усталого инстинкта, среди консервативных староафинян, которые не сдерживали своих чувств — «к счастью», как они говорили, к удовольствию, как это было на самом деле — и которые при этом все еще говорили старинные громкие слова, на которые их жизнь не давала им более права, тогда, может быть, *ирония* была необходима для величия души, необходима та сократовская злобная уверенность старого врача и простолюдина, который беспощадно резал собственное тело, как резал тело и сердце «знатного», вонзаясь в него взором, достаточно понятно говорившим:

«не представляйтесь передо мной! здесь — мы все равны!» Теперь же, наоборот, когда в Европе стадное животное пользуется почетом и раздает почести, когда «равенство прав» во всякое время может превратиться в равенство в отсутствие прав, то есть в общее нападение на все редкое, чужое, привилегированное, на высшего человека, высшую душу, высшую обязанность, высшую ответственность, творческую силу и господство, нынче в состав понятия о «счастье» входит способность быть знатным, быть чем-то особенным, непохожим на других, быть изолированным и самостоятельным, и философ выдаст отчасти свой идеал, если выставит правило: «тот должен быть самым великим, кто может быть самым одиноким, самым скрытым, удаляющимся от людей человеком, стоящим по ту сторону добра и зла, господином своих добродетелей, до избытка богатым волей. Это-то и должно называться «величием»: иметь способность быть столь же широким, как и полным». И мы еще раз спрашиваем: *возможно ли* нынче величие.

213. Что такое философ — этому научиться трудно, потому что научить других нельзя: это надо «знать» из опыта или нужно иметь гордость этого *не* знать. Но что теперь каждый говорит о вещах, в которых *не может* иметь никакого опыта, это можно главным образом и к великому сожалению сказать о философах и об условиях философии: их знают немногие и немногие имеют право их знать; все же ходячие мнения о них неверны. Так, например, истинно философская совместимость смелой, необузданной одухотворенности, идущей presto, с диалектической строгостью и неизбежностью, не делающей ни одного ложного шага, большинству мыслителей и ученых из их опыта неизвестна, и поэтому, если кто-либо при них заговорит о ней, она кажется невероятной. Они представляют себе каждую необходимость как нужду, как мучительное подчинение и принуждение, и даже мышление они считают чем-то медленным, нере-

шительным, почти тяжелым трудом и очень часто трудом, «достойным *пота* благородных», а не чем-то легким, божественным и близко родственным танцу и задору. Мыслить и относиться к чему-либо серьезно и тяжело — это, по их понятию, равносильно; только так они и «пережили» это. Художники имеют в этом случае более тонкое чутье. Они отлично знают, что именно там, где они ничего не делают «произвольно», а все по необходимости, их чувства свободы, утонченности, полновластия, творчества — их распределения и создания образов, достигают своего высшего развития, — одним словом, необходимость и «свобода воли» тогда у них и составляют одно. Существует, наконец, порядок степеней душевных состояний, соответствующий порядку степеней проблем; и высшие проблемы беспощадно отталкивают того, кто осмеливается приблизиться к ним, не будучи предназначен высотой и мощью своей духовности к их разрешению. Что пользы от того, что расторопная голова первого встречного или неповоротливая голова бравого механика или эмпирика, как это теперь так часто случается, со своим плебейским честолюбием протискивается к ним и в это «святая святых»? На такие ковры грубые ноги никогда не должны ступать: это уже предусмотрено в первобытном законе вещей: двери остаются закрытыми для этих назойливых, хотя бы они разбили себе об них головы. Для всякого высшего мира надо быть рожденным; яснее говоря, надо быть для него *зачатым*: право на философию, принимая это слово в обширном смысле, получается только благодаря своему происхождению, своим предкам, своей «породе». Для возникновения философа должны работать многие поколения; каждая из его добродетелей должна быть приобретена, взлелеяна, передана по наследству, войти в его плоть и кровь отдельно, и не только добродетели и смелый легкий шаг и бег его мыслей, но и прежде всего готовность принять на себя большую ответственность,

величие властвующего взгляда, чувство изолированности от толпы и от ее обязанностей и добродетелей, милостивое охранение и защита того, что дурно понято и оклеветано, — будь то Бог или дьявол — склонность и привычка к великой справедливости, искусство повелевать, широта воли, спокойствие взгляда, который редко удивляется, редко поднимается к небу, редко любит.

ГЛАВА VII

Наши добродетели

214. Наши добродетели? — Весьма вероятно, что и мы имеем свои добродетели, хотя это, разумеется, уже не те простодушные и тяжеловесные добродетели, за которые мы почитали наших дедов, но и сторонились их иногда. Мы, европейцы послезавтрашнего дня, мы, первенцы двадцатого века — со всем нашим опасным любопытством, с нашей многообразностью и искусством маскироваться, с нашей дряблостью и как бы подслащенной жестокостью ума и чувств, — мы по всей вероятности, *если* имеем какие-нибудь добродетели, то только такие, которые лучше всего могут уживаться с самыми сокровенными сердечными склонностями, с самыми нашими насущными потребностями. Итак, поищем их в нашем лабиринте, где, как известно, так многое теряется, так многое пропадает совсем. Что может быть прекраснее *искания* собственных добродетелей? Разве это не значит почти то же, что *верить* в свои собственные добродетели? А эта *вера* в свои добродетели разве не то же, что прежде называлось «спокойной совестью», то почтенное длиннохвостое устарелое понятие, та коса, которую наши деды привешивали себе к затылку, а часто и к рассудку. Кажется поэтому, как бы мало мы ни чувствовали себя старомодными и по-дедовски почтенными

ми, в одном мы, последние европейцы, со спокойной совестью, все-таки достойные внуки этих дедов; и мы также носим их косу. — Ах! если бы вы знали! как скоро, уж скоро будет иначе!

215. Как в мире светил иногда бывает два солнца, определяющих путь одной планеты, как в известных случаях солнца различных цветов сияют вокруг одной планеты то красным; то зеленым светом, а потом освещают ее одновременно и заливают полноцветным сиянием, точно так же и мы, современные люди, благодаря сложной механике нашего «звездного неба», определяемся *различными* моральями. Наши поступки попеременно окрашиваются разными цветами — редко они бывают однозначными, — и есть много случаев, когда мы совершаем *пестрые* поступки.

216. Любить своих врагов? Я думаю, что люди хорошо этому научились: это случается теперь тысячекратно, в малом и большом, случается теперь иногда и нечто более высокое превосходное — мы научаемся *презирать*, когда любим и именно тогда, когда мы любим сильнее всего — но все это бессознательно, без шума, без пышности, с той стыдливостью и сокровенностью доброты, которая запрещает устам торжественные слова и формулы добродетели. Мораль — как поза, уже теперь нам не по вкусу. Это тот прогресс, каким был прогресс наших отцов, когда религия, как поза, также стала им не по вкусу, включая сюда вольтеровскую вражду и озлобленность против религии и все, что прежде принадлежало к напыщенному фразерству вольнодумцев. Музыка в нашей совести, танец в нашем уме не гармонируют с пуританским нитьем, моральными проповедями и буржуазными добродетелями.

217. Надо остерегаться тех, которые высоко ценят то, что им приписывают моральный такт и тонкость морального распознавания: они никогда не простят нам,

если им *при* нас (или в нас) случилось ошибиться. Они неизбежно будут нашими инстинктивными клеветниками и будут вредить нам, даже если останутся нашими «друзьями». — Блаженны забывчивые, ибо они забудут и о своих глупостях.

218. Психологи Франции — да и разве существуют в настоящее время где-нибудь еще психологи? — все еще испытывают то горькое и многообразное удовольствие, которое доставляет им буржуазная глупость (*bêtise bourgeoise*), они еще не исчерпали его до конца, как будто, — ну, одним словом, они что-то показывают этим. Флобер, например, этот честный руанский буржуа, ничего другого уже под конец не видел, не слышал и не замечал: — это было у него нечто вроде самоистязания и утонченной жестокости. Теперь я рекомендую для разнообразия — потому что это становится скучным — другой предмет восхищения: то бессознательное лукавство, с которым все добрые, тупые, честные умы посредственностей относятся к высшим умам и их задачам, то тонкое, запутанное, иезуитское лукавство, которое в тысячу раз тоньше, нежели ум и вкус того среднего уровня в его лучшие моменты — тоньше даже, чем ум их жертв: — это служит еще раз доказательством тому, что «инстинкт» из всех сортов ума, которые были открыты до сих пор, самый умный. Одним словом: изучайте вы, психологи, философию, «ставшую правилом» в борьбе с «исключением» — вот зрелище, достойное богов и божественной злобности! Или скажем еще яснее: производите вивисекцию над «добрым человеком», над человеком доброй воли — (*homo bonae voluntatis*) — над *собой*!

219. Нравственное обсуждение и осуждение — это любимое мщенье умственно ограниченных людей тем, которые менее ограничены, а также возмещение за то, что природа скудно оделила их, наконец, это есть случай *сделаться* умнее и утонченнее: злость одухотворяет.

В глубине души они радуются тому, что есть мерило, перед которым равны им и осыпанные благами и преимуществами ума: — они борются за «равенство всех перед Богом», и им почти уже для одного этого *нужна* вера в Бога. Между ними находятся самые сильные противники атеизма. Их привел бы в бешенство сказавший им, что «высокий ум стоит вне всякого сравнения с какой бы то ни было честностью и почтенностью только нравственного человека», — я остерегусь сделать это. Наоборот, я хотел бы польстить им, говоря, что высокое умственное развитие не что иное, как последний выродок моральных качеств; что оно есть синтез всех тех состояний, которые предписываются «только моральным» людям и были приобретены долгим воспитанием и упражнением, может, целою цепью поколений, что высокое умственное развитие есть одухотворение справедливости и той милостивой строгости, которая чувствует на себе обязанности поддерживать в мире *ранговый порядок* даже среди вещей, а не только среди людей.

220. При столь популярном в настоящее время восхвалении «бескорыстного» мы должны, может быть, не без некоторой опасности, выяснить *в чем* собственно народ видит свой интерес и о чем, вообще, заботится заурядный человек, в том числе и люди образованные; даже ученые и, если не ошибаюсь, пожалуй, и философы. При этом выясняется тот факт, что большинство вещей, которые интересуют и привлекают более утонченные и избалованные вкусы и более высокие натуры, среднему человеку кажутся вовсе «не интересными»: если же он, несмотря на это, замечает приверженность к ним, то называет ее «бескорыстной» и удивляется тому, что можно поступать «бескорыстно». Были такие философы, которые умели придавать этому удивлению толпы соблазнительное, мистически-неземное выражение (может быть, потому, что они не знали высшей натуры по опыту) вместо того, чтобы установить голую и в

высшей степени простую истину, что «бескорыстный» поступок весьма интересен и корыстен, допуская, что — «...А любовь?» — Как? даже поступок из любви «не эгоистичен»? Ах вы дурни!.. «А восхваление жертвующего?» — Но ведь кто приносил жертву, тот знает, что он хотел за это что-нибудь получить и получал — может быть, нечто от себя самого за нечто свое же, что он отдавал здесь для того, чтобы там получить побольше, может быть, сделаться большим или чувствовать себя большим. Но это целое царство вопросов и ответов, в котором не любит пребывать избалованный ум: отвечая на них, истине приходится удерживать зевота. Наконец, она ведь женщина — не следует употреблять против нее насилия.

221. Случается иногда, сказал один педант, представитель мелочной морали, что отличаю и почитаю бескорыстного человека, но не за то, что он бескорыстен, а потому, что мне кажется, будто он имеет право приносить пользу другому в ущерб самому себе. Однако всегда следует спросить, кто *он* и кто *тот*... Например, у того, кто предназначен к повиновению и создан для него, самоотречение и скромное отступление было бы не добродетелью, а безумной тратой добродетели: так мне кажется. Каждая не эгоистическая мораль, которая считает себя безусловной и обращается ко всякому, грешит не только против вкуса, но и подстрекает к греху неисполнения своего долга, *лишний* соблазн под маской человеколюбия и как раз соблазн и вред для высшего, редкого, привилегированного. Надо нравственных заставить прежде всего преклониться перед *ранговым порядком*, надо внушать им сознание их самомнения до тех пор, пока они поймут, что *безнравственно* говорить: «что хорошо для одного, то хорошо и для другого». Итак, заслуживал ли мой педант морали и буржуа, чтобы над ним смеялись, когда он таким образом уговаривал нравственных быть нравственными? Но не следует быть слишком правым, если желаешь иметь смеющихся на *своей* стороне:

крупница неправоты есть даже признак хорошего вкуса.

222. Там, где нынче проповедуют сострадание, — а строго говоря, никакой другой религии теперь уже не проповедуют — там пусть психолог раскроет свои уши: сквозь все тщеславие, сквозь весь шум, который производят эти проповедники, (как все проповедники вообще), он услышит хриплый, стонущий звук, настоящий звук *самопрезрения*. Оно находится в связи — *если не служит его причиной!* — с тем помрачением и обезображением Европы, которое теперь возрастает уже целых столетия (и первые симптомы которого документально занесены в одном наводящем на размышление письме Галиани к М-м д'Эпине). Человек «современных идей», эта гордая обезьяна, ужасно недоволен собой — это неоспоримо. Он страдает, а его тщеславие требует, чтобы он только «сострадал»...

223. Смешанный тип европейца — в общем довольно безобразный плебей — нуждается, конечно, в костюме: ему нужна история как кладовая костюмов. Правда, он замечает при этом, что ни один ему по-настоящему не в пору, и он меняет и меняет их. Посмотрите только на меняющийся стильный маскарад девятнадцатого века и на минуты отчаяния от того, что нам «ничто не пристало». Совершенно бесполезно одеваться романтиками или классиками, христианами или флорентинцами, в стиле барокко или в национальный костюм, — нравы и обычаи остаются неприкрытыми! Но «дух», в особенности «испорченный дух», и из этого отчаяния извлекает свою выгоду: каждый раз пробуется, перекладывается, откладывается, укладывается, а главное, *изучается* что-нибудь из древних времен и из чужих стран: — мы, то есть наш век первый в изучении «костюмов», я хочу сказать, моралей, верований, художественных вкусов и религий, приготовился, как еще ни одна эпоха, к великому карнавалу, к умственному карнавальному смеху и шумному веселью, к трансцендентальной высоте, величайшей

глупости и аристофановскому осмеянию мира. Может быть, мы как раз откроем здесь царство нашего *изобретения*, царство, где и мы еще можем быть оригинальными, хотя бы как пародисты всемирной истории и шуты Господа Бога — может быть, если ничто нынешнее не имеет будущности, то именно *смех* наш еще имеет ее.

224. Исторический смысл (или способность быстро отгадывать ранговый порядок тех оценок ценностей, по которым жили народ, общество, человек, «пророческий инстинкт» для определения отношений этих оценок, отношения авторитета ценностей к авторитету действующих сил), этот исторический смысл, на который мы, европейцы, претендуем как на нашу особенность, явился к нам в свете очаровательного и безумного *полуварварства*, в которое ввергло Европу демократическое смешение народов и рас. Только девятнадцатый век знает это чувство как его шестое чувство. Прошное каждой формы и образа жизни, культур, близких одна к другой или одна на другой, — вливается, благодаря этому смешению, в наши «современные души»; наши инстинкты бегут теперь назад по всем направлениям, и мы сами представляем собой нечто вроде хаоса: — в конце концов, однако, «дух», как мы сказали, извлекает из этого свою выгоду. Благодаря нашему полуварварству плоти и вожделений мы имеем всюду тайный доступ ко всему, чего никогда не было в благородные века, — прежде всего доступ к лабиринту незаконченных культур и к каждому полуварварству, которое когда-то существовало на земле; а так как наиболее значительная часть человеческой культуры и была до сих пор полуварварством, это «историческое чувство» и означает почти то же, что чувство и инстинкт ко всему, вкус ко всему: этим он тотчас же выказывает себя *неблагородным* чувством. Так, например, мы снова наслаждаемся Гомером и, может быть, это счастливый шаг вперед, что мы умеем понимать Гомера, которого люди благородной культуры (например, французы

XVII века, как Сент-Евремон, который упрекает его за обширный ум, и даже последний отзвук их, Вольтер), не так то легко умели и умеют усвоить себе, и наслаждаться которым они едва себе разрешали. Весьма определенное «да» и «нет» их вкуса, их легко вызываемое отвращение, их нерешительная сдержанность по отношению ко всему чужеземному, их боязнь дурного вкуса даже в живом любопытстве, и вообще нежелание каждой благородной и самодовлеющей культуры сознаться в новых стремлениях к чему-либо, в неудовлетворенности своим, в удивлении к чужому: все это настраивает их неблагоприятно даже против лучших вещей на свете, которые не составляют их собственности или не *могут* сделаться их добычей — и таким людям, более всех других чувств, непонятно историческое чувство с его подбострастным плебейским любопытством. То же самое имеет место и по отношению к Шекспиру, этому изумительному синтезу испанско-мавританско-саксонского вкуса, который уморил бы со смеху или разозлил бы древних афинян, поклонников Эсхила. Мы же принимаем эту дикую пестроту, эту беспорядочную смесь самого нежного, самого грубого и самого искусственного с затаенным благожелательством и сердечностью, или наслаждаемся этим как именно для нас сбереженной утонченностью искусства, и нас столько же беспокоят зловоние и близость английской черни, вблизи которой живут искусство и вкус Шекспира, как и на Chiaja в Неаполе, где мы проходим очарование, несмотря на стоящую в воздухе вонь из кварталов черни. Мы, люди «исторического чувства», бесспорно имеем как таковые наши добродетели, — мы непритязательны, неэгоистичны; скромны, храбры, полны самопреодоления, преданности, мы очень благодарны, очень терпеливы, очень предупредительны, со всем этим мы, может быть, не обладаем большим вкусом. Признаемся, наконец, самим себе, что нам, людям «исторического чувства», труднее всего понять,

почувствовать, насладиться, полюбить то, что у нас в глубине души встречает предубежденность и враждебность, это именно и есть совершенное и только что созревшее в каждой культуре и каждом искусстве, все самое благородное в произведениях и людях, их мгновение морского затишья и алкионовского самодовления, то золотое и холодное, что выказывают все достигшие законченности вещи. Может быть, наша великая добродетель исторического чувства является необходимой противоположностью *хорошему* вкусу, по крайней мере, самому лучшему вкусу, и мы можем лишь плохо, нерешительно и с принуждением воспроизвести именно те мелкие короткие и высшие моменты счастья и просветления в человеческой жизни, которые то тут, то там вспыхивают иногда, те моменты и чудеса, когда великая сила добровольно остановилась перед безмерным и бесконечным, когда чувствовался избыток тонкого наслаждения во внезапном укрощении и окаменении, в остановке и устойчивости на еще колеблющейся почве. Мы должны сознаться, что нам чужда мера; наше чувство раздражается именно бесконечным, неизмеримым. Подобно всаднику, мчащемуся на фыркающем коне, мы, современные люди, мы, полуварвары, опускаем поводья перед бесконечным — и там лишь находим *наше* блаженство, где нам грозит наибольшая *опасность*.

225. Гедонизм, пессимизм, утилитаризм и эвдемонизм — все эти различные образы мышления, имеющие ценность вещей по чувствам *радости* и *горя*, то есть по сопровождающим их состояниям и второстепенным вещам — образы мышления поверхностные и наивные, на которые всякий сознающий в себе творческие силы и художническую совесть будет смотреть с некоторой насмешкой и с состраданием. Сострадание к *вам*! Разумеется, это не такое сострадание, как вы его понимаете: это не сострадание к «социальному горю», сострадание к «обществу» и к его больным и погибшим, к порочным и разбитым

от рождения, валяющимся вокруг нас по земле; еще менее сострадание к ропшущим, угнетенным, возмущающимся наслоениям рабов, которые стремятся к господству — они называют это «к свободе». *Наше* сострадание более высокое и более дальновидное: мы видим как, *человек* умалется и как *вы* его умалаете! — бывают моменты, когда мы с неопишущим страхом смотрим именно на *ваше* сострадание, когда мы защищаемся от этого сострадания, — когда мы находим вашу серьезность опаснее всякого легкомыслия. Вы, пожалуй, — и нет более безумного «пожалуй» — хотите *устранить страдание*, а мы? — кажется, как будто *мы* хотели бы, чтобы оно было еще выше и еще хуже, чем когда-либо. Благодеяние, как вы его понимаете — ведь это не *цель*, — нам кажется, что это *конец*! Состояние, которое тотчас же делает человека смешным и презренным — которое заставляет *желать* его гибели. Воспитание страдания, *великого* страдания — разве вы не знаете, что только *это* воспитание возвышало до сих пор человека? То напряжение души в несчастии, которое развивает в ней силу, ее содрогание в виду великой гибели, ее изобретательность и храбрость в перенесении, терпении, истолковании, использовании несчастия, и все то, что даровало ей глубину, таинственность, притворство, ум, хитрость, величие — разве не было ей даровано все это под *ферулой* большого страдания? В человеке *творение* и *творец* соединены воедино, в человеке есть материал, обломок, избыток, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке есть также и творец, ваятель, твердость молота, божественный зритель и седьмой день — понимаете ли вы это противоречие? И понимаете ли вы, что *ваше* сострадание относится к «созданию в человеке», относится к тому, что должно быть формовано, сломано, сковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено, — к тому, что страдает по необходимости и *должно страдать*. А *наше* сострадание, разве вы не понимаете, к кому относится наше *обратное* страдание, когда

оно защищается против вашего сострадания, как против самого худшего баловства и слабости? — Итак, сострадание *против* сострадания! Но скажем еще раз: есть более высокие проблемы, нежели все проблемы радости, горя и сострадания, и каждая философия, которая занимается только этим, — наивность!

226. Мы *иммориалисты*! — Мир, который *нас* занимает и которого *мы* должны страшиться и любить, этот почти невидимый и неслышимый мир утонченного повелевания, утонченного послушания, мир царства понятия «почти» во всех отношениях, крючковатый, лукавый, острый, нежный; да, он хорошо защищен против неуклюжих зрителей и фамильярного любопытства! Мы затканы в крепкие сети и оболочку обязанностей и не *можем* выбраться оттуда — в этом именно отношении мы, даже мы, «люди долга!» Иногда, правда, мы мечемся в наших «цепях» и между нашими «мечами»; еще чаще — и это не менее правда, — мы скрежещем зубами под ними и выражаем нетерпение относительно тайной жестокости нашей судьбы. Но, что бы мы ни делали, болваны и видимость против нас: «это люди *без* чувства долга» — болваны и видимость всегда против нас.

227. Честность — допустим, что это наша добродетель, от которой мы, свободные умы, никак не можем отделаться, так будем же со злобой и любовью работать над ней и без усталости «усовершенствоваться» в этой единственной оставшейся у нас *нашей* добродетели, и пусть блеск ее, подобно позолоченной голубой, насмешливой вечерней заре, озаряет эту старейшую культуру с этой тупой и мрачной серьезностью! И если наша честность все-таки когда-нибудь утомится, вздохнет и протянет ноги и найдет, что мы слишком жестоки, и захочет, чтобы ей было легче и лучше, чтобы к ней относились нежнее, как к приятному пороку: останемся *суровыми*, мы, последние стоики! и пошлем ей в помощь всю, какая только в нас есть, чертовщину — наше отвращение к не-

уклюжему и приблизительному, наше *nitimur in vetitum*, наше мужество авантюристов, наше изощренное и избалованное любопытство, нашу утонченнейшую, возможно замаскированную, духовную волю к власти и к одолению мира, волю, которая жадно носится вокруг всех царств будущего, — придем к нашему «Богу» на помощь со всеми нашими чертями! Возможно, что нас из-за этого не узнают и смешают с другими: что до того? О нас скажут: «их честность — это их чертовщина и больше ничего» — что до того? И даже если бы это было справедливо! Разве не были до сих пор все Боги такими, сделавшимися святыми, переkreщенными чертями? И что же мы в конце концов знаем о себе? И как хочет *называться* дух, который нас ведет (все дело в именах)? И скольких духов мы скрываем? Наша честность — мы, свободные умы, позаботимся о том, чтобы она не сделалась нашим тщеславием, нашим нарядом, нашей роскошью, нашей границей, нашей глупостью! Каждая добродетель склоняется к глупости, каждая глупость к добродетели. «Глуп до святости» — говорят в России — позаботимся о том, чтобы мы сами от честности не сделались святыми и скучными! Разве жизнь наша не слишком коротка, чтобы скучать? Или надо верить в вечную жизнь, чтобы...

228. Да простят мне мое открытие относительно того, что вся моральная философия до сих пор была скучна и принадлежала к снотворным средствам и что «добродетели» ничто не вредило в моих глазах так, как эта *скучность* ее защитников; но этим я не хочу еще сказать, что не признаю ее общей полезности. Весьма важно, чтобы было возможно меньше людей, думающих о морали — следовательно, *весьма* важно, чтобы мораль не сделалась вдруг интересной! Но этого опасаться нечего! И теперь еще дело обстоит так, как обстояло всегда: я никого не знаю в Европе, кто имел или *давал* бы понятие о том, что размышлять о морали может быть опасно, рискованно, соблазнительно, что это может сделаться

роковым. Пусть посмотрят, например, на неумолимых, неизбежных английских утилитаристов, как они неуклюже и почтенно шагают по следам Бентама (гомеровское сравнение говорит это яснее) так, как он сам уже шагал по стопам досточтимого Гельвеция (нет, Гельвеций не был опасным человеком, *се sénateur rososcurante*, по выражению Галиани). — Ни одной новой мысли, никакой более тонкой разработки старой мысли, ни даже настоящей истории продуманного раньше — в общем, *невозможная* литература для того, кто не сумеет ее приправить некоторым количеством злости. И в этих моралистов (которых во всяком случае следует читать с посторонней целью, если их уже непременно *нужно* читать) вкрался тот старинный английский порок, так называемый *cant*, или *моральное лицемерие*, скрытый на этот раз под новой формой научности. Нет у них и недостатка в темной защите от угрызений совести, от которых будет неизбежно страдать раса прежних пуритан, несмотря на все их научное отношение к морали. (Разве моралист не есть контраст пуританину? Именно как мыслитель, который смотрит на мораль как на нечто сомнительное, достойное быть подверженным рассмотрению, одним словом, как на проблему? Может быть, и само морализирование — неморально?). В конце концов все они желают, чтобы восторжествовала английская мораль, насколько это будет полезно для человечества или для «общей пользы» или для «счастья большинства», нет! для счастья *Англии*! Они всеми силами хотели бы доказать самим себе, что стремиться к *английскому* счастью, то есть к комфорту и фешенебельности (*comfort* и *fashion*), и, как высший идеал, к креслу в парламенте, в то же время значит идти по стезе добродетели, что поскольку до сих пор было добродетели в мире, она состояла именно в подобном стремлении. Ни одно из этих неуклюжих стадных животных со встревоженной совестью (которые берутся защищать интересы эгоизма в качестве ин-

тересов общего блага) не хочет ничего знать о том, что «общее благо» не есть ни идеал, ни цель, ни какое-либо осязаемое понятие, а только рвотное, что то, что хорошо для одного, вовсе не *может* быть непременно хорошо и для другого, что требование одной морали для всех наносит ущерб именно высшим людям, словом, что существует между одним человеком и другим *разница рангов*, а следовательно, и между одной моралью и другой. Эти утилитаристы — англичане — очень скромная и глубоко посредственная порода: они настолько скучны, что нельзя быть достаточно высокого мнения о их полезности. Их следовало бы еще *поощрять*, что я и стараюсь сделать следующими стихами:

Слава вам, brave возчики тачек,
Всегда для вас все «чем длиннее,
тем приятней»:

Все деревянной вы телом и душой
Без вдохновения и без веселости,
Неизменно посредственные
Без гениальности и без остроумия.

(Sans genie et sans esprit)!

229. В позднейших столетиях, имеющих право гордиться человечностью, есть столько страха, столько *сверного* страха перед «лютым зверем», победа над которым именно и составляет гордость этих более человеческих столетий, что даже осязательные истины, словно по уговору, целыми столетиями остаются невысказанными, потому что казалось, будто они снова привязывают к жизни того дикого, уже умерщвленного зверя. Я, может быть, рискую чем-нибудь, когда проговариваюсь подобной истиной: пусть другие поймут ее опять и дадут ей пить так много «молока благочестивого образа мыслей», чтобы она, снова забытая, смиренно улеглась в своем старом углу. Относительно жестокости надо привыкнуть

к другому взгляду и открыть глаза; надо, наконец, научиться нетерпению, чтобы не разгуливали по свету добродетельно и дерзко такие грубые и нескромные заблуждения, как те, которые были вскормлены, например, старыми и новыми философами относительно трагедий. Почти все то, что мы называем «высшей культурой», основано на одухотворении *жестокости* — это мое положение; тот «лютый зверь», о котором я говорил, живет, процветает, он только — обоготворился. То, что действует приятно, составляет мучительную сладость трагедий, — и есть жестокость; то, что в так называемом трагическом сострадании, в сущности даже во всем возвышенном до высших и нежнейших ужасов метафизики, — получает свою сладость исключительно от примеси жестокости. То, что римлянин на арене, христианин перед восторгами крестной смерти, испанец перед костром или перед боем быков, нынешний японец, устремляющийся в трагедию, парижский рабочий предместьев, тоскующий по кровавым революциям, вагнеристика с опустившейся волей, «претерпевающая» Тристана и Изольду, — то, чем все они наслаждаются и чем со всем пылом страсти жаждут упиться — все это пряные напитки великой Цирцеи, «Жестокости». При этом мы, конечно, должны отделаться от дурацкой психологии старого времени, которая умела только учить, что жестокость возгорается только при виде *чужого* страдания: в собственном страдании, в самоистязании есть большее, чем ресчур большое наслаждение. И всюду, где человек позволяет склонить себя к самоотречению в религиозном смысле или к самоискалечению, как у финикийян и аскетов, к духовному сокрушению, к умерщвлению плоти, к пуританским припадкам покаяния, к вивисекции совести и паскалевской жертве рассудком (*sacrufizio dell'intelletto*); там его жестокость тайно привлекает его и толкает его вперед через опасные ужасы направленной *против себя* жестокости. Наконец, надо вникнуть в тот факт,

что даже познающий, принуждая свой дух познавать *противно* склонности своего ума и часто даже противно желаниям своего сердца, — то есть говорить «нет», когда он хотел бы утверждать, любить и поклоняться, — действует как художник, прославляющий жестокость. Уже в каждом проникновении вглубь заключается насилие, желание причинить страдание основной воле ума, неудержимо стремящейся к кажущемуся и к внешности — уже в каждом хотении познания есть капля жестокости.

230. Может быть, покажется непонятным, что я сказал об «основной воле», поэтому я позволяю себе дать пояснение. То повелительное *нечто*, которое народ называет «духом», хочет быть господином в себе и вокруг себя и чувствовать себя господином: оно имеет волю, стремящуюся из множественности к единству, волю, связывающую, обуздывающую, властолюбивую и действительно господствующую. Ее потребности и способности в этом случае те же, какие физиологи установили для всего, что живет, растет и множится. Способность ума усваивать чужое проявляется в сильной склонности приносить новое к старому, упрощать многообразное, не признавать и отвергать совершенно противоречивое, точно так же, как он произвольно сильней подчеркивает, выделяет и подделывает по-своему известные черты и линии у чуждого ему, у каждого предмета «внешнего мира». Цель его при этом заключается в приобретении нового опыта, во включении новых вещей в старые ряды — следовательно, в *росте*, или, точнее, в *чувстве* роста, в чувстве увеличения силы. Этой самой воле служит, по-видимому, противоположное стремление духа, внезапно вспыхивающая решимость к незнанию, к произвольному изолированию себя, к закрыванию своих окон, к внутреннему отказу от той или другой вещи, к недопущению до себя, — род оборонительного положения против многого, что допустимо знанию, довольство темнотой, закрытым горизонтом, согласие на

незнание и одобрение его: — все это нужно, смотря по степени усвояющей силы, выражаясь фигурально, «пищеварительной силы» — и действительно ум более всего похож на желудок. Точно так же сюда относится воля духа при случае поддаваться обману, может быть, в шаловливом капризном предчувствии того, что это на самом деле *не так* и что это только считается *так*, любовь к тому, что неверно и чему можно дать различное значение, ликующее самоуслаждение произвольной теснотой и уютностью угла, слишком близким, передним планом, преувеличенным, уменьшенным, перемещенным, прикрашенным, самоуслаждение произвольностью всех этих проявлений мощи. Наконец, сюда относится та довольно подозрительная готовность ума обманывать другие умы и притворяться перед ними, тот постоянный гнет и давление творящей, образующей, способной изменяться силы: ум при этом пользуется разнообразием своих масок и своим лукавством и наслаждается также чувством своей безопасности: ведь лучше всего его защищают и скрывают фокусы Протея! *Этой* воле к кажущемуся, к упрощению, к маске, к покрову, одним словом, к внешности — ибо каждая внешность есть покров — *противодействует* та возвышенная склонность познающего, который смотрит и *хочет* смотреть на вещи глубоко, многообразно и основательно. Это нечто вроде жестокости интеллектуальной совести и вкуса, которую каждый смелый мыслитель признает за собой, если он только, как и подобает, достаточно долго закалял и изощрял свое зрение и привык к строгой дисциплине и строгим словам. Он скажет: «в склонности моего ума есть нечто жестокое», — и пусть добродетельные и любезные люди разубедят его в этом. Действительно, было бы гораздо учтивее, если бы вместо жестокости нам приписывали «чрезмерную честность», нам, свободным, *очень* свободным умам — и, может быть, такова будет когда-нибудь наша посмертная слава? А пока — ибо до того

еще далеко — мы сами желали быть менее всего склонными украшаться подобными блестками и позументами моральных слов: честность, любовь к истине, любовь к мудрости, самопожертвование ради познания, героизм правдивого человека — в этом есть нечто такое, что раздувает гордость. Но мы — отшельники и сурки, мы давно уже в тайнике отшельнической совести убедили себя, что и эта достойная словесная роскошь принадлежит к старинному украшению лжи золотой пылью бессознательного человеческого тщеславия и что под такой лстивой окраской и размалевкой страшный основной текст homo natura должен быть узнан. Перевести человека снова на язык природы; овладеть всеми многочисленными тщеславными и мечтательными толкованиями, которые до сих пор были нацарапаны и намалеваны на вечный основной текст homo natura; сделать так, чтобы человек впредь стоял перед человеком так, как он уже теперь, закаленный воспитанием науки, стоит перед природой, с бесстрашными глазами Эдипа и залепленными ушами Одиссея, глухой к обольстительным песням старых метафизических птицеловов, которые слишком долго напевали ему: «ты больше! ты выше! ты иного происхождения!» — это была бы удивительная и безумная задача, — но эта задача — кто мог бы отрицать это? — Зачем мы ее выбрали, эту безумную задачу? Или, другими словами: «к чему вообще служит познание?» — каждый спросит это у нас. И мы, принужденные отвечать, мы, которые уже сами сотни раз задавали себе этот вопрос, мы не находили и не находим лучшего ответа.

231. Учение изменяет нас, оно делает то же, что и всякое питание, которое не только «поддерживает» — это известно физиологам. Но в глубине нашего существа, «в самом низу» есть, конечно, нечто, не поддающееся обучению, какой-то гранит духовного фатума, предопределенного решения и ответа на предопределенные отборные

вопросы. При каждой кардинальной проблеме что-то неизменное говорит в нас: «это я», в проблеме о мужчине и женщине, например, мыслитель не может переступить, а только выучиться — только открыть до конца то, что у него на этот счет «установлено». Временами находятся известные решения проблем, которые именно *нам* внушают сильную веру; может быть, мы называем их с тех пор нашими «убеждениями». Позднее мы видим в них только следы к самопознаванию, столбы, указывающие путь к проблеме, которую представляем собой мы, — вернее, к великой глупости, которой являемся мы, к нашему умственному фатуму, к *неподдающемуся изучению* «там внизу». Ввиду той достаточной учтивости, которую я только что проявил по отношению к себе, может быть, мне скорее будет позволено высказать несколько истин по поводу «женщины в себе», предположив, что наперед уже известно теперь, насколько это именно только *мои* истины.

232. Женщина хочет быть самостоятельной: и для этого она начинает просвещать мужчин относительно «женщины в себе» — *это* принадлежит к самым скверным успехам общего *обезображения* Европы. Ибо чего только не выведут на свет эти неловкие попытки женской учености и самообнажения! Женщина имеет столько причин к стыду; в женщине так много педантичного, поверхностного, учительского, мелочно-претенциозного, мелочно-распущенного и нескромного, — посмотрите только на ее обращение с детьми! — что в сущности до сих пор лучше всего сдерживалось и обуздывалось страхом перед мужчиной. Горе, если только «вечно-скучное в женщине» — а она богата им! — осмелится выйти наружу! Когда она принципиально и основательно начнет забывать свое благоразумие и искусство, умение быть грациозной, игривой, прогонять заботы, облегчать и легко относиться ко всему, если она разучится применяться к приятным вожделениям! И теперь уже

раздаются женские голоса, которые — клянусь святым Аристофаном! — внушают ужас; с медицинской ясностью раздается угроза относительно того, чего женщина *хочет* от мужчины. Разве это не проявление самого дурного вкуса, когда женщина таким образом стремится сделаться ученой? До сих пор просвещать было делом и даром мужчины, и таким образом, все оставалось «между своими»; теперь же при всем том, что пишут женщины о «женщине», мы имеем право усомниться, *хочет ли и может ли* хотеть женщина разъяснения относительно себя? Если только женщина не ищет в этом для себя нового *наряда*, — а я думаю, что наряжаться составляет принадлежность вечно женственного? — то значит она хочет внушить к себе страх — она, может быть, ищет «господства». Но она не *хочет* истины; какое дело женщине до истины, ничто с самого начала не было столь чуждо, противно и враждебно женщине, как истина. Ее величайшее искусство есть ложь, ее главная забота — призрак и красота. Сознаемся мы, мужчины: мы почитаем и любим именно *это* искусство и *этот* инстинкт у женщин; мы, которым трудно живется, мы охотно для нашего облегчения присоединяемся к существам, под взорами, руками и милыми причудами которых наша серьезность, наша тяжеловесность и глубина мысли начинают казаться нам пустяками. Наконец, я ставлю вопрос: разве когда-нибудь женщина признавала в другой женщине глубину ума или сердце, полное справедливости? И разве неправда, что в общем до сих пор с наибольшим презрением «к женщине» относилась женщина же, а вовсе не мы? Мы, мужчины, желаем, чтобы женщина не продолжала компрометировать себя объяснениями на свой счет. Как это было дело мужской заботливости и оберегания женщины, когда церковь постановила: *mulier taccat in ecclesia!* (женщина пусть молчит в церкви!), — так это имело в виду пользу женщины, когда Наполеон дал понять чересчур красноречивой г-же

де Сталь, что *mulier taceat in politicis!* (женщина да молчит в политике!) — и мне кажется, что тот может считаться настоящим другом женщины, который в наше время закричит ей: *mulier taccat de mulier!* (женщина пусть молчит о женщинах!).

233. Это есть признак порчи нравов, помимо того, что это показывает дурной вкус, — когда женщина ссылается на мадам Ролан, на мадам де Сталь и на мадам Жорж Санд, как будто это доказывает что-нибудь в пользу «женщины в себе». Среди мужчин вышеупомянутые женщины просто три *комические* фигуры в себе — больше ничего! — и как раз лучшие невольные *аргументы против* эмансипации и женского самовозвеличения.

234. Глупость на кухне; женщина — кухаркой; страшное отсутствие мысли, с которым производится питание семьи и главы дома! Женщина не понимает значения пищи и хочет быть кухаркой! Если бы женщина была мыслящим существом, то она, будучи кухаркой в продолжение тысячелетий, должна бы была открыть величайшие физиологические факты, а также должна была бы овладеть врачебным искусством! Благодаря дурным кухаркам, благодаря совершенному отсутствию разума, в кухне задерживалось дольше всего развитие человечества и ему наносился самый большой ущерб, да и в наше время дело обстоит не лучше. Эта речь обращена к дочерям высшего склада.

235. Существуют обороты речи и изречения, существуют сентенции, небольшая пригоршня слов, в которых внезапно кристаллизуется целая культура, целое общество. Сюда относится и следующая фраза, сказанная при известном случае г-жою де Ламбер своему сыну: «друг мой, не позволяйте себе ничего, кроме безумных поступков, которые сделают вам большое удовольствие!» — скажем мимоходом, это самые умные слова, которые мать когда-либо говорила своему сыну.

236. То, что Данте и Гете думали о женщине, первый, когда говорил: «*ella guardava suso edioinlei*» («она смотрела кверху, а я смотрел в нее»), то второй перевел это так: «*Das Ewig-Wubliche gient uns hinan*» («вечно женственное влечет нас ввысь»). Я не сомневаюсь, что каждая более благородная женщина будет противиться такому мнению, так как она *то же самое* думает о «Вечно мужественном».

237. *Семь женских поговорок.*

Скука от нас улетает, когда мужчина к нам приползает.

Годы и наука придают силу и слабой добродетели.

Черное одеяние и молчаливость делают умными всех женщин.

Кого за счастье я должна благодарить? Бога и мою портниху.

Молода — цветущий грот. Стара — из него дракон вылетает.

Благородное имя, красивые ноги и к тому же мужчина — ах, если бы он только был моим мужем!

Краткая речь, большой смысл — скользкий лед для ослицы.

Мужчины до сих пор обращались с женщинами, как с птицами, которые, заблудившись, прилетают к ним с каких-то вершин: они считают их за что-то тонкое, хрупкое, дикое, причудливое, сладостное, полное души, но так же за нечто, что необходимо запирать, дабы оно не улетело.

238. Ошибаться в основной проблеме о «мужчине и женщине», отрицать самый глубокий антагонизм и необходимость вечно враждебного напряжения, мечтать, может быть, о равенстве прав и обязанностей — это *типичный* признак плоскости ума, и мыслитель, который в этом опасном вопросе оказался плоским — плоским в инстинкте! — может считаться подозрительным вообще, более того — разгаданным и распознанным: по всей вероятности, он окажется и для всех основных вопросов

жизни, а также и будущей жизни «коротким» и неспособным достигнуть никакой глубины. Наоборот, человек, отличающийся глубиной в уме и в стремлениях, а также той глубиной благожелательности, которая способна на строгость и суровость и часто бывает смешиваема с ними — может думать о женщине только *по-восточному*. Он *должен* представлять себе женщину как предмет обладания, как собственность, которую следует запирать, как нечто предназначенное для служения и совершенствующееся в этой области, — он должен в этом отношении положиться на громадный разум Азии, как это некогда сделали греки, эти лучшие наследники и ученики Азии, которые, как нам известно, от Гомера до времен Перикла, вместе с *возрастающей* культурой и расширением власти, шаг за шагом делались *строже* к женщине, так сказать, делались восточнее. *Насколько* это было необходимо, *насколько* логично, *насколько* даже по-человечески желательно, — об этом пусть каждый рассудит про себя.

239. Слабый пол никогда не пользовался таким почтением со стороны мужчин, как в наш век — это есть принадлежность и основа демократического направления, точно так же, как и непочтительность к старости: — что же удивительного, что сейчас же начинают злоупотреблять этим почтением? Хочется большего, начинают требовать, находят, наконец, эту дань уважения почти оскорбительной, начинается состязание за права и находят предпочтительной борьбу: одним словом, женщина теряет стыд. Прибавим тотчас же, что она теряет и вкус. Она отучается *бояться* мужчины, а женщина, которая «отучается бояться», теряет свои самые женственные инстинкты. Что женщина решается выступать вперед, когда то, что внушает страх в мужчине, становится нежелательным и не воспитывается — это совершенно натурально и понятно. Труднее объяснить себе то, что женщина, благодаря именно этому, вырождается. Это

происходит теперь: не будем обманывать себя на этот счет. Там, где промышленный дух победил воинственный и аристократический дух, там женщина стремится теперь к экономической и правовой самостоятельности приказчика. «Женщина в роли приказчика» стоит теперь у ворот новообразующегося общества. В то время как она таким образом захватывает новые права, стремится стать «господином» и пишет «прогресс женщины» на своих флагах, больших и маленьких, — с ужасающей ясностью совершается обратное явление: *женщина идет назад*. Со времени французской революции влияние женщины в Европе на столько же *уменьшилось*, насколько увеличились ее права и притязания, и «эмансипация женщины», поскольку ее добиваются и желают сами женщины (а не плоскоголовые мужчины), проявляется замечательным симптомом прогрессирующего ослабления и отупения наиболее женственных инстинктов. В этом движении проявляется *глупость*, почти мужская глупость, которой всякая порядочная женщина — а всякая такая женщина умна — должна бы стыдиться всем своим существом. Утратить чутье относительно того, на какой почве легче всего одержать победу; пренебречь присущим ей умением владеть оружием, распускаться перед мужчиной до того, чтобы дойти «до книги» там, где прежде соблюдалось благонравие и было тонкое лукавое смирение, с добродетельной дерзостью противодействовать присущей мужчине вере в скрытый в женщине совершенно другой идеал, в нечто необходимо и вечно женственное; — болтливо и настойчиво разубеждать мужчину в том, что женщину, как нежное, причудливо-дикое и часто приятное домашнее животное следует охранять, щадить, окружать заботами; неловкое и негодующее отыскивание черты рабства и крепостничества, существовавших и до сих пор еще существующих в общественном строе (как будто рабство есть противный аргумент, а не условие всякой высшей культуры, всякого

повышения культуры), что все это означает, как не разрушение женских инстинктов, утрату женственности? Разумеется, есть много тупоумных друзей и развратителей женщин среди ученых ослов мужского пола, которые советуют женщине таким образом отделаться от женственности и проделывать все глупости, которыми «болеет» мужчина в Европе, европейское «мужество», — которые желали бы низвести женщину до «общего образования», пожалуй, даже до чтения газет и политиканства. В некоторых странах желают даже сделать женщин свободомыслящими и литераторами; как будто женщина без благочестия не представляется глубокому и безбожному человеку чем-то противным или смешным. Почти всюду портят их нервы самым болезненным и опасным родом музыки (нашей новой немецкой музыки) и делают их с каждым днем все более истеричными и все более неспособными к первому и последнему их призванию — рожать здоровых детей. Их вообще хотят еще более «культивировать» и так называемый «слабый пол» сделать *сильным* при помощи культуры, как будто история не учит тому, что «культивирование» человека и ослабление, то есть ослабление, раздробление, заболевание *силы воли* всегда шли рука об руку и что самые мощные и влиятельные женщины в мире (сюда можно причислить и мать Наполеона) обязаны были своим преобладанием над мужчинами своей силе воли, а никак не школьным учителям! То, что внушает к женщине уважение, а часто и страх, — это ее натура, которая «натуральнее» мужской, ее истинно-хищническая, лукавая грация, ее тигровые ногти под перчаткой, ее наивность в эгоизме, ее неподдающаяся воспитанию дикость, непостижимое, необъятное, неуловимое ее вожделений и добродетелей. Что, несмотря на страх, внушает сострадание к этой опасной и красивой кошке — «женщине», это то, что она более страдает, легче уязвима, более нуждается в любви и более осуждена на разочарование,

чем какое бы то ни было другое животное. Страх и страдание — с этими чувствами мужчина стоял до сих пор перед женщиной всегда на пороге трагедии, которая терзает его и чарует. — Как? И этому должен настать конец? И *разрушение женского очарования* уже началось? И женщина все будет делаться постепенно все более и более скучной? О, Европа! Европа! Мы знаем рогатого зверя, который для тебя всегда казался самым привлекательным, от которого тебе все еще грозит опасность! Старинная басня еще раз может превратиться в историю, еще раз чудовищная глупость может овладеть тобой и унести тебя! И под ней скрывается не бог какой-нибудь — нет! только «идея», «современная идея».

ГЛАВА VIII

Народы и отечества

240. Я снова слушал, и точно в первый раз, увертюру к *Мейстерзингерам* Рихарда Вагнера. Это роскошное, перегруженное, тяжелое и позднее искусство, гордящееся тем, что предполагает еще живыми два столетия музыки для своего понимания — слава немцам: такая гордость не ошиблась в расчете! Какие соки и силы, какие времена года и страны света смешаны здесь! То вам слышится что-то древнее, то чуждое, терпкое и чересчур молодое, нечто столь же произвольное, сколько традиционно торжественное, нередко лукавое, а еще чаще резкое и грубое — нечто, в чем есть огонь и мужество, а вместе с тем, что имеет дряблую, поблекшую кожу слишком поздно созревших плодов. Поток звуков несется широко и полно: вдруг мгновение непонятого замедления, словно пробел между причиной и действием, давление, заставляющее тяжело грезить — почти кошмар — и снова расширяется и несется прежний поток благодушия,

разнообразнейшего довольства, старого и нового счастья, с очень сильной примесью счастья художника в себе самом, счастья, которого он не желает скрывать, с примесью его удивленного, счастливого звания мастерства, проявляющегося в употребленных им в этом случае новых, новоприобретенных, неиспробованных средств искусства, — вот что он, по-видимому, хочет дать нам понять. В общем, в этой музыке нет ни красоты, ни юга, ни южного ясного неба, ни грации, ни танца, почти никакой воли к логике; есть даже некоторая неуклюжесть, которая еще подчеркивается, как будто художник хотел сказать нам: «это входило в мои намерения»; это тяжеловесная одежда, что-то произвольно-варварское и торжественное, пестрая смесь ученых и почтенных драгоценностей и кружев, нечто немецкое — в лучшем и худшем значении этого слова, нечто в немецком смысле многообразное, бесформенное, неисчерпаемое, известная немецкая мощь и переполненность души, которая не страшится прятаться под утонченностями упадка, которая чувствует там себя, может быть, лучше всего, — истый признак немецкой души, одновременно юной и устарелой, перезрелой и имеющей впереди богатую будущность. Этот род музыки лучше всего выражает то, что я думаю о немцах: они люди позавчерашнего и завтрашнего дня — *сегодняшнего дня они еще не имеют*.

241. И у нас, «добрых европейцев», есть часы, в которые мы позволяем себе снова окунуться в старую любовь и старые узкие понятия, — я только что привел тому пример — часы национального волнения, патриотической тоски и всяких других допотопных приливов чувствований. Более тяжеловесные умы, нежели наши, справляются с тем, на что у нас часы и что разыгрывается в несколько часов, лишь в долгие промежутки времени, одни в полгода, другие в полжизни человека, смотря по быстроте и силе, с которой они переваривают и совершают «обмен веществ». Да, я мог бы вообразить себе

тупые нерешительные расы, которым и в нашей расторопной Европе понадобилось бы полстолетия для того, чтобы преодолеть такие атавистические припадки любви к отечеству и родине, любви к своему клочку земли и затем снова вернуться к разуму, т. е. к «доброму европеизму». И вот в то время как я распространяюсь об этой возможности, я случайно слышу разговор двух старых «патриотов» — оба, вероятно, были туги на ухо, а потому кричали изо всех сил. «Тот, кто размышляет о философии и знает ее столько же, сколько мужик или студент-корпорант, — сказал один, — тот еще невинен». Да, что теперь в этом! Теперь век толпы, она ползает на брюхе перед всем массовым. Точно то же и в политике. Государственный деятель, который построит им новую вавилонскую башню, какое-либо чудовищное по могуществу государство, прослышет у них «великим»: что до того, что мы, более осторожные и сдержанные, пока не отрешаемся от старой веры, хотя бы в то, что только великая идея дает величие делам и вещам. Положим, что какой-нибудь государственный деятель поставил бы свой народ в такое положение, что ему пришлось бы вести «большую политику», к которой он не подготовлен и от природы не чувствует призвания, так что ему придется пожертвовать своими старыми и верными добродетелями в угоду новой, сомнительной посредственности; положим, что какой-нибудь государственный деятель приговорил свой народ к «политиканству» вообще, тогда как этот народ мог делать до сих пор нечто лучшее и думать о чем-нибудь лучшем и в глубине своей души чувствовал робкое отвращение к беспокойству, пустоте и шумной грызне собственно политиканствующих народов; положим, что такой государственный деятель разбудит заснувшие страсти и вожделения своего народа, представит ему его застенчивость и стремление оставаться в стороне грехом, и его любовь к иностранному и тайное желание бесконечного вменит ему в вину, обес-

ценит в его глазах самые сердечные его склонности, перевернет его совесть, сузит его ум, а его вкус сделает «национальным» — как! и государственного деятеля, который проделал бы все это, деяния которого его народ должен был бы вечно искупать в будущем, если у него есть будущее, такого государственного деятеля назвали бы «великим»? — «Без сомнения, — отвечал ему другой старый патриот, — иначе он *не мог бы* этого сделать! Может быть, это было безумие — хотеть что-либо подобное, но, может быть, и все великое было в начале только безумным!» — «Вы злоупотребляете словами! — закричал его собеседник, — он силен, силен, силен! и безумен! но не *велик!*» Оба старика заметно разгорячились, выкрикивая друг другу в лицо свои истины; я же, счастливый тем, что нахожусь по ту сторону всего этого, рассуждал о том, как скоро над сильным будет еще более сильный господин, а также о том, как умственное опошление одного народа уравнивается тем, что ум другого делается глубже.

242. Пусть называют «цивилизацией», или «очеловечением», или «прогрессом» то, в чем ищут теперь отличительную черту европейцев. Назовите это просто, не хваля и не отрицая, политической формулой, — демократическое движение Европы. За всеми моральными и политическими передними планами, на которые указывают эти формулы, совершается громадный *физиологический* процесс, который развивается все более и более, процесс взаимного уподобления европейцев, их возрастающее освобождение от условий, среди которых возникают связанные климатом и сословиями расы, их увеличивающаяся независимость от каждой *определенной* среды, которая в течение столетий с одинаковыми требованиями стремится вкорениться в душу и тело человека, то есть происходит медленное возникновение по существу сверхнационального и кочевого вида человека, который в физиологическом смысле представляет собой,

как типическое отличие, максимум искусства и силы приспособления. Этот процесс *становящегося европейца*, который может быть задержан в темпе сильными рецидивами, но который, может быть, именно благодаря этому, выигрывает в силе и глубине и растет — свирепствующие теперь буря и натиск «национального чувства», а также только что возникающий анархизм, должны быть отнесены сюда же — этот процесс, по всей вероятности, ведет к таким результатам, на которые его наивные поборники и восхвалители, апостолы «современных идей», рассчитывают менее всего. Те же новые условия, при которых в общем будет совершаться уравнение человека до степени посредственности, полезного, трудолюбивого, на многое пригодного и ко многому приспособляющегося стадного животного-человека, — в высшей степени благоприятствуют возникновению исключительных людей самого опасного и привлекательного свойства. В то время как эта сила приспособления, пробующая различные условия и с каждым поколением, почти с каждым десятилетием начинающая новую работу, делает *мощность* типа совершенно невозможной; в то время как такие будущие европейцы будут производить общее впечатление пестротой болтливой безвольной толпы и в высшей степени пригодных рабочих, *нуждающихся* в повелителе, в господине, как в хлебе насущном, — в то время как демократизация Европы, таким образом, ведет к народжению подготовленного к *рабству* — в тонком значении слова — типа, в отдельном и исключительном случае *сильный* человек должен быть сильнее и более, чем когда-либо был — благодаря отсутствию влияния предрассудков на его воспитание, благодаря громадному разнообразию упражнений, искусств и притворства. Я хотел сказать: демократизация Европы есть в то же время невольное приготовление к народжению *тиранов* — слово это следует понимать во всяком смысле, а также и в умственном.

243. Я с удовольствием узнаю, что наше солнце быстро подвигается к созвездию *Геркулеса*, и надеюсь, что человек на этой земле будет в этом отношении подражать солнцу, и мы, добрые европейцы, пойдем вперед!

244. Было время, когда образовалась привычка называть немцев «глубокими». Теперь же, когда самый законченный тип Германии дорожит совершенно иными почестями и, может быть, во всем, что глубоко, недостает «резкости», сомнение — не обманывали ли себя некогда этой похвалой, является почти современным и патриотичным: явилось, одним словом, сомнение, не есть ли эта немецкая глубина в сущности нечто иное и худшее — нечто, от чего, слава Богу, предстоит скоро отделаться. Итак, сделаем попытку составить себе новое мнение о немецкой глубине: ничего для этого не нужно, кроме маленькой вивисекции немецкой души. Немецкая душа, прежде всего, многообразна, разнородного происхождения: она более составлена и нагромождена, чем действительно построена — это есть следствие ее происхождения. Немец, который осмелился бы утверждать: «ах! две души живут в моей груди!», жестоко провинился бы перед истиной, или, точнее, остался бы на несколько душ позади истины. Как народ, происшедший от невероятного смешения и скрещивания рас, может быть, даже с преобладанием доарийского элемента, как «народ середины» во всех смыслах, немцы более непонятны, обширны, противоречивы, неизвестны, непостижимы, изумительны, даже более страшны для самих себя, чем другие народы: они ускользают от *определения* и этим приводят в отчаяние французов. Отличительной чертой немцев служит то, что вопрос «что считать немецким?» никогда не будет исчерпан. Коцебу, конечно, достаточно хорошо знал своих немцев. «Мы поняты!», — ликовали они ему навстречу, но и Занд (студент К. Л. Занд, убивший Коцебу за издевательство над патриотическими стремлениями немецкой молодежи) тоже вздумал, что знает их.

Жан Поль знал, что он делает, когда с негодованием восстал против живой, но патриотической лести и преувеличения Фихте. Но Гёте, по всей вероятности, иначе думал о немцах, чем Жан Поль, хотя и соглашался с ним относительно Фихте. Что в сущности думал о немцах Гёте? Но он никогда не выражал ясного мнения относительно окружающего и всю жизнь думал остроумно молчать: надо полагать, что у него были основательные причины на то. Вредно, однако, то, что не «освободительные войны» и не французская революция заставила его более радостно взглянуть на жизнь; событием, ради которого он написал своего Фауста и *передумал* всю проблему о «человеке», было появление Наполеона. Есть изречения Гёте, в которых он, как будто из чужой страны, с нетерпеливою суровостью говорит о том, что немцы считают одним из предметов своей гордости: пресловутое немецкое добродушие или прекраснодушие (Gemüth) он называет «снисходительностью к чужим и к своим слабостям». Разве он не прав в этом? Для немцев характерно то, что относительно их редко кто бывает совершенно не прав. В немецкой душе есть ходы и переходы, в ней есть пещеры, скрытые места, подземелья, в ее беспорядке много прелести, таинственного, немец умеет идти боковыми тропинками к хаосу. И так как всякое создание любит свое подобие, то и немец любит облака и все неясное, становящееся, сумеречное, влажное, скрытое завесой; все неверное, несформировавшееся, перемещающееся, растущее во всех родах кажется ему «глубоким». Немец сам не есть, он *становится*, он «развивается». Поэтому «развитие» и есть собственно немецкая находка и вклад в великое царство философских формул: это то господствующее понятие, которое вместе с немецким пивом и немецкой музыкой стремится к тому, чтобы онемечить всю Европу. Иностранцы изумлены и привлечены загадками, которые задает им противоречивая натура в глубине немецкой души. (Загадки эти

Гегель привел в систему, а Рихард Вагнер даже положил на музыку). «Добродушный и коварный» — такое сопоставление, нелепое по отношению ко всякому другому народу, к сожалению, оправдывается слишком часто в Германии: поживите-ка только немного со швабами! Тяжеловесность немецкого ученого, его безвкусице в обществе странным образом уживаются с духовным ломаньем и легкомысленной отвагой, которой уже научились бояться все боги. Если вы хотите, чтобы вам *ad oculos* (наглядно) демонстрировали «немецкую душу», то вам стоит только посмотреть на немецкий вкус, немецкое искусство и немецкие нравы: какое мужицкое равнодушие ко «вкусу»! Как часто самое благородное и самое пошлое стоят здесь рядом! Как беспорядочно и богато все это душевное хозяйство! Немец возится со своею душой: он возится со всем, что переживает. Он плохо переваривает то, что с ним случается: он никогда не может «справиться» с событиями; немецкая глубина часто есть ни что иное, как тяжелое, медленное «переваривание». И как все, привыкшие к болезни, страдающие диспепсией, имеют склонность к убийству, так и немец любит «открытую душу» и «добропорядочность»: так *удобно* иметь открытую душу и быть добропорядочным! Это, может быть, в настоящее время самая опасная и удачная маскировка, которую практикует немец, доверчивость, предупредительность, откровенность немецкой *честности*! Это его поистине мефистофельское искусство, благодаря которому он может еще «пойти далеко»! Немец откровенничает и при этом смотрит на вас честными голубыми, ничего не выражающими немецкими глазами, и иностранец тотчас же смешивает его с его халатом. Я хотел сказать, какова бы ни была «немецкая глубина», мы, может быть, между своими можем и посмеяться над ней, но мы поступим хорошо, если и впредь будем относиться с почтением к ее якобы существованию и доброму имени и не променяем слишком дешево нашей старой репутации

глубокого народа на прусское «молодечество» и на берлинское остроумие и пыль. Умен тот народ, который выдает себя и *позволяет* считать себя за глубокого, неловкого, добродушного, честного, неразумного, это было бы даже, может быть, глубоко! И наконец, надо же делать честь своему имени. Ведь недаром же немцы называют себя *das tiushe Volk*, т. е. *das Täusche-Volk* (обманчивый народ).

245. «Доброе старое время» прошло; оно спело свою песню в созданиях Моцарта: и как счастливы мы, что нам понятно еще его *рококо*, что его «хорошее общество», его нежная мечтательность, его детская любовь к китайщине и вычурности, его сердечная вежливость, его стремление к миловидности, к влюбленности, к танцующему и сладкоплачущему, его вера в юг — все это находит отклик о том, что еще *осталось* у нас! Ах, когда-нибудь и это все пройдет! Но кто же осмелится сомневаться в том, что еще раньше того перестанут понимать Бетховена и наслаждаться им! ведь он есть только последний аккорд стиля перехода и перелома, он *не был*, подобно Моцарту, отзвуком великого, в течение веков существовавшего европейского вкуса. Бетховен есть промежуточное явление между старой дряблой душой, которая вечно разрушается, и будущей, слишком молодой душой, которая вечно *идет*. На его музыке лежат сумерки вечной утраты и вечной беспредельной надежды. Это тот же *свет*, который озарял Европу, когда она мечтала вместе с Руссо, плясала вокруг древа свободы революции и, наконец, чуть не молилась на Наполеона. Но как скоро меркнет теперь именно *это* чувство, как тяжело теперь даже *знать* об этом чувстве, как чуждо звучит в наших умах язык Руссо, Шиллера, Шелли, Байрона, которые все вместе умели выражать судьбу Европы словом так же, как Бетховен выражал ее в звуках! То, что дала немецкая музыка после того, относится к области романтизма, то есть, в историческом смысле, к еще более краткому, мимолетному и поверхностному движению,

чем тот великий антракт, переход от Руссо к Наполеону и к водворению демократии. Вебер — но что такое для нас теперь Фрейшютц и Оберон! или Маршнера Ганс Гейлинг и Вампир или даже Тангейзер Вагнера! Все это уже отзвучавшая, если не забытая, музыка. Вся эта музыка эпохи романтизма вообще была недостаточно благородна, недостаточно музыка, чтобы быть признанной всюду, а не только в театре и перед толпой; она с самого начала была музыкой второго ранга, которую настоящие музыканты мало принимали во внимание. Совсем иначе было с Феликсом Мендельсоном, этим алкионическим маэстро, которого признали очень скоро благодаря его более легкой, более чистой и счастливой душе, но так же скоро и забыли — это был прекрасный *инцидент* в немецкой музыке. Что же касается Роберта Шумана, который тяжело смотрел на жизнь и к которому так же тяжело отнеслись с самого начала, — это был последний из основавших школу. Разве мы теперь не считаем для себя счастьем, облегчением, освобождением, что с этой шумановской романтикой наконец покончили? Шуман, удалившись «в саксонскую Швейцарию» своей души, созданный по образцу не то Вернера, не то Жан Поля, но уже отнюдь не по образцу Бетховена или Байрона — его музыка к Манфреду есть большой промах и недоразумение, граничащее с виной, — Шуман со своим вкусом, который в сущности был *мелочным* вкусом (а именно, опасной, среди немцев вдвойне опасной, склонностью к тихому лиризму или к запою чувств), идущей постоянно стороной, застенчиво отстраняясь и отступая, благородный неженка, утопающий в чисто анонимном счастье и горе, нечто вроде девицы и недотроги с самого начала, этот Шуман был уже только *немецкое*, а не европейское явление в музыке, каким был Бетховен и каким еще в большем размере был Моцарт, — в его лице немецкой музыке грозила величайшая опасность лишиться *голоса, доступного душе* Европы, и спуститься до простой отечественности.

246. Какую муку доставляют немецкие книги тому, у кого есть *третье* ухо! С какой досадой он стоит перед этим медленно вращающимся болотом звуков без звучности, ритма без танца, болотом, которое называется «немецкой книгой». А сам немец, читающий эту книгу! Как лениво, как неохотно, как скверно он читает! Много ли есть немцев, которые знают и считают необходимым знать, что в каждой хорошей фразе заключается *искусство* — искусство, которое надо угадать, если хочешь понять фразу! Например, стоит взять неправильный темп в фразе — и сама фраза остается непонятой! Знают ли, что относительно ритмически решающих слогов нельзя допускать сомнения, что в нарушении слишком строгой симметрии чувствуется прелесть, что нужно тонким терпеливым ухом улавливать каждое *staccato* и каждое *tubato*, что в последовательности простых и сложных гласных угадывается смысл, угадывается, как нежно и роскошно они окрашиваются и меняют краски в своем чередовании — кто же из читающих немцев добровольно признает подобные обязанности и требования и вникнет во все искусство и все намерения, вложенные в изложение? В конце концов у них «нет уха для этого», и, таким образом, не чувствуются самые сильные контрасты слога, и самая тонкая художественность *расточается* перед глухими. Таковы были мои мысли, когда я заметил, как плоско и бессознательно смешивали двух мастеров искусства прозы: у одного слова падают медленно и холодно, как с потолка сырой пещеры, — он рассчитывает на их глухой звук и на его эхо; а другой владеет словом, как гибкой шпагой, и всем телом своим ощущает опасное счастье слишком острого клинка, который хочет кусать, шипеть и резать.

247. Как мало отношения имеет немецкий слог к звучности и слуху, мы можем судить из того, что все наши хорошие музыканты пишут скверно. Немец не читает вслух, он читает только глазами, а уши на это время кладет в ящик. Человек античного мира, когда читал — а

это случалось довольно редко, — читал себе вслух громким голосом: люди удивлялись, когда кто-нибудь читал про себя, и втайне спрашивали себя о причинах такого явления. Читать громким голосом, это значит читать со всеми повышениями и понижениями, модуляциями тона и переменами темпа — все, что так нравилось античной публике. Тогда законы письменного слога были те же, что и законы разговорного, и эти законы зависели отчасти от изумительного развития, утонченных потребностей уха и гортани, отчасти от силы, продолжительности дыхания и мощи античных легких. Период, по понятиям древних, есть прежде всего физиологическое целое, поскольку он может быть выговорен одним духом. Такие периоды, какие встречаются у Демосфена, у Цицерона, два раза поднимающие тон и два раза понижающие его — и все это одним духом — были наслаждением для античных людей, умевших благодаря своей собственной школе ценить талант, редкое и трудное искусство в произнесении такого периода. Мы, собственно говоря, не имеем права на *большие* периоды, потому что у нас, нынешних людей, короткий дух во всех отношениях! Древние все поголовно были дилетантами в ораторском искусстве, а следовательно, знатоками и критиками — этим они заставляли своих ораторов доходить до высшего совершенства. Точно так же в прошлом столетии, когда все итальянцы и итальянки умели петь, тогда у них виртуозность в пении (а вместе с тем и искусство мелодики) достигло большой высоты. В Германии же (до последнего времени, когда нечто вроде ораторского красноречия на трибуне начало несмело и неуклюже распускать свои молодые крылья) был, собственно говоря, один только род публичного и *мало-мальски* художественного ораторства: это проповеди. Один только проповедник и знал в Германии, какое значение имеет каждый слог, каждое слово, насколько предложение ударяет, прыгает, стремится, бежит, изливается. Только пропо-

ведник имел совестливый слух; только совесть его часто была дурная. Много есть причин, по которым немец в красноречии редко и почти всегда слишком поздно достигает изрядной высоты. Поэтому шедевр немецкой прозы, как следовало ожидать, был шедевром величайшего немецкого проповедника: Библия была до сих пор лучшей немецкой книгой. В сравнении с лютеровою Библией почти все другое только одна «литература», нечто, что выросло не в Германии, а потому и не вросло в немецкие сердца, как вросла в них Библия.

248. Есть два вида гения: один, который, прежде всего, зарождает, оплодотворяет и хочет оплодотворять, другой же охотно дает себя оплодотворять и рождает. Точно так же и среди гениальных народов есть такие, которым выпала на долю женская проблема беременности и тайная задача образовать, вынашивать, заканчивать — греки, например, были народом такого рода, а также французы; и другие, которые сами должны оплодотворять и делаться причиной нового уклада жизни — как, например, евреи, римляне и, скромно говоря, — может быть, немцы! Есть народы, которые мучаются и возбуждаются неведомой горячкой и неудержимо выходят из себя, влюбленные и сладострастные по отношению к чуждым расам (таким, которые «дают себя оплодотворять») и при этом властолюбивые, как все, что чувствует в себе полноту сил к оплодотворению, и, следовательно, сознает себя существующим по «милости Божией». Эти два рода гения ищут друг друга, как мужчина и женщина; но они так же не понимают друг друга, как мужчина и женщина.

249. У каждого народа свое собственное лицемерие, которое он называет своими добродетелями. Лучшего, что в нас есть, мы не знаем — его нельзя узнать.

250. Чем Европа обязана евреям? Многим — хорошим и дурным, а прежде всего одним, в чем есть и хорошее, и дурное: высоким стилем в морали, страхом и величием

бесконечных требований, бесконечных разъяснений, всей романтикой и возвышенностью моральных вопросов и, следовательно, всем, что есть самого привлекательного, неверного, лучшего в этой игре цветов и соблазнов к жизни, в отблеске которых небо нашей европейской культуры, ее вечерняя заря горит — и, может быть, догорает. Мы, артисты среди зрителей и философов, за это благодарны евреям.

251. Приходится мириться с тем, что у народа, который страдает и *хочет* страдать — ум заволакивается тучами, как будто он подвергается коротким припадкам отупения: так, например, у современных немцев проявляется то антифранцузская глупость, то антиеврейская, то антипольская, то христианско-романтическая, то вагнерианская, то тевтонская, то прусская (посмотрите вы только на этих несчастных историков, Зибеля и Трейчке, с их туго забинтованными головами) и все другие многочисленные повреждения немецкого ума и немецкой совести. Да и простят мне, что после короткого рискованного пребывания в весьма зараженной области, не совсем избежал этой болезни и я, как и все, и начал уже задумываться о таких вещах, до которых мне нет никакого дела: это первый признак политической инфекции — например, о евреях: слушайте. Я никогда еще не встречал ни одного немца, который был бы расположен к евреям; и как бы безусловно не отрекались от антисемитизма все осторожные и политичные люди, но и эта осторожность и политика направлена не против самого рода чувства, а только против его опасного преувеличения, в особенности против неблаговоспитанного и непристойного выражения этого преувеличенного чувства — на этот счет не следует себя обманывать. Что в Германии евреев слишком *довольно*, что немецкому желудку и немецкой крови трудно (и еще долго будет трудно) справиться даже и с этим количеством «еврея» так, как справились с ним итальянец, француз, англичанин,

вследствие более энергичного пищеварения, — это ясно подсказывает общий инстинкт, которого следует слушаться, по которому следует действовать. «Не пускать больше новых евреев! А главным образом запереть ворота на Восток, а также в Австрию!» Так повелевает инстинкт народа, род которого еще слаб и не определен, так что он может легко быть стерт и заглушен более сильной расой. Евреи же, без сомнения, самая сильная и чистая раса теперь в Европе. Они умеют пробить себе путь даже при самых дурных условиях (даже лучше, чем при хороших), благодаря благодетелям, которые в наше время охотно клеймят названием пороков, благодаря, главным образом, твердой вере, которой нечего стыдиться перед «современными идеями»; они изменяются всегда, *если* они изменяются, так, как Россия делает свои завоевания, — как государство, у которого много времени впереди и которое началось не со вчерашнего дня, — а именно по принципу «как можно медленнее!». Мыслитель, у которого лежит на совести будущее Европы, при всех планах, которые он составляет себе относительно этого будущего, будет считаться с евреями, — и с русскими, — как с наиболее верными и вероятными факторами в великой борьбе и игре сил. То, что нынче в Европе называется нацией, и что, собственно говоря, есть больше *res facta* нежели *res nata* (даже иногда похожа на *res ficta et picta*), это во всяком случае нечто становящееся, молодое, легко изменяющееся, еще не раса, а тем более такое *aere regennius*, как порода евреев. Эти «нации» должны бы были тщательно остерегаться всякой слишком горячей конкуренции и враждебности. Что евреи, если бы они того хотели — или если бы их к тому принудили, как этого, по-видимому, хотят антисемиты, — *могли бы* теперь уже иметь перевес и буквально приобрести господство над Европой, не подлежит сомнению; что они не стремятся к этому и не предполагают достигать этого — тоже несомненно. Пока они, напротив,

даже с некоторой назойливостью хотят и желают, чтобы Европа всосала их. Для этого они должны бы были где-нибудь прочно осесть, где бы они могли пользоваться уважением и положить конец скитальческой жизни «вечного жида». И это стремление и влечение следовало бы принять во внимание и пойти ему навстречу; а для этого было бы, может быть, полезно и хорошо удалить антисемитических крикунов из страны. Пойти навстречу следует со всей осторожностью, с разбором, как это, например, делает английское дворянство. Вполне очевидно, что безопаснее всего связываться с ними мог бы более сильный и уже крепче утвердившийся тип новой Германии, например бранденбургское военное дворянство: было бы весьма интересно посмотреть, не присоединится ли, не привьется ли к их искусству повелевать и повиноваться — в том и другом эта страна сделалась нынче классической — гений денег и терпения (а главное, немного ума, чего там замечается большой недостаток). Однако здесь мне приходится прервать мое восхваление Германии и мою торжественную речь, ибо я почти касаюсь моей *серьезной* проблемы, как я ее понимаю, воспитания новой, господствующей над Европой касты.

252. Англичане вовсе не философская раса: Бэкон начинается собой *нападение* на философский ум вообще, Гоббс, Юм и Локк — принижение и уменьшение ценности понятия философ более, чем на целое столетие. *Против* Юма восстал Кант; о Локке Шеллинг осмелился сказать: «я презираю Локка». Против англomeханического оболванивания мира единодушно боролись Гегель и Шопенгауэр (с Гете), эти враждебные братья-гении в философии, стремившиеся к противоположным полюсам немецкого духа, и при этом были несправедливы друг к другу, как могут быть несправедливы только братья. Чего не хватает и всегда не хватало Англии, это отлично знал полуактер и ритор с плоской и путанной головой;

Карлейль, старавшийся под гримасами страсти скрыть то, что он знал о самом себе, а именно то, чего *не доставало* ему: настоящей *мощи* ума, настоящей *глубины* умственного взгляда, одним словом, философии. Для такой нефилософской расы весьма характерно то, что она строго придерживается христианства: ей *необходима* его дисциплина для «морализирования» и очеловечивания. Англичанин мрачнее, чувственнее, одарен более сильной волей и более грубый, нежели немец, и именно поэтому, как натура более низменная, набожнее немца; христианство ему *нужнее*, чем немцу. Для более тонкого обоняния это английское христианство отзывает чисто английским запахом сплина и злоупотребления алкоголем, против которых оно на резонном основании и употребляется в виде лекарства, как более тонкий яд против более грубого: более тонкое отравление у грубых народов означает уже прогресс, ступень к одухотворению. Английская неотесанность и мужицкая серьезность англичан лучше всего маскируется христианскими манерами, молитвами и пением псалмов или, вернее, удачнее всего перетолковываются и объясняются всем этим. И для этих скотоподобных пьяниц и развратников, которые учатся морально хрюкать, прежде под властью методизма, а в последнее время в качестве «армии спасения», судорога покаяния, может быть, и в самом деле представляет собой высшее проявление «гуманности», до которой они могут довести себя, — это еще, пожалуй, можно допустить. Но что нас особенно шокирует и в самом гуманном англичанине — это отсутствие в нем музыки в переносном (и даже в прямом) смысле: в движениях его души и его тела нет такта, нет танца, нет даже стремления к такту и танцу, к «музыке». Послушайте, как он говорит, посмотрите, как *ходят* самые красивые англичанки — ни в одной стране света нет красивейших голубок и лебедей — и, наконец, послушайте, как они поют! Но я требую слишком многого...

253. Есть истины, которые лучше всего познаются посредствомственными умами, потому что они более подходят к их уровню; есть истины, которые представляют прелесть и привлекательность только для посредственных умов. На этот, может быть, неприятный вывод мы наталкиваемся как раз теперь, когда ум почтенных, но посредственных англичан — я разумею Дарвина, Джона Стюарта Милля, Герберта Спенсера — начинает брать перевес в средней области европейского вкуса. И действительно, кому в голову придет сомневаться, что в настоящее время господствуют *такие* умы? Было бы заблуждением считать высокородные и парящие в стороне умы особенно способными устанавливать, собирать и укладывать в заключения многие мелкие общие факты: они, как исключения, занимают, наоборот, невыгодное положение относительно «правил». Да наконец у них есть более важная задача, чем познание — они должны *быть* чем-то новым, *означать* нечто новое, *представлять* новые ценности! Пропасть, отделяющая знание от мощи, может быть больше, а также страшнее, чем думают: в обширном смысле творящий должен, пожалуй, быть незнающим, тогда как для научных открытий, вроде открытий Дарвина, может быть пригодна некоторая узкость, сухость и прилежная заботливость, одним словом, нечто английское. Не следует, в конце концов, забывать, что англичане уже однажды со своей глубокой посредственностью были причиной общего понижения европейского духа. То, что называют «современными идеями», или «идеями восемнадцатого века», или также «французскими идеями» — как раз то, против чего с глубоким отвращением восстал *немецкий* ум — произошло из Англии — в этом не может быть никакого сомнения. Французы были только обезьянами и актерами этих идей, а также их лучшими солдатами, а затем, к сожалению, сделались первыми и самыми несчастными *жертвами*, ибо от проклятой англomanии «современных

идей» и французская душа сделалась такой жидкой и тощей; что мы теперь почти не верим воспоминаниям о ее шестнадцатом и семнадцатом веке, о ее глубокой и страстной силе, о ее изобретательном аристократизме. Но надо крепко держаться этой исторической справедливости и защищать ее против момента и видимости: европейская аристократия чувства, вкуса, нравов, одним словом, аристократия в самом высоком значении слова — есть произведение и изобретение Франции, а европейская пошлость, плебейство современных идей — принадлежит Англии.

254. И теперь еще Франция представляет собой центр высшей духовной и утонченной культуры Европы и высшую школу вкуса: но надо уметь отыскать эту «Францию вкуса». Те, которые принадлежат к ней, скрываются хорошо: немного может быть тех, в которых она живет и действует, к тому же это, может быть, люди, которые не очень твердо стоят на ногах, отчасти фаталисты, мрачные, больные, отчасти изнеженные и исковерканные, такие, которых *честолюбие* заставляет прятаться. Они имеют, впрочем, и нечто общее: они зажимают себе уши перед бешеной глупостью и крикливой болтовней демократических буржуа. Действительно, теперь на переднем плане валяется отупевшая и огрубевшая Франция, которая еще недавно на похоронах Виктора Гюго проявила целую оргию безвкусыя и самопоклонения. Кроме того, они имеют еще нечто общее: добрую волю противиться умственному онемечению и еще большую неспособность к тому! Может быть, и теперь уже в этой Франции ума, которая также есть и Франция пессимизма, Шопенгауэр прижился уже более, чем в Германии, не говоря о Гейне, который давно уже перешел в плоть и кровь более тонких и притязательных лириков Парижа, или о Гегеле, который нынче в образе Тэна, — то есть *первого* из живущих историков, — пользуется почти тираническим влиянием. Что же касается Вагнера, то

чем более французская музыка будет приспособляться к действительным потребностям «современной души» (*âme moderne*), тем более она будет «вагнеризировать» — это можно сказать наперед, — да она и теперь уже делает это в значительной степени! Тем не менее существуют еще три вещи, которые и теперь еще французы с гордостью могут предъявить как свое наследие и свою собственность и как неутраченный признак старинного культурного превосходства над Европой, несмотря на свое добровольное и недобровольное онемечение и опрошение вкуса: во-первых, способность к артистическим страстям, приверженность к «форме», для которой, наряду с тысячей других, и было изобретено выражение «искусство для искусства»: — в подобного рода явлениях не было недостатка во Франции в течение трех столетий, и опять-таки благодаря уважению к «малому числу», это сделало возможным существование чего-то в роде камерной музыки в литературе, чего не найти в остальной Европе. Второе, на чем французы могут основать свое превосходство над Европой, это их старая многообразная нравственная культура, благодаря которой мы встречаем в общем даже у мелких романистов и бульварных писателей Парижа такую психологическую чувствительность и любознательность, о которых мы в Германии не имеем никакого понятия (не говоря уже о полном отсутствии таких свойств). Немцам не хватает для этого нескольких столетий моральной работы, в которой не было недостатка у Франции. Тот, кто называет немцев за это «наивными», хвалит их за недостаток. (Противоположностью немецкой неопытности и невинности в психологическом сладострастии: *voluptate psychologica* и скуке немецкой общественной жизни — и удачей самым лучшим выражением чисто французской любознательности и изобретательности в этой области нежных содроганий может считаться Анри Бейль (Стендаль), этот замечательный предугадывающий человек, забега-

ющий вперед и в наполеоновском темпе прошедший через *свою* Европу, через несколько столетий европейской души, выслеживая и отыскивая эту душу; двум поколениям удалось только кое-как *догнать* его, чтобы отгадать некоторые загадки, мучившие и восхищавшие этого чудного эпикурейца и загадочного человека, который был последним великим психологом Франции). Есть у французов еще третье право на превосходство: в характере французов есть наполовину удавшийся синтез севера и юга, который дает им способность понимать многие вещи и делать другие, которых англичанин никогда не поймет. Это их периодически поворачивающийся к югу и отворачивающийся от него темперамент, в котором время от времени провансальская и лигурейская кровь кипит через край и предохраняет их от страшных серых северных тонов и лишенной солнечного света призрачности и анемичности понятий, от нашей *немецкой* болезни вкуса, против излишка которого в настоящее время мы весьма решительно прописали себе кровь и железо — я хотел сказать «большую политику» (согласно опасному лечению, которое учит меня ждать и ждать, но не научило до сих пор надеяться). И теперь еще во Франции пониманием, предупредительностью встречают тех редких и редко удовлетворяющихся людей, у которых слишком обширный ум, чтобы они могли найти себе удовлетворение в мелочном патриотизме и которые умеют любить в севере юг, а в юге север — уроженцев средних стран, «добрых европейцев». Для них сочинил свою музыку *Бизе*, этот последний гений, открывший новую красоту и новое очарование, открывший уголок юга в музыке.

255. Относительно немецкой музыки я считаю необходимым соблюдать известную осторожность. Допустим, что кто-либо любит юг так, как я его люблю, как великую лечебницу в духовном и чувственном отношении, как изобилие солнечных лучей и солнечного тепла, изливающееся на самодержавное, верующее в себя

бытие: такой человек должен остерегаться немецкой музыки, потому что, извращая его вкус, она портит в то же время и его здоровье. Такой южанин не по происхождению, а по *вере*, должен, если он мечтает о будущности музыки, мечтать так же об освобождении музыки от севера, и в его ушах должна звучать прелюдия более глубокой могучей, может быть, более злобной и таинственной, сверхнемецкой музыки, которая не замолкает, не вянет, не бледнеет перед синевой сладострастного моря и средиземной ясностью неба, подобно всякой немецкой музыке; о сверхъевропейской музыке, которая не потеряла бы своего значения перед багровым закатом пустыни, душа которой родственна пальме и может носиться среди больших, красивых, одиноких хищных зверей. Я мог бы представить себе музыку, редкостное очарование которой заключалось бы в том, что она не знала бы ни добра, ни зла, разве только иногда скользило бы по ней нечто похожее на тоску по родине моряка, какие-то золотые тени и нежные томления: искусство, к которому издали приносились бы краски умирающего, почти непонятного уже *морального* мира, и которое снисходительно гостеприимно принимало бы таких поздних беглецов.

256. Благодаря болезненному отчуждению, возникшему и еще возникающему между народами Европы вследствие националистического безумия, благодаря в особенности близоруким и слишком проворным политикам, которые с его помощью берут верх и вовсе не подозревают того, что та разъединительная политика, которую они ведут, может быть только промежуточной — благодаря всему этому и чему-то в наше время совершенно невыразимому не замечаются или произвольно и ложно истолковываются самые недвусмысленные симптомы, показывающие, что *Европа стремится к объединению*. У всех людей более глубокого и обширного ума истинное общее направление таинственной работы их душ имело

целью подготовить путь к новому *синтезу* и в виде опыта предугадать европейца будущего. Только поверхностно или в часы слабости в старости, они присоединялись к «отечественникам», — они только отдыхали от самих себя, когда становились патриотами. Я думаю о таких людях, как Наполеон, Гете, Бетховен, Стендаль, Гейне, Шопенгауэр, да не поставится мне в упрек, если я причислю к ним и Рихарда Вагнера, относительно которого мы не должны заблуждаться на основании его собственных недоразумений — гении, как он, редко имеют право понимать самих себя. Еще менее того, разумеется, должен обманывать нас неприличный шум, поднятый нынче во Франции против Рихарда Вагнера: факт тем не менее остается тот, что Рихард Вагнер теснейшим образом связан с *эпохой позднего французского романтизма* сороковых годов. На всех высотах и глубинах своих потребностей они соединены между собой кровным родством: это — Европа, единая Европа, душа которой в своем многообразном и бурном искусстве стремится куда-то вон, вдаль, ввысь — куда? к новому свету? к новому солнцу? Но кто же бы мог с точностью сказать то, что эти мастера новых средств выражения не сумели выразить? Что они мучились одними и теми же бурными порывами, что они одинаково *искали*, эти последние великие искатели — это несомненно! Всем существом своим, зрением и слухом ушедшие в литературу — первые художники со всемирно-литературным образованием — по большей части сами писатели, поэты, посредники, смешиватели искусств и чувств (Вагнер принадлежит как музыкант к живописцам, как поэт к музыкантам, как художник вообще — к актерам). Все вместе они — фанатики *выражения* «во что бы то ни стало», — я выделяю между ними в особенности Делакруа, ближе всех родственного Вагнеру, — все они совершили великие открытия в области возвышенного, еще более великие в области безобразного и ужасного, в области показных эффектов, в искусстве показы-

вать товар лицом, все они таланты, ушедшие далеко за пределы своего гения, — виртуозы до мозга костей, имеющие страшные доступы ко всему, что соблазняет, манит, принуждает, опрокидывает; прирожденные враги логики и прямых линий, жадные до чужеземного, экзотического, чудовищного, искривленного, самопротиворечащего; как люди, они Танталы воли, плебеи-высочки, которые чувствовали себя неспособными в жизни и творчестве к благородному медленному темпу (*lento*) — возьмем хотя бы Бальзака, — необузданные работники, работающие почти до самоуничтожения, антимонысты и мятежники нравов, честолюбивые и ненасытные, не знающие равновесия и наслаждения; все они в конце концов падают разбитые у подножия креста (и это неизбежно и справедливо: кто же из них был бы достаточно глубок и непосредственен для *антихристианской* философии?). В общем, это дерзновенно-отважная, великолепно сильная, высоко парящая и высоко стремящаяся порода высших людей, которые должны были внушить своему веку — а ведь это век *толпы* — понятие о «высшем человеке»... Пусть немецкие поклонники Вагнера подумают хорошенько, есть ли в вагнеровском искусстве хоть что-нибудь немецкое или же его отличительной чертой служит именно то, что оно вытекает из других *сверхнемецких* источников и побуждений. Необходимо принять во внимание и тот факт, что для развития его типа был необходим именно Париж, куда влекла его в самое решительное время глубина его инстинктов, и что вся его манера выступать публично, самое его проповедничество могло достигнуть своего крайнего развития, только имея образцом французских социалистов. Может быть, при более внимательном сравнении мы, к чести немецкой натуры Рихарда Вагнера, найдем, что он во всех своих проявлениях был сильнее, отважнее, суровее, выше, чем мог быть француз девятнадцатого века, — благодаря тому обстоятельству, что мы, немцы, стоим ближе к вар-

варству, нежели французы. Может быть, даже самое замечательное из того, что создал Рихард Вагнер, останется не только теперь, но и навсегда недоступным пониманию и чувству всей столь поздней латинской расы; так, например, образ Зигфрида, этого *очень свободного человека*, который действительно слишком свободен, слишком суров, слишком жизнерадостен, слишком здоров, слишком антикатоличен на вкус старых и дряблых культурных народов. Он, может быть, даже является грехом против романтизма, этот антиромантический Зигфрид. Но Вагнер с излишком расплатился за этот грех в сумеречные дни своей старости, когда он — предвосхитив вкус, сделавшийся с тех пор политикой — начал со свойственным ему жаром если не идти по *пути в Рим*, то проповедовать его. Дабы мои последние слова не вызвали недоразумения, я призову на помощь несколько крепких стихов, которые и менее тонкому слуху выяснят, что я хочу сказать, что я имею *против* «последнего Вагнера» и музыки его Парсифаля.

Что здесь немецкого?

Из немецкого сердца раздается это злое карканье?

И свойственно ли немецкому типу
это самоистязание?

По-немецки ли это вздыманье рук священников?

Это обольщающее чувства благоуханье?

В немецком разве духе это запинанье,
бросанье наземь и экстаз.

Это раскачиванье туда-сюда,

Это монашеское выворачивание глаз
и колокольный звон?

Что тут немецкого?

Подумайте, еще вы у ворот стоите:

То, что вы слышите, — ведь это *Рим*,

Ведь это *римское католичество без слов*.

Перевод в стихах этого отрывка выглядит так:

«Нет, это клевета на немцев, клевета!..
Здесь правды нет — одна безумная мечта!
Мы не способны так кривляться и кричать,
И плоть свою при всех для вида умерщвлять...
Наш «дух» не подлежит тяжелым, смутным снам.
Не любит он весь день внимать колоколам...
Не смотрим в небо мы, чтоб прочитать на нем,
Как уязвить врага и насладиться злом...
Нет, это клевета на немцев, клевета!..
Здесь правды нет — одна безумная мечта!
Остерегитесь, мы у двери уже стоим,
И то, что слышим мы, то — римский «дух», то — Рим!»...

ГЛАВА IX

О сущности благородства

257. Всякое восхождение типа «человек» на высшую ступень развития было до сих пор, как будет и впредь, делом рук аристократического общества, привыкшего верить в нерушимость длинной людской иерархической лестницы, в различную ценность различных людей и нуждающегося в рабстве в том или ином значении слова. «Пафос дистанции» вырастает на почве вьезшегося в плоть и кровь различия сословий, привычки господствующей касты смотреть сверху вниз на подчиненных, играющих роль орудий, на почве постоянного упражнения в повиновении и повелении, в искусстве держать подчиненных на почтительном расстоянии. Без этого пафоса дистанции не мог бы развиваться и тот иной, более загадочный пафос, который заключается в стремлении к новым увеличениям дистанций внутри самой души, в выработке более высоких, редких, отдаленных, напряженных душевных состояний, короче, не могло бы

произойти именно возвышение типа «человек», или, пользуясь моральной формулой во внеморальном смысле — «преодоление им самого себя». Само собою разумеется, что относительно происхождения аристократического общества (следовательно, необходимого условия для возвышения типа «человек») не следует предаваться гуманистическим иллюзиям. Смысл истины жесток. Сознаемся перед собою без всяких оговорок, каким образом возникала на земле любая высшая культура! Дело обстояло таким образом, что люди более близкие к природе по натуре своей, варвары в самом страшном значении этого слова, хищные люди, обладающие надломленной силой воли и жадной власти, нападали на более слабые, благонравные, миролюбивые расы, занимавшиеся, быть может, торговлей и скотоводством, или на одряхлевшие слабые культуры, растратившие последние душевные силы в блестящих фейерверках остроумия и разврата. Благородная каста всегда бывала сначала варварской кастой: перевес ее заключался не в физической силе, а в силе духа, — это были более цельные люди (что на любой ступени развития означает: более цельные звери).

258. Разложение общества как выражение того, что гармонии инстинктов угрожает анархия и что потрясена основа аффектов, называемая «жизнью»: разложение, смотря по складу жизни, при котором оно проявляется, может быть очень различно. Если, например, аристократия с величественным пренебрежением отбрасывает свои привилегии и приносит себя в жертву крайностям своего нравственного чувства, как это было во Франции при начале революции, то это есть один из видов разложения. В этом выразилось завершение того разложения, которое развивалось в течение столетий и благодаря которому терялись понемногу права господства и низводились на уровень функций королевской власти (служба, в конце концов, лишь удовлетворению ее

тщеславия). Сущность же здоровой аристократии заключается именно в том, что она чувствует себя не чьей-либо функцией (королевства ли или общинного строя), а смыслом и наилучшим оправданием существующего строя, — принимая на этом основании со спокойной совестью жертвы сотен людей, которые ради нее низводятся на ступень существ, не живущих полной жизнью, рабов, орудий. Основное верование ее должно заключаться в том, что общество может и должно существовать не ради самого себя, а лишь как фундамент, подмости, по которым избранный род существ, призванных для выполнения высших задач, мог бы подняться до истинного, всестороннего существования: подобно стремящемуся к солнцу ползучему растению на Яве, называемому *Sipo Matador*, которое охватывает дуб своими ветвями до тех пор, пока не вознесется высоко над ним, опираясь на него, раскидывая на свободе свою пышную вершину и предоставляя желающим любоваться выпавшим на его долю счастьем.

259. Обоюдные старания не верить друг другу, не оказывать насилия, не эксплуатировать, ставить свои желания на одну доску с желаниями другого — все это, в известном грубом смысле, может войти в обыкновение, если имеются налицо необходимые к тому условия. Эти условия заключаются в равенстве сил, тождестве критериев ценности и принадлежности к одному организованному целому. Но если взять этот принцип в более широком смысле, если принять его за основной социальный принцип, то он тотчас же окажется тем, что он есть, принципом отрицания жизни; принципом разложения и упадка. Следует основательно обдумать сущность вопроса; отрешившись от всякой сентиментальности, и мы поймем, что жизнь *по существу* своему есть присвоение, нанесение вреда, насилие над чуждым, над более слабым, подавление, жестокость, навязывание собственных форм, воплощение и в самом лучшем, самом мягком случае —

эксплуатация. Но к чему употреблять слова, которым издавна придавался клеветнический смысл? Если то организованное целое, внутри которого, согласно нашей предпосылке, отдельные элементы относятся друг к другу как равные (так обстоит дело в каждой здоровой аристократии), жизнеспособно, а не стоит на пути к смерти, оно должно делать по отношению к другим организациям все то, от чего внутри целого воздерживаются отдельные его элементы: оно должно быть воплощенной жаждой власти, оно будет расти, захватывать и притягивать к себе все, с чем придет в соприкосновение, стремиться приобрести перевес, и все это не потому, что исходит из какой-либо морали, а просто потому, что *живет*, а жизнь и *есть* — жажда власти. Однако общее европейское сознание особенно упорно не желает принимать к сведению именно это положение; все бредят теперь, и даже под научными соусами, общественными условиями будущего, где не будет эксплуатации; в моих ушах это положение звучит так, точно хотят изобрести жизнь, лишенную всех органических функций. «Эксплуатация» присуща не непременно испорченному или несовершенному и примитивному обществу как органическая основная функция, она является сущностью всего живого, следствием действительной жажды власти, которая и есть — жажда жизни. Пусть, как теория, это будет новшеством, — как реальность это есть первобытнейший факт всей истории: настолько-то надо быть правдивым перед самим собой.

260. Перебирая многочисленные, более утонченные и более грубые виды морали, господствовавшие до сих пор на земле и продолжающие еще господствовать, я набрел на некоторые черты, правильно повторяющиеся и связанные между собою: передо мною предстали два основных типа и одно основное различие. Существует *мораль господ* и *мораль рабов*, замечу при этом, что на более высших и сложных ступенях культуры появляются

попытки к примирению их, еще чаще — смешение их, ведущее к взаимному непониманию, порою существование обеих бок о бок — даже в одном и том же человеке, в одной и той же душе. Моральные критерии ценности возникают либо посреди господствующей касты, которая с чувством удовлетворения сознает свои особенности, отличающие ее от подвластных ей, — или среди подвластных рабов, зависимых всех категорий. В первом случае, когда господствующие определяют понятие «хорошее», под него подводятся возвышенные, гордые состояния души, которые поднимают человека над общим уровнем и определяют его место в моральной иерархии. Благородный человек отделяет себя от людей, у которых проявляются противоположные качества: он презирает их. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что, в этом первом виде морали, понятия «хорошо» и «дурно» соответственно тождественны с понятиями «благородно» и «презренно». Противоположение «добро» и «зло» совершенно другого происхождения. Презрения заслуживает трусливый, боязливый, мелочный, думающий об узкой своей пользе; точно так же недоверчивый, со взглядом исподлобья, унижающийся, заискивающий льстец, и прежде всего — лжец. Основное верование всех аристократов — что чернь лжива. «Мы, правдивые», — так называли себя аристократы древней Греции. Очевидно, что моральная квалификация прилагалась прежде всего к людям, а затем уже по аналогии к поступкам. Поэтому ошибочно, когда историк-моралист исходит из вопроса «почему восхвалялись сострадательные поступки?» Благородная каста сознает *себя* определителем ценности, она не нуждается в одобрении, она судит так: «что вредно мне, то само по себе вредно», она считает себя элементом, придающим вещам ценность, создающим ценности. Эта каста почитает все то, что сознает в себе: такая мораль есть самопрославление. На первом плане стоит ощущение полноты могущества, готового

перелиться через край, наслаждение чувством высшего напряжения, сознание богатства, готового дарить и отдавать. Благородный человек тоже способен помочь несчастному, но совсем или почти не из сострадания, а из потребности, проистекающей от избытка могущества. Благородный человек почитает в себе могущественного, имеющего власть и над собою, умеющего и сказать, и смолчать, он охотно проявляет суровость и твердость по отношению к себе и сам преклоняется перед всем суровым и твердым. «Твердое сердце вложил Вотан в мою грудь», — говорится в древней скандинавской саге; в ней сказала душа гордых викингов. Такие люди гордятся именно тем, что они не созданы для сострадания. Герой саги предостерегает: «У кого смолodu сердце не твердо, у того оно не будет твердым никогда». Благородные и смелые, думающие таким образом, особенно далеки от той морали, которая возвеличивает сострадание, альтруизм, «le désintéressement». Вера в себя, умение гордиться собою, враждебное и ироническое отношение ко всякому «самоотвержению», все это так же неотъемлемо относится к благородной морали, как и легкая пренебрежительность и осторожность по отношению ко всякому сочувствию, к «теплоте сердечной». Именно могущественные *умеют* чтить, в этом их искусство, их область изобретательности. Глубокое почтение к старости и родовитости, на котором зиждется всякое право, вера и предубеждение, направленные в пользу предков и в ущерб грядущим поколениям, типичны для морали могущественных. И если, наоборот, люди «современных идей» почти инстинктивно верят в «прогресс», в «будущее», если они все в большей степени утрачивают почтение к старости, то одним этим уже они выдают неблагородное происхождение этих «идей». Но чем особенно мораль господ чужда современным вкусам, это строгостью основного принципа, гласящего, что человек имеет обязанности только по отношению к равным

себе; что по отношению к существам более низкого ранга, по отношению ко всему чуждому, может поступать по благоусмотрению, или «как подскажет сердце», и что эти поступки находятся, во всяком случае, «вне сферы добра и зла»: — сюда может быть отнесено сострадание и т. д. Способность и обязанность к долгой благодарности и продолжительной мести — все это лишь по отношению к равным себе; изысканность в возмездии, утонченность в дружбе, известная потребность иметь врагов (в качестве отвлекающего для аффектов зависти, сварливости, заносчивости — для того чтобы быть способным к доброй дружбе): все эти типичные признаки благородной морали, которая, как было уже отмечено, не является моралью «современных идей» и которой поэтому в наше время трудно сочувствовать, как трудно и откапывать и разыскивать ее. Иначе обстоит дело со вторым типом морали, с *моралью рабов*. Представим себе, что насируемые, угнетенные, страждущие, несвободные, неуверенные в себе и усталые вздумают морализировать: что будет общего в их моральных критериях? По всей вероятности, в них выразится пессимистическая озлобленность по отношению ко всему положению человека, быть может, осуждение человека вместе с положением его. Раб смотрит с недоброжелательством на доблести могущественного; он наделен скептицизмом, недоверием, утонченностью в недоверии ко всему тому, что там считается «хорошим», он старается убедить себя, что счастье там не настоящее. Он выделяет и превозносит, наоборот, те свойства, которые облегчают жизнь страждущему: сострадание, услужливость в оказывании помощи, сердечная теплота, терпение, прилежание, смирение, приветливость — вот полезные свойства и почти единственные способы переносить тяготу существования. Мораль рабов по существу своему — утилитарная мораль. Вот источник возникновения знаменитого противопоставления добра и зла: — в понятие «зло» включается

могущество, опасность, сила, на которую не подымется презрение. Согласно морали рабов, «злой» внушает страх; согласно морали господ, именно «хороший» внушает страх; желает внушать страх, тогда как «дурной» вызывает презрение. Эта противоположность доходит до своего апогея, сообразно с выводами морали рабов, когда на «доброе» тоже начинает падать тень пренебрежения — хотя бы незначительного и благосклонного, — так как «добрый», согласно рабскому образу мыслей, должен быть во всяком случае *неопасным*; он благодушен, легко поддается обману, немножко простоват, быть может, *un bonhomme*. Везде, где преобладает мораль рабов, наблюдается склонность языка к сближению слов «глупый» и «добрый». — Последнее основное различие: требование свободы, инстинктивная жажда счастья, утонченность в чувстве свободы тоже необходимо относится к морали рабов и их нравственности, подобно тому, как искусство и увлечение в благоговении, в преданности является постоянным симптомом аристократического образа мыслей и способа оценки. — Отсюда само собой понятно, почему любовь как *страсть* — это наша европейская специальность — должна быть обязательно благородного происхождения; изобретение ее принадлежит, как известно, провансальским рыцарям — поэтам, которым Европа обязана так многим, чуть ли не всем, что она собою представляет.

261. Одна из вещей, которую благородному человеку особенно трудно постигнуть, это — тщеславие: он пытается отрицать присутствие его и там, где другому роду людей оно очевидно. Для него является проблемой представить себе такие существа, которые стараются возбудить в других хорошее о себе мнение, какого сами они о себе не имеют, а следовательно, и не заслуживают, и которые затем сами готовы уверовать в это мнение. Это кажется ему такой безвкусицей и таким неуважением к себе и, с другой стороны, чем-то столь смешным

и неразумным, что он охотно смотрит на тщеславие, как на нечто исключительное, и сомневается в наличности его в большинстве случаев, когда о нем заходит речь. Он будет говорить хотя бы так: «я могу ошибаться в своей ценности и все же требовать, чтобы другие признавали эту ценность такую, какою она кажется мне, — но это не тщеславие (а высокомерие или же еще чаще то, что принято называть «смирением» или «скромностью»)). Или же таким образом: «меня может радовать хорошее обо мне мнение окружающих по разным причинам: потому ли, что я их люблю и уважаю и, следовательно, радуюсь каждой их радости, потому ли, что их хорошее мнение санкционирует и подкрепляет во мне веру в мое собственное хорошее мнение, или потому, что хорошее мнение обо мне других людей, даже в тех случаях, когда я его не разделяю, полезно мне или может быть полезно — но все это еще не тщеславие». Благородный человек должен сделать над собой усилие, обратиться к историческим примерам, чтобы представить себе, что с незапамятных времен, во всех скольконибудь зависимых слоях народа, человек *был* только тем, чем он *слыл*. Не имея привычки сам производить оценку, он и себе не приписывал иной ценности, кроме той, какую приписывали ему господа (право создавать ценности есть, собственно, право господ). На привычку, и современного обычного человека всегда ждать, пока о нем сложится известное мнение, и затем инстинктивно подчиняться ему независимо от того, хорошо оно или дурно, можно смотреть как на невероятнейший атавизм. Примером этого может служить самооценка, сводящаяся к самооцениванию себя ниже своего достоинства, которой верующие женщины учатся у своих духовников, а верующий христианин у своей церкви. По мере медленного созревания демократического порядка вещей (и причины его — кровосмешения между господами и рабами) все более распространяется и усиливается

благородное и редкостное стремление самому приписывать себе известную ценность, «хорошо думать» о себе. Но этому стремлению противостоит более старая, более глубоко и основательно внедрившаяся склонность, — и в явлении тщеславия эта более старая склонность одерживать верх над более новою. Тщеславный радуется *всякому* хорошему мнению, которое кто-либо выскажет о нем (совершенно помимо того, полезно ли оно ему, верно оно или неверно), и страдает от каждого дурного отзыва. Он подчиняется обоим, *чувствует* себя подчиненным им благодаря старому инстинкту подчинения, действующему в нем. «Раб» кроется в крови тщеславного, остатки рабского лукавства. Особенно же много его осталось еще в женщине, которая старается склонить людей к хорошему о себе мнению; тот же раб падает ниц перед этим мнением, точно не сам он создал его. — Повторяю еще раз: тщеславие есть атавизм.

262. Образуется порода, устанавливается и крепнет тип вследствие продолжительной борьбы с одинаковыми по существу своему, неблагоприятными условиями. И наоборот, из опытов заводчиков известно, что породы, пользующиеся излишками корма и окруженные чрезмерным уходом, начинают обнаруживать склонность к варьированию типа и богаты диковинами и уродливостями (между прочим, и уродливыми пороками). Взгляните на любую аристократию, хотя бы на древний греческий polis или аристократию Венеции как на добровольное или недобровольное учреждение для культивирования породы, и вы увидите сожительство людей, предоставленных самим себе, отстаивающих свой род, и большею частью потому, что им приходится либо отстаивать свой род, либо подвергнуться опасности быть истребленными. Здесь отсутствуют благоприятные условия, избыток, защита, располагающие к вариантам: род нуждается сам в себе как таковой, как нечто, могущее именно благодаря своей твердости, однообразию и

простоте форм отстоять и продлить свое существование в постоянной борьбе с соседями, с восстающими или грозящими восстанием рабами или покоренными. Из многообразного опыта он узнает, каким своим свойством он обязан тем, что все еще продолжает существовать, что все еще остается победителем, назло всем богам и людям. Эти свойства он называет добродетелями и только их и культивирует. Он делает это с жестокостью, он жаждет жестокости; любая аристократическая мораль нетерпима, в воспитании ли юношества, в проявлении ли своих прав над женщинами, в соблюдении ли брачных обычаев, в установлении ли отношений юношей к старикам, в карающем ли законодательстве, обращенном лишь против вырождков. Нетерпимость он даже причисляет к добродетелям под названием «справедливость». Таким образом, вопреки смене поколений, закрепляется тип с немногими, но крайне резко выраженными чертами, род суровых, воинственных, разумно-молчаливых и замкнутых людей (обладающих утонченнейшей восприимчивостью по отношению к чарам и оттенкам общества). Постоянная борьба с постоянно-одинаковыми неблагоприятными условиями является, как было уже сказано, причиной того, что тип закрепляется и делается мощным. Но бывают счастливые положения, когда чрезмерное напряжение ослабевает, например в такие моменты, когда среди соседей нет больше врагов, средства же к жизни, наслаждению жизнью имеются в избытке. Одним ударом разрываются путы старой культивировки: она перестала уже быть необходимым условием существования, — и если продолжает жить, то лишь как архаизм, как одна из форм роскоши. Варьирования, в форме ли отклонения в сторону высшего, утонченного, редкостного или же вырождения и уродливости, появляются на сцене во всем великолепии; индивид решается выделиться как отдельная единица. На этих поворотных пунктах истории часто начинается колоссальный, как бы

тропический рост индивида, безграничное стремление вверх и вперед, обуславливающее массовую гибель, благодаря направленным друг против друга, как бы взрывающимся эгоизмам, борющимся друг с другом из-за солнца и света и разучившимся черпать из прежней морали границы, узду, пощаду. Эта мораль сама накопила невероятное количество сил, натянула тетиву угрожающим образом: — теперь она отживает, отжила свой век. Достигнут тот опасный пункт, когда более крупная, многообразная, широкая жизнь переживает старую мораль; индивид должен теперь сам создавать для себя законы, прибегать к искусствам и ухищрениям для самосохранения, самовозвышения, самоизбавления. Появляются все новые цели, новые средства, исчезают общеупотребительные формулы, царит взаимное непонимание и неуважение среди заключивших между собой союз; разрушение, падение и высшие желания сплетаются в ужасающий узел, гений расы, бьющий через край из рогов изобилия добра и зла, опасное совмещение весны и осени, полное новых таинственных чар, свойственных юному, неисчерпанному, неистощимому разрушению. И вот вновь налицо опасность, мать всякой морали, огромная опасность, перемещенная на этот раз, воплощенная в индивиде, в ближнем и друге, в собственном ребенке и собственном сердце, в интимнейших желаниях и стремлениях. Что должны проповедовать философы-моралисты, появляющиеся в это время? Они замечают, эти зоркие наблюдатели, что все идет к близкому концу, что все кругом разрушается и в свою очередь разрушает, что ничто не продержится и двух дней, кроме одного рода людей — посредственных. Посредственные одни только имеют шансы на продолжение рода — они люди будущего, способные пережить трудный момент; «будьте подобны им, будьте заурядными!» — вот единственная моральная формула, которая еще имеет смысл, которая еще находит слушателей. Но ее трудно проповедовать,

эту мораль посредственности! — Она ведь никогда не должна сознаваться в том, что она есть и чего она хочет! Она должна говорить об умеренности, достоинстве, об обязанностях и любви к ближнему, — трудно ей не выдать заключающуюся в ней иронию.

263. Существует известный инстинкт по отношению к рангу, который более, чем что-либо иное, является признаком высокого ранга; существует чувство удовольствия в оттенках преклонения, по которому можно угадать благородное происхождение и благородные привычки. Утонченность, доброта, величие души подвергаются серьезному испытанию, когда мимо проходит что-либо, принадлежащее к высшему рангу, но еще не огражденное признанием авторитетов от навязчивых, неловких прикосновений; что-либо, идущее своей дорогой и еще неотмеченное, неизвестное, испытующее, быть может, произвольное, замаскированное, точно живой пробный камень. Тот, чьи задача и умение заключаются в исследовании душ, должен под разными нормами пользоваться именно этим приемом, чтобы установить основную ценность души, неизменную врожденную позицию, занимаемую ею в порядке рангов: он подвергнет испытанию ее инстинкт преклонения. *Difference engendre haine*: пошлость иной натуры брызжет подчас, подобно грязной воде, если проносят мимо какой-нибудь священный сосуд, какую-нибудь драгоценность из замкнутой сокровищницы, какую-нибудь книгу с знаками великих судеб; с другой стороны, если наступает невольное умолкание, нерешительность взгляда, смягчение жестов, то в этом выражается, что душа *чувствует* близость предмета, достойного преклонения. То благоговение, которое в общем поддерживается в Европе по отношению к Библии, является наиболее ценным фактом дисциплинирования и утонченности нравов, которым Европа обязана христианству. Книги такой глубины, такого значения нуждаются для защиты своей в идущем извне деспо-

тизме авторитета, чтобы просуществовать столько тысячелетий, сколько нужно, чтобы исчерпать и разгадать их. Если толпе привилось, наконец, чувство, что не до всего можно касаться, то и это уже много; если она чувствует, что есть священные события, перед которыми она должна снимать обувь и прятать свои грязные руки, то это будет почти наибольшим возможным для нее приближением к человечности. И наоборот, ничто в человеке «современных идей», в так называемом интеллигенте, не действует так отталкивающе, как бесстыдность, дерзость взгляда и рук, с которою он все трогает, ощупывает, облизывает; весьма вероятно, что в народе, в низших классах, среди крестьян все же относительно больше благородства, вкусов и тактичности благоговения, чем у читающего газеты полусвета духа, у интеллигенции.

264. С души человека не смоешь следов того, что охотнее и постояннее всего делали его предки: занимались ли они ревностным накоплением, являясь как бы принадлежностью письменного стола и денежного ящика, будучи скромны и буржуазны в своих потребностях и добродетелях; или обладали с детства привычкой повелевать с утра до вечера, любовью к грубым удовольствиям и к суровым обязанностям, суровой ответственности; пожертвовали ли они когда-либо своими старыми привилегиями происхождения и собственности, чтобы служить всецело своим верованиям, своему «Богу», как люди с непреклонною и нежною совестью, которая стыдится всякого компромисса. Совершенно невозможно, чтобы человек не носил в себе свойств и пристрастий своих родителей и предков, что бы там на первый взгляд ни казалось. В этом проблема расы. Предположим, что мы знаем что-либо о родителях, и мы имеем право делать заключение о детях: хоть частица какой-нибудь отвратительной неводержанности, завистливости, чрезмерного воздавания себе должного — обычное трио,

составляющее атрибут плебейства, — все это так же верно должно передаться ребенку, как хотя бы зараженная кровь. Самым лучшим воспитанием и образованием можно только замаскировать такую наследственность. К чему же собственно и стремится современное воспитание и образование? В наше крайне демократическое, или что то же, плебейское время «воспитание» и «образование» должно быть непременно средством маскирования происхождения плебейства в душе и теле. Воспитатель, который в наше время вздумал бы проповедовать: «будьте правдивы, будьте естественны, будьте тем, что вы есть», даже такой добродетельный и наивный осел научился бы со временем хвататься за *бич* Горация, чтобы *прогнать природу в дверь*. А результаты? «Чернь» *войдет* в окно.

265. Рискуя доставить удовольствие наивным слушателям, я утверждаю: эгоизм есть существенное свойство благородной натуры. Под эгоизмом я подразумеваю непоколебимую веру в то, что таким существам, «как мы»; должны быть подчинены, должны приносить себя в жертву другие существа. Благородная душа относится к такому утверждению ее эгоизма безо всяких сомнений и не видит в этом ни жестокости, ни насилия, ни произвола; она считает, что такой порядок зиждется на основном законе вещей. Если б она задумалась над подысканием соответственного термина, она не преминула бы употребить слово «справедливость». Она отдает себе, при случае, отчет в том, что существуют равные ей; и как только она уяснит себе этот вопрос ранга, она в состоянии вращаться между равными и равноправными уверенно, совестливо и с уважением, словом, так же, как она обходится сама с собой, сообразно врожденной ей небесной механике, понятной всем звездам. Деликатность и самоограничение в обращении с равными является *лишним* проявлением ее эгоизма — каждая звезда является таким эгоистом: она в них почитает *себя*, и если

ради них она поступает своими правами, то лишь потому, что считает такой обмен почестей и прав как сущности всякого общения, принадлежащим тоже к естественному порядку вещей. Благородная душа дает, как и берет, исходя из острого инстинкта возмездия, который лежит в глубине ее. Понятие «милость» не имеет значения среди равных; если и существует известная манера выказывать дары свыше и затем жадно поглощать их, то это искусство, эта манера не свойственна благородной душе. Ей мешает в этом ее эгоизм. Она вообще неохотно возносит свой взгляд вверх, предпочитая смотреть или прямо перед собой, или сверху вниз. *Она знает себя на высоте.*

266. «Высоко чтить может, поистине, только тот, кто не ищет самого себя» (Гете к советнику Шлоссеру).

267. У китайцев есть поговорка, которой матери обучают своих детей: *siao-sin* — «уменьши свое сердце». В этом выражается основная склонность народов поздней культуры. Я не сомневаюсь в том, что древний грек разглядел бы и в нас самоумаление, и этим самым мы оказались бы ему «не по вкусу».

268. В чем, в конце концов, заключается обыденность? — Слова являются звуковым выражением понятий; понятия же суть более или менее определенные образные знаки для часто возвращающихся и совмещающихся ощущений, для групп ощущений. Для того чтобы понимать друг друга, недостаточно пользоваться одними и теми же словами; надо еще обозначать теми же словами один и тот же вид внутренних переживаний, надо иметь с собеседником *общий* опыт. Потому-то представители одного и того же народа лучше понимают друг друга, чем представители разных народов, даже и говорящие на одном и том же языке. Или, другими словами, если люди долго живут при одинаковых условиях (условиях климата, почвы, опасностей, потребностей, труда), то образуется целое, члены которого «понимают

друг друга», образуется народ. В душе каждого члена одно и то же число более часто повторяющихся переживаний одерживает верх над более редкими: относительно них люди начинают сталкиваться друг с другом все скорей и скорей, и вся история языка сводится к процессу сокращений; благодаря такому быстрому пониманию между членами образуется более тесная связь. Чем больше опасность, тем больше потребность быстро и легко сталкиваться о необходимом; понимать друг друга правильно в момент опасности — вот в чем прежде всего нуждаются люди для общения. Дружба и любовь подвергаются подобному же испытанию, отношения не будут прочны, если выяснится, что один из двоих при тех же словах чувствует, думает, чует, желает, боится не так, как другой. (Боязнь «вечного взаимного непонимания» — вот тот благожелательный гений, который часто удерживает людей различного пола от необдуманного союза, к которому влекут чувства и сердце, — а не какой-либо шопенгауэровский «гений рода»!). Какие группы душевных ощущений легче всего пробудятся, заговорят, отдадут приказание — определяет всю иерархию ее ценностей, ее табель благ. Критерии оценки данного человека выдают частицу строения его души, и то, в чем условия ее существования, в чем она чувствует необходимость. Предположим, что нужда сближала постоянно таких людей, которые одинаково обозначали одинаковые потребности, одинаковые переживания, и из этого придется вывести, что более легкая *сообщимость* нужды, или по существу — переживание лишь средних, обыденных переживаний будет самой мощной из всех господствующих над человеком сил. Более сходные, более обыденные люди были и суть всегда в выгоде; более избранные, утонченные, редкостные, более трудно понимаемые легко остаются одинокими, и благодаря одинокому положению более подвержены всяким злоключениям и редко продолжают свой род. Нужно призвать на помощь неве-

роятные противодействующие силы, чтобы остановить этот естественный, слишком естественный *progressus in simile*, уподобление людей друг другу, приближение к обычному, среднему уровню, к обыденному!

269. Чем более какой-либо психолог, психолог по натуре своей и разгадчик душ, будет обращать свое внимание на случаи избранные и избранных людей, тем больше для него опасность задохнуться от сострадания: твердое и ясное настроение духа ему более необходимы, чем кому-либо другому. Ведь гибель более крупных людей, более своеобразно сложившихся душ, является постоянным правилом: ужасно иметь постоянно перед своими глазами осуществление подобного правила! Многообразные мучения психолога, усматривающего эту гибель, эту внутреннюю необходимость гибели, постоянно повторяющееся «слишком поздно!» во всех смыслах слова, и так в течение всей истории, могут, по-видимому, стать в конце концов причиной того, что он и сам озлобится на свою судьбу и сделает попытку саморазрушения, что сам он «погибнет». Почти в каждом психологе обнаруживается затаенная склонность к общению с будничными и уравновешенными людьми. В этом сказывается его хроническая потребность в исцелении, забвении того, чем отягчено его сознание благодаря характеру его «ремесла». Ему свойствен страх перед собственной памятью. Суждения окружающих часто заставляют его смолкнуть: с неподвижным лицом он выслушивает, когда высказывается преклонение, восхищение, любовь там, где он видит или же не желает выдать себя своим молчанием, он определенно присоединяется, для видимости, к какому-нибудь поверхностному мнению. Парадоксальность его положения может стать настолько ужасной, что именно там, где в нем просыпается сострадание и презрение; толпа, интеллигенты, фантазеры выражают свое преклонение, — преклонение перед «великими людьми» и диковинами, во имя которых они

благословляют и превозносят свою родину, землю, человеческое достоинство и самих себя, на которых указывают юношеству, сообразно которым воспитывают молодежь... И кто знает, не происходило ли во всех крупных случаях всегда одно и то же: толпа преклонялась перед «Богом», а «Бог» этот оказывается лишь жалким жертвенным животным! Успех всегда был самым большим лежцом, — а «творение» само уже есть «успех». Великий государственный муж, завоеватель, изобретатель, до неузнаваемости замаскированы своими творениями; «творение» художника, философа само создает того, кто его создал. Великие люди, перед которыми высказывается преклонение, являются самыми дрянными, мелкими вымыслами, изобретаемыми задним числом; в области исторических ценностей царит фальсификация. Хотя бы эти великие поэты, эти Байроны, Мюссе, По, Леонарди, Клейсты, Гоголи (я не решаюсь назвать более крупные имена, но я подразумеваю их), — каковы они на деле или каковы они должны быть, являются людьми минуты, воодушевленными, чувственными, ребячливыми, легкомысленными и скоропалительными в выражении доверия и недоверия; людьми, в душах которых должна скрываться какая-нибудь надломленность; в своих произведениях они часто мстят за свою внутреннюю загрязненность, часто ищут в полетах фантазии забвения того, что напоминает им их слишком верная память, часто они с особой любовью витают над грязными болотами, пока не уподобятся блуждающим огонькам этих болот, прикидываясь в то же время светилами — и тогда народ называет их идеалистами, — часто они борются с постоянным отвращением, с возвращающимися, холодящими призраками неверия, заставляющими их жаждать славы, и получать «веру в себя» из рук опьяненных льстецов: — сколько мучений доставляют тому, кто однажды разгадал их, эти великие художники и великие люди вообще! Отсюда понятно, что именно у женщин,

которые особенно прозорливы в области страданий, и, к сожалению, наделены стремлением помогать и спасать далеко сверх своих сил, они встречают вспышки безграничного, беззаветного сострадания, непонятные толпе, в особенности толпе преклоняющейся, спешащей дать этому явлению свое самодовольное истолкование. Это сострадание переоценивает обыкновенно свои силы; женщина готова верить, что любовь *всесовершенна*, — это наиболее свойственное ей *суетное*. Но знаток человеческого сердца с грустью угадывает, как бедна, бессильна, самонадеянна, ошибочна и скорее способна к разрушению, чем к спасению; самая лучшая, глубочайшая любовь! — Возможно, что в священном образе Иисуса скрыт один из случаев мученичества ради познания любви; мученичества невинного и жаждущего сердца, не удовлетворяющегося человеческой любовью; жаждавшего только одной любви, желавшего быть любимым и жестоко, безумно обрушивавшегося на тех, кто отказывал ему в этой любви; история бедного голодного и ненасытного в любви, который измыслил ад, чтобы посылать туда тех, кто *не хочет* любить его, и который, познав, наконец, человеческую любовь, должен был измыслить Бога, чтобы он был весь любовью, способностью любить, который сжалится, наконец, над человеческой любовью, видя, как она жалка и наивна! Кто так чувствует, кто так знает любовь, тот ищет смерти. Но зачем останавливаться на таких горьких истинах? Если только мы к этому не вынуждены.

270. Духовное высокомерие и брезгливость человека, который пережил глубокие страдания (место в порядке рангов почти сполна определяется тем, как глубоко человек способен страдать), его ужасающая, пропитывающая его и придающая ему известную окраску уверенность, что благодаря своим страданиям он знает больше, чем могут знать умнейшие и мудрейшие, что он побывал в таких отдаленных странах и чувствовал себя

там, как дома, там, в странах, «о которых вы, остальные, ничего не знаете» — это молчаливое высокомерие страдающего, эта гордость избранника познания, «посвященного», почти принесенного в жертву, нуждается во всевозможных формах маскирования, чтобы оградиться от навязчивых, сострадательных прикосновений, от всех тех, кто не одинаково с ним страдает. Глубокое страдание облагораживает; оно разъединяет. Одной из наиболее утонченных форм маскирования является эпикуреизм, известная, выставляемая напоказ смелость вкусов, помогающая легко относиться к страданию и ограждать против всего скорбного и грустного. Бывают «веселые люди», которые прикрываются беззаботностью, чтобы оставаться неразгаданными: — они хотят, чтобы их не понимали. Существуют «люди науки», которые прибегают к науке, так как она помогает казаться жизнерадостным и так как научность указывает на поверхностность человека: — эти люди хотят, чтобы о них судили неправильно. Существуют люди свободные и дерзкие духом, которые скрывают и отрицают, что носят в себе разбитое, неизлечимое, гордое сердце (Гамлет, Галиани); иногда простое дурачество является маской злосчастного, слишком достоверного знания. — Из этого следует, что признак изысканной человечности относиться с «уважением к маске» и что здесь неуместна психология и любопытство.

271. Сильнее всего разъединяет людей степень и характер их чистоплотности. Тут не поможет ни порядочность, ни взаимная полезность, ни добрые желания по отношению друг к другу. Какой во всем этом смысл, если люди «не выносят запаха друг друга!» Высший инстинкт чистоплотности уединяет обладающего им человека, точно святого: потому что святость и есть высшее одухотворение названного инстинкта. Понимание неопишемого счастья очищения, пламенность и жажда, которая постоянно влечет душу от тьмы к свету, от «скорби» к

прояснению, блеску, глубине, изысканности, эта благородная склонность отмечает человека и в то же время уединяет его. Сострадание святого есть сострадание к грязи человеческого, слишком человеческого. Существуют ступени и высоты, когда и само сострадание ощущается им как загрязнение, как грязь.

272. Признаки благородства: никогда не задаваться тем, чтобы низвести наши обязанности на степень обязанностей каждого; не желать передать кому-либо свою ответственность или поделиться ею; считать свои привилегии и пользование ими, принадлежащими к разряду своих обязанностей.

273. Человек, стремящийся к крупным целям, в каждом встречном видит либо средство, либо задержку и препятствие, либо временное отдохновение. Свойственная ему высокопробная доброта может проявиться только тогда, когда он почувствует себя на высоте и будет господствовать. Нетерпение и сознание необходимости пока что разыгрывать комедию — потому что и война ведь есть комедия, скрывающая, как и всякое средство, свою цель, — эта необходимость портит ему всякое общение с людьми: этот род людей знаком с одиночеством и с тем, что в нем особенно ядовито.

274. Проблема ожидающих. — Необходимо счастливое стечение обстоятельств и многое, чего вперед не учесть, чтобы более крупный человек, носящий в своей груди решение проблемы, вовремя осуществил бы то, что следует. Обыкновенно этого *не* бывает, и во всех уголках земли сидят ожидающие, которые едва ли знают, сколько им придется ждать, а тем паче, — что они ждут понапрасну. Случается, что и пробуждающий призыв, счастливый случай, дающий «разрешение» действовать, приходит слишком поздно, тогда, когда лучшие активные силы молодости потрачены на ожидание; и многие с ужасом чувствовали, пробудившись, что члены их вялы, что они отяжелели духом! «Слишком поздно!» —

говорят они себе, потеряв веру в себя и сделавшись отныне бесполезными навеки. Не является ли в царстве гения «Рафаэль без рук» в самом широком смысле слова не исключением, а может быть, правилом? Гениальность, быть может, не такое уж редкое явление, но редко налицо те пятьсот рук, которые нужны ей, чтобы овладеть нужным моментом, чтобы схватить случай за горло.

275. Кто не хочет видеть в человеке того, что в нем возвышенно, особенно зорко присматривается к тому, что в нем низменно и поверхностно — и этим он выдает самого себя.

276. При всякого рода лишениях и утратах более грубая и низменная душа страдает меньше, чем более высокая. Последняя подвергается большей опасности; больше шансов, что ей не посчастливится и что она погибнет, благодаря сложности ее жизненных условий. — У ящерицы вырастает хвост, которого она лишилась; не так обстоит дело у человека.

277. Скверно! Опять старая история! Окончив постройку дома, замечаешь, что при этом научился кое-чему, что следовало знать, приступая к постройке. Вечное, печальное «слишком поздно!» — Горестность всего законченного.

278. Странник, кто ты? Я вижу, как ты идешь своим путем, без насмешек, без любви, с загадочным взором; влажный и грустный, подобно лоту, который, не будучи насыщен, извлекается из глубин на свет Божий — что ищет он в этих глубинах? — с грудью без вздохов, с устами, старающимися скрыть отвращение, с рукой, медленно ощупывающей окружающее. Кто ты? Что совершил ты? Отдохни здесь: это место гостеприимно встречает всякого, — отдохни! Кто бы ты ни был, поведай, чего бы желал ты теперь? Что облегчит тебе отдых? Назови, и все что у меня есть — к твоим услугам! «Отдохнуть? О, любопытный, что сказал ты? Но дай мне, я прошу тебя...» — «Что, что, скажи, мне!» — «Еще одну маску! Вторую маску!»

279. Люди глубокой скорби выдают себя, когда они счастливы: у них есть особая манера воспринимать счастье, точно они желали бы заглушить, задушить его, — из ревности! Увы, они слишком хорошо знают, что оно убежит от них!

280. «Плохо дело! Разве вы не видите, что он отступает?» — Верно, но вы плохо понимаете его, если жалуетесь на это. Он отступает, как всякий, собирающийся сделать большой прыжок.

281. «Поверят ли мне? — но я требую, чтобы мне поверили, что я всегда дурно думал о себе и только изредка, вынужденный, всегда без удовольствия, готовый всегда отвлечься от «себя», без веры в результаты, благодаря непреодолимому недоверию к возможности самопознания, которое довело меня до того, что самое понятие «непосредственное познание», допускаемое теоретиками, кажется мне противоречащим себе: в этом факте заключается самое достоверное, что я знаю о себе. Во мне живет, очевидно, упорное нежелание определенно верить во что-либо, касающееся меня. — Быть может, за этим скрывается загадка? — Возможно, но мне она, к счастью, не по зубам. — Быть может, здесь выдает себя *species*, к которому я принадлежу? — Но только выдает не мне, как я того и желаю».

282. «Но что случилось с тобой?» — «Я не знаю, быть может, Гарпии пролетели над моим столом». — В наше время случается подчас, что мягкий, спокойный, сдержанный человек внезапно приходит в бешенство, начинает бить тарелки, опрокидывать столы, кричать, шуметь, оскорблять весь мир — и, в конце концов, отходит в сторону, пристыженный, негодуя на самого себя, — куда, зачем? — Чтобы умереть с голоду в сторонке? Чтобы заглушить свои воспоминания? — Тут, кто обладает страстями высокой, избранной души и лишь редко находит свой стол накрытым, свою пищу готовой, тот во все времена подвергается великой опасности; в наше же время опасность эта необычайно возрастает. Зброшенный

в сторону шумной, плебейской эпохи, с представителями которой он не может есть из одной чашки, он легко может погибнуть от голода и жажды, а если решится притронуться к общей еде, — то и от послеобеденной тошноты. Всем нам приходилось не раз сидеть за столами, где мы чувствовали себя не у места; и наиболее требовательные из нас, питать которых особенно трудно, знакомы с той опасной *диспепсией*, которая проистекает из внезапного уразумения и разочарования относительно нашей пищи и наших соседей за столом, — с послеобеденной тошнотой.

283. Если у нас есть вообще желание хвалить, то утонченное и благородное самообладание требует, чтобы мы хвалили только то, с чем мы не соглашаемся; в противном случае это значило бы хвалить самого себя, что претит хорошему вкусу. Такое самообладание дает постоянные поводы и толчки к тому, чтобы быть неправильно понятым. Чтобы позволить себе такую роскошь вкуса и нравственного чувства, требуется одно условие: следует жить не среди глупцов, а среди людей, у которых даже неправильное понимание и ошибки забавны благодаря своей утонченности. Если это условие отсутствует, то приходится платить слишком дорого! «Он хвалит меня, следовательно, он считает меня правым», — этот идиотский способ заключения отравляет нам, отшельникам, половину жизни, потому что сближает нас с идиотами и делает их нашими друзьями.

284. Жить с невероятным, горделивым хладнокровием; всегда по ту сторону. По желанию иметь аффекты или не иметь их, снисходить до них на часок-другой; оседлывать их, как коней, а порой, как ослов: ведь нужно же уметь пользоваться и глупостью их, и огнем; хранить свои триста масок, а также и черные очки: ведь бывают случаи, когда никто не должен заглядывать нам в глаза, а тем паче в душу. Избрать себе в компаньоны плутовской и веселый порок, учтивость. Быть господином своих четырех добродетелей: смелости, проница-

тельности, сочувствия и любви к одиночеству. Ведь у нас одиночество есть добродетель, утонченная склонность к чистоплотности, угадывающая, что при соприкосновении с людьми, с «обществом» дело непременно обстоит нечисто. Всякое общение как-нибудь, где-нибудь и когда-нибудь делает «пошлым».

285. Крупные события и мысли (крупные мысли и являются самыми крупными событиями) понимаются позже, чем что-либо иное: современные им поколения не переживают их, они проходят мимо. Здесь происходит то же самое, что и в царстве звезд. Свет самых отдаленных звезд позже всего доходит до человека; и пока он не дойдет до него, человек отрицает, что там есть звезды. «Сколько веков нужно духу, чтобы быть понятым?» Вот критерий ранга для духа и звезды.

286. «Здесь вид открыт, здесь дух на высоте». — Есть противоположного рода люди, которые, стоя на высоте, особенно охотно смотрят *вниз*.

287. В чем заключается благородство? Что означает в наши дни слово «благородно»? В чем проявляется, почему можно узнать благородного человека под нашим тяжелым, туманным небом возникающего господства черни, под которым все становится непроницаемым и свинцовым. Не поступки отмечают его: поступки можно истолковывать различно, найти основание для них невозможно; творения человека тоже не могут нам помочь разобраться в нем. Среди художников и ученых можно в наше время найти немало таких, которые в произведениях своих выдают то глубокое стремление к благородному, которое движет ими: но именно эта потребность в благородном по существу своему отличается от потребностей самой благородной души и является красноречивым указанием на недостатки его. Не творения, а вера является здесь решающей, определяющей ранг, скажем мы, применяя старый религиозный термин в новом и более глубоком смысле: какая-либо основная уверенность, имеющаяся у благородной души по отношению к

ней самой, нечто такое, чего не сыщешь, не найдешь, да, пожалуй, и не потеряешь. Благородная душа чтит сама себя.

288. Есть люди, обладающие таким крупным умом, что как бы они его ни прятали, как бы ни закрывали руками предательских глаз (точно руки не могут быть предателями), все же проглядывает в конце концов то, что они прячут: их ум. Одним из лучших средств поддерживать обман возможно дольше — что в жизни часто так же желательно, как дождевой зонтик, — является так называемое «воодушевление», причисляя сюда и то, что сюда относится, хотя бы добродетель. По словам Галиани, который должен был это знать, *vertu est enthousiasme*.

289. В произведениях отшельника всегда слышится какой-то отзвук пустыни, какой-то шепот и робкое оглядывание кругом, свойственное уединению; в самых сильных словах его, даже в крике, звучит какое-то молчание, замалчивание чего-то. Кто из года в год, ночью и днем, остается глаз на глаз со своей думой и ведет с ней диалоги, кто сделался в своей пещере — будь то лабиринт или золотоносная шахта — пещерным медведем, или искателем клада, или хранителем его, или драконом, у него все понятия получают в конце концов двойственную окраску, запах глубины и праха, что-то непередаваемое, веющее холодом на всякого проходящего мимо. Отшельник никогда не верит, что кто-либо из философов — предполагая, что философ всегда является прежде отшельником — выразил когда-либо в книгах свои истинные и законченные мысли: разве книги не пишут именно для того, чтобы спрятать то, что хранишь в себе? — он сомневается даже, чтобы философ вообще мог иметь «истинные и законченные» мысли, что за каждой пещерой он не таит более глубокую пещеру — более обширный чуждый и богатый мир над каждой поверхностью, пропасть позади каждой почвы, каждого «обоснования». Каждая философия есть философия видимости — вот мнение отшельника: «есть что-то произвольное в том,

что он остановился именно здесь, оглянулся назад, кругом, что он здесь не копнул еще глубже и отбросил лопату, — тут кроется также что-то недоверчивое». Каждая философия *скрывает* в то же время философию; каждое мнение есть убежище, каждое слово — маска.

290. Каждый глубокий мыслитель больше боится быть понятым, чем непонятым. В последнем случае страдает, быть может, его тщеславие, в первом же — его сердце, его сочувствие, которое постоянно твердит: «ах, зачем вы хотите, чтобы вам было так же тяжело, как мне?».

291. Человек — многообразное, изолгавшееся, неестественное, непроницаемое животное, опасное другим зверям не столько своей силой, сколько хитростью и разумностью, — измыслил чистую совесть, чтобы ощущать удовлетворение своей душой, как чем-то простым; и вся мораль является смелой, продолжительной фальсификацией, с помощью которой только и возможно чувство удовлетворения при созерцании своей души. С этой точки зрения к понятию «искусство» относится гораздо больше вещей, чем принято думать.

292. Философ — это такого рода человек, который постоянно переживает, видит, слышит совершенно особенные вещи, надеется на них, мечтает о них; которого собственные мысли поражают как бы извне, сверху вниз, точно удары молнии; который сам является, быть может, грозой, чреватой новыми молниями; роковой человек, вокруг которого все злобствует, ворчит, гремит и происходит что-то страшное. Философ — это несчастное существо, часто жаждущее бежать само от себя, часто страшась само себя, но слишком любопытное, чтобы вновь и вновь не «возвращаться к себе».

293. Человек, который говорит: «это нравится мне, это я беру себе и буду защищать от кого бы то ни было», человек, который может руководить делом, провести свое решение, быть верным своему убеждению, удерживать женщину, наказать и повергнуть дерзкого; человек, владеющий своим гневом и мечом, которому охотно

подчиняются слабые, страждущие, угнетенные, а также и животные, словом, человек, который является господином по природе своей, — когда такой человек чувствует сострадание, это сострадание имеет цену! Но какую ценность может иметь сострадание страждущих или тех, кто проповедует сострадание! В наши дни по всей Европе распространена болезненная чувствительность к боли и отвратительная невоздержанность в жалобах, изнеженность, которая старается с помощью религиозного хлама изобразить из себя нечто более возвышенное. В наши дни существует форменный культ страдания. Отсутствие мужественности в том, что в кругу подобных фантазеров называется «состраданием», бросается, на мой взгляд, прежде всего в глаза. Следовало бы основательно и крепко обуздать этого рода дурной вкус; и я желал бы, чтобы как средство против него прикладывали к сердцу талисман «gai saber», или яснее — «радостную науку».

294. Олимпийский порок. — Вопреки тому философу, который, как истый англичанин, старался создать дурную славу смеху мыслящего человека («смех представляет собою злой недуг человеческой натуры, с которым должен бороться всякий мыслящий человек». Гоббс), я готов, наоборот, сообразно характеру смеха философа определить его место в порядке рангов, вплоть до тех, кто способен к *золотому* смеху. И предполагая, что и боги тоже философствуют, — к чему я уже приходил в своих заключениях, — я не сомневаюсь, что и они при этом смеются особым сверхчеловеческим смехом, — и в ущерб всем серьезным вещам! Боги склонны к насмешке: по-видимому, они не могут удержаться от смеха, даже священнодействуя.

295. Гений сердца, присущий великому Сокровенному, богу — искустителю человеческой совести, голое которого способен проникать в преисподнюю каждой души, который не скажет слова, не кинет взгляда, не содержащего в себе какой-либо приманки, который мастерски умеет прикидываться не тем, что он есть, а тем, что мог-

ло бы заставить людей еще более приблизиться, прижаться к нему, еще более охотно следовать ему; гений сердца, заставляющий умолкать и приучающий вслушиваться во все шумное и самодовольное, сглаживающий неровности грубой души и внушающий ей новые желания — лежать тихо, точно зеркало, чтобы в нем отражалась глубина неба; гений сердца, сдерживающий неловкую и торопливую руку, научающий ее более мягким движениям, угадывающий присутствие скрытого сокровища, каплю доброты и ума под мутным, толстым слоем льда и являющийся магическим жезлом по отношению ко всякой крупинке золота, погребенной издавна под илом и песком; гений сердца, от прикосновения которого каждый уходит обогащенным, — не помилованным, не облагодетельствованным и подавленным чужим даром, а обогащенным самим собою, обновленным, пробужденным, обвеянным теплым ветерком, быть может, более неуверенным, нежным, хрупким, надломленным; но полным надежд, для которых нет еще имени, полным новой жажды, новых порывов, полным новым негодованием, стремлением назад — но что делаю я, друзья мои! О, как говорю я вам? Неужели я забылся настолько, что не назвал вам его имени? Быть может, вы уже сами догадались, кто этот загадочный дух и бог, восхваляемый подобным образом? Со мною произошло то же, что бывает со всяким, с детства вращавшимся среди чужих, — мне перебежали дорогу странные и небезопасные духи, и прежде всего тот, о котором я только что говорил, — не более не менее как сам бог Дионис, этот великий бог-искуситель, которому я однажды, как вам известно, принес в жертву своих первенцев, в полной тайне и благоговении (я был, по-видимому, последним из приносивших ему жертвы: потому что не нашлось никого, кто бы понял, что я тогда совершил). За это время я еще во многое, в слишком многое вник относительно философии этого бога, — я, последний ученик и посвященный бога Диониса: не пора ли мне начать знакомить вас, друзья

мои, насколько только это мне дозволено, с этой философией! Вполголоса, конечно, потому что здесь дело касается многого сокровенного, нового, чуждого, странного, страшного. Уже одно то, что Дионис — философ и что боги философствуют, кажется мне новостью, не лишнюю коварства и способной вызвать недоверие именно среди философов. Среди вас, друзья мои, она встретит меньше возражений, быть может, потому, что явилась слишком поздно, не в урочный час: потому что вы нынче, как я слышал, неохотно верите в Бога и богов. Быть может, в фривольности своего рассказа я зайду дальше; чем то будет приятно вам? Право же, в подобных диалогах бог этот заходил гораздо дальше меня, и мне не сравняться с ним... Если б было дозволено петь ему хвалы, я, согласно людскому обыкновению, мог бы наградить его многими добродетелями, воспеть его смелость анализа, его дерзкую откровенность, правдивость и любовь к мудрости. Но весь этот почтенный хлам, вся эта мишура не нужны такому богу. «Сохрани их, — сказал бы он, — для себя, подобных тебе и тех, кому это нужно! У меня нет оснований прикрывать свою наготу». Вы догадываетесь, что у такого рода божества и философа отсутствует чувство стыда? Так, он сказал однажды: «При случае я люблю и человека, — и при этом он подмигнул на Ариадну, которая тут присутствовала, — человек является для меня приятным, смелым, изобретательным зверем, которому нет на земле равных; он выберется из любого лабиринта. Я добр к нему: я часто думаю о том, как мне сделать его более сильным, более злым и глубоким, чем он есть теперь». «Более сильным, злым, глубоким?» — спросил я в ужасе. «Да, — повторил он, — более сильным, злым, глубоким и более прекрасным», — и при этом бог-искуситель усмехнулся, точно сказал что-то обворожительно-учтивое. Вы видите, у этого бога отсутствует не только стыд: многое заставляет предполагать, что кое-чему боги могли бы научиться у нас. Мы, люди, более человечны...

296. Что случилось с вами, моими написанными пером и кистью мыслями? Еще не так давно вы были яркие, юны и злостны, полны шипов и тайных пряностей, заставлявших меня чихать и смеяться, а теперь? Вы уже утратили свою новизну, и некоторые из вас, к моему отчаянию, готовы стать истинами: такими бессмертными выглядят они, такими порядочными и такими скучными! И было ли уж когда-нибудь иначе? Что же описываем мы, мандарины, своей китайской кисточкой, мы, увековечивающие все, что поддается описанию, что можем мы описать? Увы, всегда лишь то, что начинает блекнуть и выдыхаться. Лишь удаляющиеся и исчерпанные грозы и блеклые, запоздалые чувства. Увы, лишь всегда тех птиц, которые долетались до усталости и даются нам в руки, в *наши* руки! Мы увековечиваем лишь то, чему уж недолго осталось жить, все усталое и дряблое! И только для ваших сумерек, мысли мои, писанные пером и кистью, только для них есть у меня краски, может быть, бездна красок, пестрых и нежных, желтых, бурых, зеленых и красных; но по ним никто не угадает, как выглядели на заре, вы, внезапные искры и чудеса моего одиночества, мои старые любимые, мои опасные мысли!

На высоких горах **Заключительная песнь**

О полдень жизни! Светлая пора!
О сад цветущий!
Пришлось стоять, глядеть в тоске гнетущей
И ждать друзей с утра и до утра...
Где вы, друзья? Сюда! Пора, пора!
Для вас уже и глетчера бока
Порозовели!
Ручей вас ждет; с тоскою улетели
В высь голубую ветр и облака,
Чтоб легче вас найти издалека.
На высоте для вас накрыл я стол, —
Но кто к тьмам звездным

Так близок? Кто — к далеким мрачным безднам?
Чья власть обширнее, чем мой престол?
И кто ел мед моих работниц — пчел?
Вот вы! но не меня хотите вы,
Друзья, увидеть:
Вы медлите, — о, лучше ненавидеть!
Не прячьте так рук, ног и головы!
Друзья, тот, кем я стал, не ваш, увы!
Я стал иным? Сам от себя бежал?
В вражде с собою?
Борец, что часто брал себя же с бою,
Себя своею силою стеснял,
Себя своей победой уязвлял?
Искал я, где сильнее ветра бой?
Ушел в пределы,
Где из живых — один медведь лишь белый
Порвал с добром и злом, хулой, мольбой.
Ношусь, как дух, над бездной ледяной?
Друзья, вы — бледны, вид ваш так устал,
Вы — в колебании!
Уйдите! здесь вы жить не в состоянии.
Здесь, между царством льда и царством скал,
Охотником я стал и серной стал.
Охотником — и злым! Взгляните, лук
Натянут туго!
Тяжел был путь; моя рука упруга,
Стрела сильна: что как соскочит вдруг?
Уйдите же, прошу я вас, как друг..
Ах, вы ушли? О сердце, где мечты?
Но верь надежде!
Откройся новым радостям, как прежде!
Прочь старые! Вон из моей черты!
Теперь еще моложе, сердце, ты.
Кто разберет те знаки прежних лет,
Союз победный?
Любовь писала текст... Какой он бледный!
Пергамент смят и принял бурый цвет,

И в руки взять его охоты нет.
Друзей уж нет, от них остались лишь
Одне их тени...
«Мы были всё ж», — мне слышатся их песни.
Еще стучат ко мне в ночную тишь...
О вялый мир. В нем роз не ощутишь.
О время смутной грусти молодой!
К кому стремился,
Кого считал родными, — я лишился:
Состарились и разошлись со мной...
Кто лишь меняется, тот мне родной.
О полдень жизни, юности пора!
О сад цветущий!
Пришлось стоять, смотреть в тоске тнющей
И ждать друзей с утра и до утра,
Но *новых* уж друзей! Пора, пора!

* * * *

Умолкла *эта* песнь, тоски слова,
Слова недуга:
То сделано волшебной силой друга!
Полдневный друг, он виден мне едва...
О праздник праздников, победы зрак!
В полдневный час едино стало два.
Мы победили!
Друг *Заратустра*, гость желанный, ты ли?
Смеется мир, покров упал, и в брак
Со светом пламенным вступает мрак.





СУМЕРКИ КУМИРОВ, ИЛИ О ТОМ, КАК МОЖНО ФИЛОСОФСТВОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКА

Предисловие

Сохранить свое веселое настроение, занимаясь невеселым и ответственным перед массой делом, — это немалое достоинство в художественном произведении... И, действительно, что необходимо для веселого настроения? Без выходящего из границ веселья не удастся никакое дело. Только излишек силы и служит доказательством силы. Вопрос «о переоценке всех оценок» так мрачен, так страшен, что он бросает тень и на того, кто его задает, — такая мрачная судьба этой задачи заставляет человека выбегать всякую минуту на солнце и стряхивать с себя тяжелую, подавляющую своею тяжестью, серьезность. Для этого пригодно всякое средство, и всякий «случай» может считаться счастливым случаем. Прежде всего, война. Война была всегда очень разумным делом со стороны слишком серьезных и слишком глубоких умов; даже сами раны обладают целительной силой. Уже давно моим излюбленным изречением сделалось следующее изречение, происхождение которого я скорую от любопытных ученых: *increscunt qnimi, virescit volnere virtus.*

Другой способ исцеления, в некоторых случаях, по моему мнению, даже более желательный — это ПОДСЛУШИВАТЬ ТАЙНЫ КУМИРОВ... В мире больше кумиров, нежели действительных достоинств: таков мой «злой взгляд» на этот мир и точно таков же мой «злой слух». Поставить здесь сразу вопросы, твердо, вбивая их, как бы МОЛОТОМ и, может быть, услышать в ответ на них тот всем известный глухой звук, который производят в кишках ветры — в какой восторг это может привести того, у кого за ушами есть еще и другие уши — меня, старого психолога и крысолова, перед которым именно то, чему не хотелось бы высказываться, НЕПРЕМЕННО ДОЛЖНО ЗАГОВОРИТЬ... И эта книга, так же как и та, которая называется «Падение Вагнера» — есть прежде всего отдых, освещенное солнцем местечко, прыжок в сторону, в область праздности психолога. Может быть, это тоже новая война? Уж не подслушиваются ли в этой книге тайны новых кумиров?.. Эта маленькая книжка представляет собою объявление великой войны; что же касается до подслушивания тайн кумиров, то на этот раз дело идет совсем не о современных кумирах, но о кумирах ВЕЧНЫХ, которых мы пробуем и молотком и камертоном — вообще, это самые древние, самые самонадеянные и самые надутые кумиры... И вместе с этим самые пустые... Впрочем, это не мешает тому, чтобы им верили гораздо больше, чем другим, и даже в некоторых особенных случаях говорят, что это вовсе не кумиры...

Турин, 30 сентября 1888 года, в тот день, когда была дописана первая книга «Переоценки всех оценок».

Фридрих Ницше

Афоризмы и стрелы

1

Праздность есть мать всякой психологии. Как, разве психология порок?

2

Даже самый храбрый из нас часто робеет, когда дело коснется настоящего знания.

3

Для того чтобы жить в одиночестве, нужно быть или животным, или богом — говорит Аристотель. Есть еще и третий случай, о котором он не упоминает: это в одно и то же время быть и тем и другим, одним словом — философом.

4

«Всякая истина проста». Разве это не двойная ложь?

5

Я не хочу, говорю это раз навсегда, знать слишком много. Уметь ограничивать познание — это тоже мудрость.

6

Человеку отдохновением от неестественности и умственного развития — служит его первобытная природа.

7

.....

8

Из устава военной школы, то есть жизни. То, что меня не убьет, сделает меня сильнее.

9

Помогай самому себе, тогда тебе и всякий поможет. Таков принцип любви к ближнему.

10

Никогда не будь трусом в своих действиях! Никогда не оставайся только при одном намерении! Угрызения совести не имеют большого значения.

11

Может ли когда-нибудь осел быть в трагическом положении? — Это тогда, когда он падает под тяжестью такого бремени, которого он не может ни нести, ни сбросить, не правда ли? Именно в таком положении бывает философ.

12

Когда человек упорно преследует в жизни какую-нибудь цель, то он бывает не особенно разборчив на средства. Никто так не добивается удачи в деле, как это делают англичане.

13

Мужчина создал женщину — из чего же? Из ребра своего божества — своего «идеала».

14

Как? Ты ищешь? Тебе хотелось бы удесяттериться, умножиться во сто раз? Ты ищешь себе последователей? — Ищи людей ничтожных — нулей!

15

Людей, стоящих впереди своего века, людей, как, например, меня, — понимают гораздо хуже, чем современных, но зато их внимательнее слушают. Говоря точнее, нас не поймут никогда — и вот причина того авторитета, которым мы пользуемся.

16

Между женщинами. Истина? О, вы не знаете истины. Разве она не представляет собою покушения на все наши «pudeurs»?

17

Вот такой художник, каких я люблю, человек с очень ограниченными потребностями: ему, собственно говоря, нужны всего только две вещи — его хлеб и его искусство — *panem et circen*.

18

Тот, кто не умеет подчинить вещи своей воле, старается, по крайней мере, придать им какой-нибудь смысл, то есть он верит, что в них уже есть воля (Правило «веры»).

19

Как? Вы выбрали себе добродетель и вместе с нею выпяченную грудь, а в то же время сами посматриваете искоса на прибыль, получаемую людьми неразборчивыми? Но ведь с добродетелью обыкновенно отказываются от «прибыли».
(Надпись на входную дверь одному антисемиту).

20

Настоящая женщина занимается литературой точно так же, как она делает какой-нибудь маленький грешок: ради опыта, мимоходом, оглядывается, не замечает ли кто-нибудь, и в то же время желает, чтобы кто-нибудь заметил.

21

Отправиться в те самые места, где нет никаких показных добродетелей, где человек, как плясун на канате, или падает с него, или стоит на нем, или же попросту с него сходит.

22

«У злых людей нет песен». А почему же у русских есть песни?

23

«Немецкий дух» уже целых восемнадцать лет представляет собою *contradictio in adjecto*.

24

Если будешь искать начала, то сделаешься раком. Историк смотрит назад, да и думает он только о том, что осталось позади.

25

Кто доволен сам собою, тот застрахован от простуды. Разве простудилась хоть раз в жизни такая женщина, которая сама знала, что она хорошо одета? Я беру здесь тот случай, когда она была полуодета.

26

Я питаю недоверие ко всем систематичным людям и удаляюсь от них. Желание привести все в порядок показывает недостаток порядочности.

27

Женщину считают глубокомысленной; отчего это? Оттого, что никак не могут доискаться причины ее действий. Женщина никогда не бывает поверхностной.

28

Когда у женщины — мужские добродетели, то она непременно убежит; а когда у нее нет мужских добродетелей, то она все равно убежит и без них.

29

Как много приходилось совести грызть в прежнее время! Какие у нее были хорошие зубы! Отчего же она не грызет теперь? Спроси об этом у зубного врача.

30

Кто поторопится в один раз, тот, наверное, поторопится и в другой. В первом случае он всегда сделает слишком много. Вот почему он непременно поторопится и в другой раз — и в этом последнем случае сделает слишком мало.

31

Червяк, на которого наступят ногою, заворачивается вверх. В таком положении ему гораздо меньше шансов быть опять раздавленным. На языке морали это — смирение.

32

Есть ненависть против лжи и притворства, происходящая от слишком щекотливого чувства чести; есть и еще такая же ненависть, но происходящая от трусости, так как ложь запрещается заповедью. «Слишком труслив, чтобы лгать».

33

Как мало нужно для счастья! Музыка какой-нибудь волинки. — Без музыки жизнь была бы неполна. Когда немец поет песни, то он воображает себя богом.

34

On ne peut penser et écrire gu'assis (G. Flaubert). Я узнаю тебя в этих словах, безбожник! Сиденье это и есть грех против... Только одни подвижные мысли имеют цену.

35

Бывают такие случаи, где мы, психологи, делаемся похожи на лошадей и не можем постоять спокойно: мы видим перед собою свою собственную тень и бросаемся в сторону. Для того чтобы психолог мог, вообще, смотреть на что-нибудь, ему нужно наперед хорошенько оглядеться.

36

.....

37

Ты бежишь — куда? Разве ты пастух? Или, может быть, человек исключительный? В третьем случае убежавший был бы... Первый вопрос по совести.

38

Кто ты — человек без всякого притворства? Или ты только актер? Ты заступаешь чье-нибудь место, или же сам стоишь на своем месте? — Наконец, уж не подражаешь ли ты только какому-нибудь актеру?.. Второй вопрос по совести.

39

Слова разочарованного. — Я искал великих людей и всегда находил только обезьян их идеала.

40

Кто ты, — такой ли человек, который только на все смотрит? Или же такой, который все щупает? Такой ли, который отворачивается, отходит в сторону? — Третий вопрос по совести.

41

Хочешь ли ты идти со всеми вместе? Или же идти впереди всех? Или, может быть, идти ото всех особняком... Нужно знать, чего хочешь и почему хочешь... Четвертый вопрос по совести.

42

Они были для меня ступенями, по которым я поднялся наверх, поэтому я и должен был пробежать по ним и не останавливаться. А они вообразили, что я расположусь на них отдыхать.

43

Что из того, что я прав? Я прав и тысячу раз прав. А кто смеется больше всех теперь, тот будет смеяться также и впоследствии.

44

Формула моего счастья: одно «да», одно «нет», прямая линия, цель...

Проблема Сократа

1

О жизни во все времена все мудрейшие люди, без исключения, судили одинаково: они говорили, что она

никуда не годится... Всегда и повсюду из их уст слышалась одна и та же жалоба, она звучала отчаянием, скорбью, усталостью от жизни, несогласием с жизнью. Даже сам Сократ сказал, умирая: «Жить — это значит долгое время быть больным: теперь я должен принести петуха моему спасителю Асклепию (Эскулапу)». Даже Сократу надоела жизнь. Что же это доказывает? На что это указывает? — В прежнее время сказали бы (— о, это говорили и даже довольно громко и прежде всех наши пессимисты!): «В ней должно быть, во всяком случае, что-нибудь истинное! *Consensus sapientium* доказывает истину». — А разве мы стали бы говорить так теперь? Разве мы имели бы право так говорить? В ней должно быть, во всяком случае, что-то больное — вот каков был бы наш ответ; а эти мудрейшие люди всех времен, да их надо прежде всего посмотреть вблизи! Может быть, все они стояли нетвердо на ногах? Состарились прежде времени? Тряслись от старости? Были декадентами? Может быть, мудрость появилась на земле, как ворон, который чувствует малейший запах падали?..

2

Мне самому в первый раз бросилась в глаза та несообразность, что великие люди представляют собой типы упадка, именно в таком случае, где за нее горой стоит предрассудок как ученых, так и неученых людей: это было тогда, когда я признал Сократа и Платона симптомами упадка, орудиями разложения Греции, людьми псевдогреческими и антигреческими («Происхождение трагедии», 1872 г.) Это *consensus sapientium* — что я понимал всегда лучше других — совсем не доказывает, что бы они были правы в том, в чем они согласны между собою; это доказывает скорее, что сами они, эти мудрейшие из людей, если и согласились в чем-нибудь, то только в физиологическом смысле, чтобы таким образом относиться к жизни отрицательно, — иметь право относиться

к ней отрицательно. Да, наконец, суждение о жизни, оценка жизни, ее восхваление или отрицание никогда не могут быть верными: если они и имеют какое-нибудь значение, то только как симптомы, и смотреть на них следует только как на симптомы, сами же по себе такие суждения — одни только глупости. Нужно непременно протянуть руку, чтобы схватить пальцами эту удивительную *finesse*, что цена жизни не может быть оценена. Конечно, не может быть оценена живым человеком, потому что такая тяжущаяся сторона сама представляет предмет спора и не может быть судьей в этом деле; не может быть оценена и мертвым, и это уже по другой причине. Если же философ вопрос — стоит ли жить, станет считать проблемою, то это даже может навлечь на него нарекание, возникнет сомнение в его мудрости, и она покажется невежеством. Как? Неужели все эти великие мудрецы мало того, что были декадентами, были к довершению всего и совсем немудрыми людьми? Но я возвращаюсь опять к проблеме Сократа.

3

По своему происхождению Сократ принадлежал к простонародью: Сократ — это чернь. Мы знаем, так как и теперь можем видеть это по его изображениям, что он был очень дурен собою. Дурнота, которая сама по себе внушает отвращение, у греков совершенно роняла человека в глазах его ближних. Но был ли Сократ настоящим греком, спросим мы? Дурнота очень часто служит свидетельством скрещивания каких-нибудь рас, задержанного этим скрещиванием развития. Антропологи-криминалисты говорят нам, что типичный преступник бывает всегда очень дурен собою: *monstrum in fronte*, *monstrum in animo*. Но ведь преступник — декадент. Уж не был ли и Сократ типическим преступником? По крайней мере с этим не идет в разрез мнение одного извест-

ного физиономиста, казавшееся очень неприличным друзьям Сократа. Один иностранец, физиономист, бывший проездом в Афинах, увидел там Сократа и сказал, что это — *monstrum*, и, по всей вероятности, в нем скрываются самые худшие пороки и страсти. А Сократ сказал ему в ответ на это только следующие слова: «Вы меня хорошо знаете, милостивый государь!»

4

На декадентство Сократа указывают не только всеми признаваемые беспорядочность и анархия, которые заметны были в его природных побуждениях, но о том же свидетельствует и чрезмерное развитие в нем логического элемента, и та злобность, которую он отличался и которая напоминает собою злость рахитика. Припомним также свойственные ему галлюцинации слуха, которые, выразившись в виде «Демониона Сократа», получили религиозное толкование. В нем все преувеличено, все — буфф, карикатура, но вместе с тем все спрятано, все имеет заднюю мысль и как бы зарыто в землю. Я стараюсь уяснить себе, из какой идиосинкрасии произошло это совмещение в Сократе разума, добродетели, счастья; это самое странное совмещение, проявлявшееся когда-либо и противоречащее всем инстинктам древнего эллина, каждому в отдельности.

5

Со времени Сократа греки пристращаются к диалектике: что же происходит, собственно говоря, в этом случае? Прежде всего диалектика вытесняет вкус знатного человека; вместе с диалектикой получает преобладание и чернь. До Сократа диалектические приемы не были приняты в хорошем обществе; они считались дурными манерами, они были слишком просты. Молодежи советовали

избегать таких приемов. Если кто-нибудь представлял таким образом свои доводы, то на него смотрели с недоверием. Честные суждения, так же как и честные люди, не выкладывают, как на ладони, своих доводов. Неприлично показывать всю пятерню. То, что нужно прежде всего доказать, не имеет никакой цены. Везде, где еще уважение к авторитету считается хорошим обычаем, где человек не представляет доводов в доказательство своего мнения, то только приказывает, там диалектик представляется чем-то вроде паяца: над ним смеются и слова его принимаются за шутку. — Сократ был таким паяцем, слова которого принимались совсем не за шутку: что же из этого вышло?

6

За диалектику хватаются только тогда, когда нет под рукою другого средства. Все знают, что она возбуждает к себе недоверие и что она малоубедительна. Нет ничего легче, как уничтожить тот эффект, который производит диалектик: это хорошо знают люди, присутствовавшие на таком собрании, где говорились речи. Диалектика может быть только оборонительным оружием в руках тех людей, у которых не осталось больше другого оружия. Всякое право должно быть завоевано силой: в прежнее время диалектика не была в почёте. Поэтому евреи были диалектиками; Рейнеке Фукс — также диалектик. Как, и Сократ тоже диалектик?

7

Что такое ирония Сократа? Выражение протеста? Мщение черни? Уж не наслаждается ли она, как всякий испытывший гнет человек, своєю собственною свирепостью, ударяя, точно ножом, своим силлогизмом? Не мстит ли она за себя знатным тем, что увлекает их за собою? Человек, владеющий диалектикой, держит в руках такое оружие, которое не знает пощады; тот, кто захочет

разыгрывать перед ним роль тирана, обнаружит свою слабую сторону, хотя и победит. Диалектик дает своему противнику доказательство того, что он, этот диалектик, далеко не идиот; он может привести своего соперника в ярость и вместе с тем сделать его совершенно беспомощным. Диалектик обессиливает ум своего противника. Как, разве диалектика была у Сократа только известною формой мщения?

8

Мне следует объяснить своим читателям, чем мог оттолкнуть от себя Сократ; и объяснить это очень трудно, так как он увлекателен. Во-первых, он открыл новый род «Agon'a» и был первым учителем фехтования для афинской знати. Он увлекал тем, что затрагивал агональное природное побуждение эллинов; он ввел видоизменение в борьбу между молодыми людьми и юношами. Сократ был также большим эротиком.

9

Но Сократ угадал и больше этого. Он видел закулисную сторону своих знатных афинян; он понял, что его случай, его идиосинкрасия, уже не составляет исключительного случая. Повсюду подготавливалось втихомолку точно такое же вырождение: старые Афины отжили свой век. И Сократ понял, что в нем нуждаются решительно все, — нуждаются в его средствах, в его лечении, в его собственной сноровке для самосохранения... Повсюду в инстинктах царила анархия; повсюду люди стояли очень близко к излишествам: *monstrum in animo* — такова была грозившая всем без исключения опасность. «Природные побуждения хотят сделаться тиранами; нужно придумать другого тирана, который обуздал бы их, был бы сильнее их»... Когда вышеупомянутый физиологист открыл Сократу, каким человеком был этот

последний и какое вместилище самых дурных страстей он из себя представлял, то великий ироник обронил и еще словечко, которое дает нам ключ к его загадочной натуре: «Это правда, — сказал он, — но я сделался господином над всеми». Спрашивается, каким же образом Сократ сделался господином над самим собою? Его случай был только, собственно говоря, крайним случаем, только бросающимся в глаза, ярким изображением того, что в то время начинало принимать характер общего бедствия, а именно: что никто уже не был господином над самим собою и что инстинкты стали враждовать между собою. — Представляя из себя этот крайний случай, Сократ увлекал этим других — его наводящие страх недостатки делали его заметным для каждого: он увлекал, само собою разумеется, как разгадка, как разрешение этого случая и как мнимое лечение этого недуга.

10

Когда сознается необходимость сделать разум тираном, как это и сделал Сократ, то в этом случае всегда грозит опасность, это и другое какое-нибудь начало делается также тираном. В то время в разумности видели единственное свое спасение, ее не избежали ни Сократ, ни его «больные»: они были разумны, — это было для них обязательно и это было их последнее средство. Фанатизм, с каким нападают на эту разумность все мыслящие греки, прямо указывает на их бедственное положение: они были в опасности, и им оставалось выбирать одно из двух зол — или погибнуть, или быть разумными до абсурда... Причина морального направления греческих философов, начиная с Платона, чисто патологическая, а равным образом и их оценка диалектики. Разум — добродетель — счастье — это значит только, что нужно подражать Сократу и все темные стремления постоянно освещать дневным светом, дневным светом разума. Нужно во что бы то ни стало быть умным, выражаться ясно

и понятно: всякая уступка безотчетным стремлениям, бессознательному началу ведет к

11

Мне нужно объяснить моим читателям, чем именно увлекал Сократ: он казался как бы врачом, спасителем. Нужно ли, спросим мы при этом, разъяснить то заблуждение, которое лежало в основе его «веры в непременную разумность?» Со стороны философов и моралистов мы считаем самообольщением — избавиться от декадентства тем, что они выступают против него войною. Избавление от декадентства им не по силам: то, что они считают средством для спасения, есть опять-таки выражение этого же самого декадентства; они только изменяют его форму, но не уничтожают его сущности. Сократ представляет собою недоразумение; вся стремящаяся к улучшению людей нравственность была также недоразумением... Самый яркий дневной свет, разумность во что бы то ни стало, жизнь ясная; холодная, осторожная, сознательная, без инстинкта, сопротивляющаяся инстинктам — такая жизнь и сама была болезнью, другою болезнью, — но уже никак не возвратом к «добродетели», к «здоровью», к «счастью»... Побеждать инстинкты во что бы то ни стало — это формула для выражения декадентства. Пока существует жизнь и нарождаются одно за другим новые поколения, то счастье зиждется только на инстинкте.

12

Но понимал ли это сам Сократ, этот умнейший из всех самообольстителей? Сказал ли он это, наконец, самому себе при своем мудром бесстрашии, с каким он ожидал смерти?.. Сократ хотел умереть — не Афины дали ему чашу с ядом, он сам дал ее себе, это он принудил

Афины дать ему чашу с ядом... «Сократ — не врач, — говорил он тихо самому себе, — здесь врачом может быть только смерть... Сам Сократ был только долго болен»...

«Разум» в философии

1

Вы спрашиваете меня, неужели же все является идиосинкрасией у философов?.. Например, недостаток в них исторического чутья, их ненависть даже к понятию о существовании, их египетские верования. Они думают, что оказывают чему-нибудь честь тем, что отнимают у него исторический смысл, *sub specie aeterni* — и делают из него мумию. Все, чем владели в продолжение целых тысячелетий философы, — это имевшие вид мумий отвлеченные понятия; ничто из существующего в действительности не выходило из их рук живым. Преклоняясь перед своими кумирами, эти господа, служащие своим кумирам, то есть отвлеченным понятиям, в то же время убивают их и делают из них чучела; по отношению ко всему тому, на что они молятся, они являются убийцами. Смерть, перемена, старость, так же как рождение и рост, равно служат им для отговорок, — даже для возражений. То, что есть, — этого не будет, а то что будет, этого нет в настоящее время. Все они, с отчаянием в душе, верят в бытие. И так как они не могут овладеть им, то доискиваются причин, почему оно от них скрыто. «В том, что мы не можем видеть бытия, есть что-то вводящее в заблуждение, какой-то обман; где же надо искать обманщика? — «Мы нашли его, — кричат они с величайшею радостью, — это чувственность! Эти чувства, которые и в других случаях также бывают безнравственными, обманывают нас и мешают нам видеть настоящий мир. Мораль: следует освободиться от обмана чувств, от различных форм, от истории, от лжи. История есть не

что иное, как вера в чувства, вера в ложь. Мораль: отречься от всего, что верит в чувства, от всего остального человечества: все это «простой народ». Быть философом, быть мумией, изображать монотонотеизм мимикой гробокопателя! — Подальше от всего, это имеет тело, — эту жалкую *idée fixe* греха! Оно страдает всеми недостатками логики, какие только есть, оно — спорное, даже невозможное, и разве это не наглость с его стороны, что оно представляется действительно существующим!»

2

Я, с величайшим уважением, отвожу Гераклиту особое место. В то время когда толпа других философов отвергала свидетельство чувств, потому что эти последние показывали множественность и изменение, — он отвергал их свидетельство потому, что они показывали вещи в таком виде, как будто бы у них было время и единство. И Гераклит был также неправ по отношению к чувствам. Эти последние лгут совсем не так, как полагали элейцы, и не так, как он думал — они, вообще, не лгут. Ложь заключается в том, что мы делаем из них свидетельства, — например, есть ложь единства, ложь образования вещей, субстанций времени... «Разум» — вот причина того, что мы извращаем свидетельство чувств. До тех пор пока чувства показывают постепенное образование, уничтожение, перемену, они не лгут... Но Гераклит останется вечно правым в том, что бытие есть пустая фикция. Только и есть один мир — это мир «кажущийся», а «истинный мир» есть только то, что прилагали к «кажущемуся».

3

И какие прекрасные орудия для наблюдения имеем мы в наших чувствах! Например, этот нос, о котором еще ни один философ не говорит с уважением, он — самый замысловатый инструмент, каким только мы можем

пользоваться: он мог констатировать малейшие различия движения, которых не может констатировать даже спектроскоп. В настоящее время мы ровно настолько подвинулись в науке, насколько мы выказываем решимость допустить свидетельство чувств, — насколько мы их еще изощряем, вооружаем, и, наконец, учим думать. Все остальное — уродливость и еще далеко не наука; я хочу сказать о метафизике, психологии, теории познания. Или же это формальная наука, семиотика, как, например, логика и прикладная логика — математика. В них дело идет совсем не о действительности, не говорится о ней ни разу как о проблеме, а равным образом, не затрагивается и вопрос о том, какое значение может иметь это собрание условных знаков, каким представляется логика.

4

Вторая особенность философов не менее опасна: она состоит в том, чтобы смешивать последнее с первым. Они ставят в начало и считают началом то, что происходит в конце — очень жаль! Потому что оно не должно бы приходить совсем — «высшие отвлеченные понятия» — последнее дуновение испаряющейся реальности. Это опять-таки — только новая форма свойственного им чувства уважения: высшее не должно происходить из низшего, в особенности не должно происходить... Мораль: все, что принадлежит к первому рангу, должно быть *causa sui*. Происхождение из чего-нибудь другого считается уклонением, происхождением сомнительного свойства. Все высшие оценки принадлежат к первому рангу; все высшие отвлеченные понятия, бытие, безусловное, доброе, истинное, совершенное — все это не может произойти из чего-либо, следовательно, должно быть *causa sui*. Но все это не может также быть непохоже одно на другое и не может противоречить самому себе... Самое

последнее, самое тонкое, самое нужное считается ими началом всего, причиною самой по себе тем, что называется *ens realissimus*... И человечество должно было верить бредням этих страдающих мозговою болезнью ткачей! Но оно и дорого поплатилось за это.

5

Определим же, наконец, как мы (— я говорю «мы» из вежливости) понимаем проблему заблуждения и видимости. Прежде считали изменение, постепенное образование, доказательством видимости (наружного вида) признаком того, что здесь есть что-то такое, что вводит нас в заблуждение. Теперь же, наоборот, мы видим это настолько, насколько позволяет нам видеть предрассудок разума, в единстве, торжестве, времени субстанции, причине, вещи самой по себе. Если мы хотим определить понятие о бытии, то это, некоторым образом, вовлекает нас в заблуждение, делает для нас заблуждение неизбежным; мы убеждаемся, на основании строгого отчета, который отдаем в этом самим себе, что здесь, наверно, есть заблуждение. Здесь является совершенно то же самое, что мы замечаем в движениях великого небесного светила: мы понимаем их ошибочно, основываясь на свидетельстве зрения, а в нашем случае нас вводит в заблуждение язык. Происхождение языка относится к эпохе самой элементарной формы психологии: мы найдем самый грубый фетишизм, если отнесемся сознательно к основам метафизики языка (по-немецки разума). Она видит везде действующего и действие: она верит в волю вообще, как в причину; она верит в «Я», в «Я» как бытие, в «Я» как субстанцию и простирает веру в «Я» — субстанцию на все вещи — она создает с помощью этого понятия о «вещи»... Бытие считается причиною всего, вставляется во всякую рамку. Из идеи «Я» выводится, как ее последствие, понятие о «бытии»... Уже в самом начале лежит великое, роковое заблуждение, что воля

есть что-то такое, что действует — что воля есть способность... А теперь мы знаем, что она — одно только слово. Гораздо позже, в несравненно более просвещенном мире, явилась уверенность, субъективная уверенность философов, придумавших категории разума, противоречащие сознательному бытию: они решили, что эти последние не могут происходить из эмпиризма — так как весь эмпиризм противоречит им. Откуда же они происходят? И в Индии, точно так же как и в Греции, была сделана та же самая ошибка: мы должны были когда-то существовать в каком-нибудь, нам неизвестном, высшем мире (— вместо того, чтобы сказать: в мире, стоящем несравненно ниже, что было бы истиной); наше происхождение должно быть божественное, потому что у нас есть «разум»... И в самом деле, ни одно понятие не отличалось такою сильною, но, вместе с тем, и простодушною убедительностью, как ложное понятие о бытии в том виде, как оно, например, было сформулировано элейцами: его защищает всякое слово, всякая фраза, которую мы говорим! — Даже и противники элейцев подчинялись их влиянию и разделяли их ложное понятие о бытии: в числе других и Демокрит, когда он открыл свой атом... «Разум» в языке: о, он похож на ту старую женщину, которая хочет показать, что она еще молода!

6

Читатели будут мне благодарны, если я это касающееся сущности вещей и совершенно новое воззрение выражу кратко, в четырех тезисах: этим я облегчу его понимание и вызову на бой со мною тех, кто пожелал бы возражать мне.

Первый тезис. Причины, по которым «этот» мир называется видимым, доказывают скорее его реальность; — всякую другую реальность абсолютно невозможно доказать.

Второй тезис. Те отличительные признаки, которые люди придали «истинному бытию» вещей, это — отличия

тельные признаки небытия, ничтожества; — «истинный мир» они создали из противоречия действительному миру: на самом деле это только кажущийся мир, поскольку он является морально — оптическим обманом.

Третий тезис. Сочинять басни о «другом» мире, это не имеет никакого смысла, за исключением того случая, если в нас сильно побуждение оклеветать жизнь, умалить ее, смотреть на нее подозрительно: в последнем случае мы отомщаем жизни фантазмагорией «другой», «лучшей» жизни.

Четвертый тезис. Разделение мира на «истинный» и «кажущийся», в смысле Канта, указывает собою на упадок, — это симптом заходящей жизни... То обстоятельство, что художник выше ценит «кажущееся», нежели реальное, еще не служит опровержением этого тезиса. Потому что «кажущееся» означает здесь все-таки реальное, но только избранное, усиленное, исправленное... Трагический художник не пессимист, он охотнее берет именно все загадочное и ужасное, он — последователь Диониса.

О том, как, наконец, «истинный мир» обратился в басню

История одного заблуждения

1. «Истинный мир», доступный мудрецам, людям набожным и добродетельным — он живет в них, он — это они. (Древнейшая форма, в которой выражалась идея, сравнительно разумная, простая, убедительная. Пояснение фразы: «Я, Платон, есмь истина»).

2. «Истинный мир», недостижимый в земной жизни, но обещанный мудрым, набожным, добродетельным. (Прогресс идеи: она делается хитрее, коварнее, непонятнее, — она делается женщиною).

3. «Истинный мир!..» Его нельзя достигнуть, существование его нельзя доказать, его нельзя обещать... Он выдуман как утешение, как мир, к которому человек обязан стремиться, как импульс.

(В основе прежнее солнце, но уже просвечивающее сквозь туман и скептицизм; идея, сделавшаяся выпренок, бледна, отзывается севером и воззрениями кенигсбергского философа).

4. «Истинный мир» — достигим ли он? Во всяком случае недостижим. А если недостижим, то и неизвестен. Следовательно, он не утешает, не избавляет, не налагает на человека никаких обязанностей: какие обязанности может налагать на нас что-нибудь нам неизвестное?

.....
(Раннее утро. Первый «зевок» разума. Крик петуха — это заявляет о себе позитивизм).

5. «Истинный мир» — это такая идея, которая ни на что не годна, не налагает совершенно никаких обязанностей, идея, сделавшаяся бесполезной и излишней, следовательно, идея опровергнутая: уничтожим же ее! (Белый день, время завтрака; возвращение здорового рассудка и веселого настроения; Платон краснеет от стыда; все свободомыслящие поднимают адский шум).

6. Мы уничтожили «истинный мир», какой же еще мир остался у нас? Может быть, тот «кажущийся?»... Но нет! Вместе с «истинным миром» мы уничтожили также и «кажущийся»!

(Полдень; такое время дня, когда тень бывает всего короче; конец самого продолжительного из заблуждений; апогей человечества; incipit Zarathustra).

Нравственность как противоестественное учение

1

У всякой страсти бывает такое время, когда она делается прямо роковой и увлекает свою жертву к пропасти, в которую та падает и летит вниз, отяжелев от глупости, а позже, гораздо позже этого наступает время, когда она соединяется с духом и «одухотворяется». В прежнее время ради той глупости, которая заключается в страсти, боролись и с самой страстью: давали себе клятву уничтожить ее. Все нравственные чудовища старого времени согласны между собой в том, что «il faut tuer les passions». Уничтожать страсти и страстные желания только ради их глупости и для того, чтобы предотвратить неприятные последствия их глупости — это в настоящее время кажется нам только острой формой глупости. У нас уже не пользуются особенным почетом те зубные врачи, которые вырывают зубы для того, чтобы они не болели...

2

Оскопление, искоренение употребляются по инстинкту, как средства для борьбы со страстными желаниями, теми людьми, которые слишком слабы волею, слишком выродились для того, чтобы знать в них меру, — такими натурами, для которых необходим «траппизм», говоря метафорой (и без метафоры), какое-нибудь окончательное объявление войны страстям, какая-нибудь пропасть между ними самими и страстью. Эти радикальные средства необходимы только дегенератам; слабость воли, или говоря точнее, неспособность реагировать на раздражение, — это только новая форма вырождения. Коренная вражда, смертельная вражда против чувственности всегда бывает таким симптомом, который наводит

на размышление: невольно приходят в голову различные предположения о состоянии человека, отличающегося такой крайностью. Впрочем, эта вражда и эта ненависть бывают всего сильнее тогда, когда подобные натуры сами не имеют довольно твердости для радикального лечения и для того, чтобы отречься от своего «дьявола». Перечитайте сочинения духовных лиц, философов и прибавьте к этому художников: самые ядовитые слова против чувственности были сказаны не импотентами и не аскетами, но людьми, которые не могли быть аскетами, такими, которым было бы нужно быть аскетами...

3

Одухотворение чувственности называется любовью; она представляет собой великую победу над нравственностью. Мы одержали над ней и другую победу, одухотворив вражду против страстей. Одухотворение это состоит в том, что люди вполне понимают всю выгоду иметь врагов; словом, в том, что люди делают все наоборот: они поступают совсем не так, как поступали прежде, и решаются не на то, на что решались прежде. Точно так же и в политике вражда сделалась теперь одухотвореннее — гораздо умнее, гораздо рассудительнее, гораздо сострадательнее. Почти всякая партия видит интересы самосохранения в том, чтобы не ослабевали силы противной партии; это же самое можно сказать и о политике в широких размерах. Для того, что создается вновь, например, для вновь возникшего государства враги необходимее друзей: оно сознает себя могущественным только по сравнению с врагом, и только после сравнения оно делается могущественным... Точно так же поступаем мы и по отношению к «внутреннему врагу»: мы и в этом случае также одухотворили вражду, и здесь мы тоже поняли ее значение. Плодовитым бывает только то, что богато контрастами; человек остается

«юным» только в том случае, когда душа его не предается покою, не стремится к миру... Теперь для нас сделалось совершенно чуждым то желание, которое преобладало в прежнее время, желание «душевного мира»; мы нисколько не завидуем нравственной короле и жирному счастью, принадлежащим спокойной совести. Если отказываются от войны, то это значит, что отказываются и от жизни в большом масштабе... Несомненно, что во многих случаях душевный мир бывает только недоразумением, — чем-то другим; что не может назвать себя откровеннее. Говоря без дальних околичностей и без всякого предрассудка, тут может быть несколько случаев. Например, «душевный мир» может быть незаметным переходом сильно развитого животного чувства в нравственное; или же началом усталости, первой тенью, которую бросает вечер, — вечер во всяком смысле; или признаком того, что в воздухе есть сырость, что будут дуть южные ветры; или же бессознательной благодарностью за хорошее пищеварение (которое иногда называется «человеколюбием»); или состоянием выздоравливающего, у которого утихли боли, которому все кажется новым и все нравится и который ожидает... Или же состоянием, следующим за полным удовлетворением преобладающей в нас страсти, это блаженное чувство сытости особенного рода; или старческой слабостью нашей воли, наших страстных желаний, наших пороков; или ленью, которую тщеславие уговорило нарядиться в нравственность; или появлением уверенности, даже ужасной уверенности, после долгого сомнения и мучения, происходивших от неуверенности; или, может быть, выражением зрелости и совершенства в поступках, творчестве, действиях, желаниях, выражением спокойного дыхания, достижения «свободы воли». Сумерки кумиров: кто знает, может быть, и оно — только новый род «душевного мира»...

Я возвожу принцип в формулу. Во всяком натурализме, в нравственности, то есть в здоровой нравственности, главную роль играет какой-то инстинкт жизни, — тут заповедь жизни или заключает в себе известный канон — то, что должно делать, и то, чего не должно делать, или же этой заповедью устраняется с жизненного пути все задерживающее и всякая вражда. Противоестественная нравственность, а это значит почти всякая нравственность, которой до сих пор учили, которую почитали и проповедовали, направлена, наоборот, против инстинктов жизни, она бывает частью тайным, а частью громким и смелым осуждением этих инстинктов.

5

Если поймут все, что заключает в себе преступного подобное сопротивление жизни, в том виде, в каком оно является в нравственности, как бы священном, то вместе с этим поймут, к счастью, и нечто другое: всю бесполезность, притворство, нелепость и ложь подобного сопротивления. Осуждение жизни со стороны живущего, что бы ни говорили, остается во всяком случае симптомом известного образа жизни: этим даже совсем не ставится вопрос о том, справедливо оно или несправедливо. Нужно занимать положение вне жизни, а с другой стороны знать ее очень хорошо — будет ли это отдельная личность, или многие люди, или же, наконец, все, которые жили ею — это все равно — для того, чтобы, вообще говоря, осмелиться подойти к проблеме о цене жизни: этого достаточно, чтобы понять, что такая проблема является для нас недоступною. Если мы говорим об оценках, то мы говорим по внушению, поддаваясь оптическому обману жизни: сама жизнь заставляет нас делать оценку, но когда мы делаем оценку, то оценивает сама жизнь только при нашем посредстве... Отсюда

следует, что противоестественная нравственность есть только определение цены жизни — спрашивается, какой жизни? Какого рода жизни? Но я уже дал ответ на это: заходящей, ослабленной, усталой, осужденной на смерть жизни. Нравственность, как ее понимали до сих пор, как она, наконец, была сформулирована Шопенгауэром, а именно «отрицание желания жить» — это инстинкт декадентства, который делает себе импульс из самого себя; она говорит: «Погибай!», — она есть осуждение, изрекаемое людьми, приговоренными к смерти.

6

Поймем же, наконец, какая наивность заключается в словах: «Человек должен быть таким-то и таким-то!» Мы видим в действительности приводящее нас в восторг богатство типов, расточительную роскошь разнообразных и постоянно изменяющихся форм: и вдруг какой-нибудь жалкий, подсматривающий из-за угла моралист, посмотрев на это, скажет: «Нет, человек должен быть совсем другим!» Он, этот жалкий брюзга, даже знает, каким должен быть человек; он рисует самого себя на стене и говорит, указывая на это изображение: «Вот это — человек!»... Но он не перестает быть смешным и тогда, когда обращается только к отдельному человеку и говорит ему: «Ты должен быть таким-то и таким-то». Индивидуум — это род *fatum*'а, спереди и сзади, новый закон и новая необходимость для всего, что наступит и будет. Сказать ему: «Переменись», — это значит требовать, чтобы и все переменялось, даже пошло назад... Действительно, были моралисты последовательные, они хотели, чтобы человек сделался другим, а именно, добродетельным, они хотели переделать его по своему образу и подобию, а именно, сделать брюзгою: для этого они отрицали мир! Это — немалое безумие! Это — нескромный род беззастенчивости! Нравственность, поскольку она осуждает сама по себе, не из каких-либо видов на жизнь, взглядов

на нее и намерений, есть какое-то специфическое заблуждение, которое отнюдь не должно щадить, какая-то идиосинкрасия вырождения, которая причинила страшно много зла!.. Мы же другие, мы не моралисты, наоборот, готовы от всего сердца все уразуметь, понять, одобрить. Нам нелегко отрицать, мы вменяем себе в заслугу быть поддакивающими. Мы все более и более начинаем понимать ту экономию, которая всем пользуется и все употребляет в дело, ту присущую закону жизни экономию, которая извлекает выгоду даже из противоречащих ей *species* — брюзги и добродетельного человека — какую же выгоду? — Но на это можем служить ответом только мы сами — неморалисты...

Четыре великих заблуждения

1

Заблуждение — когда причину смешивают с последствием. Нет более опасного заблуждения, как то, когда следствие смешивают с причиной: я вижу в нем порчу разума в собственном смысле. И, несмотря на то, эта ошибка или заблуждение, принадлежит к таким старым привычкам человечества, которые были сильны в нем еще в эпоху его юности: это заблуждение считается священным даже и у нас и носит название «нравственности». Его заключает в себе всякое, сформулированное нравственностью, положение. Законодатели нравственности — вот виновники всякой порчи разума. Я приведу здесь один пример. Все знают книгу известного Корнаро, в которой он советовал всем соблюдать строгую диету, считая ее рецептом для долгой и счастливой, а вместе с тем и добродетельной жизни. Редкие книги имеют так много читателей, как эта, и даже в настоящее время она ежегодно печатается в Англии во многих тысячах

экземплярах. Я твердо убежден в том, что едва ли найдется еще другая такая книга, которая была бы причиною стольких бедствий и сократила бы столько жизней, сколько этот так благосклонно принимаемый читателями курьез.

А от чего все это происходит? От смешения следствия с причиной. Честный итальянец считал свою диету причиной своей долгой жизни, а между тем необходимое условие для долгой жизни — чрезвычайная медленность обмена веществ, малый их расход был причиною его строгой диеты. Есть много или мало — это было не в его воле, его воздержанность не была «свободной волей»: он заболел, когда ел неумеренно. Но тот, кто не похож на карпа (рыбу), поступает не только хорошо, когда ест как следует, но ему это даже необходимо. Какой-нибудь современный ученый, с его быстрым истощением нервной силы, непременно погиб бы от этого режима Корнаро. *Crede experto.*

2

Самая общая формула, лежащая в основе всякой нравственности, гласит следующее: «Делай то-то и то-то, оставь то-то и то-то — и будешь счастлив! А иначе...» Таков импульс всякой нравственности, — я называю его великим первородным грехом разума, бессмертным неразумием. В моих устах формула эта является совершенно обратной — первым примером моей «переоценки всех оценок»: человек нормальный, «счастливец», должен совершать известные поступки и бояться других поступков; он вносит в свои отношения к людям и к вещам тот порядок, физиологическим проявлением которого служит он сам. Скажем это формулой: его добродетель есть следствие его счастья... Долговечная жизнь, многочисленное потомство — это вовсе не награда за добродетель, но скорее сама добродетель есть то замедление в обмене веществ, которое, вместе с другим, имеет своим

следствием долговечную жизнь и многочисленное потомство, одним словом — корнаризм. Нравственность говорит: «Как отдельное племя, так и народ погибают от порока и роскоши». Мой же восстановленный разум говорит: когда народ погибает, вырождается физиологически, последствиями этого являются порок и роскошь (то есть постоянно увеличивающаяся потребность в сильных возбудительных средствах и к более частому их употреблению, что свойственно всякой истощенной натуре). Вот молодой человек, побледневший и пожелтевший преждевременно. Его друзья говорят: это произошло от такой-то или такой-то болезни. Я же говорю: то, что он сделался болен и что организм его не мог устоять против болезни — это произошло вследствие ослабшей жизни, вследствие наследственного истощения. Читающий газеты говорит: вот эта партия сделала такую-то ошибку и вследствие этого идет прямо к своей гибели. Моя политика — политика «высшего сорта», она говорит: для партии, сделавшей такую ошибку, наступил конец — она совершенно утратила свое инстинктивное чувство самосохранения. Всякая ошибка, ошибка во всяком смысле, есть следствие вырождения инстинкта, расшатанной воли; под это же определение близко подходит и злое. Все доброе есть инстинкт, следовательно, оно легко, необходимо, свободно. Труд в этом случае есть только отговорка; божество существенным образом отличается от героев (говоря моим языком: легкие ноги — это первый атрибут божественного происхождения).

3

Заблуждение, касающееся ложной причинности. Люди во все времена думали, что они знают, что такое причина: но откуда мы взяли наше знание, или, говоря точнее, нашу веру в то, что мы это знаем? Наверно, из области тех пресловутых «внутренних фактов», из которых до сих пор еще ни один не оказался фактическим.

Мы считали самих себя причиною акта воли; мы думали, что, по крайней мере, застанем причинность на месте преступления. Никто не сомневался в том, что все антицеденты известного действия, его причины, следует искать в сознании, и что если их искать там, то они отыщутся в качестве «мотивов»: иначе мы были бы несвободны распоряжаться ими, неответственны за них. Наконец, кто бы стал спорить о том, что всякая мысль имеет свою причину? Что «Я» служит причиною мысли?.. Из этих трех «внутренних фактов», которые как бы служили порукой за причинность, первым и наиболее убедительным фактом является факт воли, как причины; понятие о сознании («духе»), как о причине и, позже, понятие о «Я» («субъекте»), как о причине, возникли только после того, как была твердо установлена волею причинность, как эмпирическое начало... Но мы имели время одуматься. Теперь мы несколько не верим во все это. «Внутренний мир» наполнен призраками, блуждающими огоньками: одним из этих последних является и воля. Теперь уже воля ничего не приводит в движение, следовательно, ею уже ничего нельзя объяснить — она только следует за антицедентами, она может также и ошибаться. Другое заблуждение — это так называемый «мотив». Он — только наружное проявление сознания, придаток действия, который скорее скрывает антицеденты действия, нежели представляет их собою. А затем это «Я»! Оно сделалось баснею, фикцией, игрою слов: оно совершенно перестало думать, чувствовать и хотеть!.. Что же следует из этого. Что нет никаких духовных причин! Весь мнимый эмпиризм отправлен за это к черту! Вот что следует из этого! А мы очень искусно, хотя и не так, как следовало, пользовались этим эмпиризмом, мы создали на нем мир причин, мир воли, мир духа. Над этим работала самая древняя и самая долговечная психология, она только этим и занималась, все случившееся было для нее действием, всякое действие — следствием воли, мир казался ей множественностью де-

ятелей, и за всем случившимся скрывался какой-нибудь деятель («субъект»). У человека были его три «внутренние факта», — то, во что он верил всего тверже, производило из себя волю, дух; «Я» — он изъяслял прежде всего понятие о бытии из понятия о «Я», он определил «вещи» существующими по своему образу и подобию, по своему понятию о «Я», как о причине. Что же удивительного, если он, впоследствии, нашел в вещах только то, что он в них спрятал? Самая вещь, повторяем мы опять, понятие о вещи, есть только отражение веры в «Я», как в причину... И даже самый ваш «атом», господи механики и физики, сколько еще заблуждения, сколько элементарной психологии осталось в этом вашем «атоме»! Не говоря уже о «вещи самой по себе», об этом *horrendum pudentum* метафизиков! Заблуждение относительно духа, как причины, смешать с реальностью! И сделать его меркою реальности!

4

Заблуждение, касающееся воображаемых причин. Нужно проснуться, чтобы не видеть такого сна, в котором, например, вследствие какого-то принадлежащего к самым отдаленным временам стремления к порядку, под известное ощущение подводится причина (часто целый маленький роман, в котором этот спящий играет главную роль) уже гораздо позже, чем оно появилось. А между тем ощущение это продолжается, являясь чем-то вроде резонанса: оно как бы ждет того времени, в которое стремление находить причины позволит ему выступить на первый план, но теперь уже не в качестве случайности, а в качестве «чувства». Стремление к порядку появляется в виде причины, причем, по-видимому, извращается понятие о времени. Сначала переживается позднейшее, подведение под мотив, часто со многими подробностями, которые мелькают так быстро, как молния, затем следует стремление... Что же бывает в этом

случае? Представления, порожденные известным состоянием, ошибочно считаются его причинами. Это же самое мы делаем и в бодрствующем состоянии. Большая часть наших общих чувств — всякого рода препятствие, давление, напряжение — восприятие всего этого органами и их реакция, так же как и состояние симпатического нерва, возбуждает наше стремление находить причины: мы хотим знать причину, почему мы находимся в том или другом состоянии, дурном или хорошем? Нам кажется недостаточно констатировать только тот факт, что мы находимся в известном состоянии. Мы допускаем этот факт, т. е. сознаем его только тогда, когда мы придадим ему какой-нибудь мотив. В памяти, которая в этом случае действует бессознательно, возникают при этом прежние подобные же состояния вместе со сросшимися с ними причинными толкованиями, но не их причинностью. Само собой разумеется, что благодаря воспоминанию является и вера в то, что причинами были представления, явления, следующие за сознанием. Таким образом, возникает привычка к известному толкованию причин, которая на самом деле только мешает исследованию причин и даже совершенно его исключает.

5

Психологическое объяснение вышесказанного. Подвести что-нибудь неизвестное под известное — это значит облегчить, успокоить, умиротворить и сверх того придать сознание силы. Со всем неизвестным соединены опасность, беспокойство, забота — и первое побуждение инстинкта состоит в том, чтобы уничтожить эти мучительные состояния. Первая аксиома: лучше иметь какое-нибудь объяснение, нежели совсем не иметь его. Если действительно дело идет только об освобождении от подавляющих представлений, то, чтобы освободиться от них, нельзя быть разборчивым на средства: первое представление, в силу которого неизвестное является

известным, так приятно, что «оно считается за истинное». Доказательством этому служит наслаждение («сила»), почитаемое за критерий истины. Таким образом, стремление находить причины обуславливается и возбуждается чувством страха. Задавая вопрос «почему?» желают знать, по возможности, не причину ради нее самой, но скорее причину известного рода — успокаивающую, выводящую из неприятного положения, облегчающую. То обстоятельство, что причиной ставится нечто уже известное, пережитое, запечатлевшееся в памяти, — является первым следствием этой потребности. Все новое, не пережитое, чуждое не принимается за причину. Таким образом, причину ищут не только в объяснениях известного рода, но именно в таких объяснениях, которые выбирают из других и предпочитают всем другим, — объяснениях, которыми всего скорее и всего чаще уничтожается сознание чего-то чуждого, нового, непережитого, — словом, в самых обычных объяснениях. Отсюда следует, что всегда берет перевес известный род постановки причин, он сосредоточивается в систему и является, наконец, преобладающим, то есть совершенно исключает собой все другие причины и объяснения — банкир прежде всего подумает о «гешефте», а молодая девушка — о своей любви.

6

Вся область нравственности, подведенная под это понятие, принадлежит к мнимым причинам. «Объяснение» неприятных общих чувств. Эти последние причиняются такими существами, которые враждебны нам (злые духи: самый известный случай — истеричные женщины, ошибочно принимаемые за ведьм). Они причиняются такими действиями, которых нельзя одобрить (сознание «греха», «греховности», под которое подводится неприятное физиологическое состояние — всегда можно найти причины быть недовольным самим

собою). Они считаются наказанием, возмездием за что-то такое, чего мы не должны бы делать и чем не должны бы быть (мы сократим здесь в одну фразу мнение Шопенгауэра, выраженное им в самой беззастенчивой форме; здесь нравственность является именно тем, что она есть, — она, собственно говоря, отравляет жизнь и клеветает на нее: «Всякая великая скорбь, телесная или душевная, указывает на то, что мы ее заслужили, потому что, если бы мы ее не заслужили, она не пришла бы к нам»).

Они являются следствиями необдуманых, плохо рассчитанных действий (аффекты, чувства, считающиеся причиной, «виновными»; физиологическая необходимость, объясняемая при помощи необходимости другого рода и в силу этого объяснения считающаяся «заслуженной»). «Объяснение» приятных общих чувств. Они обуславливаются сознанием добрых дел (так называемая «спокойная совесть», — такое физиологическое состояние, которое иногда бывает поразительно похоже на хорошее пищеварение). Они обуславливаются счастливым результатом предприятий (наивное ошибочное заключение: счастливый результат какого-нибудь предприятия не может доставить удовольствие какому-нибудь ипохондрику или, например, Паскалю). На самом деле все эти мнимые объяснения не более как состояния, происходящие от чувств наслаждения или досады и как бы переводы этих чувств на какой-то ложный язык; человек в состоянии надеяться, потому что основное физиологическое чувство является у него снова сильным и полным. Нравственность всецело принадлежит психологии заблуждения; здесь, в каждом отдельном случае, причина смешивается с действием; или же смешивается истина с действием того, что считается за истину, или, наконец, смешивается состояние сознания с причинностью этого сознания.

Ложное представление о «свободной воле». Мы теперь относимся совершенно равнодушно к понятию о «свободной воле»: мы слишком хорошо знаем, что такое это понятие. Это самая хитрая выдумка для того, чтобы сделать человечество ответственным за свои поступки. Я же здесь всю ответственность слагаю на психологию. Во всех случаях, где ищут ответственности, ее ищет обыкновенно инстинкт наказания и осуждения. Если известный образ жизни относят к воле, к намерениям, к ответственности, то уже нельзя разоблачить невинность бытия: учение о воле придумано главным образом с целью наказания, то есть желая найти виноватых. Вся старая психология, психология воли, началась с того, что ее родоначальники в древней общине хотели создать себе право налагать наказания... Людей представили «свободными» для того, чтобы иметь возможность судить их и наказывать, чтобы они могли быть «виновными»; следовательно, всякое действие должно было считаться происходящим от воли, а происхождение всякого действия должно было лежать в сознании — (благодаря чему самая настоящая подделка фальшивой монеты психологии была даже возведена в принцип этой психологии). В настоящее время, когда началось уже противоположное движение, к которому мы и принадлежим, когда мы, неморалисты, изо всех сил стараемся снова уничтожить в мире понятие о виновности и понятие о наказании и очистить от них психологию, историю, природу, общественные учреждения и постановления, у нас, по нашему мнению, нет более непримиримых врагов, как те люди, которые продолжают, благодаря своему понятию о «нравственном устройстве мира», заражать невинность бытия «страхом» и «виновностью».

В чем же, однако, состоит наше учение? В том, что никто не дает человеку его свойств, — ни общество, ни его родители и предки, ни он сам себе (бессмысленное представление, опровергнутое наконец здесь, проповедовалось Кантом как «разумная свобода», а может быть, и еще раньше, Платоном). Никто не ответственен за то, что он, вообще, живет на свете, что он создан так или иначе, что находится в известных обстоятельствах и в известной обстановке. Роковую судьбу его существа нельзя отделить от роковой судьбы всего того, что было и что будет. Он не есть следствие какого-нибудь замысла, какой-нибудь воли и цели, в нем мы не видим попытки достичь «идеального человека», или «идеального счастья», или же «идеальной нравственности» — было бы нелепо приурочить его существо к какой-нибудь цели. Мы только выдумали понятие о «цели», в действительности нет никакой цели... Мы необходимы, мы представляем собой что-то роковое, мы принадлежим к целому, мы живем в этом целом — нет ничего, что могло бы направить наше бытие, измерить его, сравнить, осудить... Но вне целого не существует ничего! Что никто уже более не ответственен, что этот род бытия не может быть отнесен к *causa prima*, что мир составляет одно целое, но не как чувственное и не как духовное представление, — вот в чем именно заключается великое освобождение, — этим и восстанавливается вновь невинность бытия...

«Исправители» человечества

1

Всем известно, чего я требую от философов: чтобы стояли по ту сторону добра и зла, и это требование не-

измеримо выше иллюзии нравственного осуждения. Это требование истекает из такого воззрения, которое было еще в первый раз сформулировано мною следующим образом: что нет никаких нравственных фактов. Нравственное осуждение верит в несуществующие реальности. Нравственность есть только объяснение известных явлений, говоря точнее — неправильное объяснение. Нравственное осуждение относится к такой ступени незнания, на которой нет даже понятия о реальном, различия между реальным и воображаемым, так что на этой ступени «истиной» называются те вещи, которые мы в настоящее время называем «воображаемыми». Вследствие этого нравственное осуждение никогда не надо понимать буквально: в этом последнем случае оно содержит в себе противоречие. Но, как семиотика, оно незаменимо: оно открывает, по крайней мере, для знающих имеющие важнейшее значение реальности культур и внутренних миров, которые не обладали достаточным знанием для того, чтобы «понимать» самих себя. Нравственность есть только условный язык, только симптомология: нужно знать наперед, о чем в ней говорится, для того, чтобы извлечь из нее пользу.

2

Первый пример, и очень краткий. Во все времена хотели «исправлять» людей; это главным образом и называлось нравственностью. Но под тем же самым словом скрывалась и совсем другая тенденция. Как укрощение животного в человеке, так и наказание, которым подвергали известную породу людей, человек стал называть улучшением: но эти зоологические термины выражают реальность, конечно, такую реальность, о которой ничего не знает и не хочет знать типический «исправитель»... Назвать укрощение животного его улучшением (исправлением) — это покажется нам почти шуткой. Тот,

кто знает, что происходит в зверинцах, будет в сомнении относительно того, может ли быть там «улучшено» животное. Оно ослабевает, делается менее свирепым; благодаря подавляющему эффекту страха, боли, ранам, голоду, оно делается болезненным животным. То же самое бывает и с укрощенным человеком, которого «исправили» иезуит-ксендз. В начале средних веков повсюду охотились за самыми красивыми экземплярами «русскокурого животного», — «улучшали», например, знатных германцев. Но на что был похож «улучшенный» таким образом, посаженный в монастырь германец? На карикатуру человека, на уродца: его сделали грешником, он сидел в клетке, его заперли между ужасными понятиями... И вот он лежал тут, больной, печальный; он питал злые намерения против самого себя, был полон ненависти против стремления к жизни, относился подозрительно ко всему, что было сильно и наслаждалось счастьем... Говоря в физиологическом смысле — в борьбе с животным есть только одно средство сделать его слабым — это сделать его больным.

3

Возьмем теперь другой случай так называемой нравственности, случай дисциплины известной расы и известного рода дисциплины. Величественным примером этого служит индийская нравственность, возведенная в религию под видом «закона Ману». Здесь предстояла задача — сразу подвергнуть дисциплине целых четыре расы: браминов, воинов, ремесленников и земледельцев и, наконец, еще и расу слуг — Судра. По всему видно, что мы уже не находимся тут среди укротителей зверей: по всему вероятно, только несравненно более кроткий и разумный человек мог придумать систему подобной дисциплины. Входя в этот более здоровый, высший и широкий мир, дышишь свободнее. Но и при этой системе

было необходимо наводить страх — хотя на этот раз вести борьбу уже не с животным, но с понятием противоположным, человеком недисциплинированным, человеком смешанного происхождения, Чандала. И система эта опять-таки не нашла другого средства сделать его безопасным и слабым, как сделать его болезненным, — это была борьба с «большинством». Может быть, ничто так не противоречит нашему чувству, как эти охранительные мероприятия индийской нравственности. Например, третьим постановлением (Авадана-Застра I), постановлением о «нечистых овощах», предписывается Чандале употреблять в пищу только чеснок и лук, потому что священное писание запрещает приносить им зерновой хлеб или плоды, колосья, а также давать воды или огня. Этим же постановлением твердо устанавливается то, что воду, которая им нужна, они не смеют брать ни из реки, ни из родников, ни из прудов, но у края болот и в ямах, выдавленных в земле ногами животных. Равным образом запрещается им мыть свое белье и мыться самим, так как та вода, которая будет дана им из милости, должна идти только для утоления жажды. Затем следует запрещение женщинам — Судре помогать в родах женщинам Чандала, а равно и запрещение этим последним помогать в этом случае одна другой... Результаты подобных санитарно-полицейских мер не замедлили обнаружиться: это были — смертоносная чума, отвратительные сифилитические болезни, и вследствие этого появился опять «закон ножа», обрезание маленьких мальчиков. Сам Ману говорит: Чандала — плод нарушения супружеской верности, прелюбодеяния и преступления (это — необходимое следствие понятия о дисциплине). Платьем должны служить им тряпки, взятые с трупов, посудой — разбитые горшки, украшением — старое железо, а молиться они должны только злым духам; они, не отдыхая, должны переходить из одного места в другое. Им запрещено писать слева направо и писать правую рукою:

употребление правой руки и писание слева направо предоставляется только добродетельным людям расы.

4

Эти постановления очень поучительны: в них мы видим всю арийскую гуманность во всей ее чистоте и во всей ее первобытности. Мы узнаем, что понятие «чистая кровь» совсем не так безвредно, каким мы его считали. С другой стороны, нам делается ясно, в каком народе увековечилась вражда, вражда Чандала против этой гуманности, и где она сделалась религией, гением.

.....

5

Нравственность наказания и нравственность укрощения, судя по тем средствам, с помощью которых они добиваются цели, стоят одна другой: мы могли бы поставить аксиомою наше заключение: для того чтобы создать нравственность, нужно иметь неограниченное стремление к противоположной крайности. Психология «исправителя» человечества — это великая, наводящая страх проблема, за которую я следовал очень долгое время. Маленький и в сущности незаметный факт, так называемая *ria graus*, впервые проложил мне дорогу к этой проблеме; *ria graus* — наследственное достояние всех философов, которые «улучшали» человечество. Ни Ману, ни Платон, ни Конфуций, ни иудейские учителя не сомневались в том, что она имеет полное право лгать. Они не сомневались также и в совсем других правах... Мы могли бы сказать, выразив это формулой: все средства, с помощью которых человечество должно было сделаться нравственным, были совершенно безнравственными.

Чего недостает немцам

1

Немцам кажется теперь недостаточным иметь ум: они думают, что надо лишить себя ума, отнять у себя этот ум... Может быть, мне, человеку, который хорошо знает немцев, и позволено будет сказать им несколько правдивых слов. Новая Германия заключает в себе большое количество способностей, унаследованных от прадедов и пришедшихся по плечу потомству, так что она может еще в течение долгого времени раздавать щедро рукою это веками накопленное сокровище, эту силу. Сокровище это досталось культуре невысокого пошиба, им овладели не тонкий вкус и не «красота» инстинктов, свойственная знатым людям, но более мужественные добродетели, каких не найдется ни в какой другой европейской стране. Немцы очень отважны и знают себе цену; на них можно вполне положиться в сношениях с ними и в исполнении ими своих обязанностей. Они очень трудолюбивы, усидчивы — и, кроме того, в них есть какая-то наследственная умеренность, для которой нужна скорее шпора, нежели тормоз. Я прибавлю к этому, что в Германии умеют повиноваться так, что повиновение не унижает человека... А затем, никто не презирает своего противника... Читатель видит, что я желаю отдать немцам полную справедливость, но чтобы быть по отношению к ним вполне справедливым, я должен высказать и то, что имею против них. Приобрести силу стоит недешево: сила притупляет ум.. Спрашивается, размышляют ли теперь немцы, которые считались когда-то народом мыслящим? Теперь ум наводит на немцев скуку, немцы смотрят теперь на ум подозрительно; политика поглотила собой всю серьезность, необходимую для действительно умных вещей — «Германия, Германия прежде всего», я боюсь, что этот крик предвещает конец немецкой философии... «Есть ли

теперь немецкие философы? Есть ли теперь немецкие поэты? Есть ли хорошие немецкие книги?» — спрашивают у меня за границей. Я краснею, но с той храбростью, которая всегда является у меня в критических случаях, отвечаю: «Да, Бисмарк!». Разве я мог сказать откровенно, какие книги читают в настоящее время?.. Да будет проклят инстинкт посредственности!

2

Кто не думал с грустью о том, чем мог бы быть немецкий ум! Но в течение целого тысячелетия немецкий народ все глупел и глупел добровольно: нигде так не злоупотребляли сильным наркотическим средством, известным всей Европе, алкоголем, как в Германии — и это приводило к пороку. В последнее время к первому наркотическому средству присоединилось и другое, которого и одного было бы вполне достаточно для того, чтобы совсём убить глубину, смелость и быстроту мышления, это — музыка, наша засоренная всяким хламом и засаривающая ум немецкая музыка. Как раздражает немецкий ум своей тяжеловесностью, неуклюжестью, водянистостью; как отзывается он халатом и пивом! Да разве может быть, чтобы молодые люди, стремящиеся в жизни только к высшим духовным целям, не чувствовали в себе самого первого духовного инстинкта — инстинкта самосохранения духа — и пили пиво?.. Может быть, алкоголизм молодых ученых и не вредит их учености — ведь можно не иметь никакого ума и все-таки сделаться великим ученым, — но во всех других отношениях он остается проблемой. Где только не встретишь теперь того прогрессивного вырождения, причину которого нужно искать в употреблении пива! Я как-то раз, в одном случае, который сделался известным чуть ли не всему свету, указал прямо пальцем на подобное вырождение нашего первого свободного ума, умного Давида Штрауса, автора проповеди пол-пивной и «новой веры»... Недаром он

воспел в стихах «преlestную брюнетку», обещающая остаться ей верным до гроба...

3

Я говорил о немецком уме, что он делается все грубее и поверхностнее. Все ли этим сказано? Собственно говоря, тут есть нечто совсем другое, что меня пугает, а именно, что в духовной области немецкая серьезность, немецкая глубина и немецкая страстность идут все дальше и дальше назад. Изменилась не одна только интеллектуальность, изменился и сам пафос. Мне приходится говорить иногда о немецких университетах: что это за атмосфера, в которой живут принадлежащие к их корпорации ученые, как пуст, самодоволен и равнодушен ко всему сделался их ум! Если бы меня стали опровергать в этом случае и указывать на немецкую науку, то это значило бы, что между мною и читателем вышло большое недоразумение, и, кроме того, это служило бы доказательством, что читатель этот не прочел ни одного слова из моих прежних сочинений. Я целых шестнадцать лет из всех сил стараюсь представить в настоящем свете действующее притупляющим образом на ум влияние современного направления науки. Тяжелый труд гелотов (рабов), на который осужден в настоящее время всякий отдельный, занимающийся наукою человек, благодаря тому, что область ее необъятна, — вот где кроется причина того, что более даровитые, более способные и более глубокие натуры получают совсем не соответствующее своим способностям воспитание и не находят подходящих воспитателей. Наша цивилизация всего более страдает от того, что в ней развелось слишком много надменных ученых, которые не что иное, как поденщики, а словесные науки дают только отрывочные сведения; наши университеты оказываются, и сами того не желая, настоящими теплицами, выращивающими такой чахлый инстинкт ума. И уже вся Европа понимает это:

международной политикой теперь никого не обманешь... Германия все больше и больше приобретает значение равнины в Европе. Я все ищу такого немца, с которым мне можно было бы отвести душу и поговорить серьезно, а еще больше такого, с которым мне было бы весело! Сумерки кумиров — кто способен понять, в настоящее время, от каких серьезных мыслей отдыхает на этом философ! Веселье — вот что для нас всего менее понятно...

4

Подведем итог всему сказанному выше: мы не только вполне доказали, что немецкая цивилизация приходит в упадок, но указали и на вероятную причину этого явления. Наконец, никто не может тратить больше того, что у него есть, — это относится как к отдельным личностям, так и к народам. Если народ будет стремиться к могуществу, политике в обширных размерах, к проведению экономических принципов, к сношению со всем миром, к парламентаризму, к военным интересам и будет затрачивать на это запасы ума, серьезности, воли, сознание собственного достоинства, то их не хватит на другое. Государство и цивилизация — пусть убедится в этом всякий — это, так сказать, два антагониста: выражение «цивилизованное государство» было придумано только в новейшее время. Одно живет за счет другого и процветает за счет другого. Все великие эпохи цивилизации являются в то же время и временами политического упадка: то, что считается великим в смысле цивилизации, никогда не соответствовало политике, было даже антиполитично... У Гете сжималось сердце при появлении Наполеона, но оно сильно билось во время «борьбы за свободу»... В то самое время, когда Германия является державою могущественною, Франция получает также важное значение, но только значение другого рода — она делается цивилизованою державою. В на-

стоящее время уже многие из новых серьезных и страстных умов переселились на жительство в Париж; так что вопрос о пессимизме, вопрос о Вагнере, почти все, касающиеся психологии и искусства вопросы обсуждаются там несравненно глубже и основательнее, нежели в Германии — немцы даже не способны к такому серьезному отношению к делу. В истории европейской цивилизации усиление государства означает прежде всего потерю равновесия. Теперь стало уже известно всем и каждому, что в главном — чем всегда и останется цивилизация — немцы не имеют никакого значения. Их спрашивают: можете ли вы указать хотя на один такой ум, который принадлежал бы к европейским умам, как принадлежали к ним ваш Гёте, ваш Гегель, ваш Генрих Гейне, ваш Шопенгауэр? Все не могут надивиться тому, что в Германии нет решительно ни одного философа.

5

В Германии всему высшему образованию недостает главного: цели, так же как и средства к цели. Что воспитание, образование заключают цель сами в себе — но цель их отнюдь не «государство», что для этой цели нужен воспитатель, а не гимназический учитель только, или философ университета — об этом совсем и позабыли... Нужны такие воспитатели, которые сами получили воспитание, высшие, отборные умы, что видно из каждого их взгляда, из каждого слова и даже из молчания — сладкие плоды зрелой цивилизации, но совсем не те ученые оборванцы, которых, в настоящее время, гимназии и университеты поставляют молодому поколению в качестве «мамок высшего сорта». Недостает воспитателей, этих избранников из числа избранных лиц, этого необходимого для воспитания условия, отсюда и упадок немецкой цивилизации. Одним из таких в высшей степени редких исключений является мой глубокоуважаемый друг, Яков Бурхардт, в Базеле; только ему Базель

обязан тем, что там процветают филологические науки. То, к чему стремятся на самом деле немецкие «высшие школы» — это незатейливая дрессировка, цель которой — с наименьшею тратою времени сделать громадное число молодых людей пригодными, насколько возможно пригодными, для государственной службы. «Высшее образование» и громадное число — эти два выражения как-то не вяжутся между собою. Всякое высшее образование получают только люди, составляющие исключение: для того чтобы иметь право на такую высокую привилегию, нужно и самому быть привилегированным лицом. Все великое и все прекрасное не может быть общим достоянием.

Отчего происходит упадок немецкой цивилизации? Оттого, что «высшее образование» уже не есть преимущество, оно представляет собою демократизацию «образования», сделавшегося «всеобщим», а потому и «простонародным»... Не надобно забывать, что военные льготы, сопряженные с окончанием курса в высших школах, буквально заставляют многих поступать в них, что и служит причиною их упадка. В настоящее время в Германии никто не может дать отличного воспитания своим детям: наши «высшие школы», все сколько их ни есть, рассчитаны на самую жалкую посредственность: таковы их учителя, учебные программы и учебные цели. И во всех них, прежде всего, бросается в глаза какая-то ни с чем несообразная торопливость, как будто бы молодой человек слишком запоздал, если он в 23 года еще не «окончил курса» и не сумел ответить на главный вопрос: «Какую вы изберете себе профессию?». Человек высшего сорта, не во гневе будет сказано, не любит «профессий» именно потому, что он умеет сдерживать себя... У него есть время, он не спешит, он совсем не думает о том, чтобы «кончить» занятия; при «высшем образовании» человек и в тридцать лет — только начинающий ребенок. Наши переполненные гимназии, наши заваленные уроками и оупевшие от этого гимназические учителя — это прямо что-то невозможное: может быть, и

есть причины на то, чтобы предотвратить подобное положение дел, как это сделали недавно гейдельбергские профессора, но нет никаких оснований.

6

Чтобы остаться верным моей системе, при которой я всем поддакиваю, а с противоречием и критикой сношусь только через чье-нибудь посредство, и то неохотно, я сейчас же оправдываю те три задачи, для разрешения которых мы имеем нужду в воспитателе. Нужно учить смотреть, нужно учить думать и нужно учить говорить и писать: все эти три задачи имеют целью дать отличное образование. Учить смотреть — это значит приучить глаз смотреть спокойно, терпеливо, приближать к себе рассматриваемый предмет; выучить его выводить заключение, научить подробно рассматривать со всех сторон единичный случай и сразу окидывать его взглядом. Вот что служит первою подготовкою к умственной деятельности: умение не реагировать сейчас же на известное раздражение, но постоянно иметь наготове все задерживающие и тормозящие инстинкты. Научиться смотреть, так как я понимаю это, почти все равно, что то, что в просторечии называется сильною волею; здесь вся суть именно в том, чтобы не «хотеть», иметь возможности отложить решение. Все поверхностное, все прошлое является именно тогда, когда человек не может устоять против какого-нибудь раздражения — он непременно должен реагировать, он подчиняется всякому импульсу. Такая необходимость реагировать является во многих случаях уже болезненною, признаком упадка, симптомом истощения — почти все то, что на грубом, не привыкшем к философским тонкостям языке называется «пороком», есть только вышеупомянутая физиологическая невозможность удержаться и не реагировать. Выучившись смотреть, можно с пользою приложить эту способность к делу: человек, изучая какой-нибудь предмет,

станет изучать его медленно, сделается недоверчивым, спорщиком. Он, со спокойствием человека, ожидающего врага, подпустит к себе на близкое расстояние все чуждое и новое — он заложит руки за спину. Отворить настежь все двери, раболепно ползать перед каждым маленьким фактом, быть во всякое время готовым одним прыжком попасть туда-то или броситься опротивею туда-то, словом, изобразить знаменитую «объективность» новейшего времени, — все это доказывает дурной вкус и незнатное *rag excellence* происхождение.

7

Учиться думать!.. В наших школах теперь уже не имеют об этом ни малейшего понятия. Даже в университетах между учеными, в собственном смысле слова, философами, начинает вымирать логика и в теории, и на практике, и как ремесло. Почитайте немецкие книги: вы не найдете в них никакого воспоминания о том, что для мышления необходимы техника, программа и воля для занятия этим делом, как не найдете в них ничего о том, что думать следует учиться так же, как учатся танцам, танцам особенного рода... Есть ли еще в настоящее время между немцами люди, испытывавшие по собственному опыту тот приятный трепет, который наполняет все мускулы «легких ног» в духовной области. Неповоротливость и неуклюжесть умственных движений, неловко схватывающая что-нибудь рука — все это до такой степени свойственно немцам, что за границей эти свойства служат для выражения всего немецкого. У немцев недостаточно развито осязание для различных нюансов... То, что немцы только терпели своих философов и прежде всего этого горбуна с самым большим горбом, какой только существовал когда-либо, этого человека, искалечившего отвлеченные понятия, великого Канта, дает нам ясное понятие о немецкой «миловидности». Из программы воспитания, свойственного знатным лю-

дям, никак нельзя вычеркнуть танцы в какой бы то ни было форме, — умения танцевать ногами, отвлеченными понятиями, словами. Нужно ли прибавлять к этому, что необходимо уметь танцевать и пером, что надо учиться писать? Но тут я сделался бы для немецких читателей прямо загадкой...





ЕССЕ НОМО КАК СТАНОВЯТСЯ САМИ СОБОЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В предвидении, что не далек тот день, когда я должен буду подвергнуть человечество испытанию более тяжкому, чем все те, каким оно когда-либо подвергалось, я считаю необходимым сказать, *кто* я. Знать это, в сущности, не так трудно, ибо я не раз «свидетельствовал о себе». Но несоответствие между величием моей задачи и ничтожеством моих современников проявилось в том, что меня не слышали и даже не видели. Я живу на свой собственный кредит, и, быть может, то, что я живу — один предрассудок?.. Мне достаточно только поговорить с каким-нибудь «культурным» человеком, проведшим лето в Верхнем Энгадине, чтобы убедиться, что я не живу... При этих условиях возникает обязанность, против которой в сущности возмущается моя обычная сдержанность и еще больше гордость моих инстинктов, именно обязанность сказать: *Выслушайте меня, ибо я такой-то и такой-то. Прежде всего не смешивайте меня с другими!*

2

Я, например, вовсе не пугало, не моральное чудовище, — я даже натура, противоположная той породе

людей, которую до сих пор почитали как добродетельную. Между нами, как мне кажется, именно это составляет предмет моей гордости. Я ученик философа Диониса, я предпочел бы скорее быть сатиром, чем святым. Но пусть читают только этот труд. Быть может, он не имеет другого смысла, как объяснить эту противоположность в более светлой и доброжелательной форме. «Улучшить» человечество — было бы последним, что я мог бы обещать. Я не создаю новых кумиров, пусть научатся у древних, во что обходятся глиняные ноги. Мое дело скорее — *низвергать* кумиры — так называю я идеалы. В той мере, в какой *выдумали* мир идеальный, отняли у реальности ее ценность, ее смысл, ее истинность... «Мир истинный» и «мир кажущийся» — по-немецки мир *вымышленный* и реальность... *Ложь* идеала была до сих пор проклятием, тяготевшим над реальностью. Само человечество, проникаясь этой ложью, извращалось вплоть до глубочайших своих инстинктов, до обоготворения ценностей, *обратных* тем, которые обеспечивали бы развитие, будущность, высшее *право* на будущее.

3

Тот, кто умеет дышать воздухом моих сочинений, знает, что это воздух высот, *здоровый* воздух. Надо быть созданным для него, иначе рискуешь простудиться. Лед вблизи, чудовищное одиночество — но как безмятежно покоятся все вещи в этом свете! Как легко дышится! Сколь многое чувствуешь *ниже* себя! — Философия, как я ее до сих пор понимал и переживал, есть добровольное пребывание среди льдов и горных высот, искание всего странного и загадочного в существовании всего, что до сих пор было гонимого моралью. Долгий опыт, приобретенный мною в этом странствовании *по запретному*, научил меня смотреть иначе, чем могло быть желательно, на причины, заставлявшие до сих пор морализировать и создавать идеалы. Мне открылась *скрытая* история

философии, психология ее великих имен. Та степень истины, какую только дух *переносит*, та степень истины, до которой только *держат* дух — вот что все больше и больше становилось для меня настоящим мерилom ценности. Заблуждение (вера в идеал) не есть слепота, заблуждение есть *трусость*. Всякое завоевание, всякий шаг вперед в познании *вытекает* из мужества, из строгости к себе, из чистоплотности в отношении себя... Я не отвергаю идеалов, я только надеваю пред ними перчатки... Nitimur in vetitum: этим знамением некогда победит моя философия, ибо до сих пор основательно запрещалась только истина.

4

Среди моих сочинений мой *Заратустра* занимает особое место. Им сделал я человечеству величайший дар, какой я до сих пор делал ему. Эта книга с голосом, звучащим над тысячелетиями, есть не только самая высокая книга, которая когда-либо существовала, настоящая книга горного воздуха — сам факт человека лежит в чудовищной дали *ниже* ее — она также книга *самая глубокая*, рожденная из самых сокровенных недр истины, неисчерпаемый колодец, откуда всякое погружившееся ведро возвращается на поверхность полным золота и добра. Здесь говорит не «пророк», не одно из тех ужасных двойственных существ из болезни и воли к власти, которые зовутся основателями религий. Надо прежде всего правильно *вслушаться* в голос, исходящий из этих уст, в этот алкионический тон, чтобы не ошибиться в значении его мудрости. «Самые тихие слова — те, что приносят бурю. Мысли, приходящие как голубь, управляют миром».

Плоды падают со смоковниц, они хороши и сладки; и пока они падают, сдирается красная кожа их.

Я северный ветер для спелых плодов.

Так, подобно плодам смоковницы, падают к вам

наставления эти, друзья мои: теперь пейте их сок и ешьте их сладкое мясо!

Осень кругом нас, и чистое небо, и время после полудня.

Здесь говорит не фанатик, здесь не «проповедуют», здесь не требуют *веры*: из бесконечной полноты света и глубины счастья падает капля за каплей, слово за словом, — нежная медленность есть темп этих речей. Подобные речи доходят только до самых избранных; быть здесь слушателем — несравненное преимущество; не всякий имеет уши для Заратустры... Тем не менее не *соблазнитель ли* Заратустра?.. Но что же говорит он сам, когда в первый раз опять возвращается к своему одиночеству? Прямо противоположное тому, что сказал бы в этом случае какой-нибудь «мудрец», «святой», «спаситель мира» или какой-нибудь декадент... Он говорит не только иначе, он и сам иной...

Ученики мои, теперь ухожу я один! Уходите теперь и вы, и тоже одни! Так хочу я.

Уходите от меня и защищайтесь от Заратустры! А еще лучше: стыдитесь его! Быть может, он обманул вас. Человек познания должен не только любить своих врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей.

Плохо оплачивает тот учителю, кто навсегда остается только учеником. И почему не хотите вы опсипать венки мои?

Вы уважаете меня; но что будет, если некогда *рушится* уважение ваше? Берегитесь, чтобы кумир не убил вас!

Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что толку в Заратустре? Вы — верующие в меня: но что толку во всех верующих!

Вы еще не искали себя, когда нашли меня. Так поступают все верующие; потому-то вера так мало значит.

Теперь я приказываю вам потерять меня и найти себя; и только *когда вы отречетесь от меня*, я вернусь к вам...

Фридрих Ницше

В тот совершенный день, когда все достигает зрелости и не одни только виноградные грозди краснеют, упал луч солнца и на мою жизнь: я оглянулся назад, я посмотрел вперед, и никогда не видел я сразу столько хороших вещей. Не напрасно хоронил я сегодня мой сорок четвертый год, у меня *было право* хоронить его, что было в нем жизненно, было спасено, стало бессмертным. Первая книга *Переоценки всех ценностей. Песни Зафатустры, Сумерки кумиров* моя попытка философствовать молотом — все это дары, принесенные мне этим годом, даже его последнюю четвертью! *Почему же мне не быть благодарным всей своей жизни?*

Итак, я рассказываю себе свою жизнь.

Почему я так мудр. Счастье моего существования, его отличительная черта лежит, быть может, в его судьбе: выражаясь в форме загадки, я умер, как продолжение моего отца; но как продолжение матери, я еще живу и старею. Это двойственное происхождение от самой высшей и от самой низшей ступени на лестнице жизни, — одновременно и декадент, и *начало* — всего лучше объясняют эту, быть может, отличительную для меня нейтральность, эту независимость от партий перед лицом общей проблемы жизни. У меня более тонкое, чем у кого другого, чувство восходящей и нисходящей эволюции; в этой области я учитель *par excellence*, — я знаю ту и другую, я воплощаю ту и другую. — Мой отец умер тридцати шести лет: он был хрупким, добрым и болезненным существом, которому предназначено было пройти бесследно, — он был скорее добрым воспоминанием о жизни, чем самой жизнью. Его существование пришло в упадок в том же году, как и мое: в тридцать шесть лет я опустился до самого низшего предела своей жизненности, — я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов впереди себя. В это время — это было в 1879 году — я

покинул профессию в Базеле, прожил летом, *как тень*, в С.-Морисе, а следующую зиму, самую бедную солнцем зиму моей жизни, провел, *как тень*, в Наумбурге. Это был мой минимум: «Странник и его тень» возник тем временем. Без сомнения, я понимал тогда толк в тенях... В следующую зиму, мою первую зиму в Генуе, то смягчение и одухотворение, которое несет с собой крайнее оскудение в крови и мускулах, создали «Утреннюю Зарю». Совершенная ясность, прозрачность, даже чрезмерность духа, отразившаяся в названном произведении, уживалась во мне не только с самой глубокой физиологической слабостью, но и с избытком чувства страдания. Среди пытки трехдневных непрерывных головных болей, сопровождавшихся обильной рвотой, — я обладал ясностью диалектика *par excellence*, очень хладнокровно размышлял о вещах, для которых, в более здоровых условиях, не нашел бы в себе достаточно утонченности и спокойствия, не нашел бы дерзости поднимающегося на высоту. Мои читатели, может быть, знают, до какой степени я считаю диалектику симптомом декаданса, например, в самом знаменитом образе: в образе Сократа. — Все болезненные нарушения интеллекта, даже полубомжол, следующий за лихорадкой, оставались до сего времени совершенно чуждыми для меня вещами, о природе которых я впервые узнал лишь научным путем. Моя кровь бежит медленно. Никому никогда не удавалось обнаружить у меня жар. Один врач, долго лечивший меня, как нервнобольного, сказал наконец: «Нет! больны не ваши нервы, а я сам болен нервами». Конечно, хотя этого и нельзя доказать, во мне есть частичное вырождение; мой организм не поражен никакой гастрической болезнью, но вследствие общего истощения я страдаю крайней слабостью желудочной системы. Болезнь глаз, доводившая меня подчас почти до слепоты, была не причиной, а только следствием: всякий раз, как возрастали мои жизненные силы, возвращалось ко мне

в известной степени и зрение. — Длинный, слишком длинный ряд лет означает у меня выздоровление, — он означает, к сожалению, также и обратный кризис, упадок, периодичность известного рода декаданса. Нужно ли после этого говорить, что я *испытан* в вопросах декаданса? Я прошел его во всех направлениях, взад и вперед. Само это многогранное искусство схватывать и понимать вообще, этот указатель нюансов, эта психология оттенков и изгибов и все, что образует мою особенность, все это было тогда впервые изучено и составило истинный дар того времени, когда все во мне утончилось, само наблюдение и все органы наблюдения. Рассматривать с точки зрения больного *более здоровые* понятия и ценности, и наоборот, с точки зрения полноты и самоуверенности *более богатой* жизни, смотреть на таинственную работу инстинкта вырождения — таково было мое длительное упражнение, мой истинный опыт, и если в чем, так именно в этом я стал мастером. Теперь у меня есть опыт, опыт в том, чтобы *перемещать перспективы*: главное основание, почему одному только мне, быть может, стала вообще доступна «переоценка ценностей».

2

Если не смотреть, что я декадент, я еще и его противоположность. Мое доказательство, между прочим, состоит в том, что я всегда инстинктивно выбирал *верные* средства против болезненных состояний: тогда как декадент всегда выбирает вредные для него средства. Как *summa summagum*, я был здоров; как частность, как отдельный случай, я был декадент. Энергия к абсолютному одиночеству, отказ от привычных условий жизни, усилие над собою, чтобы больше не заботиться о себе, не служить себе и не позволять себе *лечиться* — все это обнаруживает безусловный инстинкт — уверенность в понимании, *что было* тогда прежде всего необходимо. Я сам забрал себя в руки, я сам сделал себя опять здоро-

вым: условие для этого — всякий физиолог с этим согласится — *это быть в основном здоровым*. Существо типически болезненное не может стать здоровым, и еще меньше может сделать себя здоровым; для типически здорового, наоборот, болезнь может даже быть энергическим *стимулом* к жизни, к продлению жизни. Так на самом деле представляется мне *теперь* этот долгий период болезни: я как бы вновь открыл жизнь, включил себя в нее, я находил вкус во всех хороших и даже незначительных вещах, тогда как другие не легко могут находить в них вкус, — я сделал из моей воли к здоровью, к жизни, мою философию... Потому что — и это надо отметить — я *перестал* быть пессимистом в годы моей наименьшей жизненности: инстинкт самовосстановления *воспретил* мне философию нищеты и отчаяния. А в чем проявляется в сущности *удачность*! В том, что удачный человек приятен нашим внешним чувствам, что он вырезан из дерева твердого, нежного и вместе с тем благоухающего. Ему нравится только то, что ему полезно; его удовольствие, его желание прекращается, когда переступается мера полезного. Он угадывает целебные средства против повреждений, он обращает в свою пользу вредные случайности, что его не губит, делает его сильнее. Он инстинктивно собирает из всего, что он видит, слышит, переживает, *свою* сумму: он сам отбирающий принцип, он многое пропускает мимо. Он всегда в *своем* обществе, окружен ли он книгами, людьми или ландшафтами: он *удостаивает* чести, *выбирая*, *допуская*, *доверяя*. Он реагирует на всякого рода раздражения медленно, с тою медленностью, какую выработали в нем долгая осторожность и намеренная гордость, — он испытывает раздражение, которое приходит к нему, но он далек от того, чтобы идти ему навстречу. Он не верит ни в «несчастье», ни в «вину»; он справляется с собою, с другими: он умеет *забывать*, он достаточно силен, чтобы все обращать себе на благо. Ну, что ж, я *противоположность* декадента: ибо я только что описал *себя*.

Этот *двойной* ряд опытов, эта доступность в мнимо разьединенные миры повторяется в моей натуре во всех отношениях, — я двойник, я имею еще «второе» лицо, кроме первого... И, может быть, еще и третье... Уже мое происхождение позволяет мне проникать взором по ту сторону всех обусловленных только местностью, только национальностью перспектив, мне не стоит никакого труда быть «хорошим европейцем». С другой стороны, я, может быть, больше немец, чем им могут быть нынешние немцы, простые немцы Империи, — я последний *антиполитический* немец. И однако мои предки были польские дворяне: отсюда в моем теле много расовых инстинктов, кто знает? Даже в конце концов есть еще *liberum veto*. Когда я думаю о том, как часто обращаются ко мне в дороге как к поляку даже поляки, как редко меня принимают за немца, может показаться, что я был только *пристегнут* к немцам. Однако моя мать, Франциска Элер, во всяком случае нечто очень немецкое; так же как и моя бабка с отцовской стороны, Эрдмута Краузе. Последняя провела всю свою молодость в добром старом Веймаре, не без общения с кружком Гете. Ее брат, профессор богословия в Кенигсберге, был призван после смерти Гердера в Веймар в качестве генерал-суперинтендента. Возможно, что их мать, моя прабабка, фигурирует под именем «Мутген» в дневнике юного Гете. Она вышла замуж второй раз за суперинтендента Ницше в Эйленбурге; в тот день великой войны 1813 года, когда Наполеон со своим генеральным штабом вступил 10 октября в Эйленбург, она разрешилась от бремени. Она, как саксонка, была большой почитательницей Наполеона; возможно, что это перешло и ко мне. Мой отец, родившийся в 1813 году, умер в 1849 году. До вступления в обязанности приходского священника общины Реккен близ Лютцена, он жил несколько лет в Альтенбургском дворце и был там преподавателем четырех принцесс.

Его ученицами были ганOVERская королева, жена великого князя Константина, великая герцогиня Ольденбургская и принцесса Тереза Саксен-Альтенбургская. Он был преисполнен глубокого благоговения перед прусским королем Фридрихом-Вильгельмом четвертым, от которого он получил церковный приход; события 1848 г. чрезвычайно опечалили его. Я сам, рожденный в день рождения названного короля, 15 октября, получил, как и следовало, имя Гогенцоллернов *Фридрих* Вильгельм. Одну выгоду во всяком случае представлял выбор этого дня: день моего рождения был в течение всего моего детства праздником. — Я считаю большим преимуществом то, что у меня был такой отец: мне кажется даже, что этим объясняются все другие мои преимущества, — не считая жизни, великого утверждения жизни. Прежде всего то, что мне не нужно устремление, а только простое выжидание, чтобы невольно вступить в мир высоких и тонких вещей: я там дома, моя самая сокровенная страсть становится там впервые свободной. То, что я заплатил за это преимущество почти ценою жизни, не есть, конечно, несправедливая сделка. — Чтобы только что-нибудь понять в моем Заратустре, надо, быть может, находиться в тех условиях, как я, — одной ногой стоять *по ту сторону* жизни...

4

Я никогда не знал искусства восстанавливать против себя — этим я также обязан моему несравненному отцу — и даже, когда это представлялось мне очень ценным. И как бы это ни казалось не по-христиански, я даже не восстановлен против самого себя. Можно вертеть мою жизнь во все стороны, и редко, в сущности один только раз, будут открыты следы недоброжелательства ко мне, — но, может быть, найдется слишком много следов *добрых* отношений ко мне... Мои опыты даже с теми, над которыми все производят неудачные опыты, говорят скорее

в их пользу; я приручаю всякого медведя; я делаю канатных плясунов все еще благонравными. В течение семи лет, когда я преподавал греческий язык в старшем классе базельского *Pädagogium*'а, у меня ни разу не было повода прибегнуть к наказанию; самые ленивые были у меня прилежны. Я всегда выше случая; мне не надо было быть подготовленным, чтобы владеть собой. Из какого угодно инструмента, будь он даже так расстроен, как только может быть расстроен инструмент «человек», если я не болен, мне удастся извлечь нечто, что можно слушать. И как часто слышал я от самих «инструментов», что еще никогда они *так* не звучали... Лучше всего, может быть, слышал я это от того непростительно рано умершего Генриха фон Штейна, который однажды, после заботливо испрошенного позволения, явился на три дня в Силс-Мария, объясняя всем и каждому, что он приехал не ради Энгадина. Этот отличный человек, погрязший со всей стремительной наивностью прусского юнкера в вагнеровском болоте (и кроме того еще и в дюрингианском!), был в эти три дня словно перерожден бурным ветром свободы, подобно тому, кто вдруг поднимается на *свою* высоту и получает крылья. Я повторял ему, что это дело хорошего воздуха здесь наверху, что так бывает с каждым, кто недаром поднимается на высоту 6000 футов над Байрейтом — но он не хотел мне верить... Если, несмотря на это, против меня был совершен не один малый или большой проступок, то не «воля», меньше всего *злая* воля была причиной тому: скорее я мог бы — я только что указывал на это — жаловаться на добрую волю, причинившую в моей жизни немалый беспорядок. Мои опыты дают мне право на недоверие вообще к так называемым «бескорыстным» инстинктам, к «любви к ближнему», готовой всегда на совет и на дело. Для меня она сама по себе есть слабость, отдельный случай неспособности бороться против раздражений, — *сострадание* только у декадентов

зовется добродетелью. Я упрекаю сострадательных в том, что они легко утрачивают стыдливость, уважение и деликатное чувство расстояния, что сострадание в мгновение ока заражается запахом толпы и походит, до возможности смешения, на дурные манеры, — что сострадательные руки могут при обстоятельствах разрушительно вторгнуться в великую судьбу, в уединение после ран, в *преимущественное право* на тяжелую судьбу. Преодоление сострадания отношу я к аристократическим добродетелям: в «Искушении Заратустры» я описал тот случай, когда до него доходит великий крик о помощи, когда сострадание, как последний грех, нисходит на него и хочет его заставить изменить себе. Здесь остаться господином, здесь *высоту* своей задачи сохранить в чистоте перед более низкими и близорукими побуждениями, действующими в так называемых бескорыстных поступках, в этом и есть испытание, может быть, последнее испытание, которое должен пройти Заратустра — истинное *доказательство его силы*...

5

Так же и в другом отношении я являюсь еще раз моим отцом и как бы продолжением его жизни после слишком ранней смерти. Подобно каждому, кто никогда не жил среди равных себе и кому понятие «возмездие» так же недоступно, как понятие «равные права», я запрещаю себе в тех случаях, когда совершается в отношении меня малая или *очень большая* глупость, всякую меру противодействия, всякую меру защиты, — равно как и всякую защиту, всякое «оправдание». Мой способ возмездия состоит в том, чтобы как можно скорее послать во след глупости что-нибудь умное, таким образом, быть может, еще можно догнать ее. Говоря сравнением: я посылаю горшок с вареньем, чтобы отделаться от *кислой* истории... Стоит только дурно поступить со мною, я «мщу» за это, в этом можно быть уверенным: я нахожу в

скорости случай выразить «злостью» свою благодарность (между прочим, даже за злодеяние) — или *попросить* о чем-нибудь, что обязывает большему, чем что-нибудь дать... Так же кажется мне, что самое грубое слово, самое грубое письмо все-таки вежливее, все-таки честнее молчания. Тем, кто молчит, не хватает почти всегда тонкости и вежливости сердца; молчание есть возражение; проглатывание по необходимости создает дурной характер, — оно портит даже желудок. Все молчащие страдают дурным пищеварением. Как видно, я не хотел бы, чтобы грубость была оценена слишком низко, она является самой гуманной формой противоречия и, среди современной изнеженности, одной из наших первых добродетелей. — Кто достаточно богат, для того является даже счастьем нести на себе несправедливость. Бог, который сошел бы на землю, не стал бы ничего другого *делать*, кроме несправедливости, — взять на себя не наказание, а *вину*, — только это было бы впервые божественно.

6

Свобода от злобы, ясное понимание мщения — кто знает, как много за это я обязан благодарностью своей долгой болезни! Проблема не так проста: надо пережить ее, исходя из силы и исходя из слабости. Если следует что-нибудь вообще возразить против состояния болезни, против состояния слабости, так это то, что в нем слабеет истинный инстинкт исцеления, а это и есть *инстинкт обороны и нападения* в человеке. Ни от чего не можешь отделаться, ни с чем не можешь справиться, ничего не можешь оттолкнуть, — все оскорбляет. Люди и вещи подходят назойливо близко, переживания поражают слишком глубоко, воспоминание является гноящейся раной. Болезненное состояние само *есть* вид злобы. — Против него есть у больного только одно великое целебное средство, — я называю его *русским фатализмом*, тем фатализмом без возмущения, с каким русский солдат,

когда ему слишком тяжел военный поход, ложится наконец в снег. Ничего вообще больше не принимать, не допускать к себе, не воспринимать в себя, — вообще не реагировать больше... Глубокий смысл этого фатализма, который не всегда есть только мужество к смерти, но и сохранение жизни при самых опасных для жизни обстоятельствах, выражает ослабление обмена веществ, его замедление, род воли к зимней спячке. Несколько шагов дальше в этой логике, и приходишь к факиру, неделями спящему в гробу... Так как люди истощались бы слишком быстро, *если бы* реагировали вообще, то они уже вовсе не реагируют: это логика. Но ни от чего не сгорают быстрее, чем от эффектов злобы. Досада, болезненная чувствительность к оскорблениям, бессилие в мести, желание, жажда мести, отравление во всяком смысле — все это для истощенных есть несомненно самый опасный род реагирования: быстрая трата нервной силы, болезненное усилие вредных выделений, например, желчи в желудок, обусловлены всем этим. Злоба есть нечто запретное *само по себе* для больного — *его зло*: к сожалению, также и его самая естественная склонность. — Это понимал глубокий физиолог Будда. Его «религия», которую можно было бы скорее назвать *гигиеной*, чтобы не смешивать ее с такими противоположными вещами, как христианство, ставила свое действие в зависимость от победы над злобой: освободить от *нее* душу есть первый шаг к выздоровлению. «Не враждою оканчивается вражда, дружбою оканчивается вражда» — это стоит в начале учения Будды, — так говорит не мораль, так говорит физиология. Злоба, рожденная из слабости, всего вреднее самому слабому, — в противоположном случае, когда предполагается богатая натура, злоба является *лишним* чувством, чувством, над которым остаться господином есть уже доказательство богатства. Кто знает серьезность, с какой моя философия предприняла борьбу с чувством мести и злобы вплоть до учения о «свободной

воле» — моя борьба с христианством есть только частный случай ее — поймет, почему именно здесь я выясняю свое личное поведение, свой *инстинкт-уверенность* на практике. Во времена упадка я *запрещал* их себе, как вредные; как только жизнь становилась опять достаточно богатой и гордой, я запрещал их себе, как нечто, что *ниже* меня. Тот «русский фатализм», о котором я говорил, проявлялся у меня в том, что годами я упорно держался за почти невыносимые положения, местности, жилища, общества, раз они были даны мне случаем, — это было лучше, чем изменять их, чем *чувствовать* их изменимыми, — чем восставать против них... Мешать себе в этом фатализме, насильно возбуждать себя считал я тогда смертельно вредным: — поистине, это и было каждый раз смертельно опасно. — Принимать себя самого как фатум, не хотеть себя «иным» — это и есть в таких обстоятельствах само *великое разумение*.

7

Иное дело война. Я по-своему воинственен. Нападать принадлежит к моим инстинктам. *Уметь* быть врагом, быть врагом — это предполагает, может быть, сильную натуру, во всяком случае это обусловлено во всякой сильной натуре. Ей нужны сопротивления, следовательно, она *ищет* сопротивления: *агрессивный* пафос так же необходимо принадлежит к силе, как чувство мести и злобы к слабости. Женщина, например, мстительна: это обусловлено ее слабостью, так же, как и ее чувствительность к чужой беде. — Сила нападающего имеет в противнике, который ему нужен, род *мерь*; всякое возрастание проявляется в поисках более сильного противника — или проблемы: ибо философ, который воинственен, вызывает и проблемы на поединок. Задача не в том, чтобы победить вообще сопротивление, но преодолеть такое сопротивление, на которое нужно затратить всю свою

силу, ловкость и умение владеть оружием, — *равного* противника... Равенство перед врагом есть первое условие *честной* дуэли. Где презирают, там нельзя вести войны; где повелевают, где видят нечто *ниже* себя, там *не должно* быть войны. — Моя практика войны выражается в четырех положениях. Во-первых, я нападаю только на вещи, которые победоносны, — я жду при обстоятельствах, когда они будут победоносны. Во-вторых, я нападаю только на вещи, против которых я не нашел бы союзников, где я стою один — где я только себя компрометирую... Я никогда публично не сделал ни одного шага, который не компрометировал бы: это *мой* критерий правильного образа действий. В-третьих, я никогда не нападаю на личности, — я пользуюсь личностью только, как сильным увеличительным стеклом, которое может сделать очевидным общее, но ускользающее и трудноуловимое бедствие. Так напал я на Давида Штрауса, вернее, на *успех* его дряхлой книги у немецкого «образования», — так поймал я это образование на деле... Так напал я на Вагнера, точнее, на лживость, на инстинкт-двойственность нашей «культуры», которая смешивает утонченных с богатыми, запоздалых с великими. В-четвертых, я нападаю только на вещи, где исключено всякое различие личностей, где нет никакой подкладки дурных опытов. Напротив, нападение есть для меня доказательство доброжелательства, при некоторых обстоятельствах даже благодарности. Я оказываю честь, я отличаюсь тем, что связываю свое имя с вещью, с личностью: за или против — это мне безразлично. Если я веду войну с христианством, то это подобает мне, потому что с этой стороны я не переживал никаких фатальностей и стеснений, — самые убежденные христиане всегда были ко мне благосклонны. Я сам противник христианства *de rigueur*, далек от того, чтобы мстить отдельным лицам за то, что является судьбой тысячелетий.

Могу ли я осмелиться указать еще одну последнюю черту моей натуры, которая в общении с людьми причиняет мне немалые затруднения? Мне присуща совершенно тревожная впечатлительность инстинкта чистоты, так что близость — что говорю я? — самое сокровенное или «внутренности» всякой души я воспринимаю физиологически — *обоняю*... В этой впечатлительности содержатся мои психологические усики, которыми я ощупываю и овладеваю всякой тайною: большая *скрытая* грязь на дне иных душ, обусловленная, быть может, дурной кровью, но замаскированная воспитанием, становится мне известной почти при первом соприкосновении. Если мои наблюдения правильны, такие непримиримые с моей чистоплотностью натуры относятся со своей стороны с предосторожностью к моему отвращению: но от этого запах от них не становится лучше... Как я себя постоянно приучал — крайняя чистота в отношении себя есть предварительное условие моего существования, я погибаю в нечистых условиях, — я как бы плаваю, купаюсь и плескаюсь постоянно в светлой воде или в каком-нибудь другом совершенно прозрачном и блестящем элементе. Это делает мне из общения с людьми не малое испытание терпения; моя гуманность состоит не в том, чтобы сочувствовать человеку, как он есть, а в том, чтобы *переносить*, что я чувствую его подле себя... Моя гуманность есть постоянное преодоление самого себя. — Но мне нужно *одиночество*, я хочу сказать, исцеление, возвращение к себе, дыхание свободного, легкого, играющего воздуха... Весь мой Заратустра есть дифирамб одиночеству или, если меня поняли, чистоте... К счастью, *не чистому безумству*... — У кого есть глаза для красок, тот назовет его алмазным. — *Отвращение* к человеку, к «черни» было всегда моей величайшей опасностью... Хотите послушать слова, в которых Заратустра говорит о своем *освобождении* от отвращения?

«Что же случилось со мной? Как избавился я от отвращения? Кто обновил мой взор? Как поднялся я на высоту, где чернь не сидит уже у источника?

Разве не само мое отвращение создало мне крылья и силы, угадавшие источник? Поистине, я должен был взлететь на самую высь, чтобы вновь обрести источник радости!

О, я нашел его, братья мои! Здесь на самой выси течет для меня источник радости! И существует жизнь, от которой не пьет чернь вместе с вами!

Слишком стремительно течешь ты для меня, источник радости! И часто опустошаешь ты кубок, желая наполнить его.

И мне надо еще научиться более скромно приближаться к тебе: еще слишком стремительно бьется мое сердце навстречу тебе.

Мое сердце, где горит мое лето, короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное: как жаждет мое лето сердце твоей прохлады!

Миновала медлительная печаль моей весны! Миновала злорада моих снежных хлопьев в июне! Летом сделался я всецело и полуднем лета!

Летом в самой выси, с холодными источниками и блаженной тишиной: о, приходите, друзья мои, чтобы тишина стала еще блаженней!

Ибо это — *наша* высь и наша родина: слишком высоко и недоступно живем мы здесь для всех нечистых и для жажды их.

Бросьте же, друзья, свой чистый взор в источник моей радости! Разве помутится он? Он улыбнется в ответ вам *своей* чистотою.

На дереве будущего вьем мы свое гнездо; орлы должны в своих клювах приносить пищу нам, одиноким!

Поистине, не ту пищу, которую могли бы вкушать и нечистые! Им казалось бы, что они пожирают огонь, и они обожгли бы себе рты.

Поистине, мы не готовим здесь жилища для нечистых! Ледяной пещерой было бы наше счастье для тела и духа их!

И подобно могучим ветрам, хотим мы жить над ними, соседи орлам, соседи снегу, соседи солнцу: так живут могучие ветры.

И подобно ветру, хочу я когда-нибудь еще подуть среди них, и своим духом отнять дыхание у духа их: так хочет мое будущее.

Поистине, могучий ветер Заратустра для всех низких мест: и такой совет дает он своим врагам и всем, кто плюет: «берегитесь плевать *против* ветра»!..»

Почему я так умен. Почему я о некоторых вещах знаю *больше*? Почему я вообще так умен? Я никогда не думал над вопросами, которые не вопросы, — я себя не расточал. — Истинных *религиозных* затруднений, например, я не знаю по опыту. От меня совершенно ускользнуло, как я мог бы быть «склонным ко греху». Точно также у меня нет положительного критерия для того, что такое угрызение совести: судя по тому, что об этом слышно, угрызение совести не представляется мне ничем достойным уважения... Я не хотел бы отказываться от поступка после его совершения, я предпочел бы дурной исход *последствия* совершенно исключить из вопроса о ценности. При дурном исходе слишком легко теряют *правильный* глаз на то, что сделано; угрызение совести представляется мне родом «дурного глаза». То, что не удалось, чтить тем выше, *ибо* оно не удалось — это уже скорее принадлежит к моей морали. — «Бог», «бессмертие души», «избавление», «потусторонний мир» — все это понятия, которым я никогда не дарил ни внимания, ни времени даже ребенком, — быть может, я никогда не был достаточно ребенком для этого? — Я знаю атеизм отнюдь не как результат, еще меньше как событие; он вытекает у меня из инстинкта. Я слишком любопытен,

слишком загадочен, слишком надменен, чтобы допустить ответ грубый, как кулак... Гораздо больше интересует меня вопрос, от которого больше зависит «спасение человечества», чем от какой-нибудь теологической достопримечательности: вопрос о *питании*. Для обиходного употребления его можно так формулировать: «как должен именно ты питаться, чтобы достигнуть своего максимума силы, *virtutis* в стиле Возрождения, достигнуть добродетели, свободной от моралина?» Мои опыты здесь так плохи, как только возможно; я изумлен, что так поздно внял этому вопросу, так поздно научился из этих опытов «разуму». Только совершенная негодность нашей немецкой культуры — ее «идеализм» — объясняет мне до некоторой степени, почему я именно здесь опустился почти до святости. Эта «культура», которая наперед учит терять из виду *реальности*, чтобы гнаться за исключительно проблематическими, так называемыми идеальными целями, например, за «классическим образованием» — как будто наперед уже не осуждено соединение в одном понятии «классического» и «немецкого»! Более того, это весело, — представьте себе «классически образованного» жителя Лейпцига! — В самом деле, до самого зрелого возраста, я всегда ел *плохо*, — выражаясь морально, «безлично», «бескорыстно», «альтруистически», — на благо поваров и других братьев во Христе. Я очень серьезно отрицал, например, благодаря лейпцигской кухне, одновременно с началом моего изучения Шопенгауэра (1865), свою «волю к жизни». В целях недостаточного питания еще испортить себе и желудок — эту проблему названная кухня разрешает, как мне казалось, удивительно счастливо. (Говорят, 1866 год внес в это перемену). Но немецкая кухня вообще — чего только нет у нее на совести! Суп перед обедом (еще в венецианских поваренных книгах XVI века это называлось *alla tedesca*); вареное мясо, жирно и мучнисто приготовленные овощи; извращение мучных блюд в пресс-папье!

Если прибавить к этому еще прямо скотскую потребность в питье после еды старых, отнюдь не одних только *старых немцев*, то становится понятным происхождение *немецкого духа* — из расстроенного кишечника... Немецкий дух есть несварение, он ни с чем не справляется. — Но и *английская* диета, которая по сравнению с немецкой и даже французской кухней есть род «возвращения к природе», именно к каннибализму, глубоко противна моему собственному инстинкту; мне кажется, что она дает духу *тяжелые* ноги — ноги англичанок... Лучшая кухня — кухня *Пьемонта*. — Спиртные напитки мне вредны; стакана вина или пива в день вполне достаточно, чтобы сделать мне из жизни «юдоль плача», — в Мюнхене живут мои антиподы. Если даже предположить, что я несколько поздно понял, все-таки я *переживал* это с самого раннего детства. Мальчиком я думал, что потребление вина, как и курение табака, вначале есть только тщеславие молодых людей, позднее — дурная привычка. Может быть, в этом *жестком* суждении виновно также наумбургское вино. Чтобы верить, что вино *просветляет*, для этого я должен был бы быть христианином, значит, верить в то, что является для меня абсурдом. Довольно странно, что при этой крайней способности расстраиваться от *малых*, сильно разбавленных доз алкоголя, я становлюсь почти моряком, когда дело идет о *сильных* дозах. Еще мальчиком вкладывал я в это свою смелость. Написать и также списать в течение одной ночи длинное латинское сочинение, с честолубием в пере, стремящимся подражать в строгости и сжатости моему образцу Саллюстия, и выпить за латынью грог самого тяжелого калибра — это, в бытность мою учеником уважаемой Шульпфорты, не стояло вовсе в противоречии с моей физиологией, быть может, и с физиологией Саллюстия, что бы ни думала об этом уважаемая Шульпфорта... Позже, к середине жизни, я восставал, правда, все решительнее *против* всяких спиртных напитков: я,

противник вегетарианства по опыту, совсем, как обративший меня Рихард Вагнер, могу вполне серьезно советовать всем более духовным натурам безусловное воздержание от алкоголя. Достаточно *воды*... Я предпочитаю местности, где есть возможность черпать из текущих родников (Ницца, Турин, Сильс-Мария); маленький стакан следует всюду за мною, как собака. *In vino veritas*: кажется, и здесь я опять не согласен со всем миром в понятии «истины»: — для меня дух носится над *водою*... Еще несколько указаний из моей морали. Сытный обед переваривается легче небольшого обеда. Приведение в действие желудка, как целого, есть первое условие хорошего пищеварения. Величину своего желудка надо *знать*. По той же причине не следует советовать тех продолжительных обедов, которые я называю прерванными жертвенными торжествами, таковы обеды за табльдотом. — Никаких ужинов, никакого кофе, кофе омрачает. *Чай* только утром полезен. Немного, но крепкий; чай очень вреден и делает больным на целый день, если он на один градус слабее нужного. У каждого здесь своя мера, часто в самых узких и деликатных границах. В очень раздражающем климате не следует советовать чай как начало: следует начинать за час до чаю чашкой густого, очищенного от масла какао. — Как можно меньше *сидеть*; не доверять ни одной мысли, которая не родилась на воздухе и в свободном движении, — когда и мускулы празднуют свой праздник. Все предрассудки происходят от кишечника. — Сидячая жизнь — я уже говорил однажды — есть истинный *грех* против духа святого.

2

С вопросом о питании тесно связан вопрос о *месте и климате*. Никто не свободен жить везде; а кто должен разрешать великие задачи, требующие всей его силы, тот даже весьма ограничен в выборе. Климатическое влияние на *обмен веществ*, его замедление и ускорение

идет так далеко, что ошибка в месте и климате может не только сделать человека чуждым его задаче, но даже вовсе скрыть от него эту задачу: он никогда не увидит ее. Животная сила никогда не станет в нем настолько большой, чтобы было достигнуто то чувство свободы, наполняющей дух, когда человек признает: *это* могу и один... Обратившейся в привычку, самой малой вялости кишечника вполне достаточно, чтобы из гения сделать нечто среднее, нечто «немецкое»; одного немецкого климата достаточно, чтобы лишить мужества сильный, даже склонный к героизму кишечник. Темп обмена веществ стоит в прямом отношении к подвижности или слабости *ног* духа; ведь сам «дух» есть только род этого обмена веществ. Пусть сопоставят места, где есть и были богатые духом люди, где остроумие, утонченность, злость принадлежали к счастью, где гений почти необходимо чувствовал себя дома: они имеют все замечательно сухой воздух. Париж, Прованс, Флоренция, Иерусалим, Афины — эти имена доказывают что-нибудь: гений *обусловлен* сухим воздухом, чистым небом, — это значит быстрым обменом веществ, возможностью всегда вновь доставлять себе большие, даже огромные количества силы. У меня перед глазами случай, где значительный и склонный к свободе дух только из-за недостатка инстинкта тонкости в климатическом отношении сделался узким, кропотливым специалистом и брюзгой. Я и сам мог бы в конце концов обратиться в такой случай, если б болезнь не принудила меня к разуму, к размышлению о разуме в реальности. Теперь, когда я вследствие долгого упражнения, отмечаю на себе влияния климатического и метеорологического происхождения, как на тонком и верном инструменте; и даже при коротком путешествии, например, из Турина в Милан, я вычисляю физиологически на себе перемену в градусах влажности воздуха, теперь я со страхом думаю о том *тревожном* факте, что моя жизнь, до последних десяти лет, опасных для жизни лет, всегда протекала в неподо-

бающих и именно для меня *запретных* местностях. Наумбург, Шульпфорта, Тюрингия вообще, Лейпциг, Базель, Венеция — все это несчастные места для моей физиологии. Если у меня вообще нет приятного воспоминания обо всем моем детстве и юности, то было бы глупостью приписывать это так называемым «моральным» причинам, — например, бесспорному недостатку *удовлетворительного* общества: ибо этот недостаток существует и теперь, как он существовал всегда, но не мешал мне быть бодрым и смелым. Невежество в физиологии — проклятый «идеализм» — вот истинная судьба в моей жизни, лишнее и глупое в ней, нечто из чего не выросло ничего доброго, с чем нет примирения, чему нет возмещения. Последствиями этого «идеализма» объясняю я себе все ошибки, все большие инстинкты-заблуждения и «скромность» в отношении *задачи* моей жизни, например, что я стал филологом — почему, по меньшей мере, не врачом или вообще чем-нибудь раскрывающим глаза? В мое базельское время вся моя духовная диета, в том числе распределение дня, было совершенно бессмысленным злоупотреблением исключительных сил, без всякого покрывающего трату их приобретения, без мысли о потреблении и возмещении. Не было никакого, более тонкого эгоизма, не было никакой *охраны* повелительного инстинкта, это было приравнивание себя к кому угодно, это было «бескорыстие», забвение своих границ, — нечто, чего я себе никогда не прощу. Когда я пришел почти к концу, именно *потому*, что я пришел почти к концу, я стал размышлять об этой основной неразумности своей жизни — об «идеализме». Только *болезнь* привела меня к разуму.

3

Выбор пищи, выбор климата и места, третье, в чем ни за что не следует ошибиться, есть выбор *своего* способа *отдыха*. И здесь, смотря по тому, насколько дух есть

sui generis, пределы ему дозволенного, т. е. ему *полезного*, очень узки. В моем случае всякое *чтение* принадлежит к моему отдыху: следовательно, к тому, что освобождает меня от себя, что позволяет мне гулять по чужим наукам и чужим душам — чего я не считаю уже серьезным. Чтение есть мой отдых именно от *моего серьезного*. В глубоко рабочее время у меня не видать книг: я остерегся бы позволить кому-нибудь вблизи меня говорить или даже думать. А это и называю я читать... Заметили ли вы, что в том глубоком напряжении, на какое беременность обрекает дух и в сущности весь организм, всякая случайность, всякий род раздражения извне влияют слишком болезненно, «поражают» слишком глубоко? Надо по возможности устранить со своего пути случайность, внешнее раздражение; род самозамуровывания принадлежит к первым мудрым инстинктам духовной беременности. Позволю ли я *чужой* мысли тайно перелезть через стену? — А это и называлось бы читать... За временем работы и ее плодов следует время отдыха: ко мне тогда, приятные, умные книги, которых я только что избегал! — Будут ли это немецкие книги?.. Я должен отсчитать полгода назад, чтобы поймать себя с книгой в руке. Но что же это была за книга? — Прекрасное исследование Виктора Брошара *Les sceptiques grecs*, в котором хорошо использованы и мои *Laertiana*. Скептики — это единственный *достойный уважения* тип среди двух до пятидесятилетней семьи философов!.. Впрочем, я почти всегда нахожу убежище в одних и тех же книгах, в небольшом их числе, именно в *доказанных* для меня книгах. Мне, быть может, не свойственно читать много и многое: читальная комната делает меня больным. Мне не свойственно также много или многое любить. Осторожность, даже враждебность к новым книгам скорее принадлежит к моему инстинкту, чем «терпимость», «*largeur du coeur*» и всякая «любовь к ближнему»... Я всегда возвращаюсь к небольшому числу старших французов: я верю только во

французскую культуру и считаю недоразумением все, что кроме нее называется в Европе «культурой», не говоря о немецкой культуре... Те немногие случаи высокой культуры, которые я в Германии встречал, были все французского происхождения, и прежде всего госпожа Козима Вагнер, самый ценный голос в вопросах вкуса, какой я когда-либо слышал. — Что я Паскаля не читаю, но *люблю*, как самую поучительную жертву христианства, которую медленно убивали сначала телесно, потом психологически, люблю как целую логику самой ужасной формы нечеловеческой жестокости; что в моем духе, кто знает, быть может, и в теле, есть нечто от причудливости Монтеня; что мой артистический вкус не без злобы встает на защиту имен Мольера, Корнеля и Расина против дикого гения, как Шекспир: все это, в конце концов, не исключает возможности, чтобы и самые молодые французы были для меня очаровательным обществом. Я отнюдь не вижу, в каком столетии истории можно было бы собрать столь интересных и вместе с тем столь тонких психологов, как в нынешнем Париже: я называю наугад — потому что их число совсем не мало — Поль Бурже, Пьер Лоти, Жип, Мельяк, Анатоль Франс, Жюль Леметр, или, чтобы назвать одного из сильной расы, истинного латиниста, которому я особенно предан, — Гюи де Мопассан. Я предпочитаю это поколение, между нами говоря, даже их великим учителям, которые все были испорчены немецкой философией (Тэн, например, Гегелем, которому он обязан непониманием великих людей и эпох). Куда бы ни простиралась Германия, она *портит* культуру. Впервые война «освободила» дух во Франции... Стендаль, одна из самых прекрасных случайностей моей жизни — ибо все, что в ней составляет эпоху, принес мне случай и некогда рекомендацию — совершенно не оценим с его предвосхищающим глазом психолога, с его схватыванием фактов, которое напоминает о близости величайшего реалиста

(ex ungue Napoleonem); наконец, и это далеко не малая заслуга быть *честным* атеистом, редкая и почти с трудом отыскиваемая во Франции порода — надо воздать должное Просперу Мериме... Может быть, я и сам завидую Стендалю? Он отнял у меня лучшую остроту атеиста, которую именно я мог бы сказать: «Единственное оправдание для Бога состоит в том, что он не существует...» Я сам сказал где-то: что было до сих пор самым большим возражением против существования? Бог...

4

Высшее понятие о лирическом поэте дал мне Генрих Гейне. Тщетно ищу я во всех царствах тысячелетий столь сладкой и страстной музыки. Он обладал той божественной злобой, без которой я не могу мыслить совершенства — я определяю ценность людей, народов по тому, насколько неотделим их бог от сатира. — И как он владел немецким языком! Некогда скажут, что Гейне и я были лучшими артистами немецкого языка — в неизмеримом отдалении от всего, что сделали с ним просто немцы. — С Манфредом Байроном должны меня связывать глубокие родственные узы: я находил в себе все эти бездны — в тринадцать лет я был уже зрел для этого произведения. У меня нет слов, только взгляд для тех, кто осмеливается в присутствии Манфреда произнести слово Фауст. Немцы не способны к пониманию величия: доказательство — Шуман. Я сочинил намеренно, из злобы к этим слащавым саксам контрувертюру к Манфреду, о которой Ганс фон Бюлов сказал, что ничего подобного он еще не видел на нотной бумаге: что это как бы насилие над Эвтерпой. — Когда я ищу свою высшую формулу для *Шекспира*, я всегда нахожу только то, что он создал тип Цезаря. Подобных вещей не *угадывают*, — это есть, или нет этого. Великий поэт черпает *только* из своей реальности — до такой степени, что наконец он сам не выдерживает своего произведения... Когда я бросаю взгляд на своего Зарату-

стру, я полчаса хожу по комнате взад и вперед, неспособный совладать с невыносимым приступом рыданий. — Я не знаю более разрывающего душу чтения, чем Шекспир: что должен выстрадать человек, чтобы почувствовать необходимость стать шутом! — *Понимают ли Гамлета?* Не сомнение, а *несомненность* есть то, что сводит с ума... Но для этого надо быть глубоким, надо быть бездною, философом, чтобы так чувствовать. Мы все *боимся* истины... И я должен признаться в этом: я инстинктивно уверен в том, что лорд Бэкон есть родоначальник и мучитель этого рода литературы, самой беспокойной, какая есть: что *мне* до жалкой болтовни американских плоских и тупых голов? Но сила к самой могучей реальности образа не только совместима с самой могучей силой к действию, к чудовищному действию, к преступлению — *она даже предполагает* ее. Мы знаем далеко не достаточно о лорде Бэконе, первом реалисте в великом значении слова, чтобы знать, *что* он делал, *чего* хотел, *что* пережил в себе... К черту, господа критики! Если предположить, что я окрестил своего Заратустру чужим именем, например, именем Рихарда Вагнера, то не хватило бы остроумия двух тысячелетий на то, чтобы в авторе «Человеческое, слишком человеческое» узнать провидца Заратустры...

5

Здесь, где я говорю о том, что служило отдохновением в моей жизни, я должен сказать слово благодарности тому, на чем я отдыхал всего глубже и сердечнее. Этим было, несомненно, близкое общение с Рихардом Вагнером. Я не высоко ценю мои остальные отношения с людьми, но я ни за что не хотел бы вычеркнуть из своей жизни дни, проведенные в Трибшене, дни доверия, веселья, высоких случайностей — *глубоких* мгновений... Я не знаю, что другие переживали с Вагнером: на *нашем* небе никогда не было облаков. — И здесь я еще раз

возвращаюсь к Франции, — у меня нет доводов, у меня только презрительная усмешка против вагнерианцев и против *hoc genus omne*, которые думают, что чтят Вагнера тем, что находят его похожим на *них*... Таким, как я есть, чуждый в своих глубочайших инстинктах всему немецкому, так что уже близость немца замедляет мое пищеварение, — я вздохнул в первый раз в жизни при первом соприкосновении с Вагнером: я принимал, я почитал его, как *заграницу*, как противоположность, как живой протест против всех «немецких добродетелей». — Мы, которые в болотном воздухе пятидесятых годов были детьми, мы необходимо являемся пессимистами для понятия «немецкое»; мы не желаем быть не чем иным, как революционерами, — мы не примиримся с положением вещей, где господствует *лицемер*. Мне совершенно безразлично, играет ли он теперь другими красками, обличен ли он в пурпур или одет в форму гусара... Ну, что ж! Вагнер был революционером, он бежал от немцев... У *артиста* нет в Европе отечества, кроме Парижа; деликатность всех пяти чувств в искусстве, которую предполагает искусство Вагнера, чутье нюансов, психологическую болезненность, — все это находят только в Париже. Нигде нет этой страсти в вопросах формы, этой серьезности в *mise en scène* — это парижская серьезность *par excellence*. В Германии не имеют никакого понятия о чудовищном честолюбии, живущем в душе парижского артиста. Немец добродушен — Вагнер был отнюдь не добродушен... Но я уже достаточно высказался (в «По ту сторону добра и зла»), куда относится Вагнер, кто его ближние: это французская позднейшая романтика, те высоко парящие и стремящиеся ввысь артисты, как Делакруа, как Берлиоз, с основою болезни, неисцелимости в существе, все — фанатики *выражения*, насквозь виртуозы... Кто был первым *интеллигентным* приверженцем Вагнера вообще? Шарль Бодлер, тот самый, кто первый понял Делакруа, первый типический

декадент, в ком узнало себя целое поколение артистов — он был, может быть, также последним... Чего я никогда не прощал Вагнеру? Того, что он *снизошел* к немцам, — что он сделался немцем Империи... Куда бы ни проникала Германия, она *портит* культуру.

6

Если взвесить все, то я не перенес бы своей юности без вагнеровской музыки. Ибо я был *приговорен* к немцам. Если хочешь освободиться от невыносимого гнета, нужен гашиш. Ну, что ж, мне был нужен Вагнер. Вагнер есть противоядие против всего немецкого *par excellence*, яд, я не оспариваю этого... С той минуты, как появилась фортепьянная партитура Тристана — примите мое приветствие, г. ф. Бюллов!, — я был вагнерианцем. Более ранние произведения Вагнера я считал ниже себя — еще слишком вульгарными, слишком «немецкими»... Но и поныне я ищу, ищу тщетно во всех искусствах произведения равного Тристану по его опасной обольстительности, по его грозной и сладкой бесконечности. Вся загадочность Леонардо да Винчи утрачивает свое очарование при первом звуке Тристана. Это произведение положительно *non plus ultra* Вагнера; он отдыхал от него на Мейстерзингерах и Кольце. Сделаться более здоровым — это *шаг назад* для натуры, как Вагнер... Я считаю наибольшим счастьем, что я жил в нужное время и жил именно среди немцев, чтобы быть *зрелым* для этого произведения: так велико мое любопытство психолога. Мир беден для того, кто никогда не был достаточно болен для этого «сладострастия ада»: здесь позволено, здесь почти приказано прибегнуть к мистической формуле. — Я думаю, я знаю лучше кого-либо другого то чудовищное, что доступно было Вагнеру, те пятьдесят миров причудливых очарований, для которых ни у кого, кроме Вагнера, не было крыльев; и лишь такой,

как я, бывает достаточно силен, чтобы самое загадочное, самое опасное обращать себе на пользу, и чрез то становится еще сильнее; я называю Вагнера великим благодетелем моей жизни. Нас сближает то, что мы глубоко страдали, страдали также один за другого, страдали больше, чем люди этого столетия могли бы страдать, и наши имена всегда будут соединяться вместе; и как Вагнер, несомненно, является только недоразумением среди немцев, так и я, несомненно, останусь им и навсегда. — *Прежде всего* два века психологической и артистической дисциплины, господа немцы!.. Но этого нельзя наверстать.

7

Я говорю еще одно слово, для самых избранных ушей: чего я в сущности требую от музыки? Чтобы она была ясной и глубокой, как октябрьский день после полудня. Чтобы она была причудливой, шаловливой, как маленькая нежная женщина, лукавая и грациозная.. Я никогда не допущу, чтобы немец *мог* знать, что такое музыка. Те, кого называют немецкими музыкантами, прежде всего великими, были *иностранцы*, славяне, кроаты, итальянцы, нидерландцы — или евреи; в ином случае немцы сильной расы, *вымершие* немцы, как Генрих Шюц, Бах и Гендель. Я сам все еще достаточно поляк, чтобы за Шопена отдать всю остальную музыку: по трем причинам я исключаю идиллию Зигфрида Вагнера, может быть, некоторые произведения Листа, который благородством оркестровки превосходит всех музыкантов; и в конце концов все, что создано по ту сторону Альп — *по эту же сторону*... Я не мог бы обойтись без Россини, еще меньше без *моего Юга* в музыке, без музыки моего венецианского маэстро Пиетро Гасты. И когда я говорю: по ту сторону Альп, я собственно говорю только о Венеции, когда я ищу другого слова для музыки, я всегда

нахожу только слово Венеция. Я не умею делать разницы между слезами и музыкой — я знаю счастье думать о Юге не иначе, как с дрожью ужаса.

В юности, в светлую ночь
Раз на мосту я стоял.
Издали слышалось пенье;
Словно по влаге дрожащей
Золота струи текли.
Гондолы, факелы, музыка —
В сумерках все расплывалось...
Звуками теми втайне задеты,
Струны души зазвенели,
И гондольеру запела,
Дрогнув от яркого счастья, душа.
Слышал ли кто ее песнь?..

8

Во всем этом — в выборе пищи, места, климата, отдыха — повелевает инстинкт самосохранения, который самым несомненным образом проявляется, как инстинкт *самозащиты*. Многого не видеть, не слышать, не допускать к себе — первое благоразумие, первое доказательство того, что человек не есть случайность, а необходимость. Ходячее название этого инстинкта самозащиты есть *жус*. Его императив повелевает не только говорить *нет* там, где *да* было бы «бескорыстием», но также говорить *нет так редко, как только возможно*. Надо отделять, устранять себя от всего, что делало бы это *нет* всегда вновь необходимым. Смысл этого в том, что издержки на оборону, даже самые малые, обращаясь в правило, в привычку, обуславливают чрезвычайное и совершенно лишнее оскудение. Наши *большие* издержки суть самые частые малые издержки. Отстранение, недопущение приблизиться к себе есть издержка — пусть в этом не

заблуждаются — *растраченная* на отрицательные цели сила. От постоянной необходимости обороны можно ослабеть настолько, чтобы не иметь более возможности обороняться. — Предположим, я выхожу из своего дома и нахожу пред собою, вместо спокойного аристократического Турина, немецкий маленький город: мой инстинкт должен был бы насторожиться, чтобы отстранить все, что хлынуло бы на него из этого плоского и трусливого мира. Или предо мною был бы немецкий большой город, это порождение порока, где ничего не произрастает, куда все, хорошее и дурное, втаскивается извне. Разве я не был бы принужден обратиться в *ежа*? — Но иметь иглы есть мотовство, даже двойная роскошь, когда дана свобода иметь не иглы, а *открытые* руки...

Второе благоразумие и самозащита состоит в том, чтобы *реагировать так редко, как только возможно*, и устранять от себя положения и условия, где человек обречен как бы отрешиться от своей «свободы» и инициативы и обратиться в простой реактив. Я беру для сравнения общение с книгами. Ученый, который в сущности только «передвигает» книги — средний филолог до 200 в день — совершенно теряет в конце концов способность самостоятельно мыслить. Если он не передвигает, он не мыслит. Он *отвечает* на раздражение (на прочтенную мысль), когда он мыслит, — он в конце концов только реагирует. Ученый отдает всю свою силу на утверждение и отрицание, на критику уже продуманного, — сам он не думает больше... Инстинкт самозащиты притупился в нем, иначе он оборонялся бы от книг. Ученый есть декадент. Это я видел своими глазами: одаренные, богатые и свободные натуры уже к тридцати годам «позорно начитанны», они только спички, которые надо потереть, чтобы они дали искру, «мысль». Ранним утром, в начале дня, во всей свежести, на утренней заре своих сил, читать *книгу* — это я называю порочным!

В этом месте нельзя уклониться от истинного ответа на вопрос, *как становятся сами собою*. И этим я касаюсь главного пункта в искусстве самосохранения — *эгоизма*... Если допустить, что задача, определение, судьба задачи значительно превосходит среднюю меру, то нет большей опасности, как увидеть себя самого *одновременно* с этой задачей. Если люди слишком рано становятся сами собою, это предполагает, что они даже отдаленнейшим образом не подозревают, что они есть. С этой точки зрения имеют свой собственный смысл и ценность даже жизненные *ошибки*, временное блуждание и окольные пути, остановки, «скромность», серьезность, растраченные на задачи, лежащие по ту сторону собственной задачи. В этом находит выражение великая мудрость, даже высшая мудрость: где *posce te ipsum* было бы рецептом для гибели, где забвение себя, *непонимание* себя, умаление себя, сужение, сведение себя на нечто среднее становится самым разумом. Выражаясь морально: любовь к ближнему, жизнь для других и другого *может* быть охранительной мерой для сохранения самой твердой любви к себе: это исключительный случай, когда я против своих правил и убеждения становлюсь на сторону «бескорыстных» инстинктов: они служат здесь *эгоизму и воспитанию своего «Я»*. — Надо всю поверхность сознания — сознание есть поверхность — сохранить чистой от какого бы ни было великого императива. Надо остерегаться даже всякого великого слова, всякой великой позы! Все это опасности, чтобы инстинкт не «*понял* себя» слишком рано. Между тем в глубине постепенно растет организуемая, призванная к господству «идея», — она начинает повелевать, она медленно выводит *обратно* с окольных путей, она подготавливает *отдельные* качества и способности, которые проявятся некогда, как необходимое средство для целого, — она вырабатывает одну за другой все *служебные* способности раньше, чем предположить

что-нибудь о доминирующей задаче, о «цели» и «смысле». — Если рассматривать мою жизнь с этой стороны, она представится положительно чудесной. Для задачи *переоценки ценностей*, может быть, было бы нужно больше способностей, чем когда-либо соединялось в одном лице, прежде всего, была бы нужна противоположность способностей без того, чтобы они друг другу мешали, друг друга разрушали. Иерархия способностей, расстояние, искусство разделять, не создавая вражды; ничего не смешивать, ничего не «примирять»; огромное множество, которое, несмотря на это, есть противоположность хаоса — таково было предварительное условие, долгая сокровенная работа и мастерство моего инстинкта. Его *высшая охрана* проявлялась до такой степени сильно, что я ни в коем случае даже не подозревал, что созревает во мне, — что все мои способности в один день *распустились* внезапно, зрелые в их последнем совершенстве. Я не помню, чтобы я когда-нибудь старался, — ни одной черты *борьбы* нельзя указать в моей жизни. Я составляю противоположность героической натуры. Чего-нибудь «хотеть», к чему-нибудь «стремиться», иметь в виду «цель», «желание» — ничего этого я не знаю из опыта. И в данное мгновение я смотрю на свое будущее — *далекое* будущее! — как на покойное море: ни одно желание не пенится на нем, я ничуть не хочу, чтобы что-нибудь стало иным, чем оно есть; я сам не хочу стать иным... Но так жил я всегда. У меня не было ни одного желания. Едва ли кто другой на сорок пятом году жизни может сказать, что он никогда не заботился *о почестях, о женщинах, о деньгах*! — Не то, чтобы у меня их не было... Так сделался я, например, однажды профессором университета, — я даже отдаленнейшим образом не думал об этом, потому что мне едва было двадцать четыре года. Так, двумя годами раньше сделался я однажды филологом: в том смысле, что моя *первая* филологическая работа, мое начало во всяком смысле, была принята

моим учителем Ричлем для напечатания в его «Rheinisches Museum» (*Ричль* — я говорю это с уважением — единственный гениальный ученый, которого я до сих пор видел. Он обладал той милой испорченностью, которая отличает нас, тюрингенцев, и при которой даже немец становится симпатичным: — даже к истине мы предпочитаем идти окольными путями. Я не хотел бы этими словами сказать, что я недостаточно высоко ценю моего более близкого соотечественника, умного Леопольда фон Ранке...)

10

Меня спросят, почему я, собственно, рассказал все эти маленькие и, по распространенному мнению, безразличные вещи; этим я врежу себе самому тем более, если я призван разрешать великие задачи. Ответ: эти маленькие вещи — питание, место, климат, вся казуистика себялюбия — неизмеримо важнее всего, что до сих пор почиталось важным. Именно здесь надо начать *переучиваться*. То, что человечество до сих пор серьезно оценивало, были даже не реальности, а простые химеры, говоря строже, *ложь*, рожденная из дурных инстинктов больных, в самом глубоком смысле вредных натур — все эти понятия «душа», «добродетель», «грех», «потусторонний мир», «истина», «вечная жизнь»... Но в них искали величие человеческой натуры, ее «божественности»... Все вопросы политики, общественного строя, воспитания извращены до основания тем, что самых вредных людей принимали за великих людей, — что учили презирать «маленькие» вещи, это значит, самые основные условия жизни... Когда я сравниваю себя с людьми, которых до сих пор почитали, как *первых* людей, разница становится осязательной. Я даже не отношу этих, так называемых «первых» людей, к людям вообще, — для меня они отбросы человечества, порождение болезней и мстительных инстинктов: все они нездоровые, в основе

неизлечимые чудовища, мстящие жизни... Я хочу быть их противоположностью: мое преимущество состоит в самом тонком понимании всех признаков здоровых инстинктов. Во мне нет ни одной болезненной черты: даже во времена тяжелой болезни я не сделался болезненным; напрасно ищут в моем существе черту фанатизма. Ни в какое мгновение моей жизни нельзя указать мне притязательного или патетического поведения. Пафос позы не есть принадлежность величия; кому нужны вообще позы, тот *лжив*... Берегитесь всех живописных людей! — Жизнь становилась для меня легкой, легче всего, когда она требовала от меня самого тяжелого. Кто видел меня в те семьдесят дней этой осени, когда я, без перерыва, писал только вещи первого ранга, каких никто не создавал ни до, ни после меня, с ответственностью за все тысячелетия после меня, тот не заметил во мне следов напряжения; больше того, во мне была бьющая через край свежесть и бодрость. Никогда не ел я с более приятным чувством, никогда не спал я лучше. Я знаю только одно отношение к великим задачам — *угру*: как признак величия это есть существенное условие. Малейшее напряжение, более угрюмая мина, какой-нибудь жесткий звук в горле, все это будет возражением против человека и еще больше против его творения!.. Нельзя иметь нервов... *Страдать* от одиночества есть также возражение, — я всегда страдал только от множества... В абсурдно-раннем возрасте, семи лет, я знал уже, что до меня никогда не достигнет ни одно человеческое слово: видели ли, чтобы это когда-нибудь меня огорчало? — И ныне я также любезен со всеми, я даже полон внимания к самым низшим: во всем этом нет ни зерна высокомерия, ни скрытого презрения. Кого я презираю, тот *угадывает*, что он мною презираем: я возмущаю одним своим существованием все, что носит в своем теле дурную кровь... Моя формула для величия человека есть *a m o r f a t i*: не хотеть ничего дурного ни впереди,

ни позади, ни во всю вечность. Не только переносить необходимость, но и не скрывать ее — всякий идеализм есть ложь перед необходимостью — *любит* ее...

Почему я пишу такие хорошие книги. Я — одно, мои сочинения — другое. Здесь, раньше чем я буду говорить о них, следует коснуться вопроса о понимании и непонимании этих сочинений. Я говорю об этом со всей подобающей небрежностью, ибо это отнюдь не есть своевременный вопрос. Я сам еще не своевременен, некоторые рождаются после смерти. Нёкогда нужны будут учреждения, где будут жить и учить, как я понимаю жизнь и учение; будут, быть может, учреждены особые кафедры для толкования Заратустры. Но это было бы совершенным противоречием себе, если бы я теперь же ожидал ушей и *рук* для *моих* истин: что теперь не слышат, что теперь не умеют брать от меня, это не только понятно, но даже кажется мне справедливым. Я не хочу, чтобы меня смешивали с другими, — а это требует, чтобы и я сам не смешивал себя с другими. Повторяю еще раз, мало в моей жизни можно указать «злой воли»; я едва ли мог бы рассказать хоть один случай литературной «злой воли». Зато слишком много *чистого безумия!*.. Мне кажется, что если кто-нибудь берет в руки мою книгу, он этим оказывает себе редкую честь, какую только можно себе оказать, — я допускаю, что он снимает при этом ботинки, не говоря уже о сапогах... Когда однажды доктор Генрих фон Штейн откровенно жаловался, что ни слова не понимает в моем Заратустре, я сказал ему, что это в порядке вещей: кто понял, т. е. *пережил* хотя бы шесть тезисов из Заратустры, тот уже поднялся на более высокую ступень среди смертных, чем какая доступна «современным» людям. Как *мог бы* я при *этом* чувстве расстояния хотя бы только желать, чтобы меня читали «современники», которых я знаю! Мое превосходство прямо обратно превосходству Шопенгауэра, — я

говоря «non legor, non legar». — Не то, чтобы я низко ценил удовольствие, которое мне не раз доставляла *невинность* в отрицании моих сочинений. Еще этим летом, когда я своей тяжеловесной, слишком тяжеловесной литературой мог бы вывести из равновесия всю остальную литературу, один профессор берлинского университета дал мне благосклонно понять, что мне следует пользоваться другой формой: таких вещей никто не читает. — В конце концов не Германия, а Швейцария дала мне два таких примера. Статья доктора В. Видмана в «Bund'e» о книге «По ту сторону добра и зла» под заглавием «Опасная книга Ницше» и общий обзор моих сочинений Карла Шпителера в том же «Bund'e» были в моей жизни максимумом — остерегаюсь сказать чего... Последний трактовал, например, моего Заратустру как *высший образец стиля*, и желал, чтобы впредь я позаботился и о содержании; доктор Видман выражал свое уважение перед мужеством, с каким я стремлюсь к уничтожению всех приличных чувств. — Благодаря шутке со стороны случая, здесь каждое предложение с удивлявшей меня последовательностью било истиной, поставленной вверх ногами: в сущности не оставалось ничего другого, как произвести «переоценку всех ценностей», чтобы все с замечательной точностью попало в точку, — вместо того, чтобы попасть в меня... Тем не менее я попытаюсь дать объяснение. — В конце концов никто не может из вещей, в том числе и из книг, узнать больше, чем он уже знает. Если для какого-нибудь переживания нет доступа, для него нет уже и уха. Представим себе крайний случай: что книга говорит о переживаниях, которые лежат совершенно вне возможности частых или даже редких опытов, — что она является *первым* словом для нового ряда опытов. В этом случае ничего нельзя уже и слышать, благодаря тому акустическому заблуждению, будто там, где ничего не слышно, *ничего и нет*... Это

и есть мой средний опыт и, если хотите, *оригинальность* моего опыта. Кто думал, что он что-нибудь понимал у меня, тот делал из меня нечто подобное своему образу, нечто нередко противоположное мне, например, «идеалиста»; кто ничего не понимал, тот отрицал, чтобы со мной можно было вообще считаться. — Слово «*сверхчеловек*» для обозначения типа самой высокой удачности, в противоположность «современным» людям, «добрым» людям, христианам и другим нигилистам — слово, которое в устах Заратустры, *уничтожителя* морали, вызывало на многие размышления, — почти всюду было понято в полной невинности, как ценность, противоположная тем, которые были представлены в образе Заратустры: я хочу сказать, как «идеалистический» тип высшей породы людей, как «полусвятой», как «полугений»... Другой ученый рогатый скот заподозрил меня из-за него в дарвинизме: в нем находили даже столь зло отвергнутый мною «культ героев» Карлейля, этого фальшивомонетчика знания и воли. Когда же я шептал на ухо, что уже скорее в нем можно видеть Цезаря Борджиа, чем Парсиваля, то не верили своим ушам. — Надо простить мне, что я отношусь без всякого любопытства к отзывам о моих книгах, особенно в газетах. Мои друзья, мои издатели знают об этом и никогда не говорят мне ни о чем подобном. В одном только особом случае я увидел однажды воочию все грехи, совершенные над одной книгой — дело касалось «По ту сторону добра и зла»; я многое мог бы рассказать об этом. Возможно ли было поверить, что Nationalzeitung — прусская газета, служащая указанием для моих иностранных читателей — сам я, с вашего позволения, читаю только Journal des Débats — дошла совершенно серьезно до понимания этой книги, как «знамение времени», как истинно-правой *юнкерской философии*, которой недоставало только мужества «Крестовой газеты»?..

Это было сказано для немцев; ибо всюду, кроме Германии, есть у меня читатели — все изысканные, испытанные умы, характеры, воспитанные в высоких положениях и обязанностях; есть среди моих читателей даже действительные гении. В Вене, Петербурге, Стокгольме, Копенгагене, Париже и Нью-Йорке — везде открыли меня: меня не открыли только в европейской равнине, в Германии... И я должен признаться, что меня больше радуют те, кто меня не читает, *кто* никогда не слышал ни моего имени, ни слова философия; но куда бы я ни пришел, например, здесь, в Турине, лицо каждого при взгляде на меня проясняется и становится добрым. Что мне до сих пор особенно льстило, это то, что старые торговки не успокаиваются, пока не выберут для меня самый сладкий из их винограда. Надо быть до *такой степени* философом... Недаром поляков зовут французами среди славян. Очаровательная русская женщина ни на одну минуту не ошибется в моем происхождении. Мне не удастся стать торжественным, самое большое — я прихожу в смущение... По-немецки думать, по-немецки чувствовать — я могу все, но *это* свыше моих сил... Мой старый учитель Ричль утверждает даже, что свои филологические исследования я конципирую, как парижский романист — абсурдно увлекательно. Даже в Париже изумлялись по поводу «*toutes mes audaces et finesses*» — выражение господина Тэна; — я боюсь, что вплоть до высших форм дифирамба можно найти у меня примесь той соли, которая никогда не бывает глупой — «немецкой», *esprit*... Я не могу иначе. Помогите мне, Боже! Аминь. — Мы знаем все, некоторые даже из опыта, что такое длинноухое животное. Ну, что ж, я смею утверждать, что у меня самые маленькие уши. Это немало интересует женщин, — мне кажется, что они чувствуют, что я их лучше понимаю?.. Я анти-осел *par excellence*, и благодаря этому я всемирно-историческое чудовище, — по-гречески, и не только по-гречески, я антихристианин...

Я несколько знаю свои преимущества как писателя; отдельные случаи доказали мне, как сильно «портит» вкус привычка к моим сочинениям. Просто не переносишь других книг, особенно философских. Это несравненное отличие, чтобы войти в этот благородный и тонкий мир, — для этого отнюдь не надо быть немцем; в конце концов это отличие, которое надо заслужить. Но кто приближается ко мне *высотой* хотения, тот переживает при этом истинные экстазы познания: ибо я прихожу с высот, которых не достигала ни одна птица, я знаю бездны, куда не ступала ни одна нога. Мне говорили, что нельзя оторваться ни от одной из моих книг, — я нарушаю даже ночной покой... Нет более гордых и вместе с тем более рафинированных книг: — они достигают порою наивысшего, что достижимо на земле, цинизма; для завоевания их нужны как самые нежные пальцы, так и самые сильные кулаки. Всякая дряхлость души, даже всякое расстройство пищеварения устраняют от них навсегда: не должно быть нервов, должен быть веселый кишечник. Не только бедность и затхлый запах души исключают их, но еще в большей степени исключает их все трусливое, нечистоплотное, скрытное и мстительное в наших внутренностях: одно мое слово гонит наружу все дурные инстинкты. Среди моих знакомых есть несколько зверей, годных для опыта, на них я изучаю различную, очень поучительно различную реакцию на мои сочинения. Кто не хочет ничего знать об их содержании, например, мои так называемые друзья, тот становится «безличным»: меня поздравляют с тем, что я пошел «дальше», — говорят также об успехе в смысле большей ясности тона... Совершенно порочные «умы», «прекрасные души», изолгавшиеся до глубины своей, совсем не знают, что им делать с этими книгами, — следовательно, они считают их *ниже* себя, прекрасная последовательность всех «прекрасных душ». Рогатый скот

среди моих знакомых, немцы, с вашего позволения, дают понять, что, не разделяя моего мнения, все же иногда... Это я слышал даже о Заратустре... Точно так же всякий «феминизм» в человеке, даже в мужчине, является для меня закрытыми воротами: никогда не войдет он в этот лабиринт дерзновенных познаний. Никогда не надо щадить себя, *жестокость* должна быть привычкой, чтобы среди жестоких истин быть веселым и бодрым. Когда я рисую себе образ совершенного читателя, мне всегда представляется он чудовищем смелости и любопытства, кроме того, еще чем-то гибким, хитрым, осторожным, прирожденным искателем и открывателем. В конце концов, я не мог бы сказать лучше Заратустры, — к нему одному в сущности я и обращаюсь: *кому* захочет он рассказать свою загадку?

«Вам, смелым искателям, испытателям и всем, кто когда-либо плавал под коварными парусами по страшным морям,

вам, опьяненным загадками, любителям сумерек, чья душа привлекается звуками свирели ко всякой обманчивой пучине:

— ибо вы не хотите нащупывать нить трусливой рукой, и где можете вы *угадать*, там презираете вы *исследование...*»

4

Вместе с тем я делаю еще общее замечание о моем *искусстве стиля*. Поделиться состоянием, внутренней напряженностью пафоса путем знаков, включая сюда и темп этих знаков — в этом состоит смысл всякого стиля; и ввиду того, что множество внутренних состояний является моей исключительностью, у меня есть много возможностей для стиля — самое многообразное искусство стиля вообще, каким когда-либо наделен был человек. *Хорош* всякий стиль, который, действительно, передает внутреннее состояние, который не ошибается в знаках,

в темпе знаков, в *жестах* — все законы периода суть искусства жеста. Мой инстинкт бывает здесь безошибочен. — Хороший стиль *сам в себе* — чистое безумие, один только «идеализм»; все равно что «прекрасное *само в себе*», что «добро *само в себе*», или «вещь *сама в себе*»... При том неременном условии, что есть уши — что есть люди, способные на подобный пафос и достойные его, есть люди, с некоторыми *можно* делиться собою. — Мой Заратустра, например, еще ищет их — ах, он будет еще долго искать их! — Надо быть *достойным*, чтобы слушать его... А до тех пор не будет никого, кто бы понял *искусство*, здесь расточённое: никогда и никто не расточал еще столько новых, неслыханных, поистине впервые здесь созданных средств искусства. Что нечто подобное было возможно именно на немецком языке, — это еще нужно было доказать: я сам раньше решительно отрицал бы это. До меня не знали, что можно сделать из немецкого языка, что можно сделать из языка вообще. Искусство *великого* ритма, *великий* стиль периодичности для выражения огромного восхождения и нисхождения высокой, сверх-человеческой страсти, был впервые открыт мною; с помощью дифирамба «Семь печатей», которым оканчивается *третья*, последняя часть Заратустры, я поднялся на тысячу миль над всем, что когда-либо называлось поэзией.

5

Что в моих сочинениях говорит не знающий себе равных *психолог*, это, быть может, есть первое убеждение, к которому приходит хороший читатель — читатель, какого я заслуживаю, который читает меня так, как добрые люди, старые филологи читали своего Горация. Положения, в отношении которых был в сущности согласен весь мир — не говоря уже о всемирных философах, моралистах и о прочих пустых головах — у меня являются, как наивности человеческого заблуждения:

такова, например, вера, что «эгоистическое» и «неэгоистическое» суть противоположности, тогда как само *его* есть только «высший обман», «идеал»... На самом же деле нет ни эгоистических, ни неэгоистических поступков: оба понятия суть психологическая бессмыслица. Или положение «человек стремится к счастью»... Или положение «счастье есть награда добродетели»... Или положение «радость и страдание противоположны». Цирцея человечества, мораль, извратила — *морализовала* — все *psychologica* до глубочайших основ, до той ужасной бессмыслицы, будто любовь есть нечто «неэгоистическое»... Надо крепко сидеть *на себе*, надо смело стоять на обеих своих ногах, иначе совсем *нельзя* любить. Это, в конце концов, слишком хорошо знают женщины: они нимало не беспокоятся о бескорыстных, объективных мужчинах... Могу ли я при этом высказать предположение, что я *знаю* женщин? Это принадлежит к моему дионисовскому достоянию. Кто знает? может быть, я первый психолог вечно женственного. Они все любят меня — это старая история: не считая *неудачных* женщин, «эмансипированных», лишенных способности деторождения. — К счастью, я не намерен отдать себя на растерзание: совершенная женщина терзает, когда она любит... Знаю я этих прелестных вакханок... О, что это за опасное, скользящее, подземное маленькое хищное животное! И столь сладкое при этом! Маленькая женщина, ищущая мщения, способна опрокинуть даже судьбу. Женщина несравненно много злее мужчины и умнее его; доброта в женщине есть уже форма *вырождения*... Все, так называемые «прекрасные души», страдают в своей основе каким-нибудь физиологическим недостатком, — я говорю не все, иначе я стал бы медиком. Борьба за *равные* права есть даже симптом болезни: всякий врач знает это. — Женщина, чем больше она женщина, обороняется руками и ногами от прав вообще: ведь естественное состояние,

вечная война полов отводит ей первое место. Есть ли уши для моего определения любви? оно является единственным достойным философа. Любовь является в своих средствах войною, а в своей основе смертельной ненавистью полов. — Слышали ли вы мой ответ на вопрос, как *излечивают* женщину — «освобождают» ее? Ей делают ребенка. Женщине нужен ребенок, мужчина всегда только средство: так говорил Заратустра. — «Эмансипация женщины» — это инстинктивная ненависть *неудачной*, т. е. неприспособленной к деторождению женщины, к женщине удачной, — борьба с мужчиной есть только средство, предлог, тактика. Они хотят, возвышая *себя*, как «женщину самоё в себе», как «высшую женщину», как «идеалистку», *понизить* общий уровень женщины; нет для этого более верного средства, как воспитание в гимназиях, штаны и политические стадные избирательные права. В сущности эмансипированные женщины суть анархистки в мире «вечно женственного», неудачницы, у которых скрытым инстинктом является мщение... Целое поколение хитрого «идеализма» — который, впрочем, встречается и у мужчин, например, у Генрика Ибсена, этой типической старой девы — преследует, как цель, *отравление* спокойной совести и природы в половой любви... И для того чтобы не оставалось никакого сомнения в моем столь же честном, сколь суровом взгляде на этот вопрос, я приведу еще одно положение из своего морального кодекса против *порока*: под словом «порок» я борюсь против всякого рода противоестественности или, если любят красивые слова, против идеализма. Это положение означает: «проповедь целомудрия есть публичное подстрекательство к противоестественности. Всякое презрение к половой жизни, всякое осквернение ее понятием «нечистого» есть преступление против жизни, — есть истинный грех против святого духа жизни».

Чтобы дать понятие о себе, как психолог, привожу любопытную страницу психологии из «По ту сторону добра и зла», — я не допускаю, впрочем, никаких предположений, кого я описываю в этом месте. «Гений сердца, свойственный тому великому Таинственному, тому богу-искусителю и прирожденному ловцу совестей, чей голос способен проникать в самую преисподнюю каждой души, кто не скажет слова, не бросит взгляда без скрытого намерения соблазнить, кто обладает мастерским умением казаться — и не тем, что он есть, а тем, что скорее может побудить его последователей все более и более приближаться к нему, проникаться все более и более глубоким и сильным влечением следовать за ним: — гений сердца, который заставляет все громкое и самодовольное молчать и прислушиваться, который полирует шероховатые души, давая им отведать нового желания — быть неподвижными, как зеркало, чтобы в них отражалось глубокое небо; — гений сердца, который научает грубую и слишком быструю руку брать медленнее и нежнее; который угадывает скрытое и забытое сокровище, капли благости и сладостной гениальности под темным толстым льдом и является волшебным жезлом для каждой крупницы золота, долго лежавшей погребенною в своей темнице под массой тины и песка; гений сердца, после прикосновения с которым каждый уходит от него богаче, но не осыпанный милостями и пораженный неожиданностью, не осчастливленный и подавленный чужими благами, а богаче самим собою, новее для самого себя, чем прежде, раскрывшийся, обвеянный теплым ветром, который подслушал все его тайны, менее уверенный, быть может, более нежный, хрупкий, надломленный, но полный надежд, которым еще нет названия, полный новых желаний и стремлений с их приливами и отливами...»

Происхождение трагедии. Чтобы быть справедливым к «Происхождению Трагедии» (1872), надо забыть о некоторых вещах. Эта книга *влияла* и даже очаровывала тем, что было в ней неудачного — своим применением к *вагнерианству*, как если б она была симптомом *начала*. Именно поэтому это сочинение было событием в жизни Вагнера: лишь с тех пор стали связывать с именем Вагнера большие надежды. Еще теперь напоминают мне иногда при представлении Парсиваля, что собственно на *моей* совести лежит происхождение столь высокого мнения *о культурной ценности* этого движения. — Я неоднократно встречал цитирование книги, как «Возрождение трагедии из музыки»; были уши только для новой формулы искусства, цели, задачи *Вагнера*, — из-за этого недослышали того, что эта книга скрывала в основе своей ценного. «Элленизм и пессимизм» — это было бы более недвусмысленным заглавием: именно, как первое исследование того, как греки отделялись от пессимизма, — чем они *преодолевали* его.. Именно трагедия есть доказательство, что греки не были пессимистами: Шопенгауэр ошибся здесь, как он ошибался во всем. — Взятое в руки с некоторой нейтральностью, «Происхождение Трагедии» выглядит очень несвоевременным: и во сне нельзя было бы представить, что оно *начато* под гром битвы при Верте. Я продумал эту проблему под стенами Метца в холодные сентябрьские ночи, среди обязанностей санитарной службы; скорее уже можно было бы подумать, что это сочинение старше пятьюдесятью годами. Оно политически индифферентно — «не по-немецки», скажут теперь, — оно пахнет неприлично по-гегелевски, оно только в нескольких формулах отдает трупным запахом Шопенгауэра. «Идея» — противоположность дионисовского и аполлоновского — перемещена в метафизику; сама история, как развитие этой идеи, и упраздненная в трагедии противоположность единству, — при подобной оптике все эти вещи, еще никогда

не смотревшие друг другу в лицо, теперь внезапно были противопоставлены одна другой, одна через другую освещены и *поняты*... Например, опера и революция... Два решительных новшества книги составляют, во-первых, толкование дионисовского явления у греков — оно дает его первую психологию и видит в нем единый корень всего греческого искусства. — Во-вторых, толкование сократизма: Сократ, познанный впервые, как орудие греческого разложения, как типический декадент. «Разумность» *противопоставляется* инстинкту. «Разумность» рисуется, во что бы то ни стало, как опасная, подрывающая жизнь сила! — Глубокое, враждебное умолчание во всей книге о христианстве: оно не есть начало ни аполлоновское, ни дионисовское; оно *отрицает* все эстетические ценности — единственные ценности, которые признает «Происхождение Трагедии»: оно в самом глубоком смысле нигилистично, тогда как в дионисовском символе достигнут самый крайний предел *утверждения*.

2

Это начало является замечательным сверх всякой меры. Для своего наиболее внутреннего опыта я *открыл* единственный символ и ответ, которым обладает история, именно этим я первый постиг чудесное явление дионисовского начала. Точно так же тем, что я признал декадента в Сократе, дано было вполне недвусмысленное доказательство, как мало угрожает уверенности моего психологического чутья опасность со стороны какой-нибудь моральной идиосинкразии: сама мораль, как симптом декаданса, есть новшество, есть единственная и первостепенная вещь в истории познания. Как высоко поднялся я в этом отношении над жалкой, плоской болтовней об оптимизме против пессимизма! — Я увидел впервые истинную противоположность: с одной стороны, *вырождающийся* инстинкт, обращенный с подземной мстительностью против жизни (христианство, философия Шопенгауэра, в известном смысле уже философия

Платона, весь идеализм, как его типические формы), с другой — рожденная из полноты, из преизбытка формула *высшего утверждения*, утверждения без ограничений, утверждения даже к страданию, даже к вине, даже ко всему загадочному и странному в существовании... Это последнее, самое радостное, самое чрезмерное и надменное утверждение жизни есть не только самое высокое убеждение, оно также и самое *глубокое*, наиболее строго утвержденное и подтвержденное истиной и наукой. Ничто существующее не должно быть устранено, нет ничего лишнего — отвергаемые христианами и иными философами нигилистами стороны существования занимают в иерархии ценностей даже бесконечно более высокое место, чем то, что мог бы одобрить, *назвать хорошим* инстинкт декаданса. Чтобы постичь это, нужно мужество и, как его условие, избыток *силы*: ибо насколько мужество *может* отважиться на движение вперед, настолько по этой мерке силы приближаемся и мы к истине. Познание, утверждение реальности для сильного есть такая же необходимость, как для слабого, под давлением слабости, трусость и *бегство* его от реальности — «идеал»... Слабые не свободны познавать: декадентам *нужна* ложь, — она составляет одно из условий их существования. — Кто не только понимает слово «дионисовское», но понимает и себя в этом слове, тому не нужны опровержения Платона или Шопенгауэра — он обоняет разложение...

3

Насколько я нашел понятие «трагического», конечное познание того, что такое психология трагедии, я это выразил еще в *Сумерках кумиров*. «Подтверждение жизни даже в самых непостижимых и суровых ее проблемах; воля к жизни, ликующая *в жертве* своими высшими типами собственной неисчерпаемости — *вот что* называл я дионисовским, *вот в чем* угадал я мост к психологии трагического поэта. Не для того, чтобы освободиться от

ужаса и сострадания, не для того, чтобы очиститься от опасного аффекта бурным его разряжением — так понимал это Аристотель: — а для *того*, чтобы, наперекор ужасу и состраданию, *быть самому* вечной радостью становления, — той *радостью*, которая включает в себе также и *радость уничтожения...*» В этом смысле я имею право понимать самого себя как первого *трагического философа* — это значит, как самую крайнюю противоположность и антипода всякого пессимистического философа. До меня не существовало этого превращения дионисовского состояния в философский пафос: недоставало *трагической мудрости* — тщетно искал я ее признаков даже у великих греческих философов за два века до Сократа. Сомнение оставил во мне *Гераклит*, вблизи которого я чувствую себя вообще теплее и приятнее, чем где-нибудь в другом месте. Подтверждение исчезновения и *уничтожения*, отличительное для дионисовской философии, подтверждение противоположности и войны, *становление*, при радикальном устранении самого понятия «*бытие*» — в этом я должен признать при всех обстоятельствах самое близкое мне из всего, что до сих пор мыслили. Учение о «вечном возвращении», это значит о безусловном и бесконечном повторяющемся круговороте всех вещей — это учение Заратустры *могло* однажды уже существовать. Следы его есть, по крайней мере, у стоиков, которые унаследовали от Гераклита почти все свои основные представления.

4

Из этого сочинения говорит огромная надежда. В конце концов у меня нет никакого основания брать обратно надежду на дионисовское будущее музыки. Бросим взгляд на столетие вперед, предположим случай, что мое покушение на два тысячелетия противоестественности и человеческого позора будет иметь успех. Та новая партия жизни, которая возьмет в свои руки величайшую из всех задач, более высокое воспитание

человечества и в том числе беспощадное уничтожение всего вырождающегося и паразитического, сделает возможным на земле тот *переизбыток жизни*, из которого должно снова вырасти дионисовское состояние. Я обещаю *трагический* век: высшее искусство в утверждении жизни, трагедия, возродится, когда человечество, *без страдания*, будет иметь позади себя сознание о самых жестоких, но и самых необходимых войнах... Психолог мог бы еще прибавить, что то, что я слышал в юные годы в вагнеровской музыке, не имеет вообще ничего общего с Вагнером; что когда я описывал дионисовскую музыку, я описывал то, что я слышал, — что я инстинктивно должен был перенести и перевоплотить в тот новый дух, который я носил в себе. Доказательство тому *настолько сильное, насколько доказательство может быть сильным*, есть мое сочинение «Вагнер в Байрейте»: во всех психологически-решающих местах речь идет только обо мне, — можно без всяких предосторожностей поставить мое имя или слово «Заратустра» там, где текст дает слово: Вагнер. Весь образ *дифирамбического* художника есть образ поэта *предшественника* Заратустры, нарисованный с величайшей глубиной, не затрагивая ни на минуту вагнеровской реальности. У самого Вагнера было об этом понятие; он не признал себя в моем сочинении. — Точно так же «Идея Байрейта» превратилась в нечто, что не будет загадочным понятием для знатоков моего Заратустры: в тот *великий полдень*, когда самые избранные посвящают себя величайшей из всех задач — кто знает? призрак праздника, который я еще переживу. Пафос первых страниц есть всемирно-исторический пафос; *взгляд*, о котором идет речь на седьмой странице, есть истинный взгляд Заратустры; Вагнер, Байрейт, все маленькие немецкие жалкие вещи суть облака, в котором отражается бесконечная фатаморгана будущего. Даже психологически все отличительные черты моей собственной натуры перенесены в натуру Вагнера —

совместность самых светлых и роковых сил, воля к власти, какой никогда еще не обладал человек, беспредельная смелость в сфере духа, неограниченная сила к изучению, причем ею не подавлялась воля к действию. Все в этом сочинении вперед возведено: близость возвращения греческого духа, необходимость *другого Александра*, который снова *завяжет* однажды разрубленный гордиев узел греческой культуры... Пусть слушают всемирно-исторические слова, которые вводят на 30-й странице понятие «трагического чувства»: в этом сочинении есть только всемирно-исторические слова. Это самая странная «объективность», какая может существовать: абсолютная уверенность в том, *что* я такое, бросала свою проекцию на любую случайную реальность, — истина обо мне говорила из полной страха глубины. На 71-й странице описан и предвосхищен с поразительной уверенностью *стиль* Заратустры; и никогда не найдут более великолепного выражения для *события* Заратустра, для этого акта огромного очищения и признания человечества священным, чем на 43 — 46-й страницах.

Несвоевременные размышления. Четыре *несвоевременных размышления* являются исключительно воинственными. Они доказывают, что я не был «Иваном-мечтателем», что мне доставляет удовольствие владеть шпатель, — может быть, также и то, что у меня очень ловкая рука. *Первое* нападение (1873 г.) было на немецкую культуру, на которую я тогда уже смотрел сверху вниз с беспощадным презрением. Без смысла, без содержания, без цели: сплошное «общественное мнение». Нет более пагубного недоразумения, чем думать, что большой успех немецкого оружия доказывает что-нибудь в пользу этой культуры или даже в пользу ее победы над Францией... *Второе* Несвоевременное размышление (1874) освещает опасную сторону, подтачивающую и отравляющую жизнь, в нашем способе научной деятельности: — жизнь *больную*

от этого обесчеловеченного механизма, от безличности работника, от ложной экономии «разделения труда». Цель утрачивается, культура — средство, современная научная система, *варваризирует*... В этом исследовании в первый раз признается болезнью, типическим признаком упадка «исторический смысл», которым гордится этот век. В *третьем и четвертом* Несвоевременном размышлении, как указание к *высшему* пониманию культуры и к восстановлению понятия «культура», выставлены два самые твердые образа *эгоизма и дисциплины своего «Я»*, несвоевременные типы *par excellence*, полные суверенного презрения ко всему, что вокруг них называлось «Империей», «образованием», «христианством», «Бисмарком», «успехом», — Шопенгауэр и Вагнер *или*, одним словом, Ницше...

2

Из этих четырех покушений первое имело исключительный успех. Шум, им вызванный, был во всех отношениях великолепен. Я коснулся уязвимого места победоносной нации, — что ее победа не культурное событие, а может быть, может быть нечто совсем другое... Ответы приходили со всех сторон и отнюдь не только от старых друзей Давида Штрауса, которого я сделал, как тип филистера немецкой культуры, смешным и *satisfait*, короче, как автора его евангелия из пивной о «старой и новой вере» (— слово филистер культуры перешло из моей книги в разговорную речь). Эти старые друзья, вюртембергцы и швабы, глубоко уязвленные тем, что я нашел смешным их чудо, их Штрауса, отвечали мне так честно и так грубо, как только мог я желать; прусские выражения были умнее, — в них было больше «берлинской сини». Самое неприличное дал один лейпцигский листок, обесславленные «*Grenzboten*»; мне стоило больших усилий удержать возмущенных базельцев от решительных шагов. Безусловно высказались за меня лишь несколько старых господ, по различным и частью

необъяснимым основаниям. Между ними был Эвальд из Геттингена, давший понять, что мое нападение было смертельным для Штрауса. Точно так же высказался старый гегельянец Бруно Бауер, в котором я имел с тех пор одного из самых внимательных моих читателей. Он любил, в последние годы своей жизни, ссылаться на меня, чтобы намекнуть, например, прусскому историографу Трейчке, у кого именно он мог бы получить сведения об утраченном им понятии «культура». Самое глубокомысленное, так же как и самое обстоятельное о моей книге и ее авторе высказано было старым учеником философа Баадера, профессором Гофманом из Вюрцбурга. По моему сочинению он предвидел для меня великое назначение — вызвать род кризиса и дать наилучшее разрешение проблемы атеизма; он угадывал во мне самый инстинктивный и самый беспощадный тип атеиста. Атеизм был тем, что привело меня к Шопенгауэру. — Лучшее всего была выслушана и с наибольшей горечью была принята чрезвычайно сильная и смелая защитительная речь обыкновенно столь мягкого Карла Гиллебранда, этого последнего немецкого *гуманиста*, умевшего владеть пером. Раньше его статью читали в «Augsburger Zeitung», а теперь ее можно прочесть, в несколько более осторожной форме, в собрании его сочинений. Здесь моя книга представлена, как событие, как поворотный пункт, как первое самосознание, как лучшее знамение, как действительное *возвращение* немецкой серьезности и немецкой страсти в вопросах духа. Гиллебранд был полон высоких похвал форме сочинения, его зрелому вкусу, его совершенному такту в различении личности и вещи: он отмечал его, как лучшее полемическое сочинение, написанное по-немецки — именно в столь опасном для немцев искусстве, как полемика, которую не следует им рекомендовать. Безусловно утверждая, даже обостряя то, что я осмелился сказать о порче языков Германии (теперь разыгрывают они пуристов и не

могут уже составить предложения), высказывая такое же презрение к «первым писателям» этой нации, он кончил выражением своего удивления моему *мужеству*, тому «высшему мужеству, которое приводит любимцев народа на скамью подсудимых»... Последующее влияние этого сочинения совершенно не оценимо в моей жизни. Никто с тех пор не спорил со мною. Теперь все молчат обо мне, со мною обходятся в Германии с угрюмой осторожностью: в течение целых лет я пользовался безусловной свободой слова, для которой ни у кого, меньше всего в «Империи», нет достаточно свободной *руки*. Мой рай покоится «под сенью моего меча»... В сущности я применил правило Стендаля: он советует вступить с обществом в поединок. И какого я выбрал себе противника! первого немецкого свободомыслящего!.. В действительности в этом нашел свое первое выражение совсем *новый* род свободомыслия: до сих пор нет для меня ничего более чуждого и менее родственного, чем вся европейская и американская *species* «libres penseurs». С ними, как с неисправимыми тупицами и шутами «современных идей», нахожусь я даже в более глубоком разногласии, чем с кем-либо из их противников. Они тоже хотят по-своему «улучшить» человечество, по их образцу; они вели бы непримиримую войну против всего, в чем выражается *мое* я, чего я *хочу*, если предположить, что они это поняли — они еще верят все вместе в «идеал»... Я первый *иммoralист*.

3

Я не хотел бы утверждать, что отмеченные именами Шопенгауэра и Вагнера Несвоевременные Размышления могут особенно служить к уяснению или хотя бы только к психологической постановке вопроса об обоих случаях — исключая, по справедливости частности. Так, например, с глубокой уверенностью — инстинктом здесь обозначен главный элемент в натуре Вагнера, дарование актера, извлекающее из своих средств и намерений

свои собственные следствия. В сущности вовсе не психологией хотел я заниматься в этих сочинениях: несравнимая ни с чем проблема воспитания, новое понятие *дисциплины своего «Я»*, *самозащиты* до жестокости, путь к величию и всемирно-историческим задачам еще требовали своего первого выражения. В общем, я притянул за волосы два знаменитых и еще вовсе неустановленных типа, как притягивают за волосы всякую случайность, чтобы что-нибудь выразить, чтобы иметь в своих руках больше несколькими формулами, знаками и средствами выражения. Наконец, с особой тревожной прозорливостью это выражено на 93-й странице третьего Несвоевременного Размышления. Так Платон пользовался Сократом; как семиотикой для Платона. — Теперь, когда из некоторого отдаления я оглядываюсь на те состояния, свидетельством о которых являются эти сочинения, я не буду отрицать, что в сущности они говорят исключительно обо мне. Сочинение «Вагнер в Байрейте» есть видение моего будущего; напротив того, в «Шопенгауэре как воспитателе» вписана моя внутренняя история, мое *становление*. Прежде всего мой *обет!*.. *Чем являюсь я теперь, где нахожусь я теперь* — на высоте, где я говорю уже не словами, а молниями — о, как далек я был тогда еще от этого! — Но я *видел* землю, — я ни на одно мгновение не обманулся в пути, в море, в опасности — и успехе! Этот великий покой в обещании, этот счастливый взгляд в будущее, которое не должно остаться только обещанием! Здесь каждое слово пережито, глубоко, интимно; нет недостатка в самом болезненном чувстве, есть слова, являющиеся прямо кровавыми. Но *ветер* великой свободы проносится над всем; даже рана не действует, как возражение. О том, как понимаю я философа, как страшное взрывчатое вещество, перед которым все находится в опасности, как отделяю я свое понятие философа на целые мили от такого понятия о нем, которое даже Канта включает в него, не говоря уже об акаде-

мических «жвачных животных» и других профессорах философии: обо всем этом дает мое сочинение бесценное указание, допустив даже, что здесь в сущности идет речь не о «Шопенгауэре как воспитателе», а об его *противоположности*, «Ницше как воспитателе». — Если принять во внимание, что моим ремеслом было тогда ремесло ученого, и что я, может быть, хорошо *понимал* свое ремесло, то представится не без значения суровый образец психологии ученого, внезапно выдвинутый в этом сочинении: он выражает *чувство расстояния*, глубокую уверенность в том, что у меня может быть задачей, что только средством, отдыхом и побочным делом. Моя мудрость выражается в том, чтобы быть многим и во многих местах, чтобы уметь стать единым, — чтобы уметь прийти к единому. Я *должен был* еще некоторое время оставаться ученым.

Человеческое, слишком человеческое. С двумя продолжениями. «Человеческое, слишком человеческое» есть памятник кризиса. Оно называется книгой для *свободных* умов: почти каждая фраза в нем выражает победу — с этой книгой я освободился от всего *неприсущего* моей натуре. Не присущ мне идеализм: заглавие говорит: «где вы видите идеальные вещи, там вижу я — человеческое, ах, только слишком человеческое!..» Я лучше знаю человека... Ни в каком ином смысле не должно быть понято здесь слово «свободный ум»: *освободившийся* ум, который снова овладел самим собою. Тон, звук голоса совершенно изменился: книгу найдут умной, холодной, при обстоятельствах даже жестокой и насмешливой. Кажется, будто известная духовность *аристократического* вкуса постоянно одерживает верх над страстным стремлением, скрывающимся на дне. В этом сочетании есть тот смысл, что именно столетие со дня смерти *Вольтера* как бы извиняет издание этой книги в 1878 году. Ибо Вольтер, в противоположность всем, кто писал после него, есть

прежде всего grandseigneur духа: так же, как и я. — Имя Вольтера на моем сочинении — это был действительно шаг вперед — *ко мне...* Если присмотреться ближе, то здесь откроется безжалостный дух, знающий все закоулки, где идеал чувствует себя дома, где находятся его подземелья и его последнее убежище. В руках с факелом, который дает отнюдь не «дрожащий от факела» свет, освещается с режущей яркостью этот *подземный мир* идеала. Это война, но война без пороха и дыма, без воинственных поз, без пафоса и вывихнутых членов — все это было бы еще «идеализмом». Одно заблуждение за другим выносится на лед, идеал не опровергается — *он замерзает...* Здесь, например, замерзает «гений»; немного дальше замерзает «святой»; под толстым слоем льда замерзает «герой»; в конце замерзает «вера», так называемое «убеждение», даже «сострадание» значительно остывает — почти всюду замерзает «вещь в себе»...

2

Возникновение этой книги относится к неделям первых Байрейтских торжественных представлений; глубокая отчужденность от всего, что меня там окружало, есть одно из условий ее возникновения. Кто имеет понятие о том, какие видения уже тогда пробежали по моему пути, может угадать, как я себя почувствовал, когда однажды проснулся в Байрейте. Совсем как если бы я грезил... Где же я был? Я ничего не узнавал, я едва узнавал Вагнера. Тщетно перебирал я свои воспоминания. Трибшен — далекий остров блаженных: нет ни тени сходства. Несравненные дни закладки, маленькая группа людей, которые были *на своем месте* и праздновали эту закладку и вовсе не нуждались в пальцах для нежных вещей: нет ни тени сходства. *Что случилось?* — Вагнера перевели на немецкий язык! Вагнерианец стал господином над Вагнером! — *Немецкое искусство! немецкий маэстро! немецкое пиво!*.. Мы, знающие слишком хорошо, к каким утонченным артистам, к какому космополитизму

вкуса обращается искусство Вагнера, мы были вне себя, найдя Вагнера увешанным немецкими «добродетелями». — Я думаю, что знаю вагнерианца, я «пережил» три поколения, от покойного Бренделя, смешивавшего Вагнера с Гегелем, до «идеалистов» Байрейтских Известий, смешивавших Вагнера с собою — я слышал всякого рода исповеди «прекрасных душ» о Вагнере. Царство за единое осмысленное слово! Поистине, общество, от которого волосы встают дыбом! Ноль, Поль, Коль и другие с этим вкусом *in infinitum*! Ни в каком уродстве здесь нет недостатка, даже в антисемите. — Бедный Вагнер! Куда он попал! — Если бы он еще попал к свиньям! А то к немцам!.. В конце концов следовало бы, в назидание потомству, сделать чучело истинного байрейтца или, еще лучше, посадить его в спирт, ибо именно духа ему и не достае* — с надписью: так выглядел «дух», опираясь на который была основана «Империя»... Довольно, я уехал среди празднеств на несколько недель совершенно внезапно, несмотря на то, что одна очаровательная парижанка пробовала меня утешить; я извинился перед Вагнером только фаталистической телеграммой. В Клингенбрунне, глубоко, среди лесов, затерянном местечке Богемии, носил я в себе, как болезнь, свою меланхолию и презрение к немцам и вписывал от времени до времени в свою карманную книжку, под общим заглавием «сошник», тезисы, *жестокие psychologica*, которые, может быть, встречаются еще раз в «Человеческом, слишком человеческом».

3

То, что тогда у меня решилось, был не только разрыв с Вагнером — я понял общее заблуждение своего инстинкта, отдельные ошибки которого, называясь он Вагнером или базельской профессурой, были лишь знамением. *Нетерпение* к себе охватило меня; я увидел, что

* Игра словами: spiritus — спирт и дух.

настала пора сознать *себя*. Сразу сделалось мне ясно до ужаса, как много времени было потрачено, — как бесполезно, как произвольно было для моей задачи все мое существование филолога. Мне было стыдно этой *ложной* скромности... Десять лет были за мною, когда *питание* моего духа было совершенно приостановлено, когда я не научился ничему годному, когда я безумно многое забыл под хламом пыльной учености. Медленно, с больными глазами пробираться среди античных стихотворцев — вот до чего я дошел! — С сожалением видел я себя совсем худым, совсем изголодавшимся: *реальностей* вовсе не было внутри моего знания, а «идеальности» к черту годились! — Поистине, жгучая жажда схватила меня: с этих пор я действительно не занимался ничем другим, кроме физиологии, медицины и естественных наук, — даже к собственно историческим занятиям я вернулся только тогда, когда меня повелительно принудила к этому моя *задача*. Тогда же я впервые угадал связь между избранной вопреки инстинкту деятельностью, так называемым «призванием», к которому я *меньше всего* был призван, — и потребностью в *заглушении* чувства пустоты и голода наркотическим искусством — например, вагнеровским искусством. Осторожно оглядевшись вокруг себя, я открыл, что то же бедствие постигает большинство молодых людей: одна противоестественность буквально *вынуждает* другую. В Германии, в «Империи», чтобы говорить не двусмысленно, слишком многие осуждены принять несвоевременно какое-нибудь решение, а потом, сделавшись неустрашимым бременем, *закачнуться*... Эти нуждаются в Вагнере, как в опиуме, — они забываются, они освобождаются от себя на мгновение... Что говорю я! *на пять, на шесть часов!*

4

Тогда неумолимо восстал мой инстинкт против дальнейших уступок, против следования за другими, против смешения себя с другими. Любой род жизни,

самые неблагоприятные условия, болезнь, бедность — все казалось мне предпочтительнее того недостойного «бескорыстия», в которое я сперва попал по незнанию, по молодости, и в котором позднее повис из трусости, из так называемого «чувства долга». — Здесь, самым изумительным образом, и при том в самое нужное время, пришло мне на помощь *дурное* наследство со стороны моего отца, — в сущности предопределение к ранней смерти. Болезнь *медленно высвобождала меня*: она избавила меня от всякого разрыва, всякого насильственного и неприличного шага. Я не утратил тогда ничего доброжелательства и еще приобрел много нового. Болезнь дала мне также право на совершенный переворот во всех моих привычках; она позволила, она *приказала* мне забвение; она одарила меня *принуждением* к молчанию, к праздности, к выжиданию и терпению... Но ведь это и значит думать!.. Мои глаза одни положили конец всякому буквоедству, по-немецки — филологии: я был избавлен от «книги», я целые годы ничего более не читал — *величайшее* благодеяние, какое я себе когда-либо оказывал! — То внутри находящееся «само», как бы погребенное, как бы молчавшее перед постоянной *необходимостью* слушать других (— а ведь это и значит читать!), просыпалось медленно, робко, колеблясь, — но наконец *оно заговорило*. Никогда не находил я столько счастья в себе, как в самые болезненные, самые страдальческие времена моей жизни: стоит только взглянуть на «Утреннюю Зарю» или на «Странника и его тень», чтобы понять, чем было это «возвращение к себе»: самым высшим родом *выздоровления*!.. Всякое другое только следовало из него.

5

Человеческое, слишком человеческое, этот памятник суровой дисциплины своего «Я», с помощью которой я внезапно положил конец всему привнесенному в меня «святому восторгу», «идеализму», «прекрасному чувству» и

другим женственностям, — было во всем существенном написано в Сорренто; оно получило свое заключение, свою окончательную форму в зиму, проведенную в Базеле, в несравненно-менее благоприятных условиях, чем условия в Сорренто. В сущности эта книга лежит на совести у Петра Гаста, тогда студента Базельского Университета, очень преданного мне. Я диктовал, с обвязанной и больной головой, он писал, он также исправлял — он был в сущности писателем, а я только автором. Когда в моих руках была оконченная наконец книга — к глубокому удивлению тяжелобольного, — я послал, между прочим, два экземпляра и в Байрейт. Благодаря чуду разума, проявившегося в случайности, до меня в то же время дошел прекрасный экземпляр текста Парсиваля с посвящением Вагнера мне «своему дорогому другу Фридриху Ницше, Рихард Вагнер, церковный советник». — Это было скрещение двух книг — мне казалось, будто я слышал при этом злоеший звук. Не звучало ли это так, как если б скрестились две *шпаги*?.. Во всяком случае мы оба так восприняли это: ибо мы оба молчали. — Около этого времени появились первые Байрейтские Известия: я понял, *чему* настала пора. — Невероятно! Вагнер стал набожным...

6

Что я думал тогда (1876) о себе, с какой огромной уверенностью я держал в руках свою задачу и то, что было в ней всемирно-исторического, — об этом свидетельствует вся книга и прежде всего одно очень выразительное в ней место: с инстинктивной во мне хитростью я и здесь опять обошел словечко «я», но на этот раз не Шопенгауэра или Вагнера, а одного из моих друзей, превосходного доктора Поля Рэ я озарил всемирно-исторической славой — к счастью, он был слишком тонким животным; чтобы... *Другие* были менее хитры: безнадёжных среди моих читателей, например, типичного

немецкого профессора, я всегда узнавал по тому, что они, основываясь на этом месте, считали себя обязанными понимать всю книгу, как высший реализм. В действительности она заключала противоречие лишь пяти-шести тезисам моего друга: об этом можно прочесть в предисловии к Генеалогии морали. — Это место гласит: каково же то главное положение, к которому пришел один из самых сильных и холодных мыслителей, автор книги «О происхождении моральных ощущений» (Iisez: Ницше, первый *имморалист*), при посредстве своего острого и пронизательного анализа человеческого поведения? «Моральный человек стоит не ближе к умопостигаемому миру, чем человек физический — *ибо* не существует умопостигаемого мира»... Это положение, ставшее твердым и острым под ударами молота исторического познания (Iisez: *переоценки всех ценностей*), может некогда в будущем — 1890! — послужить секирой, которая будет положена у корней «метафизической потребности» человечества, — на благо или проклятие человечеству, кто мог бы это сказать? Но во всяком случае, как положение с самыми важными последствиями, вместе плодотворное и ужасное и взирающее на мир тем двойственным взором, который бывает присущ всякому великому познанию...

Утренняя заря. *Мысли о морали как предрассудке.* Этой книгой начинается мой поход против *морали*. Не то, чтобы в ней был хотя малейший запах пороха: скорее в ней распознают совсем другие и гораздо более нежные запахи, особенно если предположить некоторую тонкость ноздрей. Ни тяжелой, ни даже легкой артиллерии: если действие книги отрицательное, то тем менее отрицательны ее средства, из которых действие следует как заключение, а не как пушечный выстрел. Что с книгой расстаются с боязливой осторожностью ко всему тому, что до сих пор почиталось и даже боготворилось под именем морали, это не стоит в противоречии с тем,

что во всей книге не встречается ни одного отрицательного слова, ни одного нападения, ни одной злости, — скорее она лежит на солнце, круглая, счастливая, похожая на морского зверя, греющегося среди скал на солнце. В конце концов, я сам был им, этим морским зверем: почти каждое положение этой книги было придумано, *извлечено* в том хаосе скал близ Генуи, где я был один и имел общие с морем тайны. Еще и теперь, при случайном соприкосновении с этой книгой, почти каждое предложение становится крючком, которым я снова извлекаю из глубины что-нибудь несравнимое: вся ее кожа дрожит от нежной дрожи воспоминаний. Искусство, которое она предполагает, есть немалое искусство закреплять вещи, скользящие легко и без шума, закреплять мгновения, которые я называю божественными ящерицами, закреплять, правда, не с жестокостью того юного бога, который просто прокалывал бедных ящериц, но все же закреплять при помощи некоего острия, пером... «Есть так много утренних зорь, которые еще не светили» — эта *индийская* надпись высится на двери к этой книге. Где же *ищет* ее автор того нового утра, ту до сих пор еще не открытую нежную зарю, с которой начнется снова день — ах, целый ряд, целый мир новых дней. В *переоценке всех ценностей*, в освобождении от всех моральных ценностей, в утверждении и доверчивом отношении ко всему, что до сих пор запрещали, презирали, проклинали. Эта *утверждающая* книга изливает свой свет, свою любовь, свою нежность на одни дурные вещи, она возвращает им снова «душу», чистую совесть, право, *преимущественное право* на существование. На мораль не нападают, ее просто не принимают более в расчет... Эта книга оканчивается словом «или?», — это единственная книга, которая оканчивается словом «или?»...

2

Моя задача подготовить человечеству момент высшего самосознания, *великий полдень*, когда оно оглянется

назад и взглянет вперед, когда оно выйдет из-под власти случая и священников и поставит себе впервые, *как целое*, вопросы: почему? зачем? — эта задача с необходимостью вытекает из воззрения, что человечество само по себе не находится на верном пути, что оно управляется вовсе не божественно, что наоборот, среди его самых священных понятий о ценности предательски господствует инстинкт отрицания, порчи, инстинкт декаданса. Вопрос о происхождении моральных ценностей потому является для меня вопросом *первой важности*, что он обуславливает будущее человечества. Требование, чтобы *верили*, что все в сущности находится в наилучших руках, что одна книга, Библия, дает окончательную уверенность в божественном руководительстве и мудрости в судьбах человечества, это требование, перенесенное обратно в реальность, есть стремление не допустить раскрыться истине.

Решающий признак, устанавливающий, что жрец (включая и *скрытых* жрецов, философов) сделался господином не только внутри определенной религиозной общины, но и всюду вообще, есть мораль декаданса, воля к концу, которая ценится как мораль *сама в себе*, и заключается в безусловной ценности, приписываемой началу незгоистическому и враждебному всякому эгоизму. Кто в этом пункте не заодно со мною, того считаю я *инфицированным*... Но весь мир не заодно со мною... Для физиолога такое противопоставление ценностей не оставляет никакого сомнения. Если внутри организма самый незначительный орган хотя бы в малой степени ослабляет проявление с совершенной точностью своего самоподдержания, возмещения своей силы, своего «эгоизма», то вырождается и весь организм. Физиолог требует *отделения* выродившейся части, он отрицает всякую солидарность с нею; он стоит всего дальше от сострадания к ней. Но жрец *хочет* именно вырождения целого, вырождения человечества: поэтому консервирует он вырожда-

ющеся — этой ценой господствует он над ним... Какой смысл имеют эти ложные, *вспомогательные* понятия морали, «душа», «дух», «свободная воля», как не тот, чтобы физиологически разрушать человечество?.. Когда отклоняют серьезность самосохранения и увеличения силы тела, т. е. *жизни*, когда из бледной немочи конструируют идеал, из презрения к телу «спасение души», то что же это, как *не рецепт* декаданса? — Утрата равновесия, сопротивление естественным инстинктам, «самоотречение», — одним словом, это называлось до сих пор *моралью*... С «Утренней зарей» предпринял я впервые борьбу против морали самоотречения.

Веселая наука («la gaya scienza»). «Утренняя заря» есть утверждающая книга, глубокая, но светлая и доброжелательная. То же, но еще в большей степени, применимо и к «gaya scienza»: почти в каждой строке ее нежно держатся за руки глубокомыслие и резвость. Стихи, выражающие благодарность самому чудесному месяцу января, который я пережил — вся книга есть его подарок — объясняют достаточно, из какой глубины «наука» стала здесь *веселой*:

Ты, что огненною пикой
Лед души моей разбил
И надеждой окрылил:
И душа, светла, здорова
И свободна, хоть как встарь
В милых узах, — славит снова
Чудеса твои, январь!

Может ли тот, кто видит, как заблестала, как заключение четвертой книги, алмазная красота Заратустры, может ли он сомневаться в том, что называется здесь «высшей надеждой»? — Или тот, кто читает гранитные строки

в конце третьей книги, с помощью которых впервые отливается в формулы судьба *всех времен? Песни принца свободного как птица*, в лучшей своей части написанные в Сицилии, напоминают очень выразительно о том провансальском понятии «*gaia scienza*», о том единстве певца, *рыцаря и свободного духа*, которым чудесная, ранняя культура провансальцев отличалась от всех двусмысленных культур; самое последнее стихотворение «*к Мистралья*», бурная песнь-пляска, где, с позволения вашего! пляшут над моралью, есть совершенный провансализм.

Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. Теперь я расскажу историю Заратустры. Основная концепция этого произведения, *мысль о вечном возвращении*, эта высшая форма утверждения, которая вообще может быть достигнута, — относится к августу 1881 года: она набросана на листе бумаги с надписью: «6000 футов по ту сторону человека и времени». Я шел в этот день вдоль озера Сильваплана через леса; у могучего, пирамидально нагроможденного камня, недалеко от Сурлея, я остановился. Там пришла мне эта мысль. — Когда я отсчитываю от этого дня несколько месяцев назад, я нахожу, как предзнаменование, внезапную и глубоко решительную перемену моего вкуса; прежде всего в музыке. Может быть, всего Заратустру можно причислить к музыке; — несомненно, возрождение искусства *слышать* было его предварительным условием. В Рекоаро, маленьком горном курорте близ Виченцы, где я провел весну 1881 года, я открыл вместе с моим маэстро и другом Петром Гастом, тоже «возрожденным», что феникс-музыка пролетела мимо нас в перьях более легких и светоносных, чем когда бы то ни было. Если, наоборот, я считаю от этого дня вперед до внезапного и при самых невероятных условиях протекавшего разрешения в феврале 1883 года от бремени — заключительная часть, та

самая, из которой я цитировал несколько изречений в *предисловии*, была окончена именно в тот священный час, когда умер в Венеции Рихард Вагнер — то оказывается 18 месяцев беременности. Это число, именно 18 месяцев, могло бы вызвать мысль, по крайней мере среди буддистов, что я в сущности слон-самка. Промежуточному времени принадлежит «*gaia scienza*», которая несет сто предзнаменований близости чего-то несравнимого; наконец она дает даже самое начало Заратустры, она дает в предпоследнем отрывке четвертой книги основную мысль Заратустры. — Этому же промежуточному времени принадлежит и тот *Гимн жизни* (для смешанного хора и оркестра), партитура которого вышла два года тому назад у Фритша в Лейпциге: может быть, это — не малозначительный симптом для состояния этого года, когда *утверждающий* пафос *par excellence*, названный мною трагическим пафосом, был мне присущ в наивысшей степени. Позднее его некогда будут петь в память обо мне. — Текст, отмечаю ясно, ибо поэтому поводу распространено недоразумение, принадлежит не мне: он есть изумительное вдохновение молодой русской девушки, с которой тогда я был дружен, — Лу фон Саломе. Кто сумеет извлечь вообще смысл из последних слов этого стихотворения, тот угадает, почему я предпочел его и восхищался им: в них есть величие. Страдание не служит возражением против жизни: «Если у тебя нет больше счастья, чтобы дать мне его, ну, что ж! у *тебя* есть еще *твоя* мука...».

Может быть, и в моей музыке в этом месте есть величие. Следующую затем зиму я жил в той уютно тихой бухте Рапалло, недалеко от Генуи, которая врезается между Киавари и мысом Портофино. Мое здоровье было не из лучших; зима была холодная и чрезмерно дождливая; маленькая гостиница, расположенная у самого моря, так что ночью прилив делал невозможным сон, представляла почти во всем противоположность желательного. Несмотря на это и почти в доказатель-

ство моего утверждения, что все выдающееся возникает «несмотря на что-либо», в эту зиму и в этих неблагоприятных условиях возник мой Заратустра. — В дообеденное время я подымался в южном направлении по чудесной улице вверх к Зоальи, мимо сосен и глядя далеко в море; после обеда, так часто, как только позволяло мое здоровье, я обходил всю бухту от С.-Маргариты до местности за Портофино. Эта местность и этот ландшафт сделались еще ближе моему сердцу благодаря той любви, которую чувствовал к ним император Фридрих III; случайно осенью 1886 года я был опять у этих берегов, когда он уже в последний раз посетил этот маленький забытый мир счастья. — На обеих этих дорогах пришел мне в голову весь первый Заратустра, и прежде всего сам Заратустра, как тип: правильное: он *снизошел на меня*...

2

Чтобы понять этот тип, надо сперва уяснить себе его физиологическую предпосылку; она есть то, что называю я *великим здоровьем*. Я не могу разъяснить это понятие лучше, более лично, чем я уже это сделал в одном из заключительных отделов пятой книги «*gaia scienza*». «Мы новые, безымянные, дурно понимаемые, — говорится там, — мы преждевременные плоды недоказанного еще будущего, мы для новой цели нуждаемся и в новом средстве, именно в новом здоровье, более полном, более гибком, более смелом, более веселом, чем были всякие здоровья до сих пор. Чья душа жаждет пережить всю совокупность бывших до сих пор ценностей и предметов желаний и объехать все берега этого идеального «Средиземного моря», кто из переживаний собственного опыта хочет узнать, что чувствует завоеватель и открыватель идеала, что чувствует художник, святой, законодатель, мудрец, ученый, богобоязненный отшельник старого стиля: тому прежде всего необходимо *великое здоровье*, такое, которое не только имеешь, но и постоянно завоевываешь и должен завоевывать, так как им вечно

жертвуешь и должен жертвовать... И теперь, после того как мы так долго были в пути, мы, аргонавты идеала, быть может, более смелые, чем требует благоразумие, мы, часто терпящие кораблекрушение и напасти, но мы, как сказано, более здоровые, чем нам хотели бы позволить, опасно здоровые, всегда снова здоровые, — нам кажется, что, как бы в награду за это, мы увидели перед собой еще неоткрытый материк, границ которого еще никто не видел по ту сторону всех доселе известных стран и закоулков идеала, мир столь богатый прекрасным, странным, загадочным, страшным и божественным, что наше любопытство, так же как и наша жажда обладания, вышли из равновесия, — ах, теперь уже ничто не может насытить нас!.. Как могли бы мы, после таких видений и с таким жгучим голодом в знании и совести, как могли бы мы еще удовлетвориться *современным человеком*? Очень дурно, но это неизбежно, что мы на самые достойные его цели и надежды смотрим лишь с трудно поддерживаемой серьезностью, может быть, даже вовсе не смотрим... Другой идеал встает перед нами, чудесный, обольстительный, богатый опасностями идеал, к которому мы не хотим никого обращать, ибо ни за кем так легко не признаем *права на него*: идеал духа, который наивно, т. е. невольно и от избытка полноты и мощи, играет всем, что доселе называлось священным, добрым, неприкосновенным, божественным; для которого все высшее, в чем народ, по справедливости, имеет свое мерило ценностей, было бы равносильно опасности, упадку, унижению, или, по крайней мере, отдыху, слепоте, временному самозабвению; идеал человечески-сверхчеловеческого благополучия и благожелательства, который часто может казаться нечеловеческим, например, когда он станет рядом со всей доселе бывшей серьезностью земли, рядом со всей доселе бывшей торжественностью в движениях, слове, звуке, взгляде, морали и задаче, как их воплощенная невольная пародия — и с которым, несмотря на это, быть может,

лишь начинается впервые *великая серьезность*, ставится впервые истинный вопросительный знак, судьба души отвращается, стрелка передвигается назад, трагедия *начинается...*»

3

Есть ли у кого-нибудь в конце девятнадцатого столетия ясное понятие о том, что поэты сильных эпох называли *вдохновением*? В противном случае, я хочу это описать. — При самом малом остатке суеверия, действительно, трудно защититься от представления, что ты только воплощение, только орудие, только медиум высших сил. Понятие откровения в том смысле, что нечто внезапное несказанной уверенностью и точностью становится видимым, слышимым и до самой глубины потрясает и опрокидывает человека, есть простое описание фактического состояния. Слышится без поисков; берешь, не спрашивая, кто здесь дает; как молния вспыхивает мысль, с необходимостью, в форме без колебаний, — у меня никогда не было выбора. Восторг, огромное напряжение которого разрешается порою в потоках слез, при котором шаги невольно становятся то бурными, то медленными; совершенное бытие все себя с самым ясным сознанием бесчисленного множества тонких дрожаний до самых пальцев ног; глубина счастья, где самое болезненное и самое жестокое действуют не как противоречие, но как нечто вытекающее из поставленных условий, как необходимая окраска внутри такого избытка света; инстинкт ритмических отношений, охватывающий далекие пространства форм — продолжительность, потребность в *далеко напряженном ритме* есть почти мера для силы вдохновения, род возмещения за его давление и напряжение... Все происходит в высшей степени произвольно, но как бы в потоке чувства свободы, безусловности, силы, божественности... Произвольность образа, символа есть самое замечательное; не

имеешь больше понятия о том, что образ, что сравнение, все приходит, как самое близкое, самое правильное, самое простое выражение. Действительно, кажется, вспоминая слова Заратустры, будто вещи сами приходят и предлагают себя в символы. («Сюда приходят все вещи, ласкаясь к твоей речи и заискивая у тебя: ибо они хотят скакать верхом на твоей спине. Верхом на всех символах скачешь ты здесь ко всем истинам. Здесь всякое бытие хочет стать словом, всякое становление хочет здесь научиться у меня говорить»). Это *мой* опыт вдохновения; я не сомневаюсь, что надо вернуться на тысячелетие назад, чтобы найти кого-нибудь, кто может мне сказать: «это и мой опыт».

4

Потом я лежал две недели больной в Генуе. Потом последовала тоскливая весна в Риме, куда я переехал жить — это было не легко. В сущности меня сверх меры раздражало это самое неприличное для поэта Заратустры место на земле, которое я выбрал недобровольно; я пытался освободиться, — я хотел в *Аквилу*, понятие противоположное Риму, основанное из вражды к Риму. Но во всем этом был рок: я должен был вернуться. В конце концов я удовольствовался piazza Barberini, после того как меня утомили заботы об *антихристианской* местности. Я боюсь, что однажды, во избежание по возможности дурных запахов, я не справлялся даже в palazzo del Quirinale, нет ли там тихой комнаты для философа. В loggia, высоко над вышеназванной piazza, откуда виден Рим и слышно внизу журчание фонтанов, была создана самая одинокая песнь, какая когда-либо была создана, *Ночная Песнь*; в это время носилась вокруг меня мелодия несказанной тоски, напев которой я снова нашел в словах: «мертвый от бессмертия»... Летом, вернувшись домой, к священному месту, где мне сверкнула первая молния мысли о Заратустре, я нашел вторую его часть. Десяти дней было достаточно; ни на первую, ни на третью,

ни на последнюю часть я ни в каком случае не употребил больше времени. В следующую затем зиму, под алкионическим небом Ниццы, которое тогда заблестело в первый раз в моей жизни, я нашел третью часть Заратустры и окончил его. Меньше года хватило на все. Много заброшенных уголков и высот из ландшафта Ниццы освящены для меня незабвенными мгновениями; существенная часть, которая носит название «О старых и новых скрижалях», была создана при труднейшем восхождении от станции к чудесному мавританскому горному гнезду Eza, — ловкость мускулов была у меня всегда наибольшей, когда и творческая сила текла у меня наиболее богато. Тело одухотворено: оставим «душу» в покое... Меня часто видели танцующим; я мог тогда, без понятия об утомлении, быть пять, шесть часов в пути в горах. Я хорошо спал, я много смеялся, — у меня была выносливость и терпение.

5

Не считая этих десятидневных творений, годы, во время и главным образом *после* Заратустры, были несравнимым бедствием. Дорого искупается — быть бессмертным: за это умирают не один раз при жизни. — Есть нечто, что называю я злобой великого: все великое, всякое творение, всякое дело, однажды совершенное, немедленно обращается *против того*, кто его совершил. Именно потому, что он его совершил, он теперь слаб, он не выдерживает более своего дела, он не смотрит более ему в лицо. Иметь за собой нечто, чего никогда не смел хотеть, нечто, в чем завязан узел в судьбе человечества — и иметь это теперь на себе!.. Это почти придавливает... Злоба великого! — Второе, это ужасная тишина, которую слышишь вокруг себя. У одиночества семь шкур; ничто не проникает сквозь них. Приходишь к людям, приветствуешь друзей: новая пустыня, ни один взор не приветствует тебя. В лучшем случае — это есть род возмущения для тебя. Такое возмущение, но в очень

различной степени, испытывал и я и почти от каждого, кто близко стоял ко мне; кажется, ничто не обижает более глубоко, как если вдруг дать почувствовать расстояние, — *благородные* натуры, которые не могут жить без глубокого почитания, бывают редки. — Третье — это абсурдная раздражительность кожи к маленьким уколам, род беспомощности перед всем маленьким. Она кажется мне обусловленной той огромной тратой всех оборонительных сил, которая есть предпосылка всякого *творческого* действия, всякого действия, проистекающего из самого личного, самого интимного, самого скрытого. *Маленькие* оборонительные силы как бы уничтожены; они не имеют никакого притока сил. — Я решаюсь еще указать, что ухудшается пищеварение, начинаешь неохотно двигаться, часто подвергаешься ознобу так же, как чувству недоверия — того недоверия, которое во многих случаях есть простая этиологическая ошибка. В таком состоянии почувствовал я однажды приближение стада коров, прежде чем я увидел его, благодаря возвращению более нежных, более благожелательных к людям мыслей: в *этом* есть теплота...

6

Произведение это стоит совершенно особо. Оставим в стороне поэтов: быть может, вообще никогда и ничто не было сотворено от равного избытка сил. Мое понятие «дионисовское» претворилось здесь в *наивысшее действие*; применительно к нему вся остальная человеческая деятельность кажется бедной и условной. Какой-нибудь Гете, какой-нибудь Шекспир ни минуты не могли бы дышать в этой атмосфере огромной страсти и на этой высоте. Данте в сравнении с Заратустрой есть только верующий, а не тот, кто *создает* впервые истину, дух *управляющий миром*, рок, — поэты Веды суть только священники, и недостойны развязать ремень у обуви Заратустры; но это все есть еще наименьшее и не дает никакого понятия о том расстоянии, о том *лазурном* одино-

честве, в котором живет это произведение. У Заратустры есть вечное право сказать: «я замыкаю круги вокруг себя и священные границы; все меньше поднимающихся со мною на все более высокие горы: я строю хребет из все более священных гор». Пусть соединят воедино дух и доброту всех великих душ: все вместе они не были в состоянии произнести хотя бы одну речь Заратустры. Велика та лестница, по которой он подымается и спускается; он дальше видел, дальше хотел, больше мог, чем какой бы то ни было другой человек. Он противоречит каждым словом, этот самый утверждающий из всех умов; в нем все противоположности связаны в новое единство. Самые высшие и самые низшие силы человеческой натуры, самое сладкое, самое легкомысленное и самое страшное вытекают у него из единого источника с бессмертной уверенностью. До него не знали, что такое глубина, что такое высота, еще меньше знали, что такое истина. Нет ни одного мгновения в этом откровении правды, которое было бы уже предвосхищено, угадано одним из величайших умов. Не было мудрости, не было исследования души, не было искусства говорить до Заратустры; самое близкое, самое повседневное говорить здесь о неслыханных вещах. Сентенция дрожит от страсти; красноречие стало музыкой; молнии свергают в неразгаданное доселе будущее. Самая могучая сила образов, какая когда-либо существовала, является убожеством и игрушкой по сравнению с этим возвращением языка к природе образности. — А как Заратустра спускается с гор и говорит каждому наиболее доброжелательное! Как он даже своих противников, священников, касается нежной рукой и вместе с ними страдает из-за них! — Здесь, в каждом мгновении преодолевается человек, понятие «сверхчеловека» становится здесь высшей реальностью, — в бесконечной дали лежит здесь все, что до сих пор называлось великим в человеке, лежит *ниже* его. Об алкионическом начале, о легких ногах, о совме-

щении злобы и легкомыслия, и что вообще типично для типа Заратустры, обо всем этом никогда еще никто не мечтал, как о существенном элементе величия. Заратустра именно в этой шире пространства, в этой доступности противоречиям чувствует себя *наивысшим проявлением всего сущего*; и когда услышат, как он это определяет, откажутся от поисков ему равного:

— душа, имеющая очень длинную лестницу и могущая опуститься очень низко;

— душа самая обширная, которая далеко может бегать, блуждать и метаться в себе самой; самая необходимая, которая ради удовольствия бросается в случайность;

— душа сущая, которая погружается в становление; имущая, которая *хочет* войти в волю и в желание;

— убегающая от себя самой и широкими кругами себя догоняющая; душа самая мудрая, которую тихонько приглашает к себе безумие;

— наиболее себя любящая, в которой все вещи находят свой подъем и свое нисхождение, свой прилив и отлив.

Но это и есть понятие самого Диониса. — Именно к нему приводит еще и другое размышление. Психологическая проблема в типе Заратустры заключается в вопросе, каким образом тот, кто в неслыханной степени говорит нет, *делает* нет всему, чему до сих пор говорили да, может, несмотря на это, быть противоположностью отрицающего духа; каким образом дух, несущий самое тяжелое от судьбы, роковую задачу, может, несмотря на это, быть самым легким и самым потусторонним — Заратустра является танцором; — каким образом тот, кто обладает самым жестоким, самым страшным познанием действительности, кто продумал «самую глубокую мысль», не нашел несмотря на это, возражения против существования, даже против его вечного возвращения, — наоборот, нашел еще одно основание, чтобы *самому быть*

вечным утверждением всех вещей, «говорить огромное безграничное Да и Аминь»... «Во все бездны несу я свое благословляющее утверждение»... *Но это и есть еще раз понятие Диониса.*

7

Каким языком будет говорить этот ум, когда он будет говорить сам с собою? Языком *дифирамба*. Я изобретатель дифирамба. Пусть слушают, как говорит Заратустра сам с собою *перед восходом солнца* (III, 142): таким изумрудным счастьем, такой божественной нежностью не обладал еще ни один язык до меня. Даже самая глубокая тоска Диониса все еще обращается в дифирамб; я беру в доказательство *Ночную песнь*, — бессмертную жалобу быть обреченным из-за преизбытка света и власти, из-за своей *солнечной* натуры никогда не любить.

«Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь только пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного.

Что-то неутоленное, неутолимое есть во мне; оно хочет говорить. Жажда любви есть во мне; она сама говорит языком любви.

Я — свет: ах, если б быть мне ночью! Но в том и одиночество мое, что опоясан я светом.

Ах, если б быть мне темною ночью! Как упивался бы я у сосцов света!

И даже вас благословлял бы я, вы, звездочки мерцающие, как светящиеся червяки на небе! — и был бы счастлив от ваших даров света.

Но я живу в своем собственном свете, я вновь поглощаю пламя, что исходит из меня.

Я не знаю счастья берущего; и часто мечтал я о том, что красть, должно быть, еще блаженнее, чем брать.

В том моя бедность, что моя рука никогда не отдыхает от дарения; в том моя зависть, что я вижу глаза, полные ожидания, и ночи, освещенные жаждой желания.

О, горе всех, кто дарит! О, затмение моего солнца!
О, жажда желаний! О, ярый голод среди пресыщения!

Они берут у меня: но затрагиваю ли я их душу? Целая пропасть лежит между дарить и брать; но и через малейшую пропасть очень трудно перекинуть мост.

Голод вырастает из моей красоты: причинить страдание хотел бы я тем, кому я свечу, ограбить хотел бы я одаренных мною: — так алчу я злобы.

Отдернуть руку, когда другая рука уже протягивается к ней; медлить, как водопад, который медлит в своем падении: — так алчу я злобы.

Такое мщенье измышляет мой преизбыток: такое коварство рождается из моего одиночества.

Мое счастье дарить замерло в дарении, моя добродетель устала от себя самой и от своего преизбытка.

Кто постоянно дарит, тому грозит опасность потерять стыд; кто постоянно раздает, у того рука и сердце натирают себе мозоли от постоянного раздавания.

Мои глаза не делаются уже влажными перед стыдом просящих; моя рука слишком огрубела для дрожания рук наполненных.

Куда же девались слезы из моих глаз и нежность из моего сердца? О, одиночество всех, кто дарит! О, молчание всех, кто светит!

Много солнц вращается в пустом пространстве: все-му, что темно, говорят они своим светом, — для меня молчат они.

О, в этом и есть вражда света ко всему светящемуся: безжалостно проходит оно своими путями.

Несправедливое в глубине сердца ко всему светящемуся, равнодушное к другим солнцам, — так движется всякое солнце.

Как буря несутся солнца своими путями, в этом — движение их. Своей неумолимой воле следуют они, в этом — холод их.

О, это вы, темные ночи, создаете теплоту из всего светящегося! О, только вы пьете млеко и усладу у сосцов света!

Ах, лед кругом меня, моя рука обжигается об лёд! Ах, жажда во мне, которая томится по вашей жажде!

Ночь: ах, зачем я должен быть светом! И жаждою тьмы! И одиночеством!

Ночь: теперь рвется, как ключ, мое желание, — желание говорить.

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного».

8

Так никогда не писали, никогда не чувствовали, никогда не страдали: так страдает бог Дионис. Ответом на такой дифирамб солнечного уединения в свете была бы Ариадна... Кто, кроме меня, знает, что такое Ариадна!.. Ни у кого до сих пор не было разрешения всех таких загадок, я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь даже видел здесь загадки, — Заратустра определил однажды, со всей строгостью, свою задачу — это также и моя задача, — так что нельзя ошибиться в *смысле*: он есть *утверждающий* вплоть до оправдания, вплоть до искупления всего прошедшего.

«Я хожу среди людей, как среди обломков будущего: того будущего, что вижу я.

И в том все мое творчество и стремление, чтоб собрать и соединить воедино все, что является обломком, загадкой и ужасной случайностью.

И как мог бы я быть человеком, если б человек не был также поэтом, отгадчиком и избавителем от случая!

Спаси тех, кто прошли, и преобразовать всякое «было» в «так хотел я» — лишь это я назвал бы избавлением».

В другом месте он определяет так строго, как только возможно, чем может быть для него «человек» — ни предметом любви, ни даже предметом сострадания —

даже над *великим отвержением* к человеку Заратустра стал господином: человек для него есть бесформенная масса, материал, безобразный камень, требующий еще ваятеля.

«Не *хотеть* больше, не *ценить* больше и не *созидать* больше: ах, пусть эта великая усталость навсегда останется от меня далекой!

Даже в познании чувствую я только радость рождения и радость становления моей воли; и если есть невинность в моем познании, то потому, что есть в нем *воля к рождению*.

Прочь от бога и богов тянула меня эта воля: и что осталось бы создавать, если б боги — существовали!

Но всегда к человеку влечет меня сызнова моя пламенная воля к созиданию; так устремляется молот на камень.

О, люди, в камне дремлет для меня образ, образ моих образов! Ах, он должен дремать в самом твердом, самом безобразном камне!

Теперь дико устремляется мой молот на свою тюрьму. От камня летят куски; какое мне дело до этого?

Кончить хочу я этот образ: ибо тень подошла ко мне — самая молчаливая, самая легкая приблизилась ко мне!

Красота сверхчеловека приблизилась ко мне, как тень. Что мне теперь — до богов!..»

Я отмечаю последнюю точку зрения: подчеркнутая строфа дает доступ к ней. Для *дионисовской* задачи твердость молота, *радость даже при уничтожении*, принадлежит решительным образом к предварительным условиям. Императив: «станьте тверды!», самая глубокая уверенность в том, что все *созидающие тверды*, есть истинный отличительный признак дионисовской природы.

По ту сторону добра и зла. Прелюдии к философии будущего. Задача для следующих затем лет была предначертана так строго, как только возможно. После

того, как утверждающая часть моей задачи была разрешена; наступила очередь ее второй половины, говорящей нет, *делающей нет*: переоценка бывших до сего времени ценностей, великая война — вызов решающего дня. Сюда относится и осторожный взгляд, ищущий близких, таких, которые из своей силы протянули бы мне руку для *разрушения*. — С этих пор все мои сочинения суть рыболовные крючки: может быть, я лучше кого-либо знаю толк в рыбной ловле?.. Если ничего не ловилось, то это не моя вина. *Не было рыбы...*

2

Эта книга (1886) во всем существенном есть *критика современности*, не исключая современных наук, современных искусств, даже современной политики, вместе с указаниями на путь к противоположному типу, который так мало современен, как только возможно, к благородному типу, говорящему да. В этом последнем смысле книга эта есть *школа gentilm'a*, принимая это понятие более духовно и *более радикально*, чем когда-либо его принимали. Нужно иметь мужество в теле, чтобы выдержать его, нужно не знать страха... Все вещи, которыми так гордится наш век, пережиты здесь, как противоречие этому типу, почти как дурные манеры, например, знаменитая «объективность», «сострадание ко всему страдающему», «исторический смысл» с его подчиненностью чужому вкусу, с его ползанием на животе перед *petits faits*, «научность». — Если вспомнить, что эта книга следует за Заратустрой, то легко угадать тот диетический режим, которому она обязана своим возникновением. Глаз, избалованный огромной необходимостью смотреть *вдаль*, принужден здесь быстро схватывать то, что ближе всего, что временно, что *вокруг нас*. Во всех отношениях и прежде всего в форме легко найти как бы *добровольное* отвращение от тех инстинктов, из которых стал возможным Заратустра. Утонченность в форме, в замысле, в искусстве *молчать* стоит здесь на первом

плане, психология трактуется с намеренной твердостью и жестокостью, — эта книга отклоняет всякое добродушное слово... На всем этом можно отдохнуть: впрочем, кто угадает, *какого* рода отдых нужен после такой траты доброты, как Заратустра?.. Говоря теологически — пусть послушают, ибо я редко говорю как теолог — сам Бог лег в конце своего трудового дня под дерево познания: так отдыхал он от своего бытия, как бытия Бога... Он сделал все слишком прекрасным... Дьявол есть только праздность Бога в каждый седьмой день...

Генеалогия морали. Полемическое сочинение. Три трактата, из которых состоит эта генеалогия, может быть, с точки зрения выражения, цели и искусства изумлять, есть самое тревожное, что до сих пор было написано. Дионис, как известно, есть также бог мрака. — Здесь всюду начало, которое *должно* вводить в заблуждение, — холодное, научное, даже ироническое, нарочно на первом плане, нарочно останавливающее на себе. Постепенно больше беспокойства; местами молнии; очень неприятные истины, слышные издали с глухим рокотом, — пока наконец не достигается *tempo feroce*, где все мчится вперед с огромным напряжением. В конце, каждый раз, среди поистине ужасных раскатов, *новая* истина становится видимой среди густых туч. — Истина *первого* трактата есть психология исторического христианства: происхождение его не из «духа», как часто думают, — по существу, движение назад, великое восстание против господства *аристократических* ценностей. *Второй* трактат дает психологию *совести*: она не есть «голос Бога в человеке», как часто думают, — она есть инстинкт жестокости, обращенный назад, внутрь, после того, как он уже не может разрядиться наружу. Жестокость освещается здесь в первый раз, как одно из самых старых и самых неустрашимых оснований культуры. *Третий* трактат дает ответ на вопрос, откуда происходит

чудовищная власть аскетического идеала, несмотря на то, что он есть идеал вредный *par excellence*, воля к гибели, идеал декаданса. Ответ: не потому что Бог действует за спиною жрецов, как обыкновенно думают, а *faute de mieux*, — потому что это был до сих пор единственный идеал, ибо он не имел конкурентов. «Ибо человек предпочитает хотеть ничто, чем вовсе не хотеть»... Прежде всего недоставало *противоположного идеала — вплоть до Заратустры*. — Меня поняли. Здесь три решающих предварительных работы психолога для переоценки всех ценностей. — Эта книга содержит первую психологию священника.

Сумерки кумиров. Как философствуют молотом. Это сочинение менее чем в 150 страниц, веселое и зловещее по тону, демон, который смеется, — произведение столь немногих дней, что я стесняюсь назвать их число, является вообще исключением среди книг: нет ничего более богатого содержанием, более независимого, более опрокидывающего, — более злого. Если хотят вкратце составить себе понятие о том, как до меня все стояло вверх ногами, пусть начинают с этого сочинения. То, что называется *кумиром* на заглавном листе, есть просто то, что называли до сих пор истиной. *Сумерки кумиров* — по-немецки: старая истина приходит к концу...

2

Нет ни одной реальности, ни одной «идеальности», которая в этом сочинении ни была бы затронута [затронута: какой осторожный эвфемизм!..]. Не только вечные идола, но и самые молодые, следовательно, самые хилые. «Современные идеи», например. Великий ветер проносится между деревьями, и всюду падают плоды — истины. В этом расточительность слишком богатой осени: спотыкаешься об истины, некоторые даже придавлены на смерть, — их слишком много... Но то, что остается в руках, то не загадочно более, это уже

решения. У меня впервые есть в руках масштаб для «истин», я впервые *могу* решать. Как если бы во мне выросло *второе сознание*, как если б «воля» зажгла во мне свет для себя над кривою тропой, по которой она до сих пор спускалась вниз... *Кривая* тропа — ее называли путем к «истине». Кончилось всякое «неясное стремление», именно *добрый* человек меньше всего сознавал настоящий путь... И, говоря вполне серьезно, никто до меня не знал настоящего пути, пути *вверх*: только с меня начинаются снова надежда, задачи, предписывающие пути культуры — я их *благодетельный* вестник. Именно поэтому являюсь я роком.

3

Непосредственно за окончанием только что названного произведения и не теряя ни одного дня, приступил я к огромной задаче *переоценки*, с чувством царской гордости, с которым ничто не может сравниться, каждую минуту сознавая свое бессмертие и высекая с уверенностью рока знак за знаком на медных скрижалях. Предисловие появилось 3 сентября 1888 года: когда утром, после написания его, я вышел на воздух, предомною был самый прекрасный день, какой когда-либо показывал мне Верхний Энгадин — прозрачный, сверкающий красками, вмещающий в себе все промежуточные сияния севера и юга. — Лишь 20 сентября покинул я Сильс-Марию, задержанный наводнениями и в конце концов оставшийся единственным гостем этого чудесного места, которому моя благодарность приносит в дар бессмертное имя. После путешествия, полного случайностей и даже опасности для жизни в залитом водою Комо, которого я достиг лишь глубокой ночью, я прибыл 21-го днем в Турин, мое *доказанное* место, мою резиденцию с тех пор. Я снял ту самую квартиру, которую занимал весною, на via Carlo Alberto 6, III против колоссального палаццо Кариньяно, где родился Виктор Эманиуил, с видом на piazza Carlo Alberto — и за ним далее на

страну холмов. Не колеблясь и не давая ни на минуту отвлечь себя, вернулся я к работе: оставалось еще написать последнюю четверть произведения. 30-го сентября день великой победы; седьмой день; отдых бога на берегах По. В тот же день написал я еще *предисловие* к «Сумеркам кумиров», корректура их печатных листов была моим отдыхом в сентябре. — Я никогда не переживал такой осени, даже никогда не считал что-нибудь подобное возможным на земле. — Claude Lorrain мыслимый в бесконечности, каждый день — день равного беспредельного совершенства.

Вагнер как явление. Музыкальная проблема. Что бы отнести справедливо к этому сочинению, надо страдать от судьбы музыки, как от открытой раны. *Отчего* страдаю я, страдая от судьбы музыки? — Оттого, что музыка лишена своего миропрославляющего, утверждающего характера, — оттого, что она сделалась музыкой декаданса и уже перестала быть свирелью Диониса... Но если кто-нибудь, подобно мне, чувствует в деле *музыки* *собственное* дело, историю *собственных* страданий, то он найдет это сочинение все еще слишком снисходительным, слишком мягким. Быть веселым в таких случаях и добродушно высмеивать попутно самого себя — *ridendo dicere se verum*, — где *verum dicere* оправдало бы всякую суровость, — это сама гуманность. Кто собственно сомневается в том, что я, как старый артиллерист, могу выкатить против Вагнера *мое тяжелое* орудие? — Все решительное в этом деле я оставил при себе, — я любил Вагнера. Впрочем в смысле и на пути моей задачи лежит нападение на более тонкого «незнакомца», которого другой не легко разгадает, — о, я должен открыть еще совсем других незнакомцев, чем Калиостро музыки, — и совершить еще более сильное нападение на становящуюся в духовном отношении все более и более трусливой и бедной инстинктами, все более и более делающуюся

почтенной немецкую нацию, которая с завидным аппетитом продолжает питаться противоположностями и без расстройства пищеварения проглатывает «веру» так же, как научность, «христианскую любовь» так же, как антисемитизм, волю к власти (к «империи») так же, как *évangile des humbles...* Это безучастие среди противоположностей! Какая стоматическая нейтральность и какое «бескорыстие»! Этот здравый смысл немецкого «нёба», которое всему дает равные права, — которое все находит вкусным... Без всякого сомнения, немцы — идеалисты... Когда я в последний раз посетил Германию, я нашел немецкий вкус озабоченным предоставлением равных прав Вагнеру и трубачу из Секкингена; я сам был свидетелем, как в Лейпциге, в честь самого настоящего и самого немецкого музыканта, в старом смысле слова, а не только в смысле немца Империи, маэстро Генриха Шютца, был основан фереин Листа с целью развития и распространения хитрой [listiger] церковной музыки... Без всякого сомнения, немцы — идеалисты...

2

Но здесь ничто не должно мне мешать стать грубым и сказать немцам несколько жестких истин: *кто делает это кроме меня?* — Я говорю об их непристойности в *historica*. Немецкие историки не только утратили *широкий взгляд* на ход, на ценности культуры, но все они являются паяцами политики (или церкви): они даже *пренебрегают* этим широким взглядом. Надо прежде всего быть «немцем», «расой», тогда уже можно решать о всех ценностях и неценностях в *historica* — устанавливать их... «Немецкое» есть аргумент «Deutschland, Deutschland über Alles» есть принцип, германцы суть нравственный миропорядок; по отношению к *imperium romanum* носители свободы, по отношению к восемнадцатому столетию восстановители морали, «категорического императива»... Существует имперская немецкая историография, я боюсь, что существует даже антисемитская, —

существует придворная историография, и господину фон Трейчке не стыдно... Недавно, в качестве «истины», обошло все немецкие газеты идиотское мнение, тезис, к счастью, умершего эстетического шваба Фишера, с которым *будто должен согласиться* всякий немец: Возрождение и Реформация вместе образуют одно целое — эстетическое возрождение и нравственное возрождение. При таких тезисах мое терпение приходит к концу, и я испытываю желание, я чувствую это даже как обязанность, сказать наконец немцам, *что у них уже лежит на совести. Все великие преступления против культуры за четыре столетия лежат у них на совести!*.. И всегда по одной причине, из-за их глубокой *трусости* пред реальностью, которая есть также трусость перед истиной, из-за их, ставшей у них инстинктом, неправдивости, из-за их «идеализма»... Немцы лишили Европу жатвы, смысла последней *великой* эпохи, эпохи Возрождения, в тот момент, когда высший порядок ценностей, когда аристократические, утверждающие жизнь и обеспечивающие будущее ценности достигли победы в месте нахождения противоположных ценностей, *ценностей упадка — и вплоть до инстинктов тех, кто там находился!* Лютер, этот роковой монах, восстановил церковь и, что в тысячу раз хуже, христианство, в тот момент, *когда оно* было побеждено... Христианство, это ставшее религией *отрицание воли к жизни*... Лютер, невозможный монах, который по причине своей «невозможности», напал на церковь и — следовательно! — восстановил ее... У католиков было основание устраивать празднества в честь Лютера, сочинять театральные представления в честь Лютера... Лютер — и «нравственное возрождение»! К черту вся психология! — Без сомнения, немцы — идеалисты. — Дважды, когда с огромным мужеством и самопреодолением, был достигнут правдивый, недвусмысленный, совершенно научный способ мышления, немцы сумели найти окольные пути к старому «идеалу», к примирению

между истиной и «идеалом», в сущности к формулам на право отклонения от науки, на право *лжи*. Лейбниц и Кант — это два величайших тормоза интеллектуальной правдивости Европы! — Наконец, когда на мосту между двумя столетиями декаданса явилась *force majeure* гения и воли, достаточно сильная, чтобы создать из Европы единство, политическое и *экономическое* единство, в целях управления землей, немцы с их «войнами за свободу» лишили Европу смысла, чудесного смысла в существовании Наполеона, — поэтому все, что потом пришло, что теперь существует — лежит у них на совести, эта самая враждебная *культуре* болезнь и безумие, какие только существуют, национализм, этот *национальный невроз*, которым больна Европа, это увековечение маленьких государств Европы, *маленькой* политики: они лишили самоё Европу ее смысла, ее *разума* — они завели ее в тупик. — Знает ли кто-нибудь, кроме меня, путь из этого тупика?.. Задача достаточно великая, чтобы снова *связать* народы?..

3

И в конце концов, почему бы не предоставить слова моему подозрению? Немцы и в моем случае опять испробуют все, чтобы из огромной судьбы родить мышь. Они до сих пор компрометировали себя во мне, я сомневаюсь, чтобы они сделали это лучше в будущем. — Ах, как хочется мне быть здесь *плохим* пророком... Мои естественными читателями и слушателями уже и теперь являются русские, скандинавы и французы, — будет ли их постоянно все больше? — Немцы вписали в историю познания только двусмысленные имена, они всегда производили только «бессознательных» фальшивых монетчиков (Фихте, Шеллингу, Шопенгауэру, Гегелю, Шлейермахеру приличествует это имя так же, как Канту и Лейбницу; все они только делатели покрывал*): они

* Непередаваемая игра слов: Шлейермахер, в переводе — делатель покрывал.

никогда не дождутся чести, чтобы первый *правдивый* ум в истории мысли, ум, в котором истина произносит свой суд над подделкой монет в течение четырех тысячелетий, отождествлен был с немецким духом. «Немецкий дух» — это *мой* дурной воздух: я с трудом дышу в этой, ставшей инстинктом нечистоплотности в *psycho-logica*, эту нечистоплотность выдает каждое слово, каждая мина немца. Они не прошли вовсе через семнадцатый век сурового самоиспытания, как французы, — какой-нибудь Ларошфуко, Декарт во сто раз превосходят правдивостью любого немца, — у них до сих пор не было ни одного психолога. Но психология есть почти масштаб для *чистоплотности* или *нечистоплотности* расы... И если нет чистоплотности, как может быть *глубина*? У немца, как у женщины, не добраться до основания, *он не имеет его*: в этом все. Но при этом нельзя быть даже плоским. — То, что в Германии называется «глубоким», есть именно этот инстинкт нечистоплотности в отношении себя, о котором я и говорю: *не хотят* видеть себя ясно. Не могу ли я предложить слово «немецкий» как международную монету для обозначения *этой* психологической испорченности? — В настоящий момент, например, германский император называет своей «христианской обязанностью» освобождение рабов в Африке: среди нас, *других* европейцев, это называлось бы просто «немецкой» обязанностью... Создали ли немцы хотя одну книгу, в которой была бы глубина? У них нет даже понятия о том, что глубоко в книге. Я познакомился с учеными, которые считали Канта глубоким; при прусском дворе, я боюсь, считают глубоким господина фон Трейчке. А когда я при случае хвалю Стендаля, как глубокого психолога, мне встречается, что немецкий университетский профессор просит назвать это имя по слогам...

4

И почему бы мне не идти до конца? Я люблю убирать со стола. Слыть человеком, презирающим немцев *par excellence*, принадлежит даже к моей гордости. Свое

недоверие к немецкому характеру я выразил уже двадцати шести лет [Третье Несвоевременное Размышление, с. 71] — немцы для меня невозможны. Когда я приду-мываю себе род человека, противоречащего всем моим инстинктам, из этого всегда выходит немец. Первое, в чем я «испытываю внутренности» человека, это — есть ли у него в теле чувство расстояния, видит ли он всюду ранг, степень, дистанцию между человеком и человеком, *умеет ли он различать*: этим отличается *gentilhomme*; во всяком ином случае он безнадежно принадлежит к великодушному, ах! добродушному понятию *canaille*. Но немцы и есть *canaille* — ах! они так добродушны... Общение с немцами унижает: немец *становится на равную ногу*... За исключением моих сношений с некоторыми художниками, прежде всего с Рихардом Вагнером, я не переживал с немцами ни одного хорошего часа... Если представить себе, что среди немцев явился самый глубокий ум всех тысячелетий, то какая-нибудь спасительница Капитолия вообразила бы себе, что и ее безобразная душа принимается, по крайней мере, так же в счет... Я не выношу этой расы, среди которой находишься всегда в дурном обществе, у которой нет пальцев для нюансов — горе мне! я являюсь нюансом, — у которой нет *esprit* в ногах и которая даже не умеет ходить... У немцев в конце концов вовсе нет ступней ног, у них только ноги. У немцев отсутствует всякое понятие о том, как они грубы, но это есть превосходная степень грубости, — они не стыдятся даже быть только немцами... Они говорят обо всем, они считают самих себя решающим все, я боюсь, что даже обо мне они уже порешили... Вся моя жизнь есть доказательство *de rigueur* для этих положений. Напрасно я ищу хотя одного признака такта, деликатности в отношении меня. Евреи давали их мне, немцы — никогда. Моя природа хочет, чтоб я в отношении каждого был мягок и доброжелателен — у меня есть *право* на то, чтобы не делать различий: — это не мешает, однако, чтобы у меня были открыты глаза. Я не делаю исключений ни

для кого, меньше всего для своих друзей, — я надеюсь, в конце концов, что это не нанесло никакого ущерба моей гуманности в отношении их. Есть пять-шесть вещей, из которых я всегда делал себе вопрос чести. — Несмотря на это, остается верным, что каждое из писем, полученных мною в течение целых лет, я ощущаю как цинизм: в доброжелательстве ко мне больше цинизма, чем в какой-нибудь ненависти... Я говорю в лицо каждому из моих друзей, что он никогда не считал достаточно стоящим труда *изучение* хотя одного из моих сочинений: я узнаю по мельчайшим чертам, что они даже не знают; что там написано. Что касается особенно моего Заратустры, то кто из моих друзей видел в нем больше, чем недозволенную, к счастью, совершенно безразличную притязательность?... Десять лет: и никто в Германии не сделал себе долга совести из того, чтобы защитить мое имя против абсурдного умолчания, под которым оно было погребено: у иностранца, датчанина, впервые было достаточно тонкости инстинкта и *смелости*, и он возмутился против моих мнимых друзей... В каком немецком университете были бы возможны теперь лекции о моей философии, какие читал в Копенгагене последней весной и этим еще раз доказанный психолог д-р Георг Брандес? Я сам никогда не страдал из-за всего этого; *необходимое* не оскорбляет меня; *amor fati* есть моя самая внутренняя природа. Но это не исключает того, что я люблю иронию, даже всемирно-историческую иронию. Итак, почти за два года до разрушительного удара молнией *Переоценки*, которая повергнет землю в конвульсии, я послал в мир «Вагнера как явление»: пусть же немцы еще раз бессмертно ошибутся во мне и *увековечат*! Для этого как раз есть еще время! — Достигнуто это? — Восхитительно, господа немцы! Поздравляю вас...

Почему являюсь я роком. Я знаю свой жребий. Непременно с моим именем будет связываться воспоминание о чем-то огромном, — о кризисе, какого никогда не было

на земле, о самой глубокой коллизии совести, о решении, предпринятом *против* всего, во что до сих пор верили, чего требовали, что считали священным. Я не человек, я динамит. И при всем том во мне нет ничего общего с основателем религии — всякая религия есть дело черни, я должен мыть руки после каждого соприкосновения с религиозными людьми.

... Я *не хочу* «верующих», я полагаю, я слишком злобен, чтобы верить в самого себя, я никогда не говорю к массам... Я ужасно боюсь, чтобы меня не объявили когда-нибудь *святым*; вы угадаете, почему я *вперед* выпускаю эту книгу, она должна помешать, чтобы в отношении меня не было допущено насилия... Может быть, я есть паяц... И несмотря на это, или скорее, несмотря на это — говорит во мне истина. — Но моя истина *ужасна*: ибо до сих пор *ложь* называлась истиной. — *Переоценка всех ценностей*: это есть моя формула для акта наивысшего самосознания человечества, который стал во мне плотью и гением. Мой жребий хочет, чтобы я был первым *приличным* человеком, чтобы я признавал себя в противоречии с ложью тысячелетий... Я первый *открыл* истину чрез то, что я первый ощутил ложь как ложь — *воспринял ее обонянием*... Мой гений в моих ноздрях... Я противоречу, как никогда никто не противоречил, и несмотря на это — я противоположность всеотрицающего духа. Я *благодатный вестник*, какого никогда не было, я знаю задачи такой высоты, для которых до сих пор не доставало понятий; впервые с меня опять существуют надежды. При всем том я по необходимости человек рока. Ибо когда истина вступит в борьбу с ложью тысячелетий, у нас будут сотрясения, судороги землетрясения, перемещение гор и долин, о каких никогда еще не грезили. Понятие политики совершенно растворится в духовной войне, все формы власти старого общества будут взорваны на воздух — они покоятся все на лжи: будут войны, каких еще никогда не было на земле. Только с меня начинается на земле *великая политика*.

2

Вы хотите формулы для такой судьбы, которая становится человеком? — Она стоит в моем Заратустре.

— И кто должен быть творцом в добре и зле: поистине тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности.

Так принадлежит высшее зло к высшему благу: а это благо есть творческое.

Я гораздо более ужасный человек, чем кто-либо до сих пор существовавший; это не исключает того, что я буду самым благодетельным. Я знаю радость уничтожения в степени, соразмерной моей силе к уничтожению, — в том и другом я повинуюсь своей дионисовской натуре, которая не умеет отделять отрицания от утверждения. Я первый имморалист: поэтому я *уничтожитель* *par excellence*.

3

Меня не спрашивали, меня должны были бы спросить, что собственно означает в моих устах, устах первого имморалиста, имя *Заратустры*: ибо то, что составляет огромное, единственное значение этого перса в истории, является прямой противоположностью мне. Заратустра первый увидел в борьбе добра и зла истинное колесо в движении вещей, — перенесение морали в метафизику, как силы, причины, цели в себе, есть *его* дело. Но этот вопрос был бы в сущности уже и ответом. Заратустра *создал* это роковое заблуждение, мораль: следовательно, он должен быть первым, который *познает его*. Не только потому, что он имеет здесь более долгий и больший опыт, чем всякий другой мыслитель — вся история есть не что иное, как экспериментальное опровержение тезиса о «нравственном миропорядке»: — важнее всего, что Заратустра правдивее всякого другого мыслителя. Его учение и только оно одно считает правдивость высшей добродетелью — это значит, противоположностью

трусости «идеалиста», который обращается в бегство перед реальностью; у Заратустры больше мужества в теле, чем у всех мыслителей, взятых вместе. Говорить правду и *хорошо владеть луком и стрелой* — это есть персидская добродетель. Понимают ли меня?.. Самопреодоление морали из-за правдивости, самопреодоление моралиста в его противоположность — в *меня* — это означает в моих устах имя Заратустры.

4

В сущности в моем слове *иммориалист* заключается два отрицания. Я отрицаю, во-первых, тип человека, который до сих пор считался самым высоким, *добрых, доброжелательных, благодетельных*; я отрицаю, во-вторых, тот род морали, который, как мораль, достиг значения и господства, — мораль декаданса, говоря конкретнее, христианскую мораль. Можно на второе отрицание смотреть, как на более решительное отрицание, ибо слишком высокая оценка добра и доброжелательства в общем есть для меня уже следствие декаданса, симптом слабости, несовместимый с восходящей и утверждающей жизнью: в утверждении отрицание и *уничтожение* являются условием. — Я останавливаюсь прежде всего на психологии доброго человека. Чтобы оценить, чего стоит данный тип человека, надо высчитать цену, во что обходится его сохранение, — надо знать его условия существования. Условие существования добрых есть *ложь*: выражаясь иначе, нежелание видеть, во что бы то ни стало, какова в сущности действительность; я хочу сказать, она не такова, чтобы каждую минуту вызывать доброжелательные инстинкты, еще менее, чтобы допускать ежеминутное вмешательство близоруких добродушных рук. Смотреть на *бедствия* всякого рода, как на возражение, как на нечто, что должно быть *уничтожено*, есть *niaiserie par excellence*, есть вообще истинное несчастье по своим последствиям, роковая глупость, — почти

столь же глупая, как глупа была бы воля, пожелавшая уничтожить дурную погоду из-за сострадания, например, к бедным людям... В великой экономии целого ужасы реальности [в страстях, желаниях, в воле к власти] в неизмеримой степени более необходимы, чем эта форма маленького счастья, так называемая «доброта»; надо быть очень снисходительным, чтобы последней, ибо она обусловлена инстинктом лживости, уделять вообще место. У меня будет серьезный повод доказать чрезмерно тревожные последствия *оптимизма*, этого порождения *hominum optimorum*, для всей истории. Заратустра был первый, который понял, что оптимист есть такой же декадент, как и пессимист, а может быть, еще более вредный; он говорит: *«Добрые люди никогда не говорят правды. Обманчивые берега и ложную безопасность указали вам добрые; во лжи добрых были вы рождены и окутаны ею. Добрые все извратили и исказили до самого основания»*. К счастью, мир не построен на таких инстинктах, чтобы только добродушное, стадное животное находило в нем свое узкое счастье; требовать, чтобы всякий «добрый человек», всякое стадное животное было голубоглазо, доброжелательно, «прекрасной душой», или, как хочет господин Герберт Спенсер, альтруистично, значило бы отнять у существования его *великий* характер, значило бы кастрировать человечество и низвести его к жалкой китайщине. — *И это пытались сделать! Именно это называлось моралью...* В этом смысле называет Заратустра *добрых* то «последними людьми», то «началом конца»; прежде всего он понимает их как *самый вредный род людей*, ибо они отстаивают свое существование за счет *целости* так же, как и за счет *будущего*.

— Ибо добрые — *не могут* созидать: они всегда начало конца;

— они распинают того, кто пишет *новые* ценности на новых скрижалях, они приносят *себе* в жертву будущее, — они распинают все человеческое будущее!

— Добрые — были всегда началом конца.

— И какой бы вред ни нанесли клеветники на мир:
вред добрых — самый вредный вред.

5

Заратустра, первый психолог добрых, есть — следовательно — друг злых. Когда упадочный род людей восходит на ступень наивысшего рода, то это может произойти только за счет противоположного им рода, рода сильных и уверенных в жизни людей. Когда стадное животное сияет в блеске самой чистой добродетели, тогда исключительный человек должен быть оценкою низведен на ступень злого. Когда лживость во что бы то ни стало овладевает для своей оптики словом «истина», тогда все действительно правдивое должно носить самые дурные имена. Заратустра не оставляет здесь никаких сомнений: он говорит: познание добрых «лучших» было именно тем, что внушило ему ужас перед человеком; из *этого* отвращения выросли у него крылья, чтобы «улететь в далекое будущее», — он не скрывает, что его тип человека есть сравнительно сверхчеловеческий тип, сверхчеловечен он именно в отношении *добрых*, добрые и праведные назвали бы его сверхчеловека *дьяволом*...

«Вы — высшие люди, каких встречал мой взор! в том сомнение мое в вас и тайный смех мой: я угадываю, вы бы назвали моего сверхчеловека — дьяволом!

Так чужда ваша душа всего великого; что вам сверхчеловек был бы *страшен* в своей доброте...»

Из этого места, а не из какого другого следует исходить, чтобы понять, чего *хочет* Заратустра: тот род людей, который он конципирует, конципирует реальность, *как она есть*: он достаточно силен для этого, — он не отчужден, не отдален от нее, он и есть *сама реальность*, он носит в себе все, что есть в ней страшного и загадочного, *только при этом условии в человеке может быть величие*...

Но еще и в другом смысле я избрал для себя слово *имморалист*, как мой отличительный признак, как мой знак отличия; я горд тем, что у меня есть это слово, выделяющее меня из всего человечества. Никто еще не чувствовал мораль *ниже* себя; для этого нужна была высота, взгляд вдаль, до сих пор еще совершенно неслыханная психологическая глубина и бездонная пропасть. Мораль была до сих пор Цирцеей всех мыслителей, — они были у нее в услужении. — Кто до меня спускался в пещеры, откуда несется кверху ядовитое дыхание от этого рода идеала — *клеветы на мир*? Кто хотя бы только осмеливался предчувствовать, что это суть пещеры? Кто вообще до меня был среди философов *психологом*, а не его противоположностью, «более высоким обманщиком», «идеалистом»? До меня еще не было никакой психологии. — Здесь быть первым может быть проклятием, во всяком случае это рок: *ибо и презирают, как первого... Отверщение* к человеку есть моя опасность...

Поняли ли меня? — Что меня отделяет, что ставит меня в стороне от всего остального человечества, это то, что я *открыл* сущность морали. Поэтому я нуждался в слове, которое имело бы значение вызова всем. Что здесь не раскрыли глаз раньше, я считаю это величайшей нечистоплотностью, какая только имеется у человечества на совести, как самообман, ставший инстинктом, как принципиальную волю не видеть никакого становления, никакой причинности, никакой действительности, как делание фальшивых монет в *psychologistic*, доведенное до преступления. Слепота перед традиционной моралью есть *преступление* *par excellence* — преступление против *жизни*... Тысячелетия, народы, первые и последние, философы и старые бабы — за исключением пяти-

шести моментов истории и меня, как седьмого, — все стоят друг друга в этом отношении. Человек был до сих пор «моральным существом», *сигиосум* вне сравнения, а *как* «моральное существо» был более абсурдным, более лживым, более тщеславным, более легкомысленным и *более вредным самому себе*, чем это могло бы присниться даже величайшему из презирающих человечество. Традиционная мораль — самая злостная форма воли ко лжи, истинная Цирцея человечества: то, что его *испортило*. Не заблуждение, как заблуждение, возмущает меня в этом зрелище, не тысячелетнее отсутствие «доброй воли» к воспитанию, к приличию, к мужеству в духовном отношении, которое обнаруживается в его победе: — меня возмущает отсутствие естественности, тот совершенно невероятный факт, что сама *противоестественность* получила, как мораль, самые высокие почести, осталась висеть над человечеством, как закон, как «категорический императив»!.. В такой мере ошибаться, не как отдельный человек, не как народ, но как человечество!.. Учили презирать самые первые инстинкты жизни; выдумали «душу», «дух», чтобы посрамить тело; в условиях жизни, в половой любви учили переживать нечто нечистое; в глубочайшей необходимости для развития, в суровом эгоизме [уже одно это слово было хулю!] искали злого начала; и наоборот, в типическом признаке упадка, в сопротивлении инстинкту, в «бескорыстии», в утрате равновесия, в «обезличивании» и «любви к ближнему» видели *самую высокую* ценность, что говорю я! — *ценность самое в себе!*.. Как! Значит, само человечество в упадке? И было ли оно в упадке всегда? — Что твердо установлено, это только то, что его *учили* лишь ценностям декаданса как высшим ценностям. Мораль самоотречения есть мораль упадка *par excellence*, факт «я погибаю» — перемещен здесь в императив: вы все *должны* «погибнуть» — *и не только в императив!*.. Эта единственная мораль, которой до сих пор учили, мораль самоотречения, избочивает

волю к концу, она отрицает жизнь в глубочайших основаниях. — Здесь остается открытой возможность, что не человечество в упадке, а только паразитический класс людей, которые, благодаря морали, добрались до звания определителей ее ценностей... И на самом деле, *мое* мнение таково: учителя, вожди человечества, все теологи были вместе с тем и декадентами: *отсюда* переоценка всех ценностей в нечто враждебное жизни, *отсюда* мораль... *Определение морали*: мораль — это идиосинкразия декадентов, с задней мыслью *отомстить жизни* — и с успехом. Я придаю ценность *этому* определению.

8

Поняли ли меня? Я не сказал здесь ни одного слова, которого я не сказал бы уже пятью годами раньше устами Заратустры. — *Открытие* традиционной морали есть событие, которому нет равного, действительная катастрофа. Кто ее разъясняет, тот forse majeure, рок, — он разбивает историю человечества на две части. Живут до него, живут *после* него... Молния истины поразила здесь именно то, что до сих пор стояло выше всего: кто понимает, *что* здесь уничтожено, пусть посмотрит, есть ли у него вообще еще что-нибудь в руках. Все, что до сих пор называлось «истиной», признано самой вредной, самой позорной, самой подземной формой лжи; святой предлог «улучшить» человечество признан хитростью, чтобы *высосать* самую жизнь, сделать ее малокровной. Мораль, как *вампиризм*... Кто открыл мораль, открыл вместе с этим негодность всех ценностей, в которые верят или верили; он более не видит ничего достойного почтения в наиболее почитаемых, даже объявленных священными типах человека, он видит в них самый роковой вид уродов, роковой, *ибо они околдовывали*... Понятие «бог» выдуманно, как противоположность понятию жизни. — Понятие «по ту сторону», «истинный мир» выдуманы, чтобы обесценить *единственный* мир, который

существует, чтобы не оставить никакой цели, никакого разума, никакой задачи для нашей земной реальности! Понятие «душа», «дух», в конце концов даже «бессмертная душа» выдуманы, чтобы презирать тело, чтобы сделать его больным «святым», чтобы всему, что в жизни заслуживает серьезного отношения, вопросам питания, жилища, духовной диеты, ухода за больными, чистоплотности, климату, противопоставить ужасное легкомыслие! Вместо здоровья «спасение души» — другими словами folie circulaire, начиная с судорог покаяния до истерии искупления! Понятие «греха» выдуманно вместе с принадлежащим сюда орудием пытки, понятием «свободной воли», чтобы спутать инстинкт, чтобы недоверие к инстинктам сделать второю натурой! В понятии человека «бескорыстного», «самоотрекающегося» истинный признак декаданса, *соблазняемость* всем вредным, неумение найти свою пользу, саморазрушение обращены вообще в признак ценности, в «долг», «святость», «божественность в человеке»! — Наконец — и это самое ужасное — в понятие *доброто* человека включено все слабое, больное, неудачное, страдающее из-за себя самого, все, *что должно погибать*, — нарушен закон *отбора*, сделан идеал из противоречия человеку гордому и удачному, утверждающему, уверенному в будущем и обеспечивающему это будущее — он называется отныне злым... И всему этому верили, как морали! — E s t a s e z l' i n f â m e !





Фридрих Ницше.
Фотография 1868 г.



ОЧЕРКИ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО

1

НЕВЫНОСИМЫЕ: — Сенека или Тореадор добродетели. — Руссо или возврат к природе *in impuris naturalibus*. — Шиллер или трубач морали фон Сикенген. — Данте или человек, раскапывающий могилы. — Кант или *sant* как умственный характер. — В. Гюго или маяк на море бессмыслия. — Лист или школа смелого натиска в погоне за женщинами. — Жорж Санд или *lactea ubertas*, что по-немецки означает: дойная корова с «красивым стилем». — Мишле или вдохновение, сбрасывающее с себя сюртук. — Карлейль или пессимизм в виде послеобеденной отрыжки. — Джон Стюарт Милль или обидная ясность. — Братья Гонкур или два Аякса в борьбе с Гомером. Музыка Оффенбаха. — Золя или «любовь к смраду».

2

Ренан — разум, испорченный «первородным грехом». Как только Ренан решается на какое-нибудь общепризнанное утверждение или отрицание, тотчас же он с горестной правильностью фальшивит. Он хотел бы, например, связать воедино «la science» и «la noblesse», но ведь наука принадлежит демократии, это очевидно. Без всякого мелкого самолюбия хочет он представить аристократизм духа, но вслед за тем он падает на колени перед противоположным учением. На что все его свободомыслие, его современ-

ность, насмешливость, его развязность сороки, если он в глубине своего существа остался католиком, даже ксендзом? Ренан изобретателен в обольщении как иезуит и исповедник; его отвлеченные рассуждения не лишены папского лукавства; он как все ксендзы становится опасным только тогда, когда он любит. Никто не умеет так, как он, поклоняться с опасностью жизни... Эта способность Ренана доводит до изнеможения и является поистине злым роком для бедной, больной, безвольной Франции.

3

Сен-Бёв. — В нем нет ничего мужественного, он полон мелкой злобы ко всем мужественным умам. Он бродит вокруг утонченный, причудливый, скучающий, выведывающий; в основе его женщина с женской мстительностью, с женской чувствительностью. Как психолог, он гений злословия (*mèdisance*), у него для этого неисчерпаемое богатство средств: никто не умеет лучше его подмешать яду в самые похвалы свои. Он плебей в своих низменных инстинктах, и ему родственно *ressentiment* Руссо. Он революционер, но, к несчастью, страх еще сковывает его. Он теряет всякую свободу перед всем, что в силе (а именно: перед установившимися мнениями академии, даже перед *Port-Royal*). Он озлоблен против всего великого в людях и произведениях, против всего, что верит в себя. Он поэт и в то же время настолько женщина, что видит во всем великом только давящую власть. Как критик, он лишен всякого масштаба и опоры, он судит обо всем на языке космополитического вольнодумца, хотя у него не хватает мужества признать свое вольнодумство. Как историк, он плохой философ без силы философского взгляда, и потому он во всех важных вопросах отклоняет от себя задачу судьи, защищаясь маской «объективности». Иначе относился он к тем вещам, в которых высший суд принадлежит тонкому, изощренному вкусу: тут он на высоте своего призвания, тут он мастер. В некоторых отношениях он прототип Бодлера.

6

Жорж Санд. — Я прочел первые «Письма Путешественника». Как все исходящее от Руссо, они фальшивы, раздуты, преувеличены. Я не выношу этого пестрого стиля, как не выношу тщеславных претензий черни на великодушные чувства! Но худшее, конечно, это женское кокетство мужскими манерами и развязностью дурно воспитанных мальчишек. И какой холодной оставалась при всем том эта невыносимая сочинительница! Она заводила себя, как заводят часы, и писала... Холодная, как Гюго, как Бальзак, как все романтики в минуты творчества!

И как самодовольно она возлежала при этом, эта плодovitая дойная корова, у которой было что-то немецкое, в дурном смысле слова, так же, как у самого Руссо, ее учителя; оба они были возможны во Франции только во времена упадка французского вкуса!

А Ренан ее уважает...

7

Мораль для психологов. — Не разменивайте психологии на мелкую монету! Никогда не наблюдайте для того только, чтобы наблюдать! Это создает оптический обман, неправильный взгляд, что-то вынужденное, преувеличенное... Искусственное переживание никогда не удастся. Не следует в пережитом оглядываться на самого себя, каждый взгляд тут будет «дурным взглядом». Врожденный психолог инстинктивно остерегается смотреть для того только, чтобы смотреть; то же самое делает и врожденный художник. Он никогда не работает «с натуры», он предоставляет своему инстинкту, своей камер-обсуре просеять и изобразить «случай», «природу», «пережитое»... Только общие явления проникают в его сознание как общие заключения и выводы; он не различает произвольных отвлечений от единич-

ного случая. Что может получиться, если будут поступать иначе? Так, например, как поступают парижские романисты, великие и малые, торгуя психологией по мелочам? Они ревниво подстерегают все реальное и каждый вечер приносят к себе домой целую горсть курьезов... Но стоит посмотреть, что из этого получается, — куча клякс, в лучшем случае мозаика, и всегда что-то искусственно сложенное, беспокойное, с кричащими красками. Худшего из этого достигли Гонкуры. Они не могли составить трех фраз, которые не резали бы глаз, не заставляли бы буквально страдать взор психолога. Природа, артистически оцененная, не может быть образцом. Она лжет, она искажает, она оставляет пробелы. Природа — это случайность. Этюд «с натуры» кажется мне плохим рисунком: он выдает слабость художника, его подчиненность, фатализм; это лежание в пыли перед *petits faits* недостойно истинного художника. Видеть то, что есть, это доступно другого рода умам, антиартистическим, фактическим умам.

Надо знать, к кому из них принадлежишь...

8

К психологии художника. — Для того чтобы было искусство, для того чтобы могло быть какое-либо эстетическое действие и созерцание, для этого необходимо предварительное физиологическое условие: опьянение. Опьянение должно возбудить раздражительность всей человеческой машины, без этого искусство никогда не возникает.

Все разнообразные многочисленные способы опьянения могут быть движущей силой и прежде всего опьянение чувственного возбуждения, это первобытная, древнейшая форма опьянения. Затем опьянение, являющееся вслед за всяким страстным желанием, сильным аффектом; опьянение празднеством, борьбой, молодечеством, победой, всяким резким возбуждением; опьянение жестокостью, духом разрушения. Опьянение под влиянием известного метеорологического фактора, например, весеннее опьянение или опьянение под влиянием наркотизма. Наконец, опьянение

собственной волей, опьянение накопившейся и вздымающейся волевой энергией. Сущность опьянения составляет ощущение поднятия сил и избытка их. Это чувство художник щедро изливает на все окружающее, он извлекает все из него, он насилует, он подчиняет себе весь видимый им мир, и это явление называют идеализацией. Освободимся же, наконец, от старого предрассудка; идеализация не заключается, как обыкновенно думают, в отбрасывании всего мелочного, второстепенного, а, скорее, в непомерном выдвигании и подчеркивании главных черт, при которых все остальное само собою стирается и исчезает.

9

Когда мы находимся в состоянии такого опьянения, весь окружающий нас мир обогащается от нашего собственного избытка: все, что мы видим, к чему стремимся, представляется нам выразительным, ярким, как бы наполненным силою.

Под влиянием опьянения человек преобразует все объекты до такой степени, что они, как в зеркале, отражают его мощь и становятся рефlekсами его совершенства.

Это неумолимое стремление преобразовать все в совершенное и есть искусство. В такие минуты все чуждое ему радует его; в искусстве человек наслаждается самим собой, как совершенством.

Позвольте мне представить себе противоположное этому состояние, особую антихудожественность инстинкта, известный род существования, который обедняет все окружающие предметы, делает их плоскими, чахоточными. И, действительно, история богата такими антиартистами, такими исхудалыми; они по необходимости сами должны черпать из всего окружающего, истощать, ослаблять его.

Примером может служить Паскаль, он мистик, и в то же время и художник, а это не уживается вместе!..

Было бы слишком наивно, если бы вы мне в ответ привели в пример Рафаэля или какого-нибудь гомеопатического

мистика девятнадцатого века: Рафаэль поступал так, как говорил, следовательно, Рафаэль не был мистиком...

10

Что означают введенные мною в эстетику противоположные понятия аполлоновского и дионисиевского искусства, если смотреть на них как на различные способы опьянения? Аполлоновское опьянение возбуждает больше всего зрение и придает мысли артиста силу и реальность видения.

Художник, пластик и эпический поэт — духовидцы *par excellence*.

В дионисиевском состоянии, кроме этого, возбуждена и возвышена вся система аффектов, так что она, вооружаясь всеми своими средствами воображения, одновременно вызывает и силу изобразительности, подражательности, превращения и всякого рода мимику и драматическую игру.

Сущность дела заключается в легкости, с которой совершаются метаморфозы, в невозможности реагировать (подобно некоторым истеричным субъектам, которые сразу, по первому знаку, вступают в любую роль).

Дионисиевскому человеку невозможно не поддаваться какому-нибудь внушению; он не пропускает ни одного признака аффекта, у него высоко развит инстинкт понимания и разгадывания, он в высшей степени обладает искусством передачи.

Он входит во всякую оболочку, во всякий аффект: он непрестанно преображается. Музыка, как мы теперь ее понимаем, есть одновременно всеобщее возбуждение и разряжение аффектов, но тем не менее, это — только остаток другого, гораздо более полного мира выражений аффектов, это — только *residuum* дионисиевского гистрионизма. Чтобы выделить музыку в самостоятельное искусство, установили особое чувство числа, прежде всего мускульное чувство (по крайней мере относительно: так в известной степени всякий ритм действует на наши мускулы); таким образом, не все, что человек чувствует, может он тотчас воплотить и представить.

Несмотря на все, это и есть, собственно, дионисиевское нормальное состояние, и во всяком случае первобытное состояние; музыка — это медленно достигаемая спецификация его в ущерб близко родственных ему сил.

11

Актер, мимик, танцор, музыкант и лирик — все они в корне своих инстинктов родственны и едины, но мало-помалу они отделились друг от друга до полной противоположности. Лирик дольше всех оставался соединенным с музыкантом; актер — с танцором. Архитектор не представляет из себя ни дионисиевского, ни аполлоновского состояния; здесь мы видим великое проявление воли, сдвигающей горы, опьянение великой волей, которое побуждает к искусству. Самые могущественные люди вдохновляли всегда архитекторов; архитекторы творили почти под внушением власти. В строении должна проявляться гордость, победа над ненастьем, воля к власти.

Архитектура — это своего рода властное красноречие, вылившееся в формах; иногда мягко влияющее, лстящее себе самому, иногда прямо приказывающее. Высшее чувство власти и уверенности находит себе выражение в том, что обладает высшим стилем.

Власть, которой больше не нужно подтверждения, которая пренебрегает тем, чтобы нравиться, которая медленно отвечает; власть, не чувствующая над собой свидетеля, живущая с сознанием, что ей нельзя прекословить; покоящаяся в самой себе; роковая власть, закон над законами — все это создает великий стиль.

12

Я прочел жизнь Томаса Карлейля, этот невольный фарс, это героически-моральное толкование состояния несварения желудка.

Карлейль — человек громких фраз и жестов, ритор по нужде, которого непрестанно мучает страстная жажда сильной веры и сознания своего бессилия к ней (в этом он типичный романтик!).

Жажда сильной веры не доказывает еще присутствия ее, скорее даже она доказывает обратное. У кого есть эта вера, тот может себе позволить дорогую роскошь скептицизма; он достаточно уверен, тверд, достаточно скован для этого.

Своими fortissimo поклонения перед людьми сильной веры и своими неистовствами против простодушных Карлейль старается что-то заглушить в себе, он нуждается в этом шуме. Непрерывное, страстное обманывание себя самого — это его *progrium*, этим он всегда был и останется нам интересен. Без сомнения, в Англии, им восхищаются именно за его честность... Но это по-английски, и, приняв во внимание, что Англия страна совершеннейшего *sant'a*, это не только допустимо, но и необходимо.

В основе своей Карлейль — английский атеист, видящий свою честь в том, чтобы не быть им.

13

Эмерсон. — Он гораздо яснее, образнее, разностороннее, утонченнее, чем Карлейль; прежде всего он счастливее... Он инстинктивно питается одной амброзией, а все неудобоваримое в жизни он пропускает без внимания. В сравнении с Карлейлем он большой эстетик.

Карлейль очень его любил, но тем не менее сказал про него: «Он не дает нам достаточно пищи», — что действительно имеет свое основание, хотя и говорит в пользу Эмерсона.

У Эмерсона много добродушной и остроумной веселости, которая может обезоружить самых серьезных людей; к сожалению, он не знает, как он уже стар и как он еще будет молод, он мог бы с правом сказать о себе словами Лопе де Вега: «*yo me sucedo a mí mismo*». Его ум находит всегда основание быть довольным, даже благодарным, порой он доходит до розового преувеличения того добряка, который возвращался с любовного свидания *tamquam re bene gesta*.

«*Ut desint vires, — сказал он с благодарностью, — tamen ast laudanda voluptas*».

Против Дарвина. — Что касается пресловутой «борьбы за существование», то она мне кажется скорее только утверждаемой, чем доказанной.

Эта борьба бывает, но как исключение. Общий вид жизни не есть состояние нужды, не голодание, а скорее богатство, избыток, даже бессмысленная расточительность. Там, где борются, борются за власть...

Не нужно смешивать Мальтуса с природой.

Но если даже допустить, что есть такая борьба, а она действительно случается, то исход ее бывает, к несчастью, обратный тому, которого хочет школа Дарвина и которого бы мы могли вместе с ней желать, а именно: победа не на стороне сильных, уполномоченных, не на стороне счастливых исключений.

Подбор основан не на совершенстве: слабые всегда будут снова господами сильных, благодаря тому, что они составляют большинство и, при этом, они умные... Дарвин забыл о духовной стороне (это по-английски!), — слабые богаче духом... Чтобы стать сильным духом, надо нуждаться в этом; тот, на чьей стороне сила, не заботится о духе («пускай его исчезает, — думают теперь в Германии, — империя во всяком случае останется при нас»). Я понимаю под духом, как видят, осторожность, терпение, хитрость, притворство, великое самообладание и все, что называется «*timere*», а к этому принадлежит большая часть так называемых добродетелей.

Психологическое чутье немцев. — Целый ряд фактов заставляет меня сомневаться в психологическом чутье немцев, но скромность мешает мне представить перечень этих фактов. Однако в одном случае у меня есть причина обосновать свое положение: я не могу простить немцам того, что они впали в такое заблуждение относительно Канта и его «философии задворков», как я ее называю, — это не было образцом умственной честности. Есть еще нечто другое, что я тоже не мог равнодушно слышать, это сомни-

тельное «и»: немцы говорят «Гете и Шиллер»; и даже боюсь, не говорят ли они тоже «Шиллер и Гете»...

Неужели все еще не поняли этого Шиллера?

Есть еще одно худшее употребление союза «и»; я его слышал собственными ушами, правда, только в среде университетских профессоров: «Шопенгауэр и Гартман»...

16

Самые одаренные люди, если они вместе с тем и самые смелые, переживают мучительнейшие трагедии, но именно потому они и уважают жизнь, что она выставляет против них сильнейших противников.

17

Мое отношение к «интеллектуальной совести». — Ничего нет более редкого теперь, как истинное лицемерие.

Я подозреваю, что этому растению вреден мягкий воздух нашей культуры. Лицемерие принадлежит временам сильной веры, тем временам, когда люди без принуждения переходили в другую веру, отказываясь от своих прежних убеждений. Теперь люди тоже отказываются от своей веры или еще чаще принимают одновременно вторую веру, и в обоих случаях они остаются честными.

Без всякого сомнения, в наши дни можно иметь несравненно большее количество убеждений, чем когда-либо; можно, т. е. позволено, т. е. это остается безнаказанным. Отсюда происходит терпимость по отношению к самому себе.

Терпимость к себе самому допускает много различных убеждений: они мирно уживаются друг с другом, они остерегаются компрометировать себя, как это делает и весь современный свет.

Чем можно компрометировать себя теперь? Последовательностью, прямыми линиями, немногосторонностью, неподдельностью...

Я очень опасаюсь того, что современный человек слишком ленив для некоторых пороков, так что они в конце концов переведутся.

Все зло обусловлено сильной волей, а так как все зло совершается лишь посредством силы воли, то оно на нашем талом воздухе скоро выродится в добродетели... Те немногие лицемеры, которых я знал, служили самому лицемерию; они были актерами так же, как десять процентов современных людей.

18

Прекрасное и безобразное. — Нет ничего более твердо установленного, можно даже сказать узко ограниченного, чем наше чувство красоты. Тот, кто захочет отделить это чувство от чувства удовольствия, доставляемого человеку существом ему подобным, тотчас же потеряет почву под ногами.

«Красота сама по себе» — это пустыня слова, это даже не понятие. В красоте человек ставит себя мерилом совершенства; в исключительных случаях он даже признает себя «единственным творцом» ее. Только в своем изображении человеческий род может подтвердить и возвысить себя.

Его внутренний инстинкт, инстинкт самосохранения и самопродления сияет из глубины всего прекрасного. Человек думает, что весь мир усеян красотою, он забывает, что он сам их причина. Он сам наделил природу красотой, но только человеческой, слишком человеческой красотой... В сущности человек любит себя лишь собою в окружающем мире, он считает прекрасным все то, в чем отражается его образ: в приговоре над «красотой» звучит его «тщеславие рода»...

У скептика может шевельнуться маленькое подозрение: не потому ли и кажется мир прекрасным, что человек его считает таким? Он очеловечил его: в этом суть всего.

Но никто не может поручиться в этом, что именно человек представляет из себя образец красоты. Кто знает, каким он покажется в глазах высшего эстетического судьи? Может быть, чересчур дерзновенным? Может быть, даже смешным? А, может быть, и немного произвольным?..

«О Дионисий, божественный, зачем дергаешь ты меня за ухо?» — спросила как-то Ариадна своего «философского любовника» во время одного из прославленных их разговоров на острове Максосе.

«Я нахожу особого рода юмор в твоих ушах, Ариадна, но отчего бы им не быть еще длинней?»

19

Нет ничего прекрасного, кроме человека: на этой наивности покоится вся эстетика, это — ее первая истина. Присоединим к ней еще вторую: ничего нет безобразнее вырождающегося человека, — этим ограничивается царство эстетических суждений. С физиологической точки зрения человека ослабляет и опечаливает все безобразное. Оно напоминает ему об упадке, об опасности, о бессилии; он и на самом деле теряет при этом силу.

Можно было бы измерить действие безобразного при помощи динамометра.

Всюду вообще, где человек угнетен, он чувствует близость чего-то безобразного. Его чувство власти, его воля к власти, его мужество, его гордость — все это падает при виде безобразия, все это повышается от присутствия красоты...

Мы делаем выводы из этих двух случаев, а материал для этого в изобилии накоплен в наших инстинктах.

Мы рассматриваем безобразное как признак вырождения.

Всякий предвестник истощения, тяжести, ветхости, усталости, всякого рода стеснение, как спазмы, как поражение параличом, но более всего запах краски, формы разложения и растления, служащие хотя бы символами, — все это вызывает равное себе противодействие, приговор: «безобразное».

В этом определении звучит ненависть, но кого же ненавидит тут человек? Без всякого сомнения, он ненавидит нисхождение своего рода. Ненависть его исходит из самого глубокого инстинкта рода; в этой ненависти есть и ужас,

и страх, и отвращение, и предвидение... Это самая глубокая ненависть из всех существующих. Только благодаря ей искусство глубоко...

20

Шопенгауэр. — Шопенгауэр — последний из немцев, которого нельзя обойти молчанием. Этот немец, подобно Гете, Гегелю и Генриху Гейне, был не только «национальным», местным явлением, но и общеевропейским.

Он представляет огромный интерес для психолога, как гениальная и зловредная попытка вызвать на бой имя нигилистического обесценивания жизни, обратное мирозерцанию, — великое самоподтверждение «волок к жизни», формы обилия и избытка жизни. Искусство, героизм, гениальность, красоту, великое сострадание, познание, волю к истине, трагизм — все это, одно за другим, Шопенгауэр объяснил как явления, сопровождающие «отрицание» или оскудение «воли», и это делает его философию величайшей психологической фальшью в истории человечества.

Он со своей философией является прямым наследником мистического толкования жизни, но разница в том, что он сумел в мистическом смысле оправдать и все отпавшее от мистицизма, а именно великие культурные события человечества.

21

Я останавлиюсь только на одном факте: Шопенгауэр говорит о красоте с мучительной горячностью, но по какой причине? Он видит в красоте мост, по которому человечество идет вперед или на котором оно начинает хотеть идти вперед... Красота освобождает от «воли» на мгновение, и она манит освободиться навек... Особенно ценит Шопенгауэр в красоте освободительницу от «фокуса воли», от животных чувств: в красоте телесное влечение приходит к самоотвращению... Этот Шопенгауэр — большой чудодей!.. Но кто-то возражает ему, и мне кажется, что возражает ему сама природа. Для чего вообще существует в

природе красота в аромате, в звуках, в красках, в ритмических движениях?

Какие побуждения вызывает красота? К счастью, кроме природы ему возражает еще один философ. Не более не менее как авторитет самого божественного Платона (так называет его сам Шопенгауэр) поддерживает положение, что всякая красота побуждает к произрождению, что именно в этом заключается тайна ее действия на человека, — этом восхождении от самого чувственного — вверх, к самому духовному...

22

Платон заходит еще дальше. — Он с невинностью, для которой надо было быть греком, сознается, что не было бы никакой платоновской философии, если бы в Афинах не было красивых «типов»: созерцание их было первым, что вызвало в душе философа эротическое опьянение и не давало ему покоя до тех пор, пока он не рассыпал семена всего прекрасного на самую благодатную почву.

Платон тоже был большой чудодей!

Трудно верить ушам своим, предположив даже, что веришь Платону! Начинаешь догадываться, что в Афинах философствовали иначе, чем у нас, и, прежде всего, откровенней. Ничего нет менее эллинского, чем тонкое умствование отшельника *amor intellectualis dei* по учению Спинозы.

Философию, вроде Платоновской, можно скорее назвать «эротическим поединком», чем дальнейшим развитием древних игр агоналий. Что же выросло в конце концов на почве философской эротики Платона? Новая форма эллинского искусства борьбы (*agon*), — диалектика. Я напомним еще, к осуждению Шопенгауэра и к чести Платона, что вся высшая классическая культура и литература Франции развивалась тоже на почве чувственных отношений. В основе ее всегда можно найти изысканность вкуса, утонченных сладострастий, половую борьбу за обладание, всюду можно найти «женщину»...

«Искусство для искусства». Борьба против преднамеренной цели в искусстве есть одновременно борьба против морализующей тенденции, против подчинения искусства нравственности. Искусство для искусства означает: «Черт побери мораль!»

Но самая эта вражда говорит о предрассудке. Если и исключить из искусства нравоучительную цель и стремление к улучшению нравов, — из этого еще далеко не будет следовать, что искусство вообще бесцельно, бессмысленно, т. е. искусство для искусства — собака, бегущая за своим собственным хвостом.

«Лучше никакой цели, чем нравственная цель!» — говорит голая страсть. Но психолог задается вопросами: что делает каждое искусство? хвалит ли оно? прославляет ли? не отбрасывает ли оно все ненужное? не выдвигает ли некоторые обстоятельства на вид? Со всем тем оно усиливает или ослабляет некоторые ценности... Случайность ли это, и участвует ли в этом инстинкт художника? Или это предвидение того, что художник может?.. Направляется ли его инстинкт на искусство или гораздо более на душу искусства — жизнь? Искусство есть великое стремление к жизни: каким же образом возможно считать его бесполезным, бесцельным, — считать его за «искусство для искусства»?..

Один вопрос возникает у нас: искусство выставляет также много некрасивое, грубое, непонятное в жизни: не вызывает ли оно этим отвращение к ней?

И действительно, были философы, которые приписывали ему эту способность «освободиться от воли». Так определял Шопенгауэр общую цель искусства «проникаться покорностью», — в этом видел он великую пользу трагедии.

Но это, как я уже говорил, взгляд пессимиста, «дурной взгляд»: надо сослаться на самих художников!

Что показывает нам трагический художник? Разве не показывает он именно состояние бесстрашия перед ужасным и загадочным. Одно это состояние — высшее благо, и тот, кто испытывал его, ставит его бесконечно высоко.

Художник передает это состояние нам, он должен передавать его, именно потому, что он артист — гений передачи.

Мужество и свободу чувства перед могучим врагом, перед великим горем, перед задачей, внушающей ужас, — это победоносное состояние и избирает и прославляет трагический художник!

Перед лицом трагедии воинственный дух справляет свои сатурналии в нашей душе. Кто привык к страданию, кто ищет его — героический человек, — тот прославляет в трагедии свое бытие: — ему одному подносит трагический художник напиток этого сладчайшего ужаса...

24

«Снисходить» ко всем людям, держать свое сердце открытым — это либерально, но не более того.

Людей, способных быть гостеприимными только с избранными, можно узнать по многим завешанным окнам и закрытым ставням: их лучшие комнаты остаются пустыми... Но почему же? Потому что они ждут таких гостей, к которым не приходится «снисходить»...

25

Мы себя не ценим в достаточной степени, когда бываем откровенны. Все то, что мы лично переживаем, не может быть высказано.

Оно бы само не могло «рассказаться», если бы и хотело. У него недостает слова. То, что можно выговорить, мы сейчас же высказываем.

В каждой речи кроется доля презрения. Речь изобретена только для передачи среднего, посредственного, мелкого.... Она опошляет говорящего.

(Из морали для глухонемых и других философов).

26

«Этот портрет обворожительно-прекрасен»... Литературная женщина, неудовлетворенная, возбужденная, с пу-

стотой в сердце и во внутренностях — с мучительным любопытством вечно прислушивается к повелениям, исходящим из глубины ее существа и шепчущим: «aut libri gut libri»: — литературная женщина достаточно образована, чтобы понимать голос природы, даже когда она говорит по-латыни, и в то же время достаточно тщеславна и глупа, чтоб по секрету добавлять себе по-французски: «je me verrari, je me lirai, je m'extasierai et je me dirai: est ce possible que j'aie eu tant d'esprit?»

27

«Нечто о безличных, так как они пришлись к слову. — Ничто не может быть легче, как быть благоразумным, рассудительным, терпеливым... Мы исходим из елеса снисхождения и сочувствия, мы до глупости справедливы, мы все прощаем... Именно поэтому мы должны были держать себя поостороже и от времени до времени вызывать в себе маленький эффект, маленький порок в виде аффекта.... Нам может прийти горько при этом, и мы, может быть, будем смеяться в душе над тем явлением, которое из себя представим. Но что же делать? У нас нет другого способа преодолеть себя; в этом наш аскетизм, наше покаяние!»

— Стать «индивидуальным» — в этом добродетель безличных.

28

Из докторского экзамена.

- В чем задача всякой высшей школы?
- Сделать из человека машину.
- Какое средство для этого существует?
- Он должен учиться скучать.
- Как этого достигают?
- Понятием о долге.
- Кто может служить образцом?
- Филолог, — он учит долбить.
- Кого следует считать совершенным человеком?
- Государственного чиновника.

— Какая философия дает высшую формулу для сущности государственного чиновника?

— Кантовская: государственный чиновник, как предмет, сам по себе, поставлен судьей над государственным чиновником, как явлением.

29

Право на глупость. — Усталый, медленно переводящий дыхание труженик, который добродушно смотрит вокруг себя и предоставляет все вещи их течению, эта типичная фигура, которую теперь, в наш рабочий век, можно встретить во всех слоях общества, начала заявлять свои претензии на искусства, включая сюда и книгу, более же всего журналы, а еще больше — прекрасную природу, Италию...

Человек сумерек с «заснувшими смелыми побуждениями», о котором говорит Фауст, нуждается в летней свежести, в морских купаниях, в глетчерах, в Байрейте... В такие времена искусство имеет полное право на откровенную глупость, так как оно служит отдыхом для ума, остроумия и чувства...

Это понимал Вагнер. Откровенная глупость возобновляется.

30

Еще одна задача диеты. — Средствами, которыми Юлий Цезарь предохранял себя от болезней и головной боли: огромные переходы, простейший образ жизни, непрерывное пребывание на воздухе, продолжительный труд — это, вообще говоря, способы поддерживать и предохранять от порчи эту хрупкую, чувствительную, работающую под высоким давлением машину, которая называется гением.

31

Критика декадентской нравственности. — «Альтруистическая» нравственность, которая устраняет эгоизм, служит дурным знаком. Это замечание относится как к отдельным лицам, так же и к целым народам. Вместе с эгоизмом уходит все лучшее.

Инстинктивно избирать вредное себе, прельщаться «бескорыстными» побуждениями — есть уже шаг на пути к декадентству. «Не искать своей пользы» — это своего рода фиговый лист для совсем другой физиологической сущности: «Я больше не умею находить своей пользы!..»

Ослабление инстинктов!

Человек погиб, если он стал альтруистом. Вместо того чтоб наивно сказать: «Я сам больше ни на что не годен», — нравственная ложь в устах декадента говорит: «Ничего нет ценного, сама жизнь ни на что больше не годна!»

Такой приговор в конце концов грозит опасностью. Он заразителен и вскоре порождает целую тропическую растительность понятий на болезненной почве общества: то в виде предрассудков, то в виде философии (Шопенгауэр).

Иногда такое, выросшее на гнилой почве, ядовитое дерево отравляет своим дыханием всю жизнь на целые грядущие столетия.

32

Обязанность врачей. Больной — паразит общества. В известных случаях становится непристойным продолжать свое существование.

Дальнейшее прозябание в трусливой зависимости от врача и от всех мелочей жизни, после того как смысл жизни, право на жизнь уже потеряны, должно бы вызывать в обществе глубокое презрение.

Также врачи должны были бы быть посредниками этого презрения и, вместо прописывания рецептов, проявлять ежедневно новую дозу отвращения к своим пациентам. На ответственность врачей возлагается решение во всех случаях высшего интереса жизни, приподнятой жизни, в случаях беспощаднейшего натиска вырождающейся жизни, например, во враче нуждаются для права быть зарожденным, для права на рождение, для права на жизнь...

Необходимо независимо умереть, когда становится невозможным продолжать жизнь независимо! Великолепна смерть, ясная и радостная, приведенная в исполнение среди

детей и свидетелей, — когда разумное прощания еще возможно, когда тот, кто прощается, еще с нами, когда еще возможна настоящая оценка достигнутого и желанного, — возможен итог жизни...

Здесь было бы кстати выставить, назло малодушию перед грозящей участью, истинную, т. е. физиологическую, оценку так называемой естественной смерти, которая с правом может быть названа «неестественной», — самоубийством. Никогда человек не погибает по вине другого, а всегда по своей собственной вине. Но в то же время это самая позорная смерть, — несвободная, трусливая, смерть не вовремя! Из любви к жизни следовало бы желать другой смерти, свободной, сознательной, без случайностей, без неожиданностей...

Я позволю себе дать совет господам пессимистам и другим декадентам. Наше появление на свет не от нас зависит, но мы можем эту ошибку — а это иногда бывает ошибкой — вовремя исправить. Упраздняя себя, человек совершает достойнейший поступок, — этим он заслуживает почти... жизнь. Общество, даже более того — сама жизнь, получает больше пользы от этого, чем от какого-нибудь существования, проходящего в самоотречении, худосочии и других добродетелях, — по крайней мере, такой человек освобождает людей от своего вида, освобождает жизнь от возражения... Настоящий пессимизм, *rig, vert*, сказывается прежде всего самоопровержением господ пессимистов; нужно сделать еще шаг вперед в своей логике: — отрицать жизнь не только «волей и представлением», как это сделал Шопенгауэр, — надо прежде дойти до отрицания самого Шопенгауэра... Пессимизм, кстати говоря, несмотря на свою заразительность, не увеличивает болезненность целой эпохи, целого поколения, он только служит их выражением. Им заболевают, как заболевают холерой; надо быть по натуре достаточно болезненным, чтобы подвергнуться ему; пессимизм не создает даже ни одного лишнего декадента. Я помню статистический вывод, свидетельствующий о том, что в года, когда свирепствовала холера, общая цифра смертных случаев не превышала другие года.

Стали ли мы нравственнее? — Против введенного мною понятия «по ту сторону добра и зла» вооружилась, как и следовало ожидать, вся свирепость нравственного отупения, которая слывает в Германии за мораль, — я мог бы рассказать об этом прелюбопытные истории. Прежде всего, меня заставили призадуматься над «неопровержимым превосходством» нашего времени в нравственном отношении, над этим успехом, действительно достигнутым нами; в сравнении с нами никак нельзя назвать Цезаря Борджиа, как я это делал, «высшим человеком» — известного рода сверхчеловеком...

Один редактор в Швейцарии зашел так далеко, что понял мои произведения в том смысле, что я предлагаю в них уничтожение всех благопристойных чувств; он высказал все это не без того, чтобы проникнуться уважением к собственной храбрости. Я позволю себе в ответ на это поставить вопрос: стали ли мы действительно нравственнее? То, что весь мир этому верит, служит почти опровержением этого. Мы, современные люди, такие нежные, чувствительные и деликатные — действительно вообразили себе, что это нежное человечество, которое мы из себя представляем, это единогласие, достигнутое нами в снисхождении, в готовности помогать друг другу, во взаимном доверии, — что все это есть положительный успех, ставящий нас неизмеримо высоко над эпохой возрождения. Но так думает про себя каждое время, так оно должно думать.

Несомненно то, что мы не можем не только поставить себя в условия эпохи возрождения, но даже мысленно проникнуть в них: наши нервы, не говоря уж о наших мускулах, не выдержали бы реальности той жизни. Но это бессилие указывает не на прогресс, а на существование в нас свойств позднейшей формации, — не нашу слабость, болезненность, чувствительность, которые неизбежно порождают нравственность, проникнутую деликатностью. Если бы мы устранили нашу чувствительность и физиологическую расслабленность, наша нравственность потеряла бы свою

«человечность» и вместе с тем свою цену, — сама по себе никакая нравственность не имеет цены, — она вызвала бы в нас даже презрение. С другой стороны, в глазах современника Цезаря Борджиа, мы, люди девятнадцатого века, плотно закутанные в нашу гуманность, которая должна нас предохранять от всякого толчка, представляли бы самое уморительное зрелище. И действительно, мы бесконечно смешны с нашими «добродетелями»...

Ослабление инстинктов вражды и подозрения, а в этом ведь и заключается наш «прогресс», представляет из себя только одно звено во всеобщем ослаблении жизненности.

В наши дни все взаимно помогают друг другу, — каждый до известной степени больной и в то же время врачующий.

И это называется «добродетелью»; люди, знавшие другую жизнь, более полную, расточительную, переливающуюся через края — назвали бы ее иначе, может быть, «малодушием, ничтожеством», «стародевическою нравственностью»... Смягчение наших нравов (это положение, если хотите, мое нововведение) свидетельствует об общем упадке; суровость же и жестокость обычаев бывают следствием избытка жизни. Только при избытке жизни можно на многое отважиться, можно многого требовать, многое расточать...

То, что прежде было пряностью жизни, для нас обратилось в яд... Равнодушие тоже одна из форм проявления силы, — мы уж слишком стары и слабы, чтобы быть равнодушными; наша мораль сострадания, против которой я первый предостерегал и которую можно было бы назвать *l'impressionisme moral* — это новое выражение физиологической чрезмерной раздражительности, присущей всему декадентству.

Движение, пытавшееся научно обосноваться в морали сострадания Шопенгауэра (очень неудачная попытка!) — по существу своему декадентское движение в морали. Суровые времена, сильные культуры видели в сострадании, в «любви к ближнему», в недостатке развития своего «Я» и эгоизма, что-то достойное презрения. Эпохи оцениваются их положительными силами, и в этом отношении расточительная и чреватая событиями эпоха возрождения была

последнюю великою эпохой, а мы, современные люди, с нашей трусливой заботливостью о себе, с нашей любовью к ближнему, с нашими добродетелями трудолюбия, скромности, справедливости, учености, мы, накапливающие, экономные, подобные машинам — мы живем в слабую эпоху... Наши добродетели созданы, даже вызваны нашей слабостью...

«Равенство», нашедшее себе выражение в теории равноправности, явно свидетельствует об упадке; пропасть между отдельными людьми, между отдельными классами людей, множественность типов и стремление быть самим собою, выделиться — все то, что я называю пафосом расстояния, было свойственно каждой мощной эпохе. Теперь напряженность и расстояние между полюсами противоположностей все уменьшается, — противоположности сглаживаются до полной тождественности...

Мое возражение против всей социологии в Англии и во Франции заключается в том, что она только по опыту знакома с картиной упадка всего общества и совершенно наивно принимает свои собственные инстинкты упадка за норму социологических приговоров. Заходящая жизнь, истощение всякой организующей, то есть разделяющей, разрушающей пропасти силы, возводится теперешней социологией в идеал... Наши социологи — декаденты, но и г-н Герберт Спенсер тоже декадент, он тоже видит нечто желательное в победе альтруизма.

34

Мое понятие о свободе. — Ценность вещи определяется иногда не тем, что ею можно достигнуть, а тем, что за нее дают — во что она нам обходится. Я приведу пример. Либеральные учреждения тотчас же перестают быть либеральными, как только они достигнуты; ничто не причиняет такого вреда свободе, как общественные, установленные либеральные учреждения. Известно, к чему они приводят; они подкапываются под волю к власти, они подводят под один уровень высокое и низкое, они делают людей мелки-

ми; трусливыми, в них торжествует стадное животное. Либерализм в переводе означает торжество стадного начала. И те же учреждения вызывают совсем другое действие, пока к ним еще стремятся, пока они в виду; они тогда, действительно, властно требуют свободы. Точнее говоря, это война, и, как всякая война, она поддерживает существование антилиберальных инстинктов. Война учит всех понимать свободу. Ибо что такое свобода, как не воля к ответственности за самого себя, как не то, что мы становимся равнодушнее к огорчениям, к суровости, к лишениям, к самой жизни вообще, как не то, что мы готовы пожертвовать для своего дела людьми, не исключая из них и себя.

Свобода означает, что мужественные, воинственные и победоносные инстинкты господствуют над другими инстинктами, например, над инстинктом «счастья».

Освободившийся человек, тем более освободившийся дух, топчет ногами то презренное здоровье, к которому стремятся торгаши, коровы, женщины, англичане и другие демократы. Свободный человек — воин.

В чем нуждается свобода отдельного лица, как и целого народа? В сопротивлении, которое надо и преодолевать в трудностях, с которыми сопряжена возможность удержаться на высоте.

Высший тип свободных людей следовало бы искать там, где приходится преодолевать самое сильное противодействие: в пяти шагах от тирании, у самого источника грозящего рабства. Это психологически верно, если под «тиранами» подразумевать те ужасные, неумолимые инстинкты, которые предъявляют себе наибольшую власть и требуют повиновения, — лучший пример Юлий Цезарь. Это также верно и в области политики, — достаточно совершить экскурсию в историю, чтобы в этом убедиться. Народы, заслуживающие уважения, приобрели это уважение не в силу либеральных учреждений; великая опасность сделала из них нечто достойное уважения, опасность, которая впервые научает нас нашим силам, нашим добродетелям, нашему оружию, силе нашего ума, — которая заставляет нас

быть сильными... Это первое основное правило: надо, чтобы необходимость заставила человека стать сильным, иначе он никогда им не будет.

Великие теплицы, выращивавшие сильнейших людей, аристократические общины, вроде Венеции и Рима, понимали свободу совершенно в том же смысле, как я ее понимаю, как нечто, что имеешь и чего не имеешь, чего хочешь, что завоевываешь!..

35

Критика над современностью. — Наши современные учреждения никуда не годятся. На этом все сходятся единодушно. Но причина этого кроется не в них, а в нас самих.

После того как в нас ослабевают инстинкты, породившие эти учреждения, они теряют свою силу, так как мы уже не пригодны для них. Демократизм вызывал во все времена упадок организующей силы; я уже указал в моем сочинении «Человечное, слишком человеческое» («*Menschliches Allzumenschliches*») на современную демократию с ее неосновательными мерами, вроде основания «Германской империи», как на доказательство упадка страны.

Для возникновения каких бы то ни было учреждений необходимо должна существовать воля, побуждающая инстинкт, антилиберальная до яркости; — воля к традиции, к авторитету, к ответственности за целые столетия, к солидарности прошлых и будущих поколений, из рода в род, *in infinitum*. Если эта воля налицо, то возникает что-нибудь вроде Римской империи, или вроде России — единственная страна, у которой в настоящее время есть будущность, которая может ждать, может обещать; Россия — явление, обратное жалкой нервности мелких европейских государств, для которых, с основанием «Германской империи», наступило критическое время.

У всего Запада исчезли те инстинкты, из которых вырастают учреждения, на которых строится будущее; его «современному» разуму ничто, может быть, не противоречит

в такой степени. Люди живут только сегодняшним днем, живут торопливо, живут очень неответственно, и это именно называют «свободой»... Они презируют, ненавидят, отклоняют то, из чего создаются учреждения; они думают, что им угрожает новое рабство, когда раздается слово «власть».

Вот как далеко зашло декадентство в «оценивающем» инстинкте наших политиков, наших политических партий: они инстинктивно избегают то, что приближает развязку, что ускоряет конец...

Доказательством может служить современный брак. Современный брак совершается с полным отсутствием разума; но в этом следует обвинять не сам брак, а современность... Разум брака заключается в юридической, исключительной ответственности мужа; в этом была его устойчивость, тогда как теперь он хромет на обе ноги. Разум брака заключался в его принципиальной нерасторгаемости, — этим он приобретал особую силу, умевшую противодействовать разным случайностям, вроде чувства, страсти и минуты. Он заключался также в ответственности семьи в выборе мужа.

Вместе с возрастающим числом индульгенций в пользу брака по любви исчезло и главное основание брака, то, что делает из него учреждение.

Учреждение никогда не строится на идиосинкразии, брак не строят, как я уже говорил, на «любви», — его строят на чувственном влечении, на потребности обладать собственностью (жена и дети являются собственностью), на потребности господствовать, которая непрестанно создает себе маленький образец господства — семью, которая нуждается в детях и наследниках, чтобы физиологически удерживать за собою достигнутую меру власти, влияния и богатства, чтобы готовить длинные задачи будущему, чтоб возбуждать инстинкт солидарности через целые столетия. Брак, как учреждение, подтверждает величайшую, прочнейшую форму организации в себе: если общество не может постоять за себя в отдаленнейших поколениях, то

брак вообще не имеет смысла. Современный брак потерял смысл, — из этого следует, что его надо упразднить.

36

Рабочий вопрос. Глупость, т. е. вырождение инстинкта, в котором теперь кроется причина всех глупостей, заключается в самом существовании рабочего вопроса. О некоторых вещах не задают вопросов, не спрашивают, — это первое повеление инстинктов.

Я положительно не предвижу, что хотят сделать из европейского рабочего после того, как из него сделали вопрос. Он чувствует себя слишком хорошо, чтоб шаг за шагом не требовать все большего, и все настоятельнее и нескромнее.

Огромное большинство на его стороне. Надежда, что из него выработается скромная и довольствующаяся сама собой порода людей, типа китайца, вполне уничтожена; а это имело бы смысл, это было бы необходимостью. Что люди сделали вместо того? Все, чтоб уничтожить в самом корне даже предположения, даже инстинкты, благодаря которым рабочий возможен как сословие, возможен сам для себя, — уничтожили до дна бессмысленнейшей несоответственностью. Рабочего сделали способным к военной службе, ему дали коалиционное право, политическое право голоса, — что же удивительного, что рабочий начал считать свое существование бедственным (несправедливым, с точки зрения нравственности)...

Но чего же люди хотят? Еще раз спрашиваю. Если стремишься к известной цели, — надо признать за нужное и средства. Кто хочет иметь рабов и воспитывает их господами, тот глупец.

37

Где нужна вера? — Ничто не встречается так редко среди моралистов и аскетов, как правдивость; — сами они, может быть, говорят обратное и даже верят обратному. Когда вера оказывается нужнее, действительнее, убедительнее, чем сознательное притворство, то притворство инстинк-

тивно превращается тотчас же в невинность — первое правило для понимания великих моралистов! Так же и у философов, — вся суть ремесла в том, что они допускают только известные истины: именно такие, которые пользуются общественным одобрением; говоря по-кантовски — истины практического разума.

Они знают, что должны доказать — в этом они практичны, — они узнают друг друга по тому, что они единодушно сходятся в понимании «истин».

«Ты не должен лгать», — иначе говоря: остерегайтесь, г-н философ, говорить правду...

38

На ухо консерваторам. — Теперь все знают, или могли бы знать, то (прежде это было неизвестно), что обратное движение, возврат в каком бы то ни было смысле и степени совсем невозможен.

Мы, физиологи, по крайней мере, знаем это. Но все моралисты верили в возможность другого: они хотели свести, сдвинуть человечество на прежнюю степень добродетели.

Нравственность всегда была Прокрустовым ложем. Даже политики в этом случае шли по стопам проповедников добродетели; еще теперь существуют партии, для которых самым желательным было бы, чтобы все по-рачьи пятились назад. Но никто не может сделаться раком! Против этого ничего не поделаешь! — нужно идти вперед, т. е. шаг за шагом по пути декадентства (это мое определение современного движения вперед). Можно это движение приостановить и этим самым препятствием запрудить, скопить вырождение, обострить, ускорить его... Ничего другого сделать нельзя.

39

Мое понятие о гении. Великие люди, как и великие времена, подобны взрывчатому веществу, в котором накопилась ужасная сила; их появление всегда исторически и физиологически, задолго до них, готовится, собирается

и скопляется. Если напряжение толпы достигает слишком большой силы, то достаточно случайного толчка, чтобы вызвать на свет «гения», великую судьбу. Какое тогда дело до окружающих, до «века», до «уха времени», до «общественного мнения»?

Возьмем в пример Наполеона. Франция революции и еще более дореволюционная Франция породила бы противоположный Наполеону тип, — она и породила его... И именно потому, что Наполеон был другим, наследником более сильной, длинной, старой цивилизации, чем та, которая развеялась во Франции в пух и прах, — он и стал господином, он один был там господином. Великие люди необходимы: время, в которое они появляются, случайно, и причина того, что они всегда господствуют над ним, кроется только в том, что они сильнее, старше его, что они дольше готовились и скоплялись. Между гением и его временем такое же отношение, как между сильным и слабым, как между старым и молодым, причем время всегда бывает гораздо моложе, тоньше, несовершеннолетнее, наивнее...

Тот факт, что об этом теперь совсем иначе думают во Франции (в Германии тоже, но это ничего не доказывает), то, что там теория среды (*du milieu*), настоящая теория невращеников — сделалась священной и почти научной, так что даже физиологи придают ей значение — это дурной знак, это вызывает печальные размышления.

В Англии тоже иначе понимают это, но об этом никто не станет печалиться. Англичанину открыты только два пути к гению и великому человеку: или быть демократом в духе Бокля, или религиозным в роде Карлейля.

В великих людях и в великих временах лежит чрезвычайная опасность; всяческое истощение, оскудение, бесплодие следуют за ними по пятам.

Великий человек есть конец, великое время, например, возрождение, тоже конец.

Гений является расточителем в поступках и деяниях; его величие в том, что щедро расходует себя... Инстинкт самосохранения как бы отброшен; пересиливающий натиск рвущихся наружу сил запрещает ему всякую осторож-

ность и защиту. Люди называют это «самопожертвовани-ем», прославляют в этом его «геройство», его равнодушие к собственному благу, его преданность идее, великому делу, родине, — а это ряд недоразумений!..

Великий человек изливается, переливается, расходуя себя, не щадит себя. Он фатально, роковым образом, недобровольно, так же как река, недобровольно переливается через берега. Но так как люди многим обязаны таким двигателям, то они наделяют их многим, например, известно го рода высшей нравственностью.

Такова человеческая благодарность, — она не понимает своих благодетелей.

40

Преступник и его свойства. — Тип преступника есть тип сильного человека среди неблагоприятных условий, это — доведенный до болезни сильный человек. Ему недостаёт простора, более свободной и опасной природы и другой формы бытия, такой формы, в которой все, что составляет оружие и защиту в инстинкте сильного человека, имело бы право на существование. Общество не признает и преследует его добродетели; его живейшие побуждения срастаются тогда с подавляющими аффектами, — с подозрением, страхом, бесчестием.

Но это тоже рецепт физиологического вырождения! Тот, кто принужден делать тайно, после долгого воздержания, с осторожностью и хитростью то, что он лучше и охотнее всего бы делал явно, становится анемичным; и именно потому, что его инстинкты подвергают его всегда только опасности и преследованию, его чувства восстанавливаются тоже против этих инстинктов и он чувствует их фатальность.

В этом вина общества, нашего обыденного, выкроенного по мерке, посредственного общества, которое неизбежно низводит до преступника человека, выросшего на воле, явившегося к нам с горных вершин или из морского простора.

Это почти неизбежно; но бывают случаи, когда такой человек пересиливает общество: корсиканец Наполеон — самый выдающийся случай.

Для задачи, лежащей перед нами, имеет большое значение свидетельство Достоевского — этого единственного психолога, кстати говоря, от которого я многому научился; он принадлежит к прекраснейшим случайностям моей жизни, к лучшим даже, чем, например, открытие Стендаля.

Этот глубокий человек, который имел полное право не высоко ставить поверхностных немцев, ощутил нечто совсем неожиданное для себя по отношению к сибирским каторжникам, среди которых он долго жил, к этим тяжелым преступникам, для которых не было возврата к обществу; он почувствовал, что они как бы выточены из лучшего, прочнейшего, драгоценнейшего дерева, которое только росло на русской почве.

Обобщим такой случай преступника. Представим себе людей, которые по какой-нибудь причине не вызывают общественного сочувствия и знают, что они не будут признаны благодетельными и полезными членами, — чувство вандала, которого считают не за равного, а за отверженного, презренного, нечистого... Мысли и поступки таких людей окрашены каким-то подземным светом; в них все становится бледнее, чем в тех, чья жизнь озаряется дневным светом.

Но почти все формы существования, которые мы теперь различаем, дышали когда-то этим могильным воздухом: — ученый, артист, гений, свободомыслящий, комедиант, купец, великий изобретатель — все прошли через это. Я обращаю внимание на то, как до сих пор еще, под снисходительнейшим управлением, какое когда-либо существовало на земле (по крайней мере в Европе), всякое отклонение от прямой дороги, всякое долгое, слишком долгое приобщение к низменным сферам, всякая необычная, непрозрачная форма существования подводит близко к тому типу, из которого вырабатывается преступник. Все новаторы в области мысли носят одно время желтый, фатальный значок вандала на лбу; — не потому, чтобы другие

к ним так относились, а потому, что они сами чувствуют ужасную пропасть, которая их разделяет от всех обыкновенных, всеми уважаемых людей. Почти для каждого гения одной из стадий его развития бывает «существование Катилины» — чувство ненависти, мести и возмущения против всего, что уже есть, чего уже не будет... Катилина — форма предсуществования Цезаря.

41

Красота не есть случайность. — Красота расы, или отдельной семьи, прелесть и мягкость ее движений вырабатывается долгим трудом. Красота эта, подобно гению, бывает заключительным произведением скопившейся работы целых поколений. Чтоб достигнуть ее, надо было приносить большие жертвы тонкому вкусу, многое сделать, от многого отказаться ради него; XVII столетие Франция являет достойный изумления пример того и другого, — надо было поставить высший вкус себе за правило в выборе общества, места, одежды и предмета удовлетворения, чувственного влечения, надо было отдавать красоте преимущество перед пользой, привычкой, мнением и удобством. Высшее правило — «не надо распускаться» даже перед самим собой.

Все хорошее большей частью очень дорого достается, и всегда преимущество на стороне человека, уже обладающего им, а не того, кому еще надо его приобретать. Все хорошее есть наследство; то, что не унаследовано — несовершенно, это только «начинание».

В Афинах, во времена Цицерона, который и высказывает по этому поводу свое удивление, мужчины и юноши далеко превосходили женщин в красоте, — но какую работу и усилия на служение красоте имело за собой мужское поколение в течение многих столетий? Не надо давать себя вводить в заблуждение методикой: — воспитание одних только чувств и мыслей дает нуль (в этом большая ошибка немецкого образования, которое представляет из себя одну иллюзию), надо, прежде всего, влиять на тело.

Строгого соблюдения выразительных и благородных движений, обязательства жить только среди тех людей, которые не «распускаются», совершенно достаточно, чтобы стать самому благородным и выразительным, — через два три поколения все это усваивается и становится присущим.

Для отдельных народов, как и для всего человечества, решающее значение имеет исходная точка — их культура: она должна начаться не с «души», ибо «настоящее место» есть тело, движения, диета, физиология, — остальное вытекает из этого. Греки остаются поэтому высшим культурным явлением в истории; они знали и делали то, что нужно. Нравственная мораль же, презирающая тело, была до сих пор величайшим несчастьем для человечества.

42

Прогресс, как я его понимаю. — И я, так же как и другие, говорю о «возвращении к природе», хотя это, собственно говоря, не возвращение, а шествие «вверх к возвышенной, свободной, даже устрашающей природе» и естественности, к такой, которая играет, которая может играть великими задачами. Примером можно привести Наполеона; он был образцом «возвращения к природе, так как я его понимаю (например, в тактике, или еще более в стратегии, как это известно военным). Но Руссо — куда, собственно говоря, он хотел вернуться!

Руссо — это первый современный человек, соединивший идеалиста и *canaille* в одном лице, нуждающийся в нравственности для того, чтобы сохранить собственное достоинство, был болен необузданной суетностью и необузданным самопрезрением. Уродливость, водворившаяся у порога нашего времени, тоже хочет «возвращения к природе», — но куда же, спрашиваю еще раз, хотел вернуться Руссо? Я ненавижу Руссо еще в революции, — она служит всемирно-историческим выражением этого слияния идеалиста и *canaille*. Кровавый фарс, в который разыгралась эта революция, ее «безнравственность» мало трогают меня, но я ненавижу ее моральность, свойственную и

Руссо, ненавижу так называемые «истины» революции, которыми она еще до сих пор продолжает действовать на умы и склонять на свою сторону все плоское и посредственное. Учение о равенстве! Нет более ядовитого яда! Ибо кажется, что справедливость проповедует это учение, тогда как именно в нем заключается конец справедливости! «Равным — равное, неравным — неравное» — вот это было бы истинным языком справедливости, — и, что из этого следует: «Неравное никогда нельзя сделать равным!»

То, что это учение о равенстве влекло за собой столько ужасов и крови, — окружило его своего рода ореолом величия и огненным блеском, так что революция, как драматическое зрелище, совратила и самые благородные умы. Во всяком случае это не причина, чтобы еще больше уважать революцию. Я знаю только одного, который к ней относился так как она этого заслуживала: с отвращением. Это был Гете.

43

Гете — не германское, а европейское явление, величественная попытка преодолеть восемнадцатое столетие путем возвращения к природе, путем восхождения к естественности времен Возрождения, пример самопреодоления из истории нашего столетия. В нем соединились все его сильнейшие инстинкты: чувствительность, страстная любовь к природе, антиисторический, идеалистический, нереальный и революционный инстинкты (этот последний только одна из форм нереального). Он взял себе в помощь историю, естественные науки и древних (включая в них и Спинозу — прежде же всего его практическую деятельность); он обставил себя определенными горизонтами, он не отстранялся от жизни, а углублялся в нее, он не падал духом и сколько мог брал на себя, в себя и сверх себя...

Он добивался цельности; он боролся против распада разума, чувственности, чувства и воли (проповедуемого Кантом, Гетевским антиподом, в отвратительной схола-

стике), он воспитывал себя к цельности, он творил себя... Гете был убежденным реалистом среди нереально настроенного века; он подтверждал только то, что было свойственно ему; — в его жизни не было более крупного события, как то *ens realissimum*, называемое Наполеоном.

Гете представлял из себя человека сильного, высокообразованного, искусного во всех физических упражнениях, держащего самого себя в руках, глубоко уважающего самого себя, человека, который мог позволить себе естественность во всем ее объеме и богатстве, который достаточно силен, чтоб себе это позволить, — человека терпимого, не из слабости, а из чувства силы, потому что он умел извлечь пользу из того, что погубило бы посредственную натуру... Он представлял из себя человека, для которого нет больше ничего запретного, кроме слабости, — будь она добродетелью или пороком. Такой свободный ум стоит среди всего с радостным и доверчивым фатализмом, с верой, что только отдельная часть может быть неудовлетворительной, а что в «целом» все окупается, и все находит себе оправдание, — он больше не отрицает... Эту веру — высшую из всех — я назвал дионисиевской...

44

Можно бы сказать, что в известном смысле все XIX столетие достигло того же, чего достиг Гете как отдельное лицо: — общности в понимании, в соглашении, в близком изучении всего, в неустрашимом реализме, в уважении ко всему фактическому.

Отчего же в совокупности всего получился не Гете, а хаос, нигилистический вздох, незнание куда девать себя, инстинкт усталости, который непрестанно ведет к возвращению в XVIII столетие (например, в виде романтических чувств, альтруизма и преувеличенной сентиментальности, изнеженности и т. п.).

Не есть ли XIX век, особенно в своем начале, только усиленное, огрубелое XVIII столетие, иначе говоря: — декадентское столетие?

И не есть ли Гете не для одной Германии, но и для всей Европы, только случайное явление, высокое и напрасное?

Великие люди остаются непонятыми, если на них смотреть с жалкой точки зрения общественной пользы. Может быть, именно то, что из них нельзя извлечь никакой пользы, свидетельствует об их величии...

45

Гете — последний немец, к которому я питаю уважение; ему знакомы три ощущения, которые и я испытал, — мы сошлись во взгляде на «христианство».

Меня часто спрашивают, зачем я пишу по-немецки, — нигде меня не поймут так неправильно, как в моем отечестве. Но кто знает, хочу ли я даже, чтоб меня теперь читали? Я хочу творить вещи, на которых время напрасно будет точить свои зубы, постараться создать нечто, хотя небольшое, но бессмертное по форме и веществу, — я никогда не был достаточно скромным, чтоб требовать меньшего от себя. Афоризмы, сентенции, в которых я не имею себе равного среди немцев, и есть формы «вечности»; мое честолюбие в том, чтоб сказать в десяти предложениях то, что другой говорит целой книгой, — что другой не может сказать целой книгой. Я дал человечеству глубочайшую книгу, которую оно имеет — моего Заратустру; в скором времени я ему дам другую — самую независимую.





ЧЕМ Я ОБЯЗАН ДРЕВНИМ

1

В заключение скажу несколько слов о том мире, к которому я искал пути, к которому я, может быть, нашел новый путь, — о древнем мире. Мой вкус, далеко неснисходительный, далек и здесь от того, чтоб все принимать на веру, он охотнее отрицает, охотнее же всего молчит... Это относится к целым культурам, к книгам, также и к местностям и пейзажам.

В сущности, совсем маленькое количество древних книг участвовало в моей жизни, и среди них нет самых известных. Моя любовь к стилю, к эпиграмме, как к образцу для стиля, пробудилась почти тотчас же, когда я познакомился с Саллюстием; я до сих пор помню удивление моего уважаемого учителя Корсен, когда он вынужден был высказать первое одобрение своему самому скверному латинисту, — эта книга имела для меня решающее значение. Сжатый, строгий язык ее, с возможно большим количеством содержания, с холодной злобой против «красивых слов» и «красивых чувств» — в этом я разгадал самого себя. Вы встретите у меня везде, также и в моем Заратустре, очень серьезное стремление к римскому стилю, к «аеге регennis» в стиле.

То же было со мной и при первом знакомстве с Горацием. До сих пор не вызывал во мне ни один поэт такого художественного восхищения, какое вызывала во мне одна из Горациевских од. На некоторых языках невысказано даже желать того, что достигнуто здесь.

Эта мозаика слов, в которой каждое слово является выражением звука, места, понятия — изливает свою силу направо, налево, на все, — этот доведенный до *minimum* объем и количество знаков и достигнутый этим *maximum* энергии этих знаков — все это римское и, верьте мне, благодаря *rag excellence*. Вся остальная поэзия чересчур обыденна, — это просто болтливое выражение чувства.

2

Грекам я решительно не обязан такими сильными впечатлениями и, кстати скажу, что они не могут быть для нас тем, чем были римляне. У греков нельзя учиться, — их приемы слишком чужды нам, слишком расплывчаты, чтоб действовать повелительно, «классически» на нас. Кто бы мог научиться писать у греков? Кто и когда научился этому без римлян? Не приводите мне в пример Платона! Относительно Платона я основательнейший скептик и никогда не был в силах присоединиться к обычному, среди ученых, восхищению Платоном как артистом. Но я имею в этом случае на своей стороне утонченнейших эстетиков среди самых древних. Платон, как мне кажется, перемешивает все формы стиля между собой, — в этом он первый декадент стиля; на его совести лежит нечто вроде того, что есть у циников, которые придумали *Satura Menippea*. Для того чтобы восхищаться Платоновским диалогом, этим невероятно самодовольным, наивным родом диалектики, — надо не иметь понятия о хороших французах, о Фонтенеле, например. Платон скучен.

Мое недоверие к Платону заходит еще глубже: я считаю, что он так уклонился от всех основных инстинктов эллинов, так переморализировал, и уже для него «добро» было высшим понятием, что я обо всей сущности Платона всего охотнее употребил бы слово: «возвышенный вздор», или слово «идеализм», если оно вам больше нравится.

Дорого пришлось заплатить грекам за то, что этот афинянин ходил в школу у египтян (или у евреев во время пребывания в Египте?)!

Моим отдыхом, моим пристрастием, моим лечением от всякого платонизма был всегда Фукидид. Фукидид и еще, может быть, принцип Макиавелли более всего мне сродни своей безграничной волей ни в чем себя не обманывать и видеть разум в реальном мире, а не в отвлеченном разуме, и еще менее в «нравственности».

Ничто не излечивает так основательно, как Фукидид, от жалких размалеванных идеалов греков, которые классически образованный юноша выносит с собой в жизнь из гимназической дрессировки.

Надо вникать в него строчка за строчкой и так же ясно прочитывать его задние мысли, как и его слова; мало существует таких, как Фукидид, богатых задними мыслями людей!

В нем культура софистов, я хочу сказать, реалистическая культура, достигла своего совершеннейшего выражения — это неоценимое движение среди повсюду «разгорающегося нравственно» идеального вздора сократовских школ.

Греческая философия была декадентством греческого инстинкта; Фукидид был великой суммой, последним откровением той сильной, строгой, суровой фактичности, которая лежала в инстинкте древнейших эллинов. Мужество перед реальностью различает между собой такие натуры, как Фукидид и Платон. Платон трусит перед реальностью и спасается под защиту идеала; Фукидид — держит себя во власти, следовательно, сохраняет власть и над окружающим.

3

Выискивать в греках «прекрасные души», «золотые середины» и разные другие совершенства или не восхищаться их спокойствием в величии, их идеальным обра-

зом мысли и «высоким простодушием», — от такого «высокого простодушия» искренно говоря, от такой *niaiserie allemande* меня оберегал психолог, которого я ношу в себе. Я видел их сильнейший инстинкт — волю к власти, я видел их дрожащими перед необузданной силой этого побуждения, я видел, как все их учреждения имели в своей основе меры предохранения общественной свободы от тиранических наклонностей, заложенных в них.

Ужасное внутреннее напряжение прорывалось страшной и беспощадной внешней враждой; жители разных городов растерзывали друг друга, чтоб граждане каждого отдельного города могли быть спокойными от самих себя. Сила сделалась необходимостью; опасность была вблизи; она всюду подстерегала их. Превосходно развитые, гибкие члены, дерзновенный реализм и безнравственность, свойственные эллину, были необходимою, а не его «природой». Эти черты выработались с течением времени, — их не было вначале.

И своими празднествами и искусствами они так же не хотели ничего другого, как господствовать и проявлять свое превосходство, — это были средства прославлять самих себя и, таким образом, внушать к себе страх.

Если судить о греках по их философам, как это делают немцы, и по плоскому добродушию Сократовских школ делать о них свои выводы, — что останется тогда от эллина? Философы же и есть декаденты греческого мира, обратное движение против старого благородного вкуса (против инстинкта, против *Polis*, против ценности расы и силы обычаев).

Началось проповедование сократовских добродетелей, потому что греки утратили свои; обидчивые, боязливые, изменчивые комедианты во всем, они имели достаточно причин на то, чтобы вызывать нравоучительные проповеди.

И это ничему не могло помочь, но громкая слава и позы так идут декадентам...

Я был первый, который для понимания древнейшего, — до сих пор еще богатого, переливающегося через край эллинского инстинкта, воспользовался этим удивительным явлением, носящим название Дионисия: это явление только и может быть объяснено избытком силы.

Кто изучает греков так, как глубочайший знаток их культуры, живущей еще поныне — Яков Буркхардт в Базеле — тот сразу поймет, что это имеет большое значение; Буркхардт добавил к своей «Культуре греков» целый отдел, посвятив его вышеназванному явлению. Если хотите иметь обратный пример, то взгляните на почти смехотворную бедность инстинкта немецких филологов, когда они приближаются ко всему дионисиевскому. Особенно поражает нас знаменитый Лобекк, который с достойной неустрашимостью высохшего среди книг червя вполз в этот мир таинственных явлений и вообразил себе, что его научность заключается в том, что он поверхностен и наивен до отвращения, — этот Лобекк всей своей ученостью доказал, что эти любопытные явления в сущности ровно ничего не означают. Впрочем, жрецы дионисиевского культа, может быть, и могли бы поведать кое-что, не лишнее интереса, — например то, что вино возбуждает к веселью, что человек в известных обстоятельствах может питаться и плодами, что растения цветут и вянут осенью... Что же касается того изумительного богатства символов и мифов оргиастического происхождения, которое буквально наводнило античный мир, то Лобекк пользуется им, чтоб проявить еще большее остроумие. «Когда грекам нечего было делать, — говорит он, — они смеялись, прыгали, двигались неумоимо, или же опускались на землю, плакали и горько жаловались, так как человек иногда и в этом находит удовольствие. Впоследствии на смену им явились другие, которые старались найти хотя бы какую-нибудь причину столь странного поведения, — и таким образом

возникли для объяснения их обычаев те бесчисленные мифы и толкования празднеств. С другой стороны, думали, что эти забавные занятия, которым греки предавались в праздничные дни, составляли неизбежную принадлежность самого праздника и часть богослужения. Это достойная презрения болтовня, и никто ни на минуту не придает значения словам Лобекка!

Совсем иначе относимся мы к понятию о «греческом мире», составившему у Гете и Винкельмана, когда находим его несовместным с тем элементом, из которого вырастает дионисиевское искусство с оргиазмом. Я не сомневаюсь в том, что Гете действительно, на серьезных основаниях, делал свой вывод о свойствах греческой души. Следовательно, Гете не понимал греков. Ибо только в дионисиевских обрядностях, в психологии дионисиевского состояния высказывается сущность эллинского инстинкта — его «воля к жизни». Что обеспечивал себе эллин этими обрядами? Вечную жизнь, вечное возвращение к жизни, будущее — обещанное и предчувствуемое еще в прошлом, торжество жизненной силы над смертью и переменами, настоящую жизнь как всеобщее продолжение жизни через произрождение, через таинства чувственных отношений. Греки потому так и уважали самый символ этих отношений, — в нем заключался глубокий смысл всего древнего благочестия.

Все отдельные части акта произрождения, как то беременность и рождение, пробуждали самые высокие и торжественные чувства. В учении о таинствах страдание считается святым; «муки родильницы» освящают его, — все будущее и произрастающее оправдывает страдание. Чтоб было вечное желание творить, чтоб воля к жизни вечно подтверждала себя, должны также вечно существовать и «материнские страдания».

Все это включает в себе культ Дионисия — я не знаю высшей символики, чем дионисиевская. В ней сосредоточен глубочайший инстинкт жизни, будущей жизни,

вечности жизни, — с религиозной точки зрения: путь к самой жизни, рождение, как святой путь к ней. Впервые мораль с ее враждебностью к жизни, в основе сделала из половых отношений что-то нечистое; она бросила грязью в начало, в преддверие нашей жизни...

5

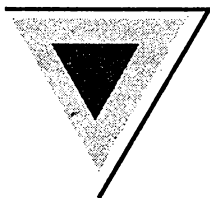
Психология оргазма, как переливающегося через край ощущения жизни и силы, в котором даже страдание действует как стимул — дала мне ключ к пониманию трагического чувства, которое осталось непонятым как Аристотелем, так и нашими пессимистами. Трагедия так далеко от того, чтоб говорить эллинскому пессимизму в духе Шопенгауэра, что она скорее может служить его решительным отклонением и противоположностью.

Желание жизни, даже в ее труднейших и суровейших задачах, воля к жизни, радующаяся собственной неисчерпаемости при жертвовании своими высшими представителями — это назвал я дионисиевским, в этом разгадал я ключ к психологии трагической поэзии.

Не для того, чтоб освободиться от ужаса и сострадания, я говорю об этом; не для того, чтобы очиститься от какого-нибудь опасного аффекта путем его мучительного разрушения, — так понимал это Аристотель, — а для того, чтобы, невзирая на ужас и сострадание, самому быть вечной радостью бытия, той радостью, которая заключает в себе также и радость уничтожения... И этими словами я снова возвращаюсь к моей исходной точке... «Рождение трагедии» было моей первой переоценкой всех ценностей; этим становлюсь я опять на почву, из которой произрастает моя воля, моя сила. Я — последний ученик философа Дионисия, я — учитель вечно-возвращения...



ЧАСТЬ 3



► ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ



ОДИНОКАЯ ЛЮБОВЬ

Одинокий колос, колос, а не нива —
И любовь к подруге страсть, а не любовь;
Называть любовью страсть несправедливо,
Кровь угасит мысли, мысль угасит кровь.
Даже чувство дружбы как-то сиротливо —
Я любить желаю всех, или никого;
Одинокий колос, колос, а не нива —
Дружба недостойна сердца моего.
Я всегда чуждаюсь страстного прилива —
Чувство к одному я прогоняю прочь —
Одинокий колос, колос, а не нива —
Дружба, сладострастие есть не день, а ночь.
Мне противны звуки одного мотива,
Полюбивши друга, я забуду всех —
Одинокий колос, колос, а не нива...
Дружба над любовью есть глубокий стех.

ИЗ ДНЕВНИКА

Чем погибает безвозвратней
Мой дух, прикованный к страстям,
Тем тише стелет и необъятней
Стремится к вечным небсам.
Так пальма, корни отрастая,
Чем глубже ранит землю в грудь,
Тем выше ветви простирая,
Яснее видит звездный путь.



МУДРОСТЬ

Черен!

Мудрость глядит из зияющих впадин глазных,
Тихо гнущая лобная кость говорит без тумана:
Нет наслаждения правдой в волненьях пустых,
Нет красоты и ума вдохновений в пожаре обмана.
Ряд обнаженных зубов, искривленных тоской,
Грустно отвечает над тем, что ты славил
и нагло позорит...

Избранных эта настешка зовет на покой
Без упоения призрачным счастьем,
иль видимость горит...

Правда — в недвижимом одном затирании,
в гниенье одном!..

Тайна — нирвана; получит блаженство в ней ум
безнадежно-бессильный...

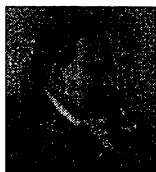
Жизнь — есть святое затишье, покрытое сном...

Жизнь — это мирно и тихо гнущий от света
могильный

Черен.

ИДЕАЛ

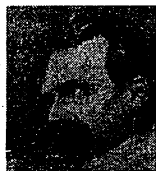
Тот идеал священный и велик,
Что ты достичь его вершин не в силах,
Но юноша, и дева, и старик
Перестают томиться им... в могилах.
Как радуга сияет идеал...



Мы знаем все, что радуга виденье,
Но идеал так мощно б не блистал,
Когда оном мы поняли стремленье...
Он навсегда б, как метеор, угас,
Когда б ты все пришли к его вершине...
И вера в жизнь и свет исчезли в нас,
И мы все утести б, тоску о востанье.

ВОЛЯ

Из тихой пристани отплыл я одиноко,
Для гроз и бурных волн, о жизни океан!
Я — смелый мореход и путь держу далеко,
Но светот истины несут я так высоко,
Что доведу его до грани новых стран.
Из тихой пристани отплыл я одиноко.
Мой парус — тень моя, а корабль —
дух свободный,
И гордо мой корабль плывет по лону вод,
И голос совести, стихии благородной,
Спасет, спасет меня: я с силою природной
Один иду на бой, и океан ревет...
Мой парус — тень моя, а корабль —
дух свободный...
И любо биться мне с противником ужасным.
Свободу чую я в хору крылатых бурь,
И не гадаю я: в бою ль погибну отчаянно,
Иль с истинной вьюгой в объятии прекрасном
Увижу новых стран волшебную лазурь.
И любо биться мне с противником ужасным.



ПОЛНОЧЬ

Мне душно... Пропасть время поглотила...
Не умерщвлен ли я безострастной тишиной?!
Земля мертва, как будто все погинуло
Насильно отняла, что былоя со мной.
Сон или смерть?! Потухшими глазами
На все глядит луна печальна, как мертвец,
И есть ли жизнь на ней, обаятой небесами?
Сатурн надел на все забвения венец!
Быть может, умер я и взор мой — привиденье,
И странствует душа в неведомых мирах,
В ней все слилось — и вечность, и мгновенье,
И трак, и свет — в один безутный страх.
Нет, я дышу; я чувствую сердце живо,
Я слышу мира вздох, он вырвался, как муть,
Полночный час отвечает так игриво
И говорит, как мир таинственный могуч.

ПРЕЗРЕНИЕ

Если ты презираешь себя,
То гордишься собою ты вечно;
Так огонь пожирает, губя
Все без жалости, что ж человеку,
Не погибнешь шутя и бесстыдно.
Презирая себя, я всегда
Уважаю за это тышленье...
Презирать и не мыслить — беда,
Расточать же разумно презренье —
Подвиг в жизни мирской без значенья.



Фридрих Вильгельм Ницше



РАСПЛАТА

*Мои имя в грязи! Позор и бесчестье прощая.
Любовь пусть замутит меня! Мои имя в грязи,
Я юность твою погубил, извлек из обителей рай,
Мои имя в грязи и омерзю тебя зарази!
Казни красотой своей, бросаюсь на грязное ложе...
В объятиях безутных ночей казни красотой своей,
И тело богини моей на падаль пусть будет похоже!
Казни красотой своей и омерзю
над жертвой страстей!
Я все, все прощаю тебе, прости же меня, дорогая,
Забудь оскорбления мои, я все, все прощаю тебе,
Любовь пусть замутит меня, и ревностью страшной
огораю,
Я все, все прощаю тебе, как злой и коварной судьбе...*

ИЗ ДНЕВНИКА

*Да и отстояться вину,
Слабое сердце в плену,
Крепче закутай в тенью.
Дух твой тогда воопарит,
Будет им мир позабыт,
Будет далеко забота.
Сердце не любит свободы,
Работно от самой природы
Сердцу в награду дано.
Выпустишь сердце на волю,
Дух проклянет свою долю,
С жизнью порвется звено!*



КОШМАР

Ко мне опять вливается волною
В окно открытое живая кровь...
Вот, вот ровняется с моею головою
И шепчет: я — свобода и любовь!
Я чую вкус и запах крови слышу...
Волна ее преследует меня...
Я задыхаюсь, бросаюсь на крышу...
Но не уйдешь: она грозней огня!
Бегу на улицу... Давлюсь туду:
Живая кровь царит и там повсюду...
Все люди, улицы, дома — все в ней!..
И не спит она, как мне, отец
И убождает благо жизни людю,
Но душно мне: я вижу кровь повсюду!

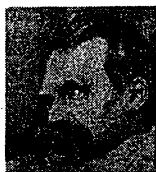
МИЛОСЕРДИЕ

Никто из нас не прав, — когда не замечает,
Как ранит та рука, которая щадит,
Как угнетает тьмоль, как грубо удручает,
Взяв милосердие за самый верный щит.
А этот щит плодит, лобзая преступленья,
Насилье и порок, и слаботу грозит,
У истины берет и мудрость, и значение,
Нет, милосердие не добрый — злобный щит!
Он преступлению развязывает руки,
Дамокловым мечом он честности грозит,
Смеется над добром, когда наносит тук,
Да, милосердие есть ненадежный щит!



БЕССИЛИЕ

Заснула жизнь в объятиях заботы,
Мой ум, молги!
Кругом все спит, живут враги дремоты.
Одни ключи.
Душа моя, как ключ, все хочет биться
Во тьме ночной.
Как песнь любви она всегда дивится
Себе самой!
Огонь любви! Как жажду я сиянья
Твоих очей!
Стихийный миг мозгового желанья
В груди моей.
Но солнце — я и в свете, как в эфире,
Всегда один...
Когда б, о ночь, блистать в твоей порфире
Из трака льдин.
Когда б я мог и смел, о трак, оразиться
С твоим венцом!
Когда б звезда могла в меня влюбиться,
Лобзать огнем...
О, если б мне из той груди волшебной
Весь выпить свет,
То мир покрыл фатой целебной
Ее привет.
Но тщетно я стремлюсь с овященной страстью
К тебе, о ночь!
Душа моя, влекомая тайной властью,
Отходит прочь.
Она болит и ноет от заботы...
Мой ум, молги! —
И вторят ей среди дремоты
Одни ключи...



РАБЫ

Я надел добровольно вериги,
Стал укором проклятой семье...
Жизнь, как пошлость бессмысленной книги,
Я отбросил: подобно ладье
Я плыву по беснующему морю,
Без сочувствия счастью и горю.
Нет спасения в кощности мира
Безнадежных и жалких рабов...
Есть остатки о безумного пира
Я не в силах... О, сколько утов,
Ожидających тщетно свободы,
Погубили безмолвия годы.
Работство хуже кошмара и казни,
Жизнь под гнетом оков — клевета!
В сердце львином стиренной боязни
Нет и не было... Мысль — оцета.
В царстве силы, где внешность пророка
Обвиняет за дерзость порока.
О, исчадие тьмы безнадежной!
Вы не звери, вы хуже — рабы!
Ваши души во тьме безмятежной
Спят в цепях. Лишь удары судьбы
Вас разбудят, как рев океана,
В час величья грозы — урагана.
Лицетеры! Зачем Вам пророки?
Злой мороз ненавидит цветы! —
Вы — позорно и нагло жестоки
К проявлению свободы... Мечты
Умертвите вы рабским дыханьем,
Заразивши пророков лобзаньем.



ИЗ ДНЕВНИКА

Но тихим, чуть видным дыханьем впавшего
в сон океана,
Взяв небо единой защитой, как прежде, плыву я
в чужие одиноко...
И в сердце моем так тоскливо,
так страшно гнетет меня старая рана,
Что ту! Океан пробудился, чувствуя горю
и тучам пророка.
Из памяти властной встают, как морские
ведьмы туманы, гробницы,
И тени подходят ко мне, среди них я
и горе свое узнаю, отдохнуло
В могиле недолгой оно и опять на меня
устрелило зеницы.
И снова напрасной, неконченной битвой
на дряхлое тело дохнуло,
Опять зародилась мысль, и забилось усталое сердце
тревожно,
И трепет его достигает опять
до пророчески-внятного слуха,
И снова я верю, что битва, свирепая битва, со тьмою
возможна.
О, гневная, ясная мысль, воскресенная
злойкой и трагичною казнью,
Зачем ты меня окрыляешь надеждой
и к ответу стремишься так жадно?!
Тебя я боялся, но тяжко страдал и томился
от этой боязни,

Избранные стихотворения



И ты появилась, мученья стягивались —
в душе же темно, не отрадно...
Я снова чего-то страшусь, иль час мой
не пробил желанный, и снова
Я путь потерял навсегда, не достигнув
того безмятежного края,
Где мысли свои и мученья я мог воплотить бы
в бессмертное слово,
Великие духа, свободу и тайны всего мироздания
утом возникая?

ИЗ ДНЕВНИКА

Все заснуло оном могучим, даже море спит...
Ночь соткала саван крепкий, волны устыв...
Вал гремящий старован, пеной не бурлит
И гранита не тревожит под ночной мотив...
Но не спит и гневно дышит море в глубине
И порою, не страшась злобной темноты,
Передаст таянеж оной скрытый дремлющей волне,
И волна отринет мизот чары снытоты.
И взревет от гнева море... Отдыхать не в ночь
Тем, кого томят виденья прежних грозных битв...
Мрачен сон вождей-титанов, и напрасно ночь
Злых проклятий им не шепчет, а слова молитв.
О, ожженное насильем море, ты мой друг,
Я постиг твой вызов к небу, туки окордных грез
И хочу твои страданья, твой овятой недуг
Не стягивать, а смыть навеки током мощных слез.



Фридрих Вильгельм Ницше



СТРАСТЬ

Чувственность загубит
Все ростки любви...
Страсть любовь забудет,
Вонхнется пыль в крови.
Ты меткою жадной
Юности на тронь,
Иль огонь нещадный,
Чувственный огонь,
Мужество расплавит
В пламенной крови,
Непла не оставит
От твоей любви.

ИЗ ДНЕВНИКА

Для тук рассказья мне дайте преступленья,
Иль я умру от грозной пустоты...
В груди моей темно, как в каплице сомненья,
Тде язва — мысль и жадный червь — метты.
Не осуждай меня, мои порывы злоости:
Я раб страстей и грозный быт ума...
Душа моя огнила, и вместо тела кости...
Не осуждай! Свобода есть тюрьма.
Для тук рассказья мне дайте преступленья,
Иль я умру при свете темных туч...
В моей крови кипит безумство озлобленья,
Дыханьем жжет коварный демон-луг.



СТЫД

Люби и не стыдись безумных наслаждений,
Открыто говори, что молишься навозу,
И чудный аромат овиреных преступлений
Вдыхай в себя, пока блаженство не ушло.
Тот не раскается, кто, убоившись казни,
Машет в себе сагом все потмыслы свои;
И не спасется тот, кто из пустой боязни,
Сокрыв грехи свои, увидит свет зари.
Небесная заря повергнет в дебри трака
Того, кто хочет зло смягчить стыдом одним,
И лице и грозней сконченная клоака
Задавит мысль и дух величием своим.

КРАСОТА

Чтоб совершить преступленья красиво,
Нужно суметь полюбить красоту.
Или опоилишь избитым мотивом,
Стелю мать наслаждения, тещу.
Часто, изранив себя безнадежно,
Мы окверняем проступком своим
Все, что в мозгу твоем насилье мятежно,
Все, что зовется прекрасным и злым.
Но за позор твой жестоко накажет
Злого желанья преступная мать,
Жрец, самозванцам на них же покажет,
Как нужно жертвы красиво терзать.



ИЗ ДНЕВНИКА

Век осуждено мне бороться,
Жить не могу без борьбы;
Видно, как в пещере постою,
Мне не уйти от судьбы.
Если враги все убиты,
Снова хочу воскресить
Тех, имена чьи забыты,
Чтобы их снова убить.
Страшно: боюсь, постыжусь
Злобно над сердцем судьба:
Биться с собой мне придется,
Резать себя, как раба.

ВРАГУ

Ты меня изранил новой клеветой.
Что ж! К могиле виден мне ясный путь...
Памятник, из злобы вылитый тобою,
Скоро мне придавит третью грудь.
Ты вздохнешь... Надолго ль?! Сладкой твостью оти
Снова загорятя к новому врагу;
Будешь ты томиться напролет все ночи,
«Жить не отомотивши, — скажешь, — не могу!»
И теперь я знаю: из сырой могилы
Пожалею снова не овой грустный век,
Не овой, коварством сложенные силы,
А о том: зачем ты, враг мой — человек!



Rufen und Singen.

Hier! —

Von großem Rufen — ist das Gerede! —

Soll man singen

oder gar nicht?

Wach auf, meine müde Seele!

Ich hab' gehört —

das volle Leben:

— es haßt, es singt, es atmet, es leidet...

Ich hab' nie gehört —

aus ferne Stimmen

hinter dem Fenster ein dumpfes Geseus.

Содержание

Часть 1

Презентационная	3
Жизнь	5
Судьба	12
Учение	17
Мысли	36

Часть 2

Ницшеанская мозаика	45
• Так говорил Заратустра	46
Предисловие Заратустры	46
Речи Заратустры	62
О трех превращениях	62
О кафедрах добродетели	64
О мечтающих о другом мире	67
О презирующих тело	69
О радостях и страстях	71
О бледном преступнике	74
О чтении и письме	76
О дереве на горе	78
О проповедниках смерти	81
О войне и воинах	83
О новом идоле	85
О рыночных мухах	88
О целомудрии	91
О друге	93
О тысяче и одной цели	95
О любви к ближнему	98
О пути созидającego	99
О старых и молодых женщинах	102
Об укусе ехидны	105
О ребенке и браке	107
О свободной смерти	109
О дарящей добродетели	111

• По ту сторону добра и зла	118
Предисловие	118
Глава I. О предрассудках философов	120
Глава II. Свободный дух	142
Глава III. О религии	162
Глава IV. Афоризмы и интермедии	179
Глава V. К вопросу о естественной истории морали	189
Глава VI. Мы, ученые	210
Глава VII. Наши добродетели	230
Глава VIII. Народы и отечества	255
Глава IX. О сущности благородства	280
• Сумерки кумиров	314
Предисловие	314
Афоризмы и стрелы	316
Проблема Сократа	321
«Разум» в философии	329
О том, как, наконец, «истинный мир» обратился в басню	334
Нравственность как противоестественное учение	336
Четыре великих заблуждения	341
«Исправители» человечества	350
Чего недостает немцам	355
• Ессе Ното	364
• Очерки несвоевременного	466
• Чем я обязан древним	502

Часть 3

<i>Избранные стихотворения</i>	<i>509</i>
--------------------------------------	------------



Уважаемые дамы и господа!



Фирма «Реноме» совместно с
Издательским Домом «Квадранал»
выпустили в свет:

Омар Хайям. Чаша мудрости.

(Цвет. облож. с припрессовкой пленки,
формат 84x108/32, 368 с.)



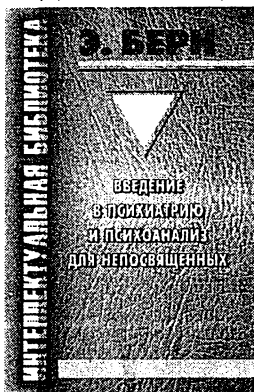
Книга одного из знаменитейших
людей прошлого.

Омар Хайям (1048-1123)
завоевал мировую известность
своими небольшими лирическими
стихотворениями, в которых
прославляет человеческие
чувства и подлинный, смелый и
все постигающий разум.

Фирма «Реноме» продолжает выпуск книг
серии «Интеллектуальная библиотека»:

Э. Берн. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных.

(Цвет. облож. с припрессовкой пленки, формат 84x108/32, 496 с.)



Уникальная книга известного
американского психиатра Эрика Берна
поможет Вам совершить увлекательное
путешествие по лабиринтам человеческой
психики, приоткрыть завесу над тайным из
тайного — деятельностью мозга.
Благодаря ярким, образным примерам
Вы сможете определить, каким
характером обладаете Вы и окружающие
Вас люди, узнаете о способах
определения психологического типа
индивида. Это позволит Вам безошибочно
ориентироваться в различных жизненных
ситуациях и не совершать опрометчивых
поступков.

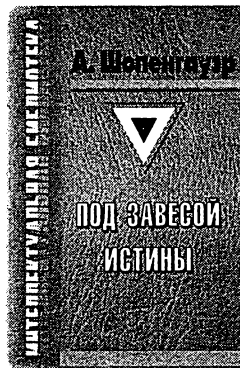
Здесь также анализируются причины
возникновения нервных болезней и даются
советы по их лечению и предупреждению. Материал изложен в
доступной и захватывающей форме, что делает книгу интересной
и даже необходимой самому широкому кругу читателей.

А. Шопенгауэр. Под завесой истины.

(Цвет. облож. с припрессовкой пленки, формат 84х108/32, 496 с.)

В книгу известного немецкого философа вошли произведения, раскрывающие основное понятие Мировой Воли. Дается подробная характеристика отрицательных сторон человеческого бытия, рассматриваются проблемы оптимизма и пессимизма, идеи этики и эстетики, подробно и доступно анализируются вопросы половой любви.

Ознакомившись с произведениями писателя-философа, читатель признает их актуальность для сегодняшнего дня, сможет провести параллели с современными событиями и глубже осмыслить проблемы личности в мировом масштабе.



**В этой серии также готовятся
к выпуску книги:**

3. Фрейд. По ту сторону сознания.

(Цвет. облож. с припрессовкой пленки, формат 84х108/32, 496 с.)

В книгу включены известные работы знаменитого австрийского ученого-психолога, открывшего психоанализ, явившегося пионером в изучении детского церебрального паралича. Мало кому известно, что З. Фрейд — автор локальной анестезии. Открытия Фрейда в психологии стоят в одном ряду с открытиями Гельмгольца — автора закона сохранения и превращения энергии — и открытиями Дарвина в биологии. Ценность идей Фрейда в том, что у него много последователей, тщательно, методично и искренне применяющих эти идеи. Широкий круг читателей эта книга привлечет тем, что в ней можно узнать о психоанализе детских неврозов, получить сведения о теории сексуальности и психопатологии. Эти знания помогут читателям разрешить многие психологические проблемы, возникающие на жизненном пути.

**По вопросам приобретения данных изданий обращайтесь
в книоторговую фирму «Реноме».**

Тел.: (0652) 27-22-13

Факс: (0652) 24-80-90

Научно-популярное издание

Ницше неизвестный и неожиданный

(Серия «Интеллектуальная библиотека»)

Ответственные за выпуск:

Н. А. Таранова

А. А. Руденко

Художественный редактор *В. В. Руденко*

Корректоры: *О. А. Кривоносова, Е. Ю. Кутузова*

Компьютерная верстка: *Ю. И. Степанов*

Подписано в печать 23.03.98. Формат 84 x 108^{1/32}.

Бумага газетная. Гарнитура NewBaskerville.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 27,72. Тираж 25 000 экз.

Заказ № 114.

Фирма «Реноме»

333048, Украина, г. Симферополь, ул. Поповкина, 18-а

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии
издательства «Таврида»

333700, Украина, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44



